This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

A 472416

Library of the University of Michigan
Bought with the income
of the
Ford - Messer
Bequest

G G
A

И. А. ГОНЧАРОВЪ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

И. А. ГОНЧАРОВА.

Съ портретомъ автора, гравированнымъ академикомъ И. П. Пожалостинымъ и факсимиле.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1887.

Собственность Глазунова.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ГЛАЗУНОВА, КАЗАНСКАЯ № 8.

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРІЯ.

РОМАНЪ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Часть первая:

	стр.
Глава I	1
» II	29
» III	76
» IV	104
» V	122
» VI	159

Часть вторая:

	стр.
Глава I	3
» II	37
» III	56
» IV	100
» V	136
» VI	158
Эпилогъ	197

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Однажды, лѣтомъ, въ деревнѣ Грачахъ, у небогатой помѣщицы Анны Павловны Адуевой, всѣ въ домѣ поднялись съ разсвѣтомъ, начиная съ хозяйки до цѣпной собаки Барбоса.

Только единственный сынъ Анны Павловны, Александръ Ѳедорычъ, спалъ, какъ слѣдуетъ спать двадцати-лѣтнему юношѣ, богатырскимъ сномъ; а въ домѣ всѣ суетились и хлопотали. Люди ходили однакожь на цыпочкахъ и говорили шопотомъ, чтобъ не разбудить молодаго барина. Чуть кто-нибудь стукнетъ, громко заговоритъ, сейчасъ, какъ раздраженная львица, являлась Анна Павловна и наказывала неосторожнаго строгимъ выговоромъ, обиднымъ прозвищемъ, а иногда, по мѣрѣ гнѣва и силъ своихъ, и толчкомъ.

На кухнѣ стряпали въ трое рукъ, какъ-будто на десятерыхъ, хотя все господское семейство только и состояло, что изъ Анны Павловны да Александра Ѳедорыча. Въ сараѣ вытирали и подмазывали повозку. Всѣ были заняты и работали до́-поту лица. Барбосъ только ничего не дѣлалъ, но и тотъ по-своему принималъ участіе въ общемъ движеніи. Когда мимо его проходилъ лакей, кучеръ, или шмыгала дѣвка, онъ махалъ хвостомъ и тщательно обнюхивалъ проходящаго, а самъ глазами, кажется, спрашивалъ: скажутъ ли мнѣ наконецъ, что́ у насъ сегодня за суматоха?

А суматоха была оттого, что Анна Павловна отпускала сына въ Петербургъ на службу, или, какъ она говорила, людей посмотрѣть и себя показать. Убійственный для нея день! Отъ этого она такая грустная и разстроенная. Часто, въ хлопотахъ, она откроетъ ротъ, чтобъ приказать что-нибудь, и вдругъ остановится на полусловѣ, голосъ ей измѣнитъ, она отвернется въ сторону и оботретъ, если успѣетъ, слезу, а не успѣетъ, такъ уронитъ ее въ чемоданъ, въ который сама укладывала Сашенькино бѣлье. Слезы давно кипятъ у ней въ сердцѣ; онѣ подступили къ горлу, давятъ грудь и готовы брызнуть въ три ручья; но она какъ будто берегла ихъ на прощанье и изрѣдка тратила по капелькѣ.

Не одна она оплакивала разлуку: сильно горевалъ тоже камердинеръ Сашеньки, Евсей. Онъ отправлялся съ бариномъ въ Петербургъ, покидалъ самый теплый уголъ въ домѣ, за лежанкой, въ комнатѣ Аграфены, перваго министра въ хозяйствѣ Анны Павловны и—что́ всего важнѣе для Евсея, первой ея ключницы.

За лежанкой только и было мѣста, чтобъ поставить два стула и столъ, на которомъ готовился чай, кофе, закуска. Евсей прочно занималъ мѣсто и за печкой и въ сердцѣ Аграфены. На другомъ стулѣ засѣдала она сама.

Исторія объ Аграфенѣ и Евсеѣ была ужь старая исторія въ домѣ. О ней, какъ обо всемъ на свѣтѣ, поговорили, позлословили ихъ обоихъ, а потомъ, также, какъ и обо всемъ, замолчали. Сама барыня привыкла видѣть ихъ вмѣстѣ, и они блаженствовали цѣлыя десять лѣтъ. Многіе ли въ итогѣ годовъ своей жизни начтутъ десять счастливыхъ? За то вотъ насталъ и мигъ утраты! Прощай теплый уголъ, прощай Аграфена Ивановна, прощай игра въ дураки, и кофе, и водка, и наливка—все прощай!

Евсей сидѣлъ молча и сильно вздыхалъ. Аграфена, насупясь, суетилась по хозяйству. У ней горе выражалось

по-своему. Она въ тотъ день съ ожесточеніемъ разлила чай, и вмѣсто того, чтобъ первую чашку крѣпкаго чая подать, по обыкновенію, барынѣ, выплеснула его вонъ: „никому“ дескать „не доставайся“, и твердо перенесла выговоръ. Кофе у ней перекипѣлъ, сливки подгорѣли, чашки валились изъ рукъ. Она не поставитъ подноса на столъ, а бряк-нетъ; не отворитъ шкапа и двери, а хлопнетъ. Но она не плакала, а сердилась на все и на всѣхъ. Впрочемъ это вообще было главною чертою въ ея характерѣ. Она никогда не была довольна; все не по ней; всегда ворчала, жаловалась. Но въ эту роковую для нея минуту характеръ ея обнаруживался во всемъ своемъ паѳосѣ. Пуще всего, кажется, она сердилась на Евсея.

— Аграфена Ивановна!... сказалъ онъ жалобно и нѣжно, что̀ не совсѣмъ шло къ его длинной и плотной фигурѣ.

— Ну, что ты, разиня, тутъ разсѣлся? отвѣчала она какъ-будто онъ въ первый разъ тутъ сидѣлъ. — Пусти прочь: надо полотенце достать.

— Эхъ, Аграфена Ивановна!... повторилъ онъ лѣниво, вздыхая и поднимаясь со стула и тотчасъ опять опускаясь, когда она взяла полотенце.

— Только хнычетъ! Вотъ пострѣлъ навязался! Что это за наказаніе, Господи! и не отвяжется!

И она со звономъ уронила ложку въ полоскательную чашку.

— Аграфена! раздалось вдругъ изъ другой комнаты:— ты никакъ съ ума сошла! развѣ не знаешь, что Сашенька почиваетъ? Подралась, что ли, съ своимъ возлюбленнымъ на прощаньи?

— Не пошевелись для тебя, сиди, какъ мертвая! прошипѣла по-змѣиному Аграфена, вытирая чашку обѣими руками, какъ-будто хотѣла изломать ее въ куски.

*

— Прощайте, прощайте! съ громаднѣйшимъ вздохомъ сказалъ Евсей:—послѣдній денекъ, Аграфена Ивановна!

— И слава Богу! пусть унесутъ васъ черти отсюда: просторнѣе будетъ. Да пусти прочь, негдѣ ступить: протянулъ ноги-то!

Онъ тронулъ-было ее за плечо—какъ она ему отвѣтила! Онъ опять вздохнулъ, но съ мѣста не двигался; да напрасно и двинулся бы: Аграфенѣ этого не хотѣлось. Евсей зналъ это и не смущался.

— Кто-то сядетъ на мое мѣсто? промолвилъ онъ, все со вздохомъ.

— Лѣшій! отрывисто отвѣчала она.

— Дай-то Богъ! лишь бы не Прошка. А кто-то въ дураки съ вами станетъ играть?

— Ну хоть бы и Прошка, такъ что жь за бѣда? со злостью замѣтила она.

Евсей всталъ.

— Вы не играйте съ Прошкой, ей-Богу, не играйте! сказалъ онъ съ безпокойствомъ и почти съ угрозой.

— А кто мнѣ запретитъ? ты, что ли, образина этакая?

— Матушка, Аграфена Ивановна! началъ онъ умоляющимъ голосомъ, обнявъ ее—за талію, сказалъ бы я, еслибъ у ней былъ хоть малѣйшій намекъ на талію.

Она отвѣчала на объятіе локтемъ въ грудь.

— Матушка, Аграфена Ивановна! повторилъ онъ:—будетъ ли Прошка любить васъ такъ, какъ я? Поглядите? какой онъ озорникъ: ни одной женщинѣ проходу не дастъ. А я-то! э-эхъ! Вы у меня, чтó синь-порохъ въ глазу! Еслибъ не барская воля, такъ... эхъ!...

Онъ при этомъ крякнулъ и махнулъ рукой. Аграфена не выдержала: и у ней, наконецъ, горе обнаружилось въ слезахъ.

— Да отстанешь ли ты отъ меня, окаянный? говорила

она плача:—что мелешь, дуралей! Свяжусь я съ Прошкой! развѣ не видишь самъ, что отъ него путнаго слова не добьешься? только и знаетъ, что лѣзетъ съ ручищами...

— И къ вамъ лѣзъ? Ахъ мерзавецъ! А вы, небось, не скажете! Я бы его...

— Полѣзь-ка, такъ узнаетъ! Развѣ нѣтъ въ дворнѣ женскаго пола, кромѣ меня? Съ Прошкой свяжусь! вишь что̀ выдумалъ! Подлѣ него и сидѣть-то тошно—свинья свиньей! Онъ, того и гляди, наровитъ ударить человѣка, или сожрать что-нибудь барское изъ-подъ рукъ—и не увидишь.

— Ужь если, Аграфена Ивановна, случай такой придетъ — лукавый вѣдь силенъ — такъ лучше Гришку посадите тутъ: по-крайности, малый смирный, работящій, не зубоскалъ...

— Вотъ еще выдумалъ! накинулась на него Аграфена: —что ты меня всякому навязываешь, развѣ я какая-нибудь... Пошелъ вонъ отсюда! Много вашего брата, всякому стану вѣшаться на шею: не таковская! Съ тобой только, этакимъ лѣшимъ, попуталъ видно лукавый за грѣхи мои связаться, да и то каюсь... а то выдумалъ!

— Богъ васъ награди за вашу добродѣтель! какъ камень съ плечъ! воскликнулъ Евсей.

— Обрадовался! звѣрски закричала она опять: — есть чему радоваться—радуйся!

И губы у ней побѣлѣли отъ злости. Оба замолчали.

— Аграфена Ивановна! робко сказалъ Евсей, немного погодя.

— Ну, что̀ еще?

— Я вѣдь и забылъ: у меня ныньче съ утра во рту маковой росинки не было.

— Только и дѣла!

— Съ горя, матушка.

Она достала съ нижней полки шкапа, изъ за головы сахару, стаканъ водки и два огромные ломтя хлѣба съ ветчиной. Все это давно было приготовлено для него ея заботливой рукой. Она сунула ему ихъ, какъ не суютъ и собакамъ. Одинъ ломоть упалъ на полъ.

— На вотъ, подавись! О, чтобъ тебя... да тише, не чавкай на весь домъ.

Она отвернулась отъ него съ выраженіемъ будто ненависти, а онъ медленно началъ ѣсть, глядя изъ подлобья на Аграфену и прикрывая одною рукою ротъ.

Между-тѣмъ въ воротахъ показался ямщикъ, съ тройкой лошадей. Черезъ шею коренной переброшена была дуга. Колокольчикъ, привязанный къ сѣделкѣ, глухо и несвободно ворочалъ языкомъ, какъ пьяный, связанный и брошенный въ караульню. Ямщикъ привязалъ лошадей подъ навѣсомъ сарая, снялъ шапку, досталъ оттуда грязное полотенце и отеръ потъ съ лица. Анна Павловна, увидѣвъ его изъ окна, поблѣднѣла. У ней подкосились ноги и опустились руки, хотя она ожидала этого. Оправившись, она позвала Аграфену.

— Поди-ка на цыпочкахъ, тихохонько, посмотри, спитъ ли Сашенька? сказала она.—Онъ, мой голубчикъ, проспитъ, пожалуй, и послѣдній денекъ: такъ и не нагляжусь на него. Да нѣтъ, куда тебѣ! ты, того гляди, влѣзешь какъ корова! я лучше сама...

И пошла.

— Поди-ка ты, не-корова! ворчала Аграфена, воротясь къ себѣ.—Вишь, корову пашла! много ли у тебя этакихъ коровъ-то?

На встрѣчу Аннѣ Павловнѣ шелъ и самъ Александръ Ѳедорычъ, бѣлокурый молодой человѣкъ, въ цвѣтѣ лѣтъ, здоровья и силъ. Онъ весело поздоровался съ матерью, но, увидѣвъ вдругъ чемоданъ и узлы, смутился, молча отошелъ

къ окну и сталъ чертить пальцемъ по стеклу. Черезъ минуту онъ уже опять говорилъ съ матерью и безпечно, даже съ радостью смотрѣлъ на дорожные сборы.

— Что это ты, мой дружокъ, какъ заспался, сказала Анна Павловна:—даже личико отекло? Дай-ка вытру тебѣ глаза и щеки розовой водой.

— Нѣтъ, маменька, ненадо.

— Чего ты хочешь позавтракать: чайку прежде, или кофейку? Я велѣла сдѣлать и битое мясо со сметаной на сковородѣ—чего хочешь?

— Все равно, маменька.

Анна Павловна продолжала укладывать бѣлье, потомъ остановилась и посмотрѣла на сына съ тоской.

— Саша!... сказала она черезъ нѣсколько времени.

— Чего изволите, маменька?

Она медлила говорить, какъ-будто чего-то боялась.

— Куда ты ѣдешь, мой другъ, зачѣмъ? спросила она, наконецъ, тихимъ голосомъ.

— Какъ куда, маменька? въ Петербургъ, затѣмъ... затѣмъ... чтобъ...

— Послушай, Саша, сказала она въ волненіи, положивъ ему руку на плечо, повидимому съ намѣреніемъ сдѣлать послѣднюю попытку:—еще время не ушло: подумай, останься!

— Остаться! какъ можно! да вѣдь и... бѣлье уложено, сказалъ онъ, не зная, что̀ выдумать.

— Уложено бѣлье! да вотъ... вотъ... вотъ... гляди — и не уложено.

Она въ три пріема вынула все изъ чемодана.

— Какъ же это такъ, маменька? собрался — и вдругъ опять! Что̀ скажутъ...

Онъ опечалился.

— Я не столько для себя самой, сколько для тебя же отговариваю. Зачѣмъ ты ѣдешь? Искать счастья? Да развѣ тебѣ здѣсь нехорошо? развѣ мать день-деньской не думаетъ о томъ, ка́къ бы угодить всѣмъ твоимъ прихотямъ? Конечно, ты въ такихъ лѣтахъ, что одни материнскія угожденія не составляютъ счастья; да я и не требую этого. Ну, погляди вокругъ себя: всѣ смотрятъ тебѣ въ глаза. А дочка Марьи Васильевны, Сонюшка? Что... покраснѣлъ? Ка́къ она, моя голубушка—дай Богъ ей здоровья—любитъ тебя: слышь, третью ночь не спитъ!

— Вотъ, маменька, что вы! она такъ...

— Да́, да́, будто я не вижу... Ахъ! чтобъ не забыть: она взяла обрубить твои платки—„я, говоритъ, сама, сама, никому не дамъ, и мѣтку сдѣлаю"—видишь, чего же еще тебѣ? Останься!

Онъ слушалъ молча, поникнувъ головой, и игралъ кистью своего шлафрока.

— Что́ ты найдешь въ Петербургѣ? продолжала она.— Ты думаешь, тамъ тебѣ такое же житье будетъ, какъ здѣсь? Э, мой другъ! Богъ знаетъ, чего насмотришься и натерпишься: и холодъ, и голодъ, и нужду—все перенесешь. Злыхъ людей вездѣ много, а добрыхъ не скоро найдешь. А почетъ—что́ въ деревнѣ, что́ въ столицѣ — все тотъ же почетъ. Какъ не увидишь петербургскаго житья, такъ и покажется тебѣ, живучи здѣсь, что ты первый въ мірѣ; и во всемъ такъ, мой милый! Ты же воспитанъ, и ловокъ, и хорошъ. Мнѣ бы, старухѣ, только оставалось радоваться, глядя на тебя. Женился бы, послалъ бы Богъ тебѣ дѣточекъ, а я бы няньчила ихъ—и жилъ бы безъ горя, безъ заботъ, и прожилъ бы вѣкъ свой мирно, тихо, никому бы не позавидовалъ; а тамъ, можетъ, и не будетъ хорошо, можетъ, и помянешь слова мои... Останься, Сашенька—а?

Онъ кашлянулъ и вздохнулъ, но не сказалъ ни слова.

— А посмотри-ка сюда, продолжала она, отворяя дверь на балконъ:—и тебѣ не жаль покинуть такой уголокъ?

Съ балкона въ комнату пахнуло свѣжестью. Отъ дома на далекое пространство раскидывался садъ изъ старыхъ липъ, густаго шиповника, черемухи и кустовъ сирени. Между деревьями пестрѣли цвѣты, бѣжали въ разныя стороны дорожки, далѣе, тихо плескалось въ берега озеро, облитое къ одной сторонѣ золотыми лучами утренняго солнца и гладкое, какъ зеркало; съ другой—темно-синее, какъ небо, которое отражалось въ немъ, и едва подернутое зыбью. А тамъ нивы съ волнующимися, разноцвѣтными хлѣбáми шли амфитеатромъ и примыкали къ темному лѣсу.

Анна Павловна, прикрывъ одной рукой глаза отъ солнца, другой указывала сыну попеременно на каждый предметъ.

— Погляди-ка, говорила она: — какой красотой Богъ одѣлъ поля наши! Вонъ съ тѣхъ полей одной ржи до 500 четвертей сберемъ; а вонъ и пшеничка есть, и гречиха; только гречиха нынче не то, чтó прошлый годъ: кажется, плоха будетъ. А лѣсъ-то, лѣсъ-то какъ разросся! Подумаешь, кáкъ велика премудрость Божія! Дровецъ съ своего участка мало-мало на тысячу продадимъ. А дичи, дичи чтó! и вѣдь все это твое, милый сынокъ: я только твоя прикащица. Погляди-ка, озеро: чтó за великолѣпіе! истинно небесное! рыба такъ и ходитъ; одну осетрину покупаемъ, а то ерши, окуни, караси кишмя кишатъ: и на себя и на людей идетъ. Вонъ твои коровки и лошадки пасутся. Здѣсь ты одинъ всему господинъ, а тамъ, можетъ-быть, всякій станетъ помыкать тобой. И ты хочешь бѣжать отъ такой благодати, еще не знаешь куда, въ омутъ, можетъ-быть, прости Господи... Останься!

Онъ молчалъ.

— Да ты не слушаешь, сказала она.—Куда это ты такъ пристально заглядѣлся?

Онъ молча и задумчиво указалъ рукой въ даль. Анна Павловна взглянула и измѣнилась въ лицѣ. Тамъ, между полей, змѣей вилась дорога и убѣгала за лѣсъ, дорога въ обѣтованную землю, въ Петербургъ. Анна Павловна молчала нѣсколько минутъ, чтобъ собраться съ силами.

— Такъ вотъ что́! проговорила она наконецъ уныло. — Ну, мой другъ, Богъ съ тобой! поѣзжай, ужь если тебя такъ тянетъ отсюда: я не удерживаю! По крайней-мѣрѣ, не скажешь, что мать заѣдаетъ твою молодость и жизнь.

Бѣдная мать! вотъ тебѣ и награда за твою любовь! Того ли ожидала ты? Въ томъ-то и дѣло, что матери не ожидаютъ наградъ. Мать любитъ безъ толку и безъ разбору. Велики вы, славны, красивы, горды, переходитъ имя ваше изъ устъ въ уста, гремятъ ваши дѣла по свѣту — голова старушки трясется отъ радости, она плачетъ, смѣется и молится долго и жарко. А сынокъ, большею частью, и не думаетъ подѣлиться славой съ родительницею. Нищи ли вы духомъ и умомъ, отмѣтила ли васъ природа клеймомъ безобразія, точитъ ли жало недуга ваше сердце или тѣло, наконецъ, отталкиваютъ васъ отъ себя люди и нѣтъ вамъ мѣста между ними—тѣмъ болѣе мѣста въ сердцѣ матери. Она сильнѣе прижимаетъ къ груди уродливое, неудавшееся чадо и молится еще долѣе и жарче.

Ка́къ назвать Александра безчувственнымъ за то, что онъ рѣшился на разлуку? Ему было двадцать лѣтъ. Жизнь отъ пеленъ ему улыбалась; мать лелѣяла и баловала его, какъ балуютъ единственное чадо; нянька все пѣла ему надъ колыбелью, что онъ будетъ ходить въ золотѣ и не знать горя; профессоры твердили, что онъ пойдетъ далеко, а по возвращеніи его домой, ему улыбнулась дочь сосѣдки. И

старый котъ, Васька, былъ къ нему, кажется, ласковѣе, нежели къ кому-нибудь въ домѣ.

О горѣ, слезахъ, бѣдствіяхъ, онъ зналъ только по слуху, какъ знаютъ о какой-нибудь заразѣ, которая не обнаружилась, но глухо гдѣ-то таится въ народѣ. Отъ этого будущее представлялось ему въ радужномъ свѣтѣ. Его что-то манило въ даль, но чтó именно—онъ не зналъ. Тамъ мелькали обольстительные призраки, но онъ не могъ разглядѣть ихъ; слышались смѣшанные звуки — то голосъ славы, то любви: все это приводило его въ сладкій трепетъ.

Ему скоро тѣсенъ сталъ домашній міръ. Природу, ласки матери, благоговѣніе няньки и всей дворни, мягкую постель, вкусныя яства и мурлыканье Васьки—всѣ эти блага, которыя такъ дорого цѣнятся на склонѣ жизни, онъ весело мѣнялъ на неизвѣстное, полное увлекательной и таинственной прелести. Даже любовь Софьи, первая, нѣжная и розовая любовь, не удерживала его. Чтó ему эта любовь? Онъ мечталъ о колоссальной страсти, которая не знаетъ никакихъ преградъ и свершаетъ громкіе подвиги. Онъ любилъ Софью пока маленькою любовью, въ ожиданіи большой. Мечталъ онъ и о пользѣ, которую принесетъ отечеству. Онъ прилежно и многому учился. Въ аттестатѣ его сказано было, что онъ знаетъ съ дюжину наукъ, да съ полдюжины древнихъ и новыхъ языковъ. Всего же болѣе онъ мечталъ о славѣ писателя. Стихи его удивляли товарищей. Передъ нимъ разстилалось множество путей и одинъ казался лучше другаго. Онъ не зналъ, на который броситься. Скрывался отъ глазъ только прямой путь; замѣть онъ его, такъ тогда, можетъ быть, и не поѣхалъ бы.

Какъ же ему было остаться? Мать желала — это опять другое и очень естественное дѣло. Въ сердцѣ ея отжили всѣ чувства, кромѣ одного—любви къ сыну, и оно жарко ухватилось за этотъ послѣдній предметъ. Не будь его, чтó

же ей дѣлать? Хоть умирать. Ужъ давно доказано, что женское сердце не живетъ безъ любви.

Александръ былъ избалованъ, но не испорченъ домашнею жизнью. Природа такъ хорошо создала его, что любовь матери и поклоненіе окружающихъ подѣйствовали только на добрыя его стороны, развили, напримѣръ, въ немъ преждевременно сердечныя склонности, поселили ко всему довѣрчивость до излишества. Это же самое, можетъ-быть, разшевелило въ немъ и самолюбіе; но вѣдь самолюбіе само-по-себѣ только форма; все будетъ зависѣть отъ матеріала, который вольешь въ нее.

Гораздо болѣе бѣды для него было въ томъ, что мать его, при всей своей нѣжности, не могла дать ему настоящаго взгляда на жизнь и не приготовила его на борьбу съ тѣмъ, чтó ожидало его и ожидаетъ всякаго впереди. Но для этого нужно было искусную руку, тонкій умъ и запасъ большой опытности, неограниченной тѣснымъ деревенскимъ горизонтомъ. Нужно было даже поменьше любить его, не думать за него ежеминутно, не отводить отъ него каждую заботу и непріятность, не плакать и не страдать вмѣсто его и въ дѣтствѣ, чтобъ дать ему самому почувствовать приближеніе грозы, справиться съ своими силами и подумать о своей судьбѣ — словомъ, узнать, что онъ мужчина. Гдѣ же было Аннѣ Павловнѣ понять все это и, особенно, выполнить? Читатель видѣлъ, какова она. Не угодно ли посмотрѣть еще?

Она уже забыла сыновній эгоизмъ. Александръ Ѳедорычъ засталъ ее за вторичнымъ укладываньемъ бѣлья и платья. Въ хлопотахъ и дорожныхъ сборахъ, она какъ-будто совсѣмъ не помнила горя.

— Вотъ, Сашенька, замѣть хорошенько, куда я чтó кладу, говорила она. — Въ самый низъ, на дно чемодана, простыни: дюжина. Посмотри-ка, такъ ли записано?

— Такъ, маменька.

— Всѣ съ твоими мѣтками, видишь — А. А. А все голубушка Сонюшка! Безъ нея наши дурищи не скоро бы поворотились. Теперь что? да́, наволочки. Разъ, двѣ, три, четыре—такъ, вся дюжина тутъ. Вотъ рубашки—три дюжины. Что́ за полотно—заглядѣнье! это голландское; сама ѣздила на фабрику къ Василью Васильичу; онъ выбралъ что́ ни есть наилучшіе три куска. Повѣряй же, милый, по реестру всякій разъ, какъ будешь принимать отъ прачки; всѣ новёшенькія. Тамъ немного такихъ рубашекъ увидишь; пожалуй и подмѣнятъ; есть вѣдь этакія мерзавки, что Бога не боятся. Носковъ двадцать-двѣ пары... Знаешь, что́ я придумала? положить въ одинъ носокъ твой бумажникъ съ деньгами. Ихъ тебѣ до Петербурга не понадобится, такъ, сохрани Боже! случай какой, чтобъ и рыли, да не нашли. И письма къ дядѣ туда же положу: то-то, чай, обрадуется! вѣдь семнадцать лѣтъ и словомъ не перекинулись, шутка ли! Вотъ косыночки, вотъ платки; еще полдюжины у Сонюшки осталось. Не теряй, душенька, платковъ: славный полубатистъ! У Михеева брала по два съ четвертью. Ну, бѣлье все. Теперь платье... Да гдѣ Евсей? что онъ не смотритъ? Евсей!

Евсей лѣниво вошелъ въ комнату.

— Чего изволите? спросилъ онъ еще лѣнивѣе.

— Чего изволите? заговорила Адуева гнѣвно.—Что не смотришь, ка́къ я укладываю? А тамъ, какъ надо что́ достать въ дорогѣ, и пойдешь все перерывать вверхъ дномъ! Не можетъ отвязаться отъ своей возлюбленной — экое сокровище! День-то великъ: успѣешь! Ты этакъ тамъ и за бариномъ станешь ходить? Смотри у меня! Вотъ гляди: это хорошій фракъ — видишь, куда кладу? А ты, Сашенька, береги его, не всякій день таскай; сукно-то по 16 рублей брали. Куда въ хорошіе люди нойдешь, и надѣнь, да не

садись зря, кáкъ ни попало, вонъ какъ твоя тётка, словно нарочно, не сядетъ на пустой стулъ или диванъ, а такъ и наровитъ плюхнуть туда, гдѣ стоитъ шляпа или что-нибудь такое; намедни на тарелку съ вареньемъ сѣла — такого сраму надѣлала! Куда попроще въ люди, вотъ этотъ фракъ масака надѣвай. Теперь жилеты—разъ, два, три, четыре. Двое брюкъ. Э! да платья-то года на три станетъ. Ухъ! устала! шутка ли: цѣлое утро возилась! Поди, Евсей. Поговоримъ, Сашенька, о чемъ-нибудь другомъ. Ужо гости пріѣдутъ, не до того будетъ.

Она сѣла на диванъ и посадила его подлѣ себя.

— Ну, Саша, сказала она, помолчавъ немного: — ты теперь ѣдешь на чужую сторону...

Какая „чужая“ сторона, Петербургъ: чтó вы, маменька!

— Погоди, погоди—выслушай, чтó я хочу сказать! Богъ одинъ знаетъ, чтó тамъ тебя встрѣтитъ, чего ты наглядишься, и хорошаго, и худаго. Надѣюсь, Онъ, Отецъ мой небесный, подкрѣпитъ тебя; а ты, мой другъ, пуще всего не забывай Его, помни, что безъ вѣры нѣтъ спасенія нигдѣ и ни въ чемъ. Достигнешь тамъ большихъ чиновъ, въ знать войдешь—вѣдь мы не хуже другихъ: отецъ былъ дворянинъ, майоръ — все-таки смиряйся передъ Господомъ Богомъ: молись и въ счастіи и въ несчастіи, а не по пословицѣ: „громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится“. Иной, пока везетъ ему, и въ церковь не заглянетъ, а какъ придетъ не въ мочь—и пойдетъ рублевыя свѣчи ставить, да нищихъ одѣлять: это большой грѣхъ. Къ слову пришлось о нищихъ. Не трать на нихъ денегъ по пустому, по многу не давай. На чтó баловать? ихъ не удивишь. Они пропьютъ, да надъ тобой же насмѣются. У тебя, я знаю, мягкая душа: ты, пожалуй, и по гривеннику станешь отваливать. Нѣтъ, это не нужно; Богъ подастъ! Будешь ли ты посѣщать храмъ Божій? будешь ли ходить по воскресеньямъ къ обѣднѣ?

Она вздохнула.

Александръ молчалъ. Онъ вспомнилъ, что учась въ университетѣ и живучи въ губернскомъ городѣ, онъ не очень усердно посѣщалъ церковь; а въ деревнѣ, только изъ угожденія матери, сопровождалъ ее къ обѣднѣ. Ему совѣстно было солгать. Онъ молчалъ. Мать поняла его молчаніе и опять вздохнула.

— Ну, я тебя не неволю, продолжала она: — ты человѣкъ молодой: гдѣ тебѣ быть такъ усердну къ церкви Божіей, какъ намъ, старикамъ? Еще, пожалуй, служба помѣшаетъ, или засидишься поздно въ хорошихъ людяхъ и проспишь. Богъ пожалѣетъ твоей молодости. Не тужи: у тебя есть мать. Она не проспитъ. Пока во мнѣ останется хоть капелька крови, пока не высохли слезы въ глазахъ и Богъ терпитъ грѣхамъ моимъ, я ползкомъ дотащусь, если не хватитъ силъ дойти, до церковнаго порога; послѣдній вздохъ отдамъ, послѣднюю слезу выплачу за тебя, моего друга. Вымолю тебѣ и здоровье, и чиновъ, и крестовъ, и небесныхъ и земныхъ благъ. Неужели-то Онъ, милосердый Отецъ, презритъ молитвой бѣдной старухи? Мнѣ самой ничего не надо. Отними Онъ у меня все: здоровье, жизнь, пошли слѣпоту—тебѣ лишь подай всякую радость, всякое счастье и добро...

Она не договорила, слезы закапали у ней изъ глазъ.

Александръ вскочилъ съ мѣста.

— Маменька... сказалъ онъ.

— Ну, сядь, сядь! отвѣчала она, наскоро утирая слезы: — мнѣ еще много осталось поговорить... Чтó бишь я хотѣла сказать? изъ ума вонъ... Вишь нынче какая память у меня... дá! блюди посты, мой другъ: это великое дѣло! Въ среду и пятницу — Богъ проститъ; а въ великій постъ — Боже оборони! Вотъ Михайло Михайлычъ и умнымъ человѣкомъ считается, а чтó въ немъ? Что мясоѣдъ,

что страстная недѣля—все одно жретъ. Даже волосъ дыбомъ становится! Онъ вонъ и бѣднымъ помогаетъ, да будто его милостыня принята Господомъ? Слышь, подалъ разъ старику красненькую, тотъ взялъ ее, а самъ отвернулся да плюнулъ. Всѣ кланяются ему и въ глаза-то Богъ знаетъ что́ наговорятъ, а за глаза крестятся, какъ поминаютъ его, словно шайтана какого.

Александръ слушалъ съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ и взглядывалъ по временамъ въ окно, на дальнюю дорогу.

Она замолчала на минуту.

— Береги пуще всего здоровье, продолжала она.—Какъ заболѣешь—чего Боже оборони!—опасно, напиши... я соберу всѣ силы и пріѣду. Кому тамъ ходить за тобой? Наровятъ еще обобрать больнаго. Не ходи ночью по улицамъ; отъ людей звѣрскаго вида удаляйся. Береги деньги... охъ, береги на черный день! Трать съ толкомъ. Отъ нихъ, проклятыхъ, всякое добро и всякое зло. Не мотай, не заводи лишнихъ прихотей. Ты будешь акуратно получать отъ меня двѣ тысячи пятьсотъ рублей въ годъ. Двѣ тысячи пятьсотъ рублей не шутка! Не заводи роскоши никакой, ничего такого, но и не отказывай себѣ въ чемъ можно; захочется полакомиться—не скупись.—Не предавайся вину — охъ, оно первый врагъ человѣка!—Да еще (тутъ она понизила голосъ) берегись женщинъ! Знаю я ихъ! Есть такія безстыдницы, что сами на шею будутъ вѣшаться, какъ увидятъ этакого-то...

Она съ любовью посмотрѣла на сына.

— Довольно, маменька; я бы позавтракалъ? сказалъ онъ почти съ досадой.

— Сейчасъ, сейчасъ... еще одно слово...

— На мужнихъ женъ не зарься, спѣшила она досказать: — это великій грѣхъ! „Не пожелай жены ближняго твоего“, сказано въ писаніи. Если же тамъ какая-нибудь ста-

нетъ до свадьбы добираться—Боже сохрани! не моги и подумать! Онѣ готовы подцѣпить, какъ увидятъ, что съ денежками да хорошенькій. Развѣ что у начальника твоего или у какого-нибудь знатнаго да богатаго вельможи разгорятся на тебя зубы и онъ захочетъ выдать за тебя дочь — ну, тогда можно, только отпиши: я кое-какъ дотащусь, посмотрю, чтобъ не подсунули, такъ какую нибудь, лишь бы съ рукъ сбыть: старую дѣвку или дрянь. Этакого женишка всякому лестно залучить. Ну, а коли ты самъ полюбишь, да выдастся хорошая дѣвушка—такъ того... тутъ она еще тише заговорила... Сонюшку-то можно и въ сторону. (Старушка, изъ любви къ сыну, готова была покривить душой). Что въ-самомъ-дѣлѣ Марья Карповна замечтала! ты дочкѣ ея не пара. Деревенская дѣвушка! на тебя и не такія польстятся.

— Софью! нѣтъ, маменька, я ее никогда не забуду! сказалъ Александръ.

— Ну, ну, другъ мой, успокойся! вѣдь я такъ только. Послужи, воротись сюда и тогда что Богъ дастъ; невѣсты не уйдутъ! Коли не забудешь, такъ и того... Ну, а...

Она что-то хотѣла сказать, но не рѣшалась, потомъ наклонилась къ уху его и тихо спросила:

— А будешь ли помнить... мать?

— Вотъ до чего договорились, перервалъ онъ:—велите скорѣй подавать что тамъ у васъ есть: яичница что ли? Забыть васъ! Какъ могли вы подумать? Богъ накажетъ меня...

— Перестань, перестань, Саша, заговорила она торопливо: — что ты это накликаешь на свою голову! Нѣтъ, нѣтъ! что бы ни было, если случится этакой грѣхъ, пусть я одна страдаю. Ты молодъ, только-что начинаешь жить, будутъ у тебя и друзья, женишься — молодая жена замѣнитъ тебѣ и мать, и все... Нѣтъ! пусть благословитъ тебя Богъ, какъ я тебя благословляю.

Она поцѣловала его въ лобъ и тѣмъ заключила свои наставленія.

— Да что это не ѣдетъ никто? сказала она:—ни Марья Карповна, ни Антонъ Иванычъ, ни священникъ нейдетъ? ужъ, чай, обѣдня кончилась! Ахъ, вонъ кто-то и ѣдетъ! кажется, Антонъ Иванычъ... такъ и есть: легокъ на поминѣ.

Кто не знаетъ Антона Иваныча? Это вѣчный жидъ. Онъ существовалъ всегда и всюду, съ самыхъ древнѣйшихъ временъ, и не переводился никогда. Онъ присутствовалъ и на греческихъ и на римскихъ пирахъ, ѣлъ конечно и упитаннаго тельца, закланнаго счастливымъ отцомъ, по случаю возвращенія блуднаго сына.

У насъ, на Руси, онъ бываетъ разнообразенъ. Тотъ, про котораго говорится, былъ таковъ: у него душъ двадцать заложенныхъ и перезаложенныхъ; живетъ онъ почти въ избѣ, или въ какомъ-то странномъ зданіи, похожемъ съ виду на амбаръ,—ходъ гдѣ-то сзади, черезъ бревна, подлѣ самаго плетня; но онъ лѣтъ двадцать постоянно твердитъ, что съ будущей весной приступитъ къ стройкѣ новаго дома. Хозяйства онъ дома не держитъ. Нѣтъ человѣка изъ его знакомыхъ, который бы у него отобѣдалъ, отужиналъ или выпилъ чашку чаю, но нѣтъ также человѣка, у котораго бы онъ самъ не дѣлалъ этого по пятидесяти разъ въ годъ. Прежде Антонъ Иванычъ ходилъ въ широкихъ шароварахъ и казакинѣ, теперь ходитъ, въ будни, въ сюртукѣ и въ панталонахъ, въ праздники во фракѣ, Богъ знаетъ какого покроя. Съ виду онъ полный, потому-что у него нѣтъ ни горя, ни заботъ, ни волненій, хотя онъ прикидывается, что весь вѣкъ живетъ чужими горестями и заботами; но вѣдь извѣстно, что чужія горести и заботы не сушатъ насъ: это такъ заведено у людей.

Въ сущности Антона Иваныча никому не нужно, но безъ

него не совершается ни одинъ обрядъ: ни свадьба, ни похороны. Онъ на всѣхъ званыхъ обѣдахъ и вечерахъ, на всѣхъ домашнихъ совѣтахъ; безъ него никто ни шагу. Подумаютъ, можетъ быть, что онъ очень полезенъ, что тамъ исполнитъ какое-нибудь важное порученіе, тутъ дастъ хорошій совѣтъ, обработаетъ дѣльце,—вовсе нѣтъ! Ему никто ничего подобнаго не поручаетъ; онъ ничего не умѣетъ, ничего не знаетъ: ни въ судахъ хлопотать, ни быть посредникомъ, ни примирителемъ,—ровно ничего.

Но за то ему поручаютъ, напримѣръ, завезти мимоѣздомъ поклонъ отъ такой-то къ такому-то, и онъ непремѣнно завезетъ и тутъ же кстати позавтракаетъ,—увѣдомитъ такого-то, что извѣстная-де бумага получена, а какая именно, этого ему не говорятъ,—передать туда-то кадочку съ медомъ или горсточку сѣмянъ, съ наказомъ не разлить и не разсыпать, — напомнить, когда кто имянинникъ. Еще Антона Иваныча употребляютъ въ такихъ дѣлахъ, которыя считаютъ неудобнымъ поручить человѣку. „Нельзя Петрушку послать“, говорятъ: „того и гляди перевретъ. Нѣтъ, ужъ пусть лучше Антонъ Иванычъ съѣздитъ!“ Или: „Неловко послать человѣка: такой-то или такая-то обидится, а вотъ лучше Антона Иваныча отправить“.—

Какъ бы удивило всѣхъ, еслибъ его вдругъ не было гдѣнибудь на обѣдѣ или вечерѣ!

— А гдѣ же Антонъ Иванычъ? спросилъ бы всякій непремѣнно съ изумленіемъ. — Что съ нимъ? да почему его нѣтъ?

И обѣдъ не въ обѣдъ. Тогда ужъ къ нему даже кого-нибудь и отправятъ депутатомъ провѣдать, что съ нимъ, не заболѣлъ ли, не уѣхалъ ли? И если онъ болѣнъ, то и роднаго не порадуютъ такимъ участьемъ.

Антонъ Иванычъ подошелъ къ рукѣ Анны Павловны.

*

— Здравствуйте, матушка Анна Павловна! съ обновкой честь имѣю васъ поздравить.

— Съ какой это, Антонъ Иванычъ? спросила Анна Павловна, осматривая себя съ ногъ до головы.

— А мостикъ-то у воротъ! видно, только-что сколотили? что, слышу, не пляшутъ доски подъ колесами? смотрю, анъ новый!

Онъ, при встрѣчахъ съ знакомыми, всегда обыкновенно поздравляетъ ихъ съ чѣмъ-нибудь, или съ постомъ или съ весной, или съ осенью; если послѣ оттепели морозъ наступитъ, такъ съ морозомъ, наступитъ послѣ морозу оттепель —съ оттепелью.

На этотъ разъ ничего подобнаго не было, но онъ что-нибудь да выдумаетъ.

— Вамъ кланяются, Александра Васильевна, Матрена Михайловна, Петръ Сергѣичъ, сказалъ онъ.

— Покорно благодарю, Антонъ Иванычъ! Дѣтки здоровы ли у нихъ?

— Слава Богу.

— Я къ вамъ веду благословеніе Божіе: за мной слѣдомъ идетъ батюшка. А слышали ли, сударыня: нашъ-то Семенъ Архипычъ?...

— Что такое? съ испугомъ спросила Анна Павловна.

— Вѣдь приказалъ долго жить!

— Что вы! когда?

— Вчера утромъ. Мнѣ къ вечеру же дали знать: прискакалъ парнишко; я и отправился, да всю ночь не спалъ. Всѣ въ слезахъ: и утѣшать-то надо, и распорядиться: тамъ у всѣхъ руки опустились: слезы да слезы,—я одинъ.

— Господи, Господи Боже мой! говорила Анна Павловна, качая головой: — жизнь-то наша! Да какъ же это могло случиться? онъ еще на той недѣлѣ съ вами же поклонъ прислалъ!

— Да, матушка! ну, да онъ давненько прихварывалъ, старикъ старый: диво, какъ до сихъ поръ еще не свалился!

— Что за старый! онъ годомъ только постарше моего покойника. Ну, царство ему небесное! сказала, крестясь, Анна Павловна. — Жаль бѣдной Ѳедосьи Петровны: осталась съ дѣточками на рукахъ. Шутка ли: пятеро, и все почти дѣвочки! А когда похороны?

— Завтра.

— Видно у всякаго свое горе, Антонъ Иванычъ; вотъ я такъ сына провожаю.

— Что дѣлать, Анна Павловна, всѣ мы человѣки! „терпи“ сказано въ св. писаніи.

— Ужъ не погнѣвайтесь, что потревожила васъ—вмѣстѣ размыкать горе; вы насъ такъ любите, какъ родной.

— Эхъ, матушка Анна Павловна! да кого же мнѣ и любить-то, какъ не васъ? Много ли у насъ такихъ, какъ вы? Вы цѣны себѣ не знаете. Хлопотъ полонъ ротъ: тутъ и своя стройка вертится на умѣ. Вчера еще бился цѣлое утро съ подрядчикомъ, да все какъ-то не сходимся... а какъ, думаю, не поѣхать?... что она тамъ, думаю, одна-то, безъ меня станетъ дѣлать? человѣкъ не молодой: чай, голову растеряетъ.

— Дай Богъ вамъ здоровья, Антонъ Иванычъ, что не забываете насъ! И подлинно сама не своя: такая пустота въ головѣ, ничего не вижу! въ горлѣ совсѣмъ отъ слезъ перегорѣло. Прошу закусить: вы и устали и, чай, проголодались.

— Покорно благодарю-съ. Признаться, мимоѣздомъ пропустилъ маленькую у Петра Сергѣича, да перехватилъ кусочикъ. Ну, да это не помѣшаетъ. Батюшка подойдетъ, пусть благословитъ! Да вотъ онъ и на крыльцѣ!

Пришелъ священникъ. Пріѣхала и Марья Карповна, съ дочерью, полной и румяной дѣвушкой, съ улыбкой и за-

плаканными глазами. Глаза и все выраженіе лица Софьи явно говорили: я буду любить просто, безъ затѣй, буду ходить за мужемъ, какъ нянька, слушаться его во всемъ и никогда не казаться умнѣе его; да и какъ можно быть умнѣе мужа? это грѣхъ! Стану прилежно заниматься хозяйствомъ, шить; рожу ему полдюжины дѣтей, буду ихъ сама кормить, няньчить, одѣвать и обшивать.—Полнота и свѣжесть щекъ ея и пышность груди подтверждали обѣщаніе насчетъ дѣтей. Но слезы на глазахъ и грустная улыбка придавали ей въ эту минуту не такой прозаическій интересъ.

Прежде всего отслужили молебенъ, причемъ Антонъ Иванычъ созвалъ дворню, зажегъ свѣчу и принялъ отъ священника книгу, когда тотъ пересталъ читать, и передалъ ее дьячку, а потомъ отлилъ въ скляночку святой воды, спряталъ въ карманъ и сказалъ: „это Агафьѣ Никитишнѣ". Сѣли за столъ. Кромѣ Антона Иваныча и священника, никто, по обыкновенію, не дотронулся ни до чего, но за то Антонъ Иванычъ сдѣлалъ полную честь этому гомерическому завтраку. Анна Павловна все плакала и украдкой утирала слезы.

— Полно вамъ, матушка Анна Павловна, слезы-то тратить! сказалъ Антонъ Иванычъ съ притворной досадой, наполнивъ рюмку наливкой.—Что вы его, на убой что ли отправляете? — Потомъ, выпивъ до половины рюмку, почавкалъ губами.

— Что за наливка! какой ароматъ пошелъ! Этакой, матушка, у насъ и по губерніи-то не найдешь! сказалъ онъ съ выраженіемъ большаго удовольствія.

— Это тре... те... годнич... ная! проговорила, всхлипывая, Анна Павловна:—нынче для васъ... только... откупорила.

— Эхъ, Анна Павловна, и смотрѣть-то на васъ тошно,

началъ опять Антонъ Иванычъ:—вотъ некому бить-то васъ; билъ бы да билъ!

— Сами посудите, Антонъ Иванычъ, одинъ сынъ, и тотъ съ глазъ долой: умру— нéкому и похоронить.

— А мы-то на что? что я вамъ чужой что-ли? Да куда еще торопитесь умирать? того гляди, замужъ бы не вышли! вотъ бы поплясалъ на свадьбѣ! Да полно-те плакать-то!

— Не могу, Антонъ Иванычъ, право не могу; не знаю сама, откуда слезы берутся.

— Этакого молодца въ заперти держать! Дайте-ка ему волю, онъ расправитъ крылышки, да вотъ какихъ чудесъ надѣлаетъ: нахватаетъ тамъ чиновъ!

— Вашими бы устами да медъ пить! Да что вы мало взяли пирожка? возьмите еще!

— Возьму-съ: вотъ только этотъ кусокъ съѣмъ.

— За ваше здоровье, Александръ Ѳедорычъ! счастливаго пути! да возвращайтесь скорѣе; да женитесь-ка! Что вы, Софья Васильевна, вспыхнули?

— Я ничего... я такъ...

— Охъ, молодежь, молодежь! хе, хе, хе!

— Съ вами горя не чувствуешь, Антонъ Иванычъ, сказала Анна Павловна: — такъ умѣете утѣшить; дай Богъ вамъ здоровья! Да выкушайте еще наливочки.

— Выпью, матушка, выпью, какъ не выпить на прощаньи!

Кончился завтракъ. Ямщикъ уже давно заложилъ повозку. Ее подвезли къ крыльцу. Люди выбѣгали одинъ за другимъ. Тотъ несъ чемоданъ, другой—узелъ, третій—мѣшокъ, и опять уходилъ за чѣмъ-нибудь. Какъ мухи сладкую каплю, люди облѣпили повозку, и всякій совался туда съ руками.

— Вотъ такъ лучше положить чемоданъ, — говорилъ одинъ:—а тутъ бы коробокъ съ провизіей.

— А куда же они ноги дѣнутъ? отвѣчалъ другой:—лучше чемоданъ вдоль, а коробокъ можно съ боку поставить.

— Такъ тогда перина будетъ скатываться, коли чемоданъ вдоль: лучше поперегъ. Что еще? уклали-ли сапоги-то?

— Я не знаю. Кто укладывалъ?

— Я не укладывалъ. Поди-ка погляди — нѣтъ ли тамъ наверху?

— Да поди ты.

— А ты что? мнѣ, видишь, некогда!

— Вотъ еще, вотъ это не забудьте! кричала дѣвка, просовывая мимо головъ руку съ узелкомъ.

— Давай сюда!

— Суньте и это какъ-нибудь въ чемоданъ; давича забыли, говорила другая, привставая на подножку и подавая щеточку и гребенку.

— Куда теперь совать? сердито закричалъ на нее дородный лакей:—пошла ты прочь! видишь, чемоданъ подъ самымъ низомъ!

— Барыня велѣла; мнѣ что за дѣло, хоть брось! вишь, черти какіе!

— Ну, давай, что ли, сюда скорѣе; это можно вотъ тутъ съ боку въ карманъ положить.

Коренная безпрестанно поднимала и трясла голову. Колокольчикъ издавалъ всякій разъ при этомъ рѣзкій звукъ, напоминавшій о разлукѣ, а пристяжныя стояли задумчиво, опустивъ головы, какъ-будто понимая всю прелесть предстоящаго имъ путешествія, и изрѣдка обмахивались хвостами, или протягивали нижнюю губу къ коренной лошади. Наконецъ настала роковая минута. Помолились еще.

— Сядьте, сядьте всѣ! повелѣвалъ Антонъ Иванычъ: — извольте сѣсть, Александръ Ѳедорычъ! и ты, Евсей, сядь.

Сядь же, сядь! — И самъ бокомъ, на секунду, едва присѣлъ на стулъ.—Ну, теперь съ Богомъ!

Вотъ тутъ-то Анна Павловна заревѣла и повисла на шею Александру.

— Прощай, прощай, мой другъ! слышалось среди рыданій: увижу ли я тебя?...

Дальше ничего нельзя было разобрать. Въ эту минуту послышался звукъ другаго колокольчика: на дворъ влетѣла телѣга, запряженная тройкой. Съ телѣги соскочилъ, весь въ пыли, какой-то молодой человѣкъ, вбѣжалъ въ комнату и бросился на шею Александру.

— Поспѣловъ!... Адуевъ!... воскликнули они въ разъ, тиская другъ друга въ объятіяхъ.

— Откуда ты, какъ?

— Изъ дому, нарочно скакалъ цѣлыя сутки, чтобъ проститься съ тобой.

— Другъ! другъ! истинный другъ! говорилъ Адуевъ со слезами на глазахъ.—За 160 верстъ прискакать, чтобъ сказать прости! О, есть дружба въ мірѣ! На вѣкъ, не правда-ли? говорилъ пылко Александръ, стискивая руку друга и наскакивая на него.

— До гробовой доски! отвѣчалъ тотъ, тиская руку еще сильнѣе и наскакивая на Александра.

— Пиши ко мнѣ!—Да, да, и ты пиши!

Анна Павловна не знала, какъ и обласкать Поспѣлова. Отъѣздъ замедлился на полчаса. Наконецъ собрались.

Всѣ пошли до рощи пѣшкомъ. Софья и Александръ, въ то время, когда переходили темныя сѣни, бросились другъ къ другу.

— Саша! Милый Саша!... Соничка!... шептали они, и слова замерли въ поцалуѣ.

— Вы забудете меня тамъ? сказала она слезливо.

— О, какъ вы меня мало знаете! я ворочусь, повѣрьте, и никогда другая...

— Вотъ возьмите скорѣй: это мои волосы и колечко.

Онъ проворно спряталъ и то и другое въ карманъ.

Впереди пошли Анна Павловна съ сыномъ и съ Поспѣловымъ, потомъ Марья Карповна съ дочерью, наконецъ священникъ съ Антономъ Иванычемъ. Въ нѣкоторомъ отдаленіи ѣхала повозка. Ямщикъ едва сдерживалъ лошадей. Дворня окружила въ воротахъ Евсея.

— Прощай, Евсей Иванычъ, прощай, голубчикъ, не забывай насъ! слышалось со всѣхъ сторонъ.

— Прощайте, братцы, прощайте, не поминайте лихомъ!

— Прощай, Евсеюшка, прощай, мой ненаглядный! говорила мать, обнимая его:—вотъ тебѣ образокъ; это мое благословеніе. Помни вѣру, Евсей, не уйди тамъ у меня въ бусурманы! а не то прокляну! Не пьянствуй, не воруй; служи барину вѣрой и правдой. Прощай, прощай!...

Она закрыла лицо фартукомъ и отошла.

— Прощай, матушка! лѣниво проворчалъ Евсей.

Къ нему бросилась дѣвчонка лѣтъ двѣнадцати.

— Простись съ сестренкой-то! сказала одна баба.

— И ты туда же! говорилъ Евсей, цѣлуя ее:—ну, прощай, прощай! пошла теперь, босоногая, въ избу!

Отдѣльно отъ всѣхъ, послѣдняя стояла Аграфена. Лицо у нея позеленѣло.

— Прощайте, Аграфена Ивановна! сказалъ протяжно, возвысивъ голосъ, Евсей, и протянулъ къ ней руки.

Она дала себя обнять, но не отвѣчала на объятіе; только лицо ея искривилось.

— На, вотъ тебѣ! сказала она, вынувъ изъ-подъ передника и сунувъ ему мѣшокъ съ чѣмъ-то.—То-то, чай, тамъ съ петербургскими-то загуляешь! прибавила она, погля-

дѣвъ на него искоса. И въ этомъ взглядѣ выразилась, вся тоска ея и вся ревность.

— Я загуляю, я? началъ Евсей.—Да разрази меня на этомъ мѣстѣ Господь, лопни мои глаза! чтобъ мнѣ сквозь землю провалиться, коли я тамъ что нибудь этакое...

— Ладно! ладно! недовѣрчиво бормотала Аграфена: — а самъ-то—у!

— Ахъ, чуть не забылъ! сказалъ Евсей и досталъ изъ кармана засаленную колоду картъ.—На-те, Аграфена Ивановна, вамъ на память; вѣдь вамъ здѣсь негдѣ взять.

Она протянула руку.

— Подари мнѣ, Евсей Иванычъ! закричалъ изъ толпы Прошка.

— Тебѣ! да лучше сожгу, чѣмъ тебѣ подарю! и онъ спряталъ карты въ карманъ.

— Да мнѣ-то отдай, дурачина! сказала Аграфена.

— Нѣтъ, Аграфена Ивановна, что хотите дѣлайте, а не отдамъ: вы съ нимъ станете играть. Прощайте!

Онъ, не оглянувшись, махнулъ рукой и лѣниво пошелъ вслѣдъ за повозкой, которую бы, кажется, вмѣстѣ съ Александромъ, ямщикомъ и лошадьми, могъ унести на своихъ плечахъ.

— Проклятый! говорила Аграфена, глядя ему вслѣдъ и утирая концомъ платка капавшія слезы.

У рощи остановились. Пока Анна Павловна рыдала и прощалась съ сыномъ, Антонъ Иванычъ потрепалъ одну лошадь по шеѣ, потомъ взялъ ее за ноздри и потрясъ въ обѣ стороны, чѣмъ та, казалось, вовсе была недовольна, потому-что оскалила зубы и тотчасъ же фыркнула.

— Подтяни подпругу у коренной-то, сказалъ онъ ямщику:—вишь, сѣделка-то на боку!

Ямщикъ посмотрѣлъ на сѣделку, и увидѣвъ, что она на

— О, какъ вы меня мало знаете! я ворочусь, повѣрьте, и никогда другая...

— Вотъ возьмите скорѣй: это мои волосы и колечко.

Онъ проворно спряталъ и то и другое въ карманъ.

Впереди пошли Анна Павловна съ сыномъ и съ Поспѣловымъ, потомъ Марья Карповна съ дочерью, наконецъ священникъ съ Антономъ Иванычемъ. Въ нѣкоторомъ отдаленіи ѣхала повозка. Ямщикъ едва сдерживалъ лошадей. Дворня окружила въ воротахъ Евсея.

— Прощай, Евсей Иванычъ, прощай, голубчикъ, не забывай насъ! слышалось со всѣхъ сторонъ.

— Прощайте, братцы, прощайте, не поминайте лихомъ!

— Прощай, Евсеюшка, прощай, мой ненаглядный! говорила мать, обнимая его:—вотъ тебѣ образокъ; это мое благословеніе. Помни вѣру, Евсей, не уйди тамъ у меня въ бусурманы! а не то прокляну! Не пьянствуй, не воруй; служи барину вѣрой и правдой. Прощай, прощай!...

Она закрыла лицо фартукомъ и отошла.

— Прощай, матушка! лѣниво проворчалъ Евсей.

Къ нему бросилась дѣвчонка лѣтъ двѣнадцати.

— Простись съ сестренкой-то! сказала одна баба.

— И ты туда же! говорилъ Евсей, цѣлуя ее:—ну, прощай, прощай! пошла теперь, босоногая, въ избу!

Отдѣльно отъ всѣхъ, послѣдняя стояла Аграфена. Лицо у нея позеленѣло.

— Прощайте, Аграфена Ивановна! сказалъ протяжно, возвысивъ голосъ, Евсей, и протянулъ къ ней руки.

Она дала себя обнять, но не отвѣчала на объятіе; только лицо ея искривилось.

— На, вотъ тебѣ! сказала она, вынувъ изъ-подъ передника и сунувъ ему мѣшокъ съ чѣмъ-то.—То-то, чай, тамъ съ петербургскими-то загуляешь! прибавила она, погля-

дѣвъ на него искоса. И въ этомъ взглядѣ выразилась, вся тоска ея и вся ревность.

— Я загуляю, я? началъ Евсей.—Да разрази меня на этомъ мѣстѣ Господь, лопни мои глаза! чтобъ мнѣ сквозь землю провалиться, коли я тамъ что нибудь этакое...

— Ладно! ладно! недовѣрчиво бормотала Аграфена: — а самъ-то—у!

— Ахъ, чуть не забылъ! сказалъ Евсей и досталъ изъ кармана засаленную колоду картъ.—На-те, Аграфена Ивановна, вамъ на память; вѣдь вамъ здѣсь негдѣ взять.

Она протянула руку.

— Подари мнѣ, Евсей Иванычъ! закричалъ изъ толпы Прошка.

— Тебѣ! да лучше сожгу, чѣмъ тебѣ подарю! и онъ спряталъ карты въ карманъ.

— Да мнѣ-то отдай, дурачина! сказала Аграфена.

— Нѣтъ, Аграфена Ивановна, что хотите дѣлайте, а не отдамъ: вы съ нимъ станете играть. Прощайте!

Онъ, не оглянувшись, махнулъ рукой и лѣниво пошелъ вслѣдъ за повозкой, которую бы, кажется, вмѣстѣ съ Александромъ, ямщикомъ и лошадьми, могъ унести на своихъ плечахъ.

— Проклятый! говорила Аграфена, глядя ему вслѣдъ и утирая концомъ платка капавшія слезы.

У рощи остановились. Пока Анна Павловна рыдала и прощалась съ сыномъ, Антонъ Иванычъ потрепалъ одну лошадь по шеѣ, потомъ взялъ ее за ноздри и потрясъ въ обѣ стороны, чѣмъ та, казалось, вовсе была недовольна, потому-что оскалила зубы и тотчасъ же фыркнула.

— Подтяни подпругу у коренной-то, сказалъ онъ ямщику:—вишь, сѣделка-то на боку!

Ямщикъ посмотрѣлъ на сѣделку, и увидѣвъ, что она на

своемъ мѣстѣ, не тронулся съ козелъ, а только кнутомъ поправилъ немного шлею.

— Ну, пора, Богъ съ вами! говорилъ Антонъ Иванычъ:— полно, Анна Павловна, вамъ мучить-то себя! А вы садитесь, Александръ Ѳедорычъ; вамъ надо засвѣтло добраться до Шишкова. Прощайте, прощайте, дай Богъ вамъ счастья, чиновъ, крестовъ, всего добраго и хорошаго, всякаго добра и имущества!!! Ну, съ Богомъ, трогай лошадей, да смотри тамъ косогоромъ-то легче поѣзжай! прибавилъ онъ, обращаясь къ ямщику.

Александръ сѣлъ, весь расплаканный, въ повозку, а Евсей подошелъ къ барынѣ, поклонился ей въ ноги и поцѣловалъ у ней руку. Она дала ему пятирублевую ассигнацію.

— Смотри же, Евсей, помни: будешь хорошо служить, женю на Аграфенѣ, а не то...

Она не могла говорить дальше. Евсей взобрался на козлы. Ямщикъ, наскучившій долгимъ ожиданіемъ, какъ-будто ожилъ; онъ прижалъ шапку, поправился на мѣстѣ и поднялъ возжи; лошади тронулись сначала легкой рысью. Онъ хлеснулъ пристяжныхъ разомъ одну за другой, онѣ скакнули, вытянулись, и тройка ринулась по дорогѣ въ лѣсъ. Толпа провожавшихъ осталась въ облакѣ пыли безмолвна и неподвижна, пока повозка не скрылась совсѣмъ изъ глазъ. Антонъ Иванычъ опомнился первый.

— Ну, теперь по домамъ! сказалъ онъ.

Александръ смотрѣлъ, пока можно было, изъ повозки назадъ, потомъ упалъ на подушки лицомъ внизъ.

— Не оставьте вы меня, горемычную, Антонъ Иванычъ! сказала Анна Павловна:—отобѣдайте здѣсь!

— Хорошо, матушка, я готовъ, пожалуй, и отужинаю.

— Да вы бы ужь и ночевали.

— Какъ же: завтра похороны!

— Ахъ, да! Ну, я васъ не неволю. Кланяйтесь Ѳедосьѣ Петровнѣ отъ меня, скажите, что я душевно огорчена ея печалью и сама бы навѣстила, да вотъ Богъ, дескать, и мнѣ послалъ горе—сына проводила.

— Скажу-съ, скажу, не забуду.

— Голубчикъ ты мой, Сашенька! шептала она, оглядываясь:—и нѣтъ ужъ его, скрылся изъ глазъ!

Адуева просидѣла цѣлый день молча, не обѣдала и не ужинала. За то говорилъ, обѣдалъ и ужиналъ Антонъ Иванычъ.

— Гдѣ-то онъ теперь, мой голубчикъ? скажетъ только она иногда.

— Ужь теперь долженъ быть въ Неплюевѣ. Нѣтъ, что я вру? еще не въ Неплюевѣ, а подъѣзжаетъ; тамъ чай будетъ пить, отвѣчаетъ Антонъ Иванычъ.

— Нѣтъ, онъ въ это время никогда не пьетъ.

И такъ Анна Павловна мысленно ѣхала съ нимъ. Потомъ, когда онъ, по разсчетамъ ея, долженъ былъ уже пріѣхать въ Петербургъ, она, то молилась, то гадала въ карты, то разговаривала о немъ съ Марьей Карповной.

А онъ?

Съ нимъ мы встрѣтимся въ Петербургѣ.

II.

Петръ Ивановичъ Адуевъ, дядя нашего героя, также, какъ и этотъ, двадцати лѣтъ былъ отправленъ въ Петербургъ старшимъ своимъ братомъ, отцомъ Александра, и жилъ тамъ безвыѣздно семнадцать лѣтъ. Онъ не переписывался съ родными послѣ смерти брата, и Анна Павловна ничего не знала о немъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ продалъ свое небольшое имѣніе, бывшее недалеко отъ ея деревни.

Въ Петербургѣ онъ слылъ за человѣка съ деньгами, и, можетъ быть, не безъ причины; служилъ при какомъ-то важномъ лицѣ чиновникомъ особыхъ порученій и носилъ нѣсколько ленточекъ въ петлицѣ фрака; жилъ на большой улицѣ, занималъ хорошую квартиру, держалъ троихъ людей и столько же лошадей. Онъ былъ не старъ, а что называется „мужчина въ самой порѣ"—между тридцатью пятью и сорока годами. Впрочемъ, онъ не любилъ распространяться о своихъ лѣтахъ, не по мелкому самолюбію, а вслѣдствіе какого-то обдуманнаго разсчета, какъ будто онъ намѣревался застраховать свою жизнь подороже. По крайней мѣрѣ, въ его манерѣ скрывать настоящія лѣта не видно было суетной претензіи нравиться прекрасному полу.

Онъ былъ высокій, пропорціонально сложенный мужчина, съ крупными, правильными чертами, смугло-матоваго лица, съ ровной, красивой походкой, съ сдержанными, но пріятными манерами. Такихъ мужчинъ обыкновенно называютъ bel homme.

Въ лицѣ замѣчалась—также сдержанность, т. е. умѣнье владѣть собою, не давать лицу быть зеркаломъ души. Онъ былъ того мнѣнія, что это неудобно—и для себя и для другихъ. Таковъ онъ былъ въ свѣтѣ. Нельзя однакожь было назвать лица его деревяннымъ: нѣтъ, оно было только покойно. Иногда лишь видны были на немъ слѣды усталости—должно быть отъ усиленныхъ занятій. Онъ слылъ за дѣятельнаго и дѣловаго человѣка. Одѣвался онъ всегда тщательно, даже щеголевато, но не черезчуръ, а только со вкусомъ; бѣлье носилъ отличное; руки у него были полны и бѣлы, ногти длинные и прозрачные.

Однажды утромъ, когда онъ проснулся и позвонилъ, человѣкъ, вмѣстѣ съ чаемъ, принесъ ему три письма и доложилъ, что приходилъ какой-то молодой баринъ, который называлъ себя Александромъ Ѳедорычемъ Адуевымъ, а его

—Петра Иваныча—дядей, и обѣщался зайти часу въ двѣнадцатомъ.

Петръ Иванычъ, по обыкновенію, выслушалъ это извѣстіе покойно, только немного навострилъ уши и поднялъ брови.

— Хорошо, поди, сказалъ онъ слугѣ.

Потомъ взялъ одно письмо, хотѣлъ распечатать, но остановился и задумался.

— Племянникъ изъ провинціи—вотъ сюрпризъ! ворчалъ онъ:—а я надѣялся, что меня забыли въ томъ краю! Впрочемъ, что съ ними церемониться! отдѣлаюсь...

Онъ опять позвонилъ.

— Скажи этому господину, какъ придетъ, что я, вставши, тотчасъ уѣхалъ на заводъ и ворочусь черезъ три мѣсяца.

— Слушаю-съ, отвѣчалъ слуга:—а съ гостинцами что прикажете дѣлать?

— Съ какими гостинцами?

— Привезъ ихъ человѣкъ:—барыня, говоритъ, деревенскихъ гостинцевъ прислала.

— Гостинцевъ?

— Да-съ: кадочка меду, мѣшокъ сушеной малины...

Петръ Иванычъ пожалъ плечами.

— Еще два куска полотна, да варенье...

— Воображаю, хорошо должно быть полотно...

— Полотно хорошее и варенье сахарное.

— Ну, поди, я посмотрю сейчасъ.

Онъ взялъ одно письмо, распечаталъ и окинулъ взглядомъ страницу. Точно крупная славянская грамота: букву *в* замѣняли двѣ перечеркнутыя сверху и снизу палочки, а букву *к* просто двѣ палочки; писано безъ знаковъ препинанія.

Адуевъ сталъ читать вполголоса:

«М. Г. Петръ Иванычъ!

«Будучи съ покойнымъ вашимъ родителемъ коротко знакомы и пріятели, да и васъ самихъ въ дѣтствѣ тѣшилъ не мало и въ домѣ вашемъ частенько хлѣба и соли отвѣдывалъ, потому и питаю усердіе и благорасположеніе, что не забыли старика, Василья Тихоныча, а мы васъ здѣсь и родителей вашихъ всячески добромъ поминаемъ и Бога молимъ...»

— Что за дичь? Отъ кого это? — сказалъ Петръ Иванычъ, поглядѣвъ на подпись. Василій Заѣзжаловъ! Заѣзжаловъ—хоть убей—не помню. Чего онъ хочетъ отъ меня?

И сталъ читать дальше.

«А моя покорнѣйшая просьба и докука къ вамъ—не откажите батюшка... вамъ въ Петербургѣ не то, что намъ, здѣшнимъ, чай все извѣстно и все свое да родное. Навязалось на меня проклятое тяжебное дѣло, да вотъ седьмой годъ и съ шеи не могу спихнуть: изволите помнить лѣсишко, что въ двухъ верстахъ отъ моей деревушки? Палата сдѣлала ошибку въ купчей, а противникъ мой, Медвѣдевъ, и уперся на нее: пунктъ, говоритъ, фальшивый, да и только. Медвѣдевъ тотъ самый, что въ вашихъ дачахъ все безъ спросу рыбу ловилъ; покойникъ батюшка вашъ гонялъ его и срамилъ, хотѣлъ на своеволіе и губернатору жаловаться, да по добротѣ, дай Богъ ему царствіе небесное, спускалъ, а не надо бы щадить этакого злодѣя. Помогите, батюшка, Петръ Иванычъ; дѣло теперь въ Правительствующемъ Сенатѣ; не знаю тамъ, въ какомъ департаментѣ и у кого, да вамъ, чай, сейчасъ покажутъ. Съѣздите къ секретарямъ и сенаторамъ, склоните ихъ въ мою пользу, скажите, что отъ ошибки, истинно отъ ошибки въ купчей страдаю: для васъ все сдѣлаютъ. Тамъ же ужь кстати выхлопочите мнѣ патенты на три чина, да пришлите ко мнѣ. Еще, батюшка, Петръ Иванычъ, есть дѣльцо до васъ крайней потребности: взойдите въ сердечное участіе къ безвинно-угнетенному страдальцу и помогите совѣтомъ и дѣломъ. Есть у васъ въ губернскомъ правленіи совѣтникъ Дрожжовъ, золото, а не человѣкъ; умретъ, а своего не выдастъ; въ городѣ другой квартиры не знаю какъ у него,—какъ пріѣду, прямо къ нему, живу по недѣлямъ—и Боже сохрани—и подумать у другаго остановиться, закормитъ, запоитъ; а бостончикъ отъ обѣда до глубокой ночи. И этакого-то человѣка обнесли и нынѣ нудятъ подать просьбу объ отставкѣ. Побывайте, отецъ родной, у всѣхъ вельможъ тамъ, внушите имъ, какой человѣкъ Афанасій Иванычъ: дѣло ли дѣлать—такъ и кипитъ въ рукахъ; скажите, что доносъ, дескать, на него сдѣланъ фальшиво, по проискамъ губернаторскаго секретаря,—васъ послушаютъ, и отпишите съ первой почтой ко мнѣ. Да повидайтесь со стариннымъ моимъ сослуживцемъ, Костяковымъ. Я слышалъ отъ одного пріѣзжаго, Студеницына, вашего же петербургскаго—чай, изволите знать,—

что онъ живетъ на Пескахъ; тамъ ребятишки укажутъ домъ; отпишите съ той же почтой, не полѣнитесь, живъ ли онъ, здоровъ ли, что дѣлаетъ, помнитъ ли меня? Познакомьтесь и подружитесь съ нимъ: прекрасный человѣкъ—душа на распашку, и балагуръ такой. Кончаю письмецо еще просьбицей...»

Адуевъ пересталъ читать, медленно разорвалъ письмо на четыре части и бросилъ подъ столъ въ корзинку, потомъ потянулся и зѣвнулъ.

Онъ взялъ другое письмо и началъ читать также вполголоса.

«Любезный братецъ, милостивый государь, Петръ Иванычъ!»

— Это что за сестрица! сказалъ Адуевъ, глядя на подпись:—Марья Горбатова... Онъ обратилъ лицо къ потолку, припоминая что-то...

— Что бишь это такое? что-то знакомое... ба, вотъ прекрасно — вѣдь братъ женатъ былъ на Горбатовой; это ея сестра, это та... а! помню...

Онъ нахмурился и сталъ читать.

«Хотя рокъ разлучилъ насъ, можетъ быть, на вѣки и бездна лежитъ между нами; прошли года...»

Онъ пропустилъ нѣсколько строчекъ и читалъ далѣе:

«По гробъ жизни буду помнить, какъ мы вмѣстѣ, гуляючи около нашего озера, вы, съ опасностію жизни и здоровья, влѣзли по колѣно въ воду и достали для меня въ тростникѣ большой желтый цвѣтокъ, какъ изъ стебелька онаго текъ какой-то сокъ и перемаралъ намъ руки, а вы почерпнули картузомъ воды, дабы мы могли ихъ вымыть; мы очень много тогда этому смѣялись. Какъ я была тогда счастлива! Сей цвѣтокъ и нынѣ хранится въ книжкѣ...»

Адуевъ остановился. Видно было, что это обстоятельство ему очень не нравилось; онъ даже недовѣрчиво покачалъ головой.

«А цѣла-ли у васъ та ленточка (продолжалъ онъ читать), что вы вытащили изъ моего коммода, не смотря на всѣ мои крики и моленія...»

— Я вытащилъ ленточку! сказалъ онъ вслухъ, сильно нахмурившись. Помолчавъ, пропустилъ еще нѣсколько строкъ и читалъ:

«А я обрекла себя на незамужнюю жизнь и чувствую себя весьма счастливою; никто не запретитъ воспоминать сіи блаженныя времена...»

— А, старая дѣвка! подумалъ Петръ Иванычъ. — Не мудрено, что у ней еще жолтые цвѣты на умѣ? Что тамъ еще?

«Женаты ли вы, любезнѣйшій братецъ, и на комъ? Кто та милая подруга, украсившая собой путь вашего бытія, назовите мнѣ ее; я буду ее любить, какъ родную сестру, и въ мечтахъ соединять образъ ея съ вашимъ, буду молиться. А если не женаты, то по какой причинѣ—напишите откровенно: вашихъ тайнъ никто у меня не прочтетъ, я буду хранить ихъ на своей груди, ихъ вырвутъ у меня вмѣстѣ съ сердцемъ. Не медлите; сгараю нетерпѣніемъ читать ваши неизъяснимыя строки...»

„Нѣтъ, вотъ твои такъ неизъяснимыя строки!“ подумалъ Петръ Иванычъ.

«Я не знала (читалъ онъ), что милый нашъ Сашенька вдругъ вздумаетъ посѣтить великолѣпную столицу,—счастливецъ! увидитъ прекрасные домы и магазины, будетъ наслаждаться роскошью и прижметъ къ своей груди обожаемаго дядю,—а я, я въ то время буду лить слезы, вспоминая счастливое время. Если бы я знала о его отъѣздѣ, дни и ночи сидѣла бы и вышила бы для васъ подушку: арапъ съ двумя собаками; вы не повѣрите, какъ я много разъ плакала, глядя на сей узоръ: что можетъ быть святѣе дружбы и вѣрности?... Теперь меня занимаетъ сія одна мысль; ей посвящу дни свои, но не имѣю здѣсь хорошей шерсти, и потому покорнѣйше прошу, любезнѣйшій братецъ, выслать, вотъ по этимъ обращикамъ, что я тутъ вложила, что ни есть наилучшей англійской шерсти, въ самомъ скоромъ времени, изъ перваго магазина. Но что я говорю? какая ужасная мысль останавливаетъ перо мое! можетъ быть, уже вы забыли насъ, и гдѣ вамъ помнить бѣдную страдалицу которая удалилась отъ свѣта и льётъ слезы? Но нѣтъ! я не могу подумать, чтобъ вы могли быть извергомъ, какъ всѣ мужчины: нѣтъ! мнѣ сердце говоритъ, что вы сохранили къ намъ ко всѣмъ прежнія чувствованія среди роскоши и удовольствій великолѣпной столицы. Сія мысль служитъ бальзамомъ для моего страждущаго сердца. Простите, не могу болѣе продолжать, рука моя дрожитъ...»

Остаюсь по гробъ ваша

Марья Горбатова.

P. S. Нѣтъ ли, братецъ, у васъ хорошенькихъ книжекъ? пришлите, если вамъ не нужно: я бы на каждой страницѣ вспоминала васъ, плакала бы, или возьмите въ лавкѣ новыхъ, коли недорого. Говорятъ, очень хороши сочиненія господина Загоскина и господина Марлинскаго,—хоть ихъ; а то я еще видѣла въ газетахъ заглавіе—О Предразсудкахъ, соч. г-на Пузины—пришлите,—я терпѣть не могу предразсудковъ».

Прочитавъ, Адуевъ хотѣлъ отправить туда-же и это письмо, но остановился.

— Нѣтъ, подумалъ онъ, сберегу: есть охотники до такихъ писемъ; иные собираютъ цѣлыя коллекціи,—можетъ быть, случится одолжить кого-нибудь.

Онъ бросилъ письмо въ бисерную корзинку, висѣвшую на стѣнѣ, потомъ взялъ третье письмо и началъ читать:

Любезнѣйшій мой деверекъ Петръ Иванычъ!

«Помните ли, какъ семнадцать годковъ тому назадъ, мы справляли вашъ отъѣздъ? Вотъ привелъ Богъ благословить, на дальній путь и собственное чадо. Полюбуйтесь, батюшка, на него, да вспомните покойника, нашего голубчика, Ѳедора Иваныча: вѣдь Сашенька весь въ него. Богъ одинъ знаетъ, что вытерпѣло мое материнское сердце, отпускаючи его на чужую сторону. Отправляю его, моего друга, прямо къ вамъ: не велѣла нигдѣ приставать, окромѣ васъ...

Адуевъ опять покачалъ головой.

— Глупая старуха! проворчалъ онъ, и читалъ:

«Онъ, пожалуй, по неопытности, остановился бы на постояломъ дворѣ, но я знаю, какъ это можетъ огорчить роднаго дядю, и внушила взъѣхать прямо къ вамъ. То-то будетъ у васъ радости при свиданіи! Не оставьте его, любезный деверекъ, вашими совѣтами и возьмите на свое попеченіе; передаю его вамъ съ рукъ на руки.

Петръ Иванычъ опять остановился.

«Вѣдь вы тамъ одинъ у него (читалъ онъ потомъ). — Присмотрите за нимъ, не балуйте ужь слишкомъ-то, да и не взыскивайте очень строго взыскать-то будетъ кому, взыщутъ и чужіе, а приласкать некому, кромѣ своего; онъ же самъ такой ласковый: вы только увидите его, такъ и не отойдете. И начальнику-то, у котораго онъ будетъ служить, скажите, чтобъ берегъ моего Сашеньку и обращался бы съ нимъ понѣжнѣе пуще всего: онъ у меня былъ нѣженькій. Остерегайте его отъ вина и отъ картъ.

*

Ночью,—вѣдь вы, я чай, въ одной комнатѣ будете спать,—Сашенька привыкъ лежать на спинѣ: отъ этого, сердечный, больно стонетъ и мечется;—вы тихонько разбудите его да перекрестите: сейчасъ и пройдетъ, а лѣтомъ покрывайте ему ротъ платочкомъ: онъ его разѣваетъ во снѣ, а проклятыя мухи такъ туда и лѣзутъ подъ утро. Не оставьте его также въ случаѣ нужды и деньгами...

Адуевъ нахмурился, но вскорѣ лицо его опять прояснилось, когда онъ прочелъ далѣе.

«А я вышлю, что понадобится, да и ему въ руки дала теперь тысячу рублей, только чтобъ онъ не тратилъ ихъ на пустяки, да чтобъ у него подлипалы не выманили, вѣдь тамъ у васъ, въ столицѣ, слышь, много мошенниковъ и всякихъ безсовѣстныхъ людей. А затѣмъ, простите, дорогой деверь—совсѣмъ отвыкла писать. Остаюсь душевно

почитающая васъ невѣстка

А. Адуева.

P. S. Посылаю при этомъ нашихъ деревенскихъ гостинцевъ—малинки изъ своего сада, бѣлаго меду—чистый, какъ слеза,—полотна голландскаго на двѣ дюжины рубашекъ, да домашняго вареньица. Кушайте и носите на здоровье, а выйдутъ—еще пришлю. Присмотрите и за Евсеемъ: онъ смирный и не пьющій, да пожалуй тамъ, въ столицѣ, избалуется,—тогда можно и посѣчь».

Петръ Иванычъ медленно положилъ письмо на столъ, еще медленнѣе досталъ сигару и, покатавъ ее въ рукахъ, началъ курить. Долго обдумывалъ онъ эту штуку, какъ онъ называлъ ее мысленно, которую съиграла съ нимъ его невѣстка. Онъ строго разобралъ въ умѣ и то, что сдѣлали съ нимъ, и то, что надо было дѣлать ему самому.

Вотъ на какія посылки разложилъ онъ весь этотъ случай. Племянника своего онъ не знаетъ, слѣдовательно и не любитъ, а поэтому сердце его не возлагаетъ на него никакихъ обязанностей: надо рѣшать дѣло по законамъ разсудка и справедливости. Братъ его женился, наслаждался супружеской жизнію, — за что же онъ, Петръ Иванычъ, обременитъ себя заботливостію о братнемъ сынѣ, онъ, ненаслаждавшійся выгодами супружества? Конечно не за что.

Но съ другой стороны представлялось вотъ что: мать отправила сына прямо къ нему, на его руки, не зная, захочетъ ли онъ взять на себя эту обузу, даже не зная, живъ ли онъ и въ состояніи ли сдѣлать что-нибудь для племянника. Конечно это глупо; но если дѣло уже сдѣлано и племянникъ въ Петербургѣ, безъ помощи, безъ знакомыхъ, даже безъ рекомендательныхъ писемъ, молодой, безъ всякой опытности... въ правѣ ли онъ оставить его на произволъ судьбы, бросить въ толпѣ, безъ наставленій, безъ совѣта, и если съ нимъ случится что-нибудь недоброе — не будетъ ли онъ отвѣчать передъ совѣстью?...

Тутъ кстати Адуевъ вспомнилъ, какъ, семнадцать лѣтъ назадъ, покойный братъ и та же Анна Павловна отправляли его самого. Они, конечно, не могли ничего сдѣлать для него въ Петербургѣ, онъ самъ нашелъ себѣ дорогу... но онъ вспомнилъ ея слезы при прощаньи, ея благословенія, какъ матери, ея ласки, ея пироги, и наконецъ, ея послѣднія слова: „вотъ, когда выростетъ Сашенька — тогда еще трехлѣтній ребенокъ, — можетъ быть, и вы, братецъ, приласкаете его... Тутъ Петръ Иванычъ всталъ и скорыми шагами пошелъ въ переднюю...

— Василій! сказалъ онъ:—когда придетъ мой племянникъ, то не отказывай. Да поди узнай, занята ли здѣсь вверху комната, что отдавалась недавно, и если не занята, такъ скажи, что я оставляю ее за собой. А! это гостинцы! Ну, что мы станемъ съ ними дѣлать?

— Давича нашъ лавочникъ видѣлъ, какъ несли ихъ вверхъ; онъ спрашивалъ, не уступимъ ли ему медъ:—„я, говоритъ, хорошую цѣну дамъ“, и малину беретъ..?

— Прекрасно! отдай ему. Ну, а полотно куда дѣвать? развѣ не годится ли на чехлы?... Такъ спрячь полотно и варенье спрячь,—его можно ѣсть: кажется, порядочное.

Только-что Петръ Иванычъ расположился бриться, какъ

явился Александръ Өедорычъ. Онъ было бросился на шею къ дядѣ, но тотъ, пожимая мощной рукой его нѣжную, юношескую руку, держалъ его въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ себя, какъ-будто для того, чтобы наглядѣться на него, а болѣе, кажется, за тѣмъ, чтобы остановить этотъ порывъ и ограничиться пожатіемъ.

— Мать твоя правду пишетъ, сказалъ онъ:—ты живой портретъ покойнаго брата: я бы узналъ тебя на улицѣ. Но ты лучше его. Ну, я безъ церемоніи буду продолжать бриться, а ты садись вотъ сюда—напротивъ, чтобы я могъ видѣть тебя, и давай бесѣдовать.

За этимъ Петръ Иванычъ началъ дѣлать свое дѣло, какъ-будто тутъ никого не было, и намыливалъ щеки, натягивая языкомъ, то ту, то другую. Александръ былъ сконфуженъ этимъ пріемомъ и не зналъ, какъ начать разговоръ. Онъ приписалъ холодность дяди тому, что не остановился прямо у него.

— Ну, что твоя матушка? здорова ли? Я думаю постарѣла? спросилъ дядя, дѣлая разныя гримасы передъ зеркаломъ.

— Маменька, слава Богу, здорова, кланяется вамъ и тетушка Марья Павловна тоже, сказалъ робко Александръ Өедорычъ. — Тетушка поручила мнѣ обнять васъ... Онъ всталъ и подошелъ къ дядѣ, чтобъ поцѣловать его въ щеку, или въ голову, или въ плечо, или, наконецъ, во что удастся.

— Тетушкѣ твоей пора бы съ лѣтами быть умнѣе, а она, я вижу, все такая же дура, какъ была двадцать лѣтъ тому назадъ...

Озадаченный Александръ задомъ воротился на свое мѣсто.

— Вы получили, дядюшка, письмо?... сказалъ онъ.

— Да, получилъ.

— Василій Тихонычъ Заѣзжаловъ, началъ Александръ Өедорычъ: убѣдительно проситъ васъ справиться и похлопотать о его дѣлѣ...

— Да, онъ пишетъ ко мнѣ... У васъ еще не перевелись такіе ослы?

Александръ не зналъ, что и подумать—такъ его сразили эти отзывы.

— Извините, дядюшка... началъ онъ почти съ трепетомъ.

— Что?

— Извините, что я не пріѣхалъ прямо къ вамъ, а остановился въ конторѣ дилижансовъ... Я не зналъ вашей квартиры...

— Въ чемъ тутъ извиняться? Ты очень хорошо сдѣлалъ. Матушка твоя, Богъ знаетъ, что выдумала. Какъ бы ты ко мнѣ пріѣхалъ, не знавши, можно ли у меня остановиться, или нѣтъ? Квартира у меня, какъ видишь, холостая, для одного: зала, гостиная, столовая, кабинетъ, еще рабочій кабинетъ, гардеробная да туалетная — лишней комнаты нѣтъ. Я бы стѣснилъ тебя, а ты меня... А я нашелъ для тебя здѣсь же въ домѣ квартиру...

— Ахъ, дядюшка! сказалъ Александръ:—какъ мнѣ благодарить васъ за эту заботливость?

И онъ опять вскочилъ съ мѣста, съ намѣреніемъ словомъ и дѣломъ доказать свою признательность.

— Тише, тише, не трогай! заговорилъ дядя: — бритвы преострыя, того и гляди обрѣжешься самъ и меня обрѣжешь.

Александръ увидѣлъ, что ему, несмотря на всѣ усилія, не удастся въ тотъ день ни разу обнять и прижать къ груди обожаемаго дядю, и отложилъ это намѣреніе до другаго раза.

— Комната превеселенькая, началъ Петръ Иванычъ:— окнами немного въ стѣну приходится, да вѣдь ты не станешь все у окна сидѣть; если дома, такъ займешься чѣмъ-нибудь, а въ окна зѣвать некогда. И не дорога́ — сорокъ

рублей въ мѣсяцъ. Для человѣка есть передняя. Надо пріучаться тебѣ съ самаго начала жить одному, безъ няньки; завести свое маленькое хозяйство, т. е. имѣть дома свой столъ, чай, словомъ, свой уголъ—un chez soi, какъ говорятъ французы. Тамъ ты можешь свободно принимать кого хочешь... Впрочемъ, когда я дома обѣдаю, то милости прошу и тебя, а въ другіе дни — здѣсь молодые люди обыкновенно обѣдаютъ въ трактирѣ, — но я совѣтую тебѣ посылать за своимъ обѣдомъ: дома и покойнѣе и не рискуешь столкнуться Богъ знаетъ съ кѣмъ. Такъ ли?

— Я, дядюшка, очень благодаренъ...

— Что за благодарность? вѣдь ты мнѣ родня? я исполняю свой долгъ. Ну, я теперь одѣнусь и поѣду; у меня и служба и заводъ...

— Я не зналъ, дядюшка, что у васъ есть заводъ.

— Стекляный и фарфоровый; впрочемъ, я не одинъ: насъ трое компаніоновъ.

— Хорошо идетъ?

— Да, порядочно; сбываемъ больше во внутреннія губерніи на ярмарки. Послѣдніе два года—хоть куда! Еслибъ еще этакъ лѣтъ пять, такъ и того... Одинъ компаніонъ, правда, не очень надеженъ—все мотаетъ, да я умѣю держать его въ рукахъ. Ну, до свиданія. Ты теперь посмотри городъ, пофлянируй, пообѣдай гдѣ-нибудь, а вечеромъ приходи ко мнѣ пить чай, я дома буду,—тогда поговоримъ. Эй, Василій! ты покажешь имъ комнату и поможешь тамъ устроиться.

„Такъ вотъ какъ здѣсь, въ Петербургѣ... думалъ Александръ, сидя въ новомъ своемъ жилищѣ:—если родной дядя такъ, чтожь прочіе?...“

Молодой Адуевъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ въ сильной задумчивости, а Евсей говорилъ самъ съ собою, убирая комнату:

„Что это за житье здѣсь, ворчалъ онъ:—у Петра Иваныча кухня-то, слышь, разъ въ мѣсяцъ топится, люди-то у чужихъ обѣдаютъ... Эко, Господи! ну, народецъ! нечего сказать, а еще петербургскіе называются! У насъ и собака каждая изъ своей плошки лакаетъ.“

Александръ, кажется, раздѣлялъ мнѣніе Евсея, хотя и молчалъ. Онъ подошелъ къ окну и увидѣлъ однѣ трубы, да крыши, да черные, грязные, кирпичные бока домовъ... и сравнилъ съ тѣмъ, что видѣлъ, назадъ тому двѣ недѣли, изъ окна своего деревенскаго дома. Ему стало грустно.

Онъ вышелъ на улицу—суматоха, всѣ бѣгутъ куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящихъ, и то развѣ для того, чтобъ не наткнуться другъ на друга. Онъ вспомнилъ про свой губернскій городъ, гдѣ каждая встрѣча, съ кѣмъ бы то ни было, почему-нибудь интереспа. То вотъ Иванъ Иванычъ идетъ къ Петру Петровичу — и всѣ въ городѣ знаютъ, зачѣмъ. То Марья Мартыновна ѣдетъ отъ вечерни, то Аѳанасій Савичъ на рыбную ловлю. Тамъ проскакалъ, сломя голову, жандармъ отъ губернатора къ доктору, и всякій знаетъ, что ея превосходительство изволитъ родить, хотя по мнѣнію разныхъ кумушекъ и бабушекъ, объ этомъ заранѣе знать не слѣдовало бы. Всѣ спрашиваютъ что: дочку или сына? Барыни готовятъ парадные чепцы. Вонъ Матвѣй Матвѣичъ вышелъ изъ дому, съ толстой палкой, въ шестомъ часу вечера, и всякому извѣстно, что онъ идетъ дѣлать вечерній моціонъ, что у него безъ того желудокъ не варитъ, и что онъ остановится непремѣнно у окна стараго совѣтника, который, также извѣстно, пьетъ въ это время чай. Съ кѣмъ ни встрѣтишься— поклонъ да пару словъ, а съ кѣмъ и не кланяешься, такъ знаешь, кто онъ, куда и зачѣмъ идетъ, и у того въ глазахъ написано: и я знаю, кто вы, куда и зачѣмъ идете. Если, наконецъ, встрѣтятся незнакомые, еще не видавшіе другъ

друга, то вдругъ лица обоихъ превращаются въ знаки вопроса; они остановятся и оборотятся назадъ раза два, а пришедши домой, опишутъ и костюмъ и походку новаго лица, и пойдутъ толки и догадки, и кто, и откуда, и за чѣмъ. А здѣсь такъ взглядомъ и сталкиваютъ прочь съ дороги, какъ-будто всѣ враги между собою.

Александръ сначала съ провинціальнымъ любопытствомъ вглядывался въ каждаго встрѣчнаго и каждаго порядочно одѣтаго человѣка, принимая ихъ, то за какого-нибудь министра или посланника, то за писателя: „не онъ ли? думалъ онъ:—не этотъ ли?“ Но вскорѣ это надоѣло ему — министры, писатели, посланники встрѣчались на каждомъ шагу.

Онъ посмотрѣлъ на домы—и ему стало еще скучнѣе: на него наводили тоску эти однообразныя каменныя громады, которыя, какъ колоссальныя гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою. Вотъ кончается улица, сейчасъ будетъ приволье глазамъ, думалъ онъ—или горка, или зелень, или развалившійся заборъ,—нѣтъ, опять начинается та же каменная ограда одинакихъ домовъ, съ четырьмя рядами оконъ. И эта улица, кончилась, ее преграждаетъ опять то же, а тамъ новый порядокъ такихъ же домовъ. Заглянешь направо, налѣво—всюду обступили васъ, какъ рать исполиновъ, дома́, дома́ и дома́, камень и камень, все одно да одно... нѣтъ простора и выхода взгляду: заперты со всѣхъ сторонъ, — кажется, и мысли и чувства людскія также заперты.

Тяжелы первыя впечатлѣнія провинціала въ Петербургѣ. Ему дико, грустно; его никто не замѣчаетъ; онъ потерялся здѣсь; ни новости, ни разнообразіе, ни толпа не развлекаютъ его. Провинціальный эгоизмъ его объявляетъ войну всему, что онъ видитъ здѣсь и чего не видѣлъ у себя. Онъ задумывается и мысленно переносится въ свой городъ. Ка-

кой отрадный видъ! Одинъ домъ съ остроконечной крышей и съ палисадничкомъ изъ акацій. На крышѣ надстройка, пріютъ голубей,—купецъ Изюминъ охотникъ гонять ихъ: для этого онъ взялъ да и выстроилъ голубятню на крышѣ; и по утрамъ и по вечерамъ, въ колпакѣ, въ халатѣ, съ палкой, къ концу которой привязана тряпица, стоитъ на крышѣ и посвистываетъ, размахивая палкой. Другой домъ—точно фонарь: со всѣхъ четырехъ сторонъ весь въ окнахъ и съ плоской крышей, домъ давней постройки; кажется, того и гляди, развалится или сгоритъ отъ самовозгорѣнія; тесъ принялъ какой-то свѣтло-сѣрый цвѣтъ. Страшно жить въ такомъ домѣ, но тамъ живутъ. Хозяинъ иногда, правда, посмотритъ на скосившійся потолокъ и покачаетъ головой, примолвивъ: простоитъ ли до весны? Авось! скажетъ потомъ и продолжаетъ жить, опасаясь не за себя, а за карманъ. Подлѣ него кокетливо красуется дикинькій домъ лекаря, раскинувшійся полукружіемъ, съ двумя похожими на будки флигелями, а этотъ весь спрятался въ зелени; тотъ обернулся на улицу задомъ, а тутъ на двѣ версты тянется заборъ, изъ-за котораго выглядываютъ съ деревьевъ румяныя яблоки, искушеніе мальчишекъ. Отъ церквей домы отступили на почтительное разстояніе. Кругомъ ихъ растетъ густая трава, лежатъ надгробныя плиты. Присутственныя мѣста—такъ и видно, что присутственныя мѣста: близко безъ надобности никто не подходитъ. А тутъ, въ столицѣ, ихъ и не отличишь отъ простыхъ домовъ, да еще, срамъ сказать, и лавочка тутъ же въ домѣ. А пройдешь тамъ, въ городѣ, двѣ, три улицы, ужь и чуешь вольный воздухъ, начинаются плетни, за ними огороды, а тамъ и чистое поле съ яровымъ. А тишина, а неподвижность, а скука—и на улицѣ и въ людяхъ тотъ же благодатный застой! И всѣ живутъ вольно, на распашку, никому не тѣсно; даже куры и пѣтухи свободно расхаживаютъ по

улицамъ, козы и коровы щиплютъ траву, ребятишки пускаютъ змѣй.

А здѣсь... какая тоска! И провинціалъ вздыхаетъ, и по заборѣ, который напротивъ его оконъ, и по пыльной и грязной улицѣ, и по тряскому мосту, и по вывѣскѣ на питейной конторѣ. Ему противно сознаться, что Исакіевскій соборъ лучше и выше собора въ его городѣ, что зала Дворянскаго Собранія больше залы тамошней. Онъ сердито молчитъ при подобныхъ сравненіяхъ, а иногда рискнетъ сказать, что такую-то матерію или такое-то вино можно у нихъ достать и лучше и дешевле, а что на заморскія рѣдкости, этихъ большихъ раковъ и раковинъ, да красныхъ рыбокъ, тамъ и смотрѣть не станутъ, и что вольно, дескать, вамъ покупать у иностранцевъ разныя матеріи да бездѣлушки; они обдираютъ васъ, а вы и рады быть олухами! За то, какъ онъ вдругъ обрадуется, какъ посравнитъ да увидитъ, что у него въ городѣ лучше икра, груши или калачи.— „Такъ это-то называется груша у васъ? скажетъ онъ:—да у насъ это *и люди* не станутъ ѣсть!...“

Еще болѣе всгруснется провинціалу, какъ онъ войдетъ въ одинъ изъ этихъ домовъ, съ письмомъ издалека. Онъ думаетъ, вотъ отворятся ему широкія объятія, не будутъ знать какъ принять его, гдѣ посадить, какъ угостить; станутъ искусно вывѣдывать, какое его любимое блюдо, какъ ему станетъ совѣстно отъ этихъ ласкъ, какъ онъ, подъ конецъ, броситъ всѣ церемоніи, расцѣлуетъ хозяина и хозяйку, станетъ говорить имъ *ты*, какъ-будто двадцать лѣтъ знакомы: всѣ подопьютъ наливочки, можетъ быть, запоютъ хоромъ пѣсню...

Куда! на него едва глядятъ, морщатся, извиняются занятіями; если есть дѣло, такъ назначаютъ такой часъ, когда не обѣдаютъ и не ужинаютъ, а адмиральскаго часу вовсе не знаютъ — ни водки, ни закуски. Хозяинъ пятится

отъ объятій, смотритъ на гостя какъ-то странно. Въ сосѣдней комнатѣ звенятъ ложками, стаканами: тутъ-то бы и пригласить, а его искусными намеками стараются выпроводить... Все на заперти, вездѣ колокольчики: не мизерно ли это? да какія-то холодныя нелюдимыя лица. А тамъ, у насъ, входи смѣло; если отобѣдали, такъ опять для гостя станутъ обѣдать; самоваръ утромъ и вечеромъ не сходитъ со стола, а колокольчиковъ и въ магазинахъ нѣтъ. Обнимаются, цѣлуются всѣ, и встрѣчный и поперечный. Сосѣдъ тамъ—такъ настоящій сосѣдъ, живутъ рука въ руку, душа въ душу; родственникъ—такъ родственникъ: умретъ за своего... эхъ грустно!

Александръ добрался до Адмиралтейской площади и остолбенѣлъ. Онъ съ часъ простоялъ передъ *Мѣднымъ Всадникомъ*, но не съ горькимъ упрекомъ въ душѣ, какъ бѣдный *Евгеній*, а съ восторженной думой. Взглянулъ на Неву, окружающія ее зданія—и глаза его засверкали. Онъ вдругъ застыдился своего пристрастія къ тряскимъ мостамъ, палисадникамъ, разрушеннымъ заборамъ. Ему стало весело и легко. И суматоха, и толпа—все въ глазахъ его получило другое значеніе. Замелькали опять надежды, подавленныя на время грустнымъ впечатлѣніемъ; новая жизнь отверзала ему объятія и манила къ чему-то неизвѣстному. Сердце его сильно билось. Онъ мечталъ о благородномъ трудѣ, о высокихъ стремленіяхъ, и преважно выступалъ по Невскому проспекту, считая себя гражданиномъ новаго міра... Въ этихъ мечтахъ воротился онъ домой.

Вечеромъ, въ 11 часовъ, дядя прислалъ звать его пить чай.

— Я только-что изъ театра, сказалъ дядя, лежа на диванѣ.

— Какъ жаль, что вы не сказали мнѣ давича, дядюшка: я бы пошелъ вмѣстѣ съ вами.

— Я былъ въ креслахъ, куда жь ты, на колѣни бы ко мнѣ сѣлъ? сказалъ Петръ Иванычъ:—вотъ завтра поди-себѣ одинъ.

— Одному грустно въ толпѣ, дядюшка; не съ кѣмъ подѣлиться впечатлѣніемъ...

— И не зачѣмъ! надо умѣть и чувствовать и думать, словомъ, жить одному; современемъ понадобится. Да еще тебѣ до театра надо одѣться прилично.

Александръ посмотрѣлъ на свое платье и удивился словамъ дяди.—Чѣмъ же я неприлично одѣтъ? думалъ онъ:—синій сюртукъ, синіе панталоны...

— У меня, дядюшка, много платья, сказалъ онъ:—шилъ Кенигштейнъ; онъ у насъ на губернатора работаетъ.

— Нужды нѣтъ, все-таки оно не годится; на-дняхъ я завезу тебя къ своему портному; но это пустяки. Есть о чемъ важнѣе поговорить. Скажи-ка, зачѣмъ ты сюда пріѣхалъ?

— Я пріѣхалъ... жить.

— Жить? т. е. если ты разумѣешь подъ этимъ ѣсть, пить и спать, такъ не стоило труда ѣздить такъ далеко: тебѣ такъ не удастся ни поѣсть, ни поспать здѣсь, какъ тамъ, у себя; а если ты думалъ что-нибудь другое, такъ объяснись...

— Пользоваться жизнію, хотѣлъ я сказать, прибавилъ Александръ, весь покраснѣвъ:—мнѣ въ деревнѣ надоѣло—все одно и то же...

— А! вотъ что! Что жь, ты наймешь бель-этажъ на Невскомъ проспектѣ, заведешь карету, составишь большой кругъ знакомства, откроешь у себя дни?

— Вѣдь это очень дорого, замѣтилъ наивно Александръ.

— Мать пишетъ, что она дала тебѣ тысячу рублей: этого мало, сказалъ Петръ Иванычъ. — Вотъ одинъ мой знакомый недавно пріѣхалъ сюда, ему тоже надоѣло въ деревнѣ; онъ хочетъ пользоваться жизнію, такъ тотъ привезъ

пятьдесятъ тысячъ и ежегодно будетъ получать по стольку же. Онъ точно будетъ пользоваться жизнію въ Петербургѣ, а ты—нѣтъ! ты не за тѣмъ пріѣхалъ.

— По словамъ вашимъ, дядюшка, выходитъ, что я какъ-будто самъ не знаю, зачѣмъ я пріѣхалъ.

— Почти такъ; это лучше сказано: тутъ есть правда; только все еще нехорошо. Неужели ты, какъ сбирался сюда, не задалъ себѣ этого вопроса: зачѣмъ я ѣду? Это было бы не лишнее.

— Прежде, нежели я задалъ себѣ этотъ вопросъ, у меня уже былъ готовъ отвѣтъ! съ гордостію отвѣчалъ Александръ.

— Такъ что же ты не говоришь? ну, зачѣмъ?

— Меня влекло какое-то неодолимое стремленіе, жажда благородной дѣятельности; во мнѣ кипѣло желаніе уяснить и осуществить...

Петръ Иванычъ приподнялся немного съ дивана, вынулъ изъ рта сигару и навострилъ уши.

— Осуществить тѣ надежды, которыя толпились...

— Не пишешь ли ты стиховъ? вдругъ спросилъ Петръ Иванычъ.

— И прозой, дядюшка; прикажете принести?

— Нѣтъ, нѣтъ!... послѣ когда-нибудь; я такъ только спросилъ.

— А что?

— Да ты такъ говоришь...

— Развѣ нехорошо?

— Нѣтъ,—можетъ быть, очень хорошо, да дико.

— У насъ профессоръ эстетики такъ говорилъ и считался самымъ краснорѣчивымъ профессоромъ, сказалъ смутившійся Александръ.

— О чемъ же онъ такъ говорилъ?

— О своемъ предметѣ.

— А!

— Какъ же, дядюшка, мнѣ говорить?

— Попроще, какъ всѣ, а не какъ профессоръ эстетики. Впрочемъ, этого вдругъ растолковать нельзя; ты послѣ самъ увидишь. Ты, кажется, хочешь сказать, сколько я могу припомнить университетскія лекціи и перевести твои слова, что ты пріѣхалъ сюда дѣлать карьеру и фортуну— такъ ли?

— Да, дядюшка, карьеру...

— И фортуну, прибавилъ Петръ Иванычъ: что за карьера безъ фортуны? Мысль хороша—только... напрасно ты пріѣзжалъ.

— Отчего же? Надѣюсь, вы не по собственному опыту говорите это? сказалъ Александръ, глядя вокругъ себя.

— Дѣльно замѣчено. Точно, я хорошо обставленъ и дѣла мои недурны. Но, сколько я посмотрю, ты и я—большая разница.

— Я никакъ не смѣю сравнивать себя съ вами...

— Не въ томъ дѣло; ты, можетъ быть, вдесятеро умнѣе и лучше меня... да у тебя, кажется, натура не такая, чтобъ поддалась новому порядку; а тамошній порядокъ — ой, ой! Ты, вонъ, изнѣженъ и избалованъ матерью; гдѣ тебѣ выдержать все, что я выдержалъ? Ты, должно быть, мечтатель, а мечтать здѣсь некогда; подобные намъ ѣздятъ сюда дѣло дѣлать.

— Можетъ-быть, я въ состояніи что-нибудь сдѣлать, если вы не оставите меня вашими совѣтами и опытностью...

— Совѣтовать—боюсь. Я не ручаюсь за твою деревенскую натуру: выйдетъ вздоръ—станешь пенять на меня; а мнѣніе свое сказать, изволь—не отказываюсь, ты слушай или не слушай, какъ хочешь. Да нѣтъ! я не надѣюсь на удачу. У васъ тамъ свой взглядъ на жизнь: какъ переработаешь его? Вы помѣшались на любви, на дружбѣ, да на прелестяхъ жизни, на счастьи; думаютъ, что жизнь только

въ этомъ и состоитъ: ахъ да охъ! плачутъ, хнычутъ да любезничаютъ, а дѣла не дѣлаютъ... какъ я отучу тебя отъ всего этого?—мудрено!

— Я постараюсь, дядюшка, приноровиться къ современнымъ понятіямъ. Уже сегодня, глядя на эти огромныя зданія, на корабли, принесшіе намъ дары дальнихъ странъ, я подумалъ объ успѣхахъ современнаго человѣчества, я понялъ волненіе этой разумно-дѣятельной толпы, готовъ слиться съ нею...

Петръ Иванычъ, при этомъ монологѣ, значительно поднялъ брови и пристально посмотрѣлъ на племянника. Тотъ остановился.

— Дѣло, кажется, простое, сказалъ дядя:—а они, Богъ знаетъ, что̀ заберутъ въ голову... „разумно-дѣятельная толпа!!“ Право, лучше бы тебѣ остаться тамъ. Прожилъ бы ты вѣкъ свой славно: былъ бы тамъ умнѣе всѣхъ, прослылъ бы сочинителемъ и краснорѣчивымъ человѣкомъ, вѣрилъ бы въ вѣчную и неизмѣнную дружбу и любовь, въ родство, счастье, женился бы и незамѣтно дожилъ бы до старости и въ самомъ дѣлѣ былъ бы по своему счастливъ; а нездѣшнему ты счастливъ не будешь: здѣсь всѣ эти понятія надо перевернуть вверхъ дномъ.

— Какъ, дядюшка, развѣ дружба и любовь—эти священныя и высокія чувства, упавшія какъ-будто ненарочно съ неба въ земную грязь...

— Что?

Александръ замолчалъ.

— „Любовь и дружба въ грязь упали!“ Ну, какъ ты этакъ здѣсь брякнешь?

— Развѣ онѣ не тѣ же и здѣсь, какъ тамъ? хочу я сказать.

— Есть и здѣсь любовь и дружба,—гдѣ нѣтъ этого добра? только не такая, какъ тамъ, у васъ; со временемъ

увидишь самъ... Ты прежде всего забудь эти *священныя* да *небесныя* чувства, а приглядывайся къ дѣлу такъ, проще, какъ оно есть, право лучше, будешь и говорить проще. Впрочемъ, это не мое дѣло. Ты пріѣхалъ сюда, не ворочаться же назадъ: если не найдешь чего искалъ, пеняй на себя. Я предупрежу тебя, что̀ хорошо, по моему мнѣнію, что̀ дурно, а тамъ, какъ хочешь... Попробуемъ, можетъ быть, удастся что-нибудь изъ тебя сдѣлать. Да! матушка просила снабжать тебя деньгами... Знаешь что я тебѣ скажу: не проси у меня ихъ: это всегда нарушаетъ доброе согласіе между порядочными людьми. Впрочемъ, не думай, чтобъ я тебѣ отказывалъ: нѣтъ, если придется такъ, что другаго средства не будетъ, такъ ты, нечего дѣлать, обратись ко мнѣ... Все у дяди лучше взять, чѣмъ у чужаго по-крайней-мѣрѣ безъ процентовъ. Да чтобъ не прибѣгать къ этой крайности, я тебѣ поскорѣй найду мѣсто, чтобъ ты могъ доставать деньги. Ну, до свиданья. Заходи поутру, мы переговоримъ что̀ и какъ начать.

Александръ Ѳедорычъ пошелъ домой.

— Послушай, не хочешь ли ты поужинать? сказалъ Петръ Иванычъ ему въ слѣдъ.

— Да, дядюшка... я бы, пожалуй...

— У меня ничего нѣтъ.

Александръ молчалъ. „Зачѣмъ же это обязательное предложеніе?“ думалъ онъ.

— Стола я дома не держу, а трактиры теперь заперты, продолжалъ дядя.—Вотъ тебѣ и урокъ на первый случай —привыкай. У васъ встаютъ и ложатся по солнцу, ѣдятъ, пьютъ, когда велитъ природа; холодно, такъ надѣнутъ себѣ шапку съ наушниками, да и знать ничего не хотятъ; свѣтло—такъ день, темно—такъ ночь. У тебя вонъ слипаются глаза, а я еще за работу сяду: къ концу мѣсяца надо счеты свести. Дышите вы тамъ круглый годъ свѣжимъ

воздухомъ, а здѣсь и это удовольствіе стоитъ денегъ — и все такъ! совершенные антиподы! Здѣсь вотъ и не ужинаютъ, особенно на свой счетъ, и на мой тоже. Это тебѣ даже полезно: не станешь стонать и метаться по ночамъ, а крестить мнѣ тебя некогда.

— Къ этому, дядюшка, легко привыкнуть...

— Хорошо, если такъ. А у васъ все еще по старому: можно притти въ гости ночью и сей-часъ ужинъ состряпаютъ?

— Что жь, дядюшка, надѣюсь этой черты порицать нельзя. Добродѣтель русскихъ...

— Полно! какая тутъ добродѣтель. Отъ скуки тамъ всякому мерзавцу рады:—„милости просимъ, кушай, сколько хочешь, только займи какъ-нибудь нашу праздность, помоги убить время, да дай взглянуть на тебя: все-таки что-нибудь новое; а кушанья не пожалѣемъ: это намъ здѣсь ровно ничего не стоитъ...“ Препротивная добродѣтель!

Такъ Александръ легъ спать и старался разгадать, что́ за человѣкъ его дядя. Онъ припомнилъ весь разговоръ; многаго не понялъ, другому не совсѣмъ вѣрилъ.

„Не хорошо говорю!“ думалъ онъ: любовь и дружба не вѣчны?“ не смѣется ли надо мною дядюшка? Неужели здѣсь такой порядокъ? Что же Софьѣ и нравилось во мнѣ особенно, какъ не даръ слова? А любовь ея неужели не вѣчна?... И неужели здѣсь въ самомъ дѣлѣ не ужинаютъ?“

Онъ еще долго ворочался въ постели: голова, полная тревожныхъ мыслей, и пустой желудокъ не давали ему спать.

Прошло недѣли двѣ.

Петръ Иванычъ день ото дня становился довольнѣе своимъ племянникомъ.

— У него есть тактъ, говорилъ онъ одному своему компаніону по заводу:—чего бы я никакъ не ожидалъ отъ де-

ревенскаго мальчика. Онъ не навязывается, не ходитъ ко мнѣ безъ зову; и когда замѣтитъ, что онъ лишній, тотчасъ уйдетъ; и денегъ не проситъ: онъ малый покойный. Есть странности... лѣзетъ цѣловаться, говоритъ какъ семинаристъ... ну, да отъ этого отвыкнетъ; и то хорошо, что онъ не сѣлъ мнѣ на шею.

— Есть состояніе? спросилъ тотъ.

— Нѣтъ; какихъ-нибудь сто душонокъ.

— Что жь! если есть способности, такъ онъ пойдетъ здѣсь... вѣдь и вы не съ большаго начали, а вотъ, слава Богу...

— Нѣтъ! куда! ничего не сдѣлаетъ. Эта глупая восторженность никуда не годится, ахъ да охъ! не привыкнетъ онъ къ здѣшнему порядку; гдѣ ему сдѣлать карьеру! напрасно пріѣзжалъ... ну, это ужь его дѣло.

Александръ долгомъ считалъ любить дядю, но никакъ не могъ привыкнуть къ его характеру и образу мыслей.

„Дядюшка у меня, кажется, добрый человѣкъ“, писалъ онъ въ одно утро къ Поспѣлову:—„очень уменъ, только человѣкъ весьма прозаическій, вѣчно въ дѣлахъ, въ расчетахъ... Духъ его будто прикованъ къ землѣ и никогда не возносится до чистаго, изолированнаго отъ земныхъ дрязговъ созерцанія явленій духовной природы человѣка. Небо у него неразрывно связано съ землей, и мы съ нимъ, кажется, никогда совершенно не сольемся душами. Ѣдучи сюда, я думалъ, что онъ, какъ дядя, дастъ мнѣ мѣсто въ сердцѣ, согрѣетъ меня въ здѣшней холодной толпѣ горячими объятьями дружбы; а дружба, ты знаешь, *второе провидѣнье!* Но и онъ есть ничто иное, какъ выраженіе этой толпы. Я думалъ дѣлить съ нимъ вмѣстѣ время, не разставаться ни на минуту, но что встрѣтилъ? — холодные совѣты, которые онъ называетъ дѣльными; но пусть они лучше будутъ недѣльны, но полны теплаго, сердечнаго

участія. Онъ гордъ не гордъ, но врагъ всякихъ искреннихъ изліяній; мы не обѣдаемъ, не ужинаемъ вмѣстѣ, никуда не ѣздимъ. Пріѣхавъ, онъ никогда не разскажетъ, гдѣ былъ, что дѣлалъ и никогда также не говоритъ, куда ѣдетъ и зачѣмъ, кто у него знакомые, нравится ему что нѣтъ ли, какъ онъ проводитъ время. Никогда не сердитъ особенно, ни ласковъ, ни печаленъ, ни веселъ. Сердцу его чужды всѣ порывы любви, дружбы, всѣ стремленія къ прекрасному. Часто говоришь, и говоришь, какъ вдохновенный пророкъ, почти какъ нашъ великій, незабвенный Иванъ Семенычъ, когда онъ, помнишь, гремѣлъ съ каѳедры, а мы трепетали въ восторгѣ отъ его огненнаго взора и слова; а дядюшка? слушаетъ, поднявъ брови, и смотритъ престранно, или засмѣется какъ-то по своему, такимъ смѣхомъ, который леденитъ у меня кровь—и прощай вдохновеніе! Я иногда вижу въ немъ, какъ-будто пушкинскаго демона... Не вѣритъ онъ *любви*, и проч., говоритъ, что счастья нѣтъ, что его никто и не обѣщалъ, а что есть просто жизнь, раздѣляющаяся по ровно на добро и зло, на удовольствіе, удачу, здоровье, покой, потомъ на неудовольствіе, неудачу безпокойство, и болѣзни проч., что на все на это надо смотрѣть просто, не забирать себѣ въ голову безполезныхъ —каково? безполезныхъ!—вопросовъ о томъ, зачѣмъ мы созданы, да къ чему стремимся,—что это не наша забота, и что отъ этого мы не видимъ, что у насъ подъ носомъ, и не дѣлаемъ своего дѣла... только и слышишь о дѣлѣ! Въ немъ не отличишь, находится ли онъ подъ вліяніемъ какого-нибудь наслажденія, или прозаическаго дѣла: и за счетами, и въ театрѣ, все одинаковъ; сильныхъ впечатлѣній не знаетъ и, кажется, не любитъ изящнаго: оно чуждо душѣ его; я думаю, онъ не читалъ даже Пушкина...“

Петръ Иванычъ неожиданно явился въ комнату племянника и засталъ его за письмомъ.

— Я пришелъ посмотрѣть, какъ ты тутъ устроился, сказалъ дядя:—и поговорить о дѣлѣ.

Александръ вскочилъ и проворно что-то прикрылъ рукой.

— Спрячь, спрячь свой секретъ, сказалъ Петръ Иванычъ:—я отвернусь. Ну, спряталъ? А это что выпало? что это такое?

— Это, дядюшка, ничего... началъ было Александръ, но смѣшался и замолчалъ.

— Кажется, волосы! Подлинно ничего! ужъ я видѣлъ одно, такъ покажи и то, что̀ спряталъ въ рукѣ.

Александръ, точно уличенный школьникъ, невольно разжалъ руку и показалъ кольцо.

— Что̀ это? откуда? спросилъ Петръ Иванычъ.

— Это, дядюшка, вещественные знаки... невещественныхъ отношеній...

— Что? что? дай-ка сюда эти знаки.

— Это залоги...

— Вѣрно изъ деревни привезъ?

— Отъ Софьи, дядюшка, на память... при прощаньи...

— Такъ и есть. И это ты везъ за тысячу пятьсотъ верстъ?

Дядя покачалъ головой.

— Лучше бы ты привезъ еще мѣшокъ сушоной малины: ту, по-крайней-мѣрѣ, въ лавочку сбыли, а эти залоги...

Онъ разсматривалъ, то волосы, то колечко; волосы понюхалъ, а колечко взвѣсилъ па рукѣ. Потомъ взялъ бумажку со стола, завернулъ въ нее оба знака, сжалъ все это въ компактный комокъ и—бацъ въ окно.

— Дядюшка! неистово закричалъ Александръ, схвативъ его за руку, но поздно: комокъ перелетѣлъ черезъ уголъ

сосѣдней крыши, упалъ въ каналъ, на край барки съ кирпичами, отскочилъ, и прыгнулъ въ воду.

Александръ молча, съ выраженіемъ горькаго упрека, смотрѣлъ на дядю.

— Дядюшка! повторилъ онъ.

— Что?

— Какъ назвать вашъ поступокъ?

— Бросаніемъ изъ окна въ каналъ невещественныхъ знаковъ и всякой дряни и пустяковъ, чего ненужно держать въ комнатѣ...

— Пустяковъ, это пустяки!

— А ты думалъ что́?—половина твоего сердца... Я пришелъ къ нему за дѣломъ, а онъ вонъ чѣмъ занимается — сидитъ да думаетъ надъ дрянью!

— Развѣ это мѣшаетъ дѣлу, дядюшка?

— Очень. Время проходитъ, а ты до сихъ поръ мнѣ еще и не помянулъ о своихъ намѣреніяхъ: хочешь ли ты служить, избралъ ли другое занятіе—ни слова! а все оттого, что у тебя Софья да знаки на умѣ. Вонъ, ты, кажется, къ ней письмо пишешь? Такъ?

— Да... я началъ было...

— А къ матери писалъ?

— Нѣтъ еще, я хотѣлъ завтра.

— Отчего же завтра? Къ матери завтра, къ Софьѣ, которую черезъ мѣсяцъ надо забыть, сегодня...

— Софью? можно ли ее забыть?

— Должно. Не брось я твоихъ залоговъ, такъ, пожалуй, чего добраго, ты помнилъ бы ее лишній мѣсяцъ. Я оказалъ тебѣ вдвойнѣ услугу. Черезъ нѣсколько лѣтъ эти знаки напомнили бы тебѣ глупость, отъ которой бы ты краснѣлъ.

— Краснѣть отъ такого чистаго, святаго воспоминанія? это значитъ не признавать поэзіи...

— Какая поэзія въ томъ, что́ глупо? поэзія, напримѣръ,

въ письмѣ твоей тетки! жолтый цвѣтокъ, озеро, какая-то тайна... какъ я сталъ читать—мнѣ такъ стало нехорошо, что и сказать нельзя! чуть не покраснѣлъ, а ужъ я ли не отвыкъ краснѣть!

— Это ужасно, ужасно, дядюшка! стало быть вы никогда не любили?

— Знаковъ терпѣть не могъ.

— Это какая-то деревянная жизнь! сказалъ въ сильномъ волненіи Александръ:—прозябаніе, а не жизнь! прозябать *безъ вдохновенья*, *безъ слезъ*, *безъ жизни*, *безъ любви*...

— И безъ волосъ! прибавилъ дядя.

— Какъ вы, дядюшка, можете такъ холодно издѣваться надъ тѣмъ, что́ есть лучшаго на землѣ? вѣдь это преступленіе... Любовь... святыя волненія!

— Знаю я эту святую любовь: въ твои лѣта только увидятъ локонъ, башмакъ, подвязку, дотронутся до руки — такъ по всему тѣлу и побѣжитъ святая, возвышенная любовь, а дай-ка волю, такъ и того... Твоя любовь, къ сожалѣнію, впереди; отъ этого никакъ не уйдешь, а дѣло уйдетъ отъ тебя, если не станешь имъ заниматься.

— Да развѣ любовь не дѣло?

— Нѣтъ: пріятное развлеченіе, только не нужно слишкомъ предаваться ему, а то выйдетъ вздоръ. Отъ этого я и боюсь за тебя.—Дядя покачалъ головой.

— Я почти нашелъ тебѣ мѣсто; ты вѣдь хочешь служить? сказалъ онъ.

— Ахъ, дядюшка, какъ я радъ!

Александръ бросился и поцѣловалъ дядю въ щоку.

— Нашелъ таки случай! сказалъ дядя, вытирая щоку— какъ это я не остерегся! Ну, такъ слушай же. Скажи, что́ ты знаешь, къ чему чувствуешь себя способнымъ?

— Я знаю богословіе, гражданское, уголовное, естествен-

ное и народное права, дипломацію, политическую экопомію' философію, эстетику, археологію...

— Постой, постой! а умѣешь ли ты порядочно писать по-русски? Теперь пока это нужнѣе всего.

— Какой вопросъ, дядюшка: умѣю ли писать по-русски! сказалъ Александръ и побѣжалъ къ комоду, изъ котораго началъ вынимать разныя бумаги, а дядя, между тѣмъ, взялъ со стола какое-то письмо и сталъ читать.

Александръ подошелъ съ бумагами къ столу и увидѣлъ, что дядя читаетъ письмо. Бумаги у него выпали изъ рукъ.

— Что это вы читаете, дядюшка? сказалъ онъ въ испугѣ.

— А вотъ тутъ лежало письмо, къ другу, должно быть. Извини, мнѣ хотѣлось взглянуть, какъ ты пишешь.

— И вы прочитали его?

— Да, почти—вотъ только двѣ строки осталось,—сейчасъ дочитаю; а что? вѣдь тутъ секретовъ нѣтъ, иначе бы оно не валялось такъ...

— Чтó же вы теперь думаете обо мнѣ?...

— Думаю, что ты порядочно пишешь, правильно, гладко...

— Стало быть вы не прочли, чтó тутъ написано! съ живостью спросилъ Александръ.

— Нѣтъ, кажется, все, сказалъ Петръ Иванычъ, поглядѣвъ на обѣ страницы:—сначала описываешь Петербургъ, свои впечатлѣнія, а потомъ меня.

— Боже мой! воскликнулъ Александръ и закрылъ руками лицо.

— Да чтó ты? чтó съ тобой?

— И вы говорите это покойно? вы не сердитесь, не ненавидите меня?

— Нѣтъ! изъ чего мнѣ бѣсноваться?

— Повторите, успокойте меня.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ.

— Мнѣ все не вѣрится; докажите дядюшка...

— Чѣмъ прикажешь?

— Обнимите меня.

— Извини, не могу.

— Почему же?

— Потому-что въ этомъ поступкѣ разума, то есть смысла нѣтъ, или, говоря словами твоего профессора, сознаніе не побуждаетъ меня къ этому; вотъ, еслибъ ты былъ женщина—такъ другое дѣло: тамъ это дѣлается безъ смысла, по другому побужденію.

— Чувство, дядюшка, просится наружу, требуетъ порыва, изліянія...

— У меня не просится и не требуетъ, да еслибъ и просилось, такъ я бы воздержался—и тебѣ тоже совѣтую.

— Зачѣмъ же?

— А затѣмъ, чтобъ послѣ, когда разсмотришь поближе человѣка, котораго обнялъ, не краснѣть за свои объятія.

— Развѣ не случается, дядюшка, что оттолкнешь человѣка и послѣ раскаешься.

— Случается; оттого я никогда никого и не отталкиваю.

— Вы и меня не оттолкнете за мой поступокъ, не назовете чудовищемъ?

— У тебя кто напишетъ вздоръ, тотъ и чудовище. Этакъ бы ихъ развелось несмѣтное множество.

— Но читать про себя такія горькія истины—и отъ кого же? отъ роднаго племянника!

— Ты воображаешь, что написалъ истину?...

— О, дядюшка!...конечно, я ошибся... я переправлю... простите...

— Хочешь, я тебѣ продиктую истину?

— Сдѣлайте милость.

— Садись и пиши.

Александръ вынулъ листъ бумаги и взялъ перо, а Петръ Иванычъ, глядя на прочтенное имъ письмо, диктовалъ:

„Любезный другъ.

— Написалъ?

— Написалъ.

„Петербурга и впечатлѣній своихъ описывать тебѣ не стану:

— „Не стану“, сказалъ Александръ, написавъ.

„Петербургъ уже давно описанъ, а что не описано, то надо видѣть самому; впечатлѣнія мои тебѣ ни на что не годятся. Нечего попустому тратить время и бумагу. Лучше опишу моего дядю, потому-что это относится лично до меня.

— „Дядю“, сказалъ Александръ.

— Ну, вотъ ты пишешь, что я очень добръ и уменъ— можетъ быть это и правда, можетъ быть и нѣтъ; возьмемъ лучше середину, пиши:

„Дядя мой не глупъ и не золъ, мнѣ желаетъ добра...

— Дядюшка! я умѣю цѣнить и чувствовать... сказалъ Александръ и потянулся поцѣловать его.

„Хотя и не вѣшается мнѣ на шею“, продолжалъ диктовать Петръ Иванычъ. Александръ, не дотянувшись до него, поскорѣй сѣлъ на свое мѣсто.

„А желаетъ добра, потому, что не имѣетъ причины и побужденія желать зла, и потому, что его просила обо мнѣ моя матушка, которая дѣлала нѣкогда для него добро. Онъ говоритъ, что меня не любитъ—и весьма основательно: въ двѣ недѣли нельзя полюбить, и я еще не люблю его, хотя и увѣряю въ противномъ.

— Какъ это можно? сказалъ Александръ.

— Пиши, пиши:

„Но мы начинаемъ привыкать другъ къ другу. Онъ даже говоритъ, что можно и совсѣмъ обойтись безъ любви.

Онъ не сидитъ со мной, обнявшись, съ утра до вечера, потому, что это вовсе не нужно, да ему и некогда.

— „Врагъ искреннихъ изліяній“ — это можно оставить: это хорошо.—Написалъ?

Написалъ.

— Ну, что у тебя тутъ еще? „Прозаическій духъ, демонъ...“ Пиши.

Пока Александръ писалъ, Петръ Иванычъ взялъ со стола какую-то бумагу, свернулъ ее, досталъ огня и закурилъ сигару, а бумагу бросилъ и затопталъ.

„Дядя мой ни демонъ, ни ангелъ, а такой же человѣкъ, какъ и всѣ,—диктовалъ онъ—только не совсѣмъ похожъ на насъ съ тобой. Онъ думаетъ и чувствуетъ по земному, полагаетъ, что если мы живемъ на землѣ, такъ и не надо улетать съ нея на небо, гдѣ насъ теперь пока не спрашиваютъ, а заниматься человѣческими дѣлами, къ которымъ мы призваны. Оттого онъ вникаетъ во всѣ земныя дѣла и, между-прочимъ, въ жизнь, какъ она есть, а не какъ бы намъ ея хотѣлось. Вѣритъ въ добро и вмѣстѣ въ зло, въ прекрасное и прескверное. Любви и дружбѣ тоже вѣритъ, только не думаетъ, что онѣ упали съ неба въ грязь, а полагаетъ, что онѣ созданы вмѣстѣ съ людьми и для людей, что ихъ такъ и надобно понимать и вообще разсматривать вещи пристально, съ ихъ настоящей стороны, а не заноситься, Богъ знаетъ, куда. Между честными людьми онъ допускаетъ возможность пріязни, которая, отъ частыхъ сношеній и привычки, обращается въ дружбу. Но онъ полагаетъ также, что въ разлукѣ привычка теряетъ силу и люди забываютъ другъ друга и что это вовсе не преступленіе. Поэтому онъ увѣряетъ, что я тебя забуду, а ты меня. Это мнѣ, да и тебѣ вѣроятно, кажется дико, но онъ совѣтуетъ привыкнуть къ этой мысли, отчего мы оба не будемъ въ дуракахъ. О любви онъ того же мнѣнія, съ небольшими оттѣн-

ками: не вѣрить въ неизмѣнную и вѣчную любовь, какъ не вѣрить въ домовыхъ — и намъ не совѣтуетъ вѣрить. Впрочемъ, объ этомъ онъ совѣтуетъ мнѣ думать, какъ можно меньше, а я тебѣ совѣтую. Это, говоритъ онъ, придетъ самособою—безъ зову; говоритъ, что жизнь не въ одномъ только этомъ состоитъ, что для этого, какъ для всего прочаго, бываетъ свое время, а цѣлый вѣкъ мечтать объ одной любви—глупо. Тѣ, которые ищутъ ее и не могутъ ни минуты обойтись безъ нея – живутъ сердцемъ, и еще чѣмъ-то хуже, на счетъ головы. Дядя любитъ заниматься дѣломъ, что̀ совѣтуетъ и мнѣ, а я тебѣ:—мы принадлежимъ къ обществу, говоритъ онъ, которое нуждается въ насъ; занимаясь, онъ не забываетъ и себя: дѣло доставляетъ деньги, а деньги комфортъ, который онъ очень любитъ. Притомъ у него, можетъ быть, есть намѣренія, вслѣдствіе которыхъ, вѣроятно, не я буду его наслѣдникомъ. Дядя не всегда думаетъ о службѣ да о заводѣ, онъ знаетъ наизусть не одного Пушкина...“

— Вы, дядюшка? сказалъ изумленный Александръ.

— Да, когда-нибудь увидишь. Пиши.

„Онъ читаетъ на двухъ языкахъ все, что̀ выходитъ замѣчательнаго по всѣмъ отраслямъ человѣческихъ знаній, любитъ искусства, имѣетъ прекрасную коллекцію картинъ фламандской школы — это его вкусъ,—часто бываетъ въ театрѣ, но не суетится, не мечется, не ахаетъ, не охаетъ, думая, что это ребячество, что надо воздерживать себя, не навязывать никому своихъ впечатлѣній, потому, что до нихъ никому нѣтъ надобности. Онъ также не говоритъ дикимъ языкомъ, что̀ совѣтуетъ и мнѣ, а я тебѣ. Прощай, пиши ко мнѣ порѣже и не теряй попустому времени. Другъ твой такой-то. Ну, мѣсяцъ и число.“

— Какъ можно послать такое письмо? сказалъ Александръ:—„пиши порѣже“—написать это человѣку, ко-

торый нарочно за сто шестьдесятъ верстъ пріѣхалъ, чтобы сказать послѣднее прости! „Совѣтую тó, другое, третье...“ онъ не глупѣе меня: онъ вышелъ вторымъ кандидатомъ.

— Нужды нѣтъ, ты все-таки пошли: можетъ-быть, онъ поумнѣе станетъ: это наведетъ его на разныя новыя мысли; хоть вы кончили курсъ, а школа ваша только-что начинается.

— Я не могу рѣшиться, дядюшка...

— Я никогда не вмѣшиваюсь въ чужія дѣла, но ты самъ просилъ что-нибудь для тебя сдѣлать; я стараюсь навести тебя на настоящую дорогу и облегчить первый шагъ, а ты упрямишься; ну, какъ хочешь; я говорю только свое мнѣніе, а принуждать не стану; я тебѣ не нянька.

— Извините, дядюшка: я готовъ повиноваться, сказалъ Александръ и тотчасъ запечаталъ письмо.

Запечатавъ одно, онъ сталъ искать другое, къ Софьѣ. Онъ поглядѣлъ на столъ—нѣтъ, подъ столомъ—тоже нѣтъ, въ ящикѣ—не бывало.

— Ты чего-то ищешь? сказалъ дядя.

— Я ищу другаго письма... къ Софьѣ.

И дядя сталъ искать.

— Гдѣ же оно? говорилъ Петръ Иванычъ:—я, право, не бросалъ его за окно...

— Дядюшка! что вы надѣлали? вѣдь вы имъ закурили сигару! горестно сказалъ Александръ и поднялъ обгорѣлые остатки письма.

— Не-уже-ли? воскликнулъ дядя:—да какъ это я? и не замѣтилъ; смотри, пожалуй, сжегъ такую драгоцѣнность... А впрочемъ, знаешь что? оно даже съ одной стороны хорошо...

— Ахъ, дядюшка, ей-Богу, ни съ какой стороны не хорошо... замѣтилъ Александръ въ отчаяніи.

— Право, хорошо: съ нынѣшней почтой ты не успѣешь написать къ ней, а къ будущей ужь вѣрно одумаешься, займешься службой: тебѣ будетъ не до того и, такимъ образомъ, сдѣлаешь одной глупостью меньше.

— Что жь она подумаетъ обо мнѣ?

— А что̀ хочетъ. Да я думаю, это полезно и ей. Вѣдь ты не женишься на ней? Она подумаетъ, что ты ее забылъ, забудетъ тебя сама и меньше будетъ краснѣть передъ будущимъ своимъ женихомъ, когда станетъ увѣрять его, что никого, кромѣ его, не любила.

— Вы, дядюшка, удивительный человѣкъ! для васъ не существуетъ постоянства, нѣтъ святости обѣщаній... Жизнь такъ хороша, такъ полна прелести, нѣги: она, какъ гладкое, прекрасное озеро...

— На которомъ ростутъ желтые цвѣты, что ли? перебилъ дядя.

— Какъ озеро, продолжалъ Александръ: — она полна чего-то таинственнаго, заманчиваго, скрывающаго въ себѣ такъ много...

— Тины, любезный.

— Зачѣмъ же вы, дядюшка, черпаете тину, зачѣмъ такъ разрушаете и уничтожаете всѣ радости, надежды, блага... смо̀трите съ чорной стороны?

— Я смотрю съ настоящей—и тебѣ тоже совѣтую: въ дуракахъ не будешь. Съ твоими понятіями жизнь хороша тамъ, въ провинціи, гдѣ ея не вѣдаютъ,—тамъ и не люди живутъ, а ангелы: вотъ Заѣзжаловъ—святой человѣкъ, тетушка твоя—возвышенная, чувствительная душа, Софья, я думаю, такая же дура, какъ и тетушка, да еще...

— Оканчивайте, дядюшка! сказалъ взбѣшенный Александръ.

— Да еще такіе мечтатели, какъ ты:—водятъ носомъ по вѣтру, не пахнетъ ли откуда-нибудь неизмѣнной друж-

бой да любовью... Въ сотый разъ скажу: напрасно пріѣзжалъ!

— Станетъ она увѣрять жениха, что никого не любила! говорилъ почти самъ съ собою Александръ.

— А ты все свое!

— Нѣтъ, я увѣренъ, что она прямо, съ благородной откровенностью отдастъ ему мои письма и...

— И знаки, сказалъ Петръ Иванычъ.

— Да, и залоги нашихъ отношеній... и скажетъ: „вотъ, вотъ кто первый пробудилъ струны моего сердца; вотъ при чьемъ имени заиграли онѣ впервые...“

У дяди начали подниматься брови и расширяться глаза. Александръ замолчалъ.

— Что жь ты пересталъ играть на своихъ струнахъ? Ну, милый, и подлинно глупа твоя Софья, если сдѣлаетъ такую штуку; надѣюсь, у нея есть мать, или кто-нибудь, кто бы могъ остановить ее?

— Вы, дядюшка, рѣшаетесь назвать глупостью этотъ святѣйшій порывъ души, это благородное изліяніе сердца; какъ прикажете думать о васъ?

— Какъ тебѣ заблагоразсудится. Жениха своего она заставитъ подозрѣвать Богъ знаетъ что; пожалуй, еще и свадьба разойдется, а отчего? оттого, что вы тамъ рвали вмѣстѣ жолтые цвѣты... Нѣтъ, такъ дѣла не дѣлаются. Ну, такъ ты по-русски писать можешь,—завтра поѣдемъ въ департаментъ: я ужь говорилъ о тебѣ прежнему своему сослуживцу, начальнику отдѣленія; онъ сказалъ, что есть вакансія; терять времени нечего... Это что за кипу ты вытащилъ?

— А это мои университетскія записки. Вотъ, позвольте прочесть нѣсколько страницъ изъ лекцій Ивана Семеныча, объ искусствѣ въ Греціи...

Онъ ужь началъ-было проворно переворачивать страницы.

— Охъ, сдѣлай милость, уволь! сказалъ, сморщившись, Петръ Иванычъ.—А это что?

— А это мои диссертаціи. Я желалъ бы показать ихъ своему начальнику; особенно тутъ есть одинъ проектъ, который я обработалъ...

— А! одинъ изъ тѣхъ проектовъ, которые тысячу лѣтъ ужь какъ исполнены, или которыхъ нельзя и не нужно исполнять.

— Что вы, дядюшка! да этотъ проектъ былъ представленъ одному значительному лицу, любителю просвѣщенія; за это однажды онъ пригласилъ меня съ ректоромъ обѣдать. Вотъ начало другаго проэкта.

— Отобѣдай у меня дважды, да только не дописывай другаго проекта.

— Почему же?

— Да такъ, ты теперь хорошаго ничего не напишешь, а время уйдетъ.

— Какъ! слушавши лекціи?...

— Онѣ пригодятся тебѣ современемъ, а теперь смотри, читай, учись, да дѣлай, чтó заставятъ?

— Какъ же узнаетъ начальникъ о моихъ способностяхъ?

— Мигомъ узнаетъ: онъ мастеръ узнавать. Да ты какое же мѣсто хотѣлъ бы занять?

— Я не знаю, дядюшка, какое бы...

— Есть мѣста министровъ, говорилъ Петръ Иванычъ:— товарищей ихъ, директоровъ, вице-директоровъ, начальниковъ отдѣленій, столоначальниковъ, ихъ помощниковъ, чиновниковъ особыхъ порученій, мало ли?

Александръ задумался. Онъ растерялся и не зналъ какое выбрать.

— Вотъ бы на первый разъ мѣсто столоначальника хорошо, сказалъ онъ.

— Да, хорошо! повторилъ Петръ Иванычъ.

— Я бы присмотрѣлся къ дѣлу, дядюшка, а тамъ мѣсяца черезъ два можно бы и въ начальники отдѣленія...

Дядя навострилъ уши.

— Конечно, конечно! сказалъ онъ:—потомъ черезъ три мѣсяца въ директоры: ну, а тамъ черезъ годъ и въ министры: такъ, что ли?

Александръ покраснѣлъ и молчалъ.

— Начальникъ отдѣленія, вѣроятно, сказалъ вамъ, какая есть вакансія? спросилъ онъ потомъ.

— Нѣтъ, отвѣчалъ дядя:—онъ не говорилъ, да мы лучше положимся на него; сами-то, видишь, затрудняемся въ выборѣ, а онъ ужь знаетъ, куда опредѣлить. Ты ему не говори о своемъ затрудненіи насчетъ выбора, да и о проектахъ тоже ни слова: пожалуй, еще обидится, что не довѣряемъ ему, да пугнетъ порядкомъ; онъ крутенекъ. Я бы тебѣ не совѣтовалъ говорить и о *вещественныхъ знакахъ* здѣшнимъ красавицамъ: онѣ не поймутъ этого, гдѣ имъ понять! это для нихъ слишкомъ высоко: и я насилу вникнулъ, а онѣ будутъ гримасничать.

Пока дядя говорилъ, Александръ ворочалъ въ рукѣ какой-то свертокъ.

— Что это еще у тебя?

Александръ съ нетерпѣніемъ ждалъ этого вопроса.

— Это... я давно хотѣлъ вамъ показать... стихи: вы однажды интересовались...

— Что-то не помню; кажется, я не интересовался...

— Вотъ, видите, дядюшка, я думаю, что служба—занятіе сухое, въ которомъ не участвуетъ душа, а душа жаждетъ выразиться, подѣлиться съ ближними избыткомъ чувствъ и мыслей, переполняющихъ ее...

— Ну, такъ что же? съ нетерпѣніемъ спросилъ дядя.

— Я чувствую призваніе къ творчеству...

— То есть, ты хочешь заняться, кромѣ службы, еще чѣмъ-нибудь—такъ, что ли, въ переводѣ? Что жь, очень похвально: чѣмъ же? литературой?

— Да, дядюшка, я хотѣлъ просить васъ, нѣтъ ли у васъ случая помѣстить кое-что...

— Увѣренъ ли ты, что у тебя есть талантъ? безъ этого вѣдь ты будешь чернорабочій въ искусствѣ—что жь хорошаго? Талантъ — другое дѣло: можно работать; много хорошаго сдѣлаешь и притомъ это капиталъ—стоитъ твоихъ ста душъ.

— Вы и это измѣряете деньгами?

— А чѣмъ же прикажешь? чѣмъ больше тебя читаютъ, тѣмъ больше платятъ денегъ.

— А слава, слава? вотъ истинная награда пѣвца...

— Она устала няньчиться съ пѣвцами: слишкомъ много претендентовъ. Это прежде, бывало, слава, какъ женщина, ухаживала за всякимъ, а теперь, замѣчаешь ли? ея какъ-будто нѣтъ совсѣмъ, или она спряталась—да! Есть извѣстность, а славы что-то не слыхать, или она придумала другой способъ проявляться: кто лучше пишетъ, тому больше денегъ, кто хуже—не прогнѣвайся. За то нынче порядочный писатель и живетъ порядочно, не мерзнетъ и не умираетъ съ голода на чердакѣ, хоть за нимъ и не бѣгаютъ по улицамъ и не указываютъ на него пальцами, какъ па шута; поняли, что поэтъ не небожитель, а человѣкъ: такъ же глядитъ, ходитъ, думаетъ и дѣлаетъ глупости, какъ другіе: чего жь тутъ смотрѣть?...

— Какъ другіе—что вы, дядюшка! какъ это можно говорить! Поэтъ заклейменъ особенною печатью: въ немъ таится присутствіе высшей силы...

— Какъ иногда въ другихъ—и въ математикѣ, и въ часовщикѣ, и въ нашемъ братѣ, заводчикѣ. Ньютонъ, Гутенбергъ, Ваттъ также были одарены высшей силой, какъ и Шекспиръ, Дантъ, и проч. Доведи-ка я какимъ-нибудь процесомъ нашу парголовскую глину до того, чтобы изъ нея выходилъ фарфоръ лучше саксонскаго или севрскаго, такъ ты думаешь, что тутъ не было бы присутствія высшей силы?

— Вы смѣшиваете искусство съ ремесломъ, дядюшка.

— Боже сохрани! Искусство само-по-себѣ, ремесло само-по-себѣ, а творчество можетъ быть и въ томъ и въ другомъ, такъ же точно, какъ и не быть. Если нѣтъ его, такъ ремесленникъ такъ и называется ремесленникъ, а не творецъ, и поэтъ безъ творчества ужь не поэтъ, а сочинитель... Да развѣ вамъ объ этомъ не читали въ университетѣ? Чему же вы тамъ учились?...

Дядѣ ужь самому стало досадно, что онъ пустился въ такія объясненія о томъ, что́ считалъ общеизвѣстной истиной.

„Это похоже на искреннія изліянія“ подумалъ онъ. — Покажи-ка, что́ тамъ у тебя? спросилъ онъ: — стихотворенія!

Дядя взялъ свертокъ и началъ читать первую страницу.

«Отколь порой тоска и горе
Внезапной тучей налетятъ
И сердце съ жизнію поссоря...»

— Дай-ка, Александръ, огня.

Онъ закурилъ сигару и продолжалъ:

«Въ немъ рой желаній замѣнятъ?
Зачѣмъ вдругъ сумрачнымъ ненастьемъ
Падетъ на душу тяжкій сонъ,
Какимъ невѣдомымъ несчастьемъ
Ее смутитъ внезапно онъ...

— Одно и то же въ первыхъ четырехъ стихахъ сказано, и вышла вода, замѣтилъ Петръ Иванычъ, и читалъ:

«Кто отгадаетъ отъ-чего
Проступитъ хладными слезами
Вдругъ поблѣднѣвшее чело...

— Какъ же это такъ? Чело пòтомъ проступаетъ, а слезами—не видывалъ.

«И что тогда творится съ нами?
Небесъ далекихъ тишина
Въ тотъ мигъ ужасна и страшна...

— Ужасна и страшна—одно и то же.

«Гляжу на небо: тамъ луна...

— Луна непремѣнно: безъ нея никакъ нельзя! Если у тебя тутъ есть *мечта* и *дѣва*—ты погибъ: я отступаюсь отъ тебя.

«Гляжу на небо: тамъ луна
Безмолвно плаваетъ, сіяя,
И мнится, въ ней погребена
Отъ вѣка тайна роковая.

— Не дурно! Дай-ка еще огня... сигара погасла. Гдѣбишь,—да!

«Въ эѳирѣ звѣзды притаясь,
Дрожатъ въ измѣнчивомъ сіяньѣ,
И будто дружно согласясь,
Хранятъ коварное молчанье.
Такъ въ мірѣ все грозитъ бѣдой,
Все зло намъ дико предвѣщаетъ,
Безпечно будто бы качаетъ
Насъ въ немъ обманчивый покой;
И грусти той назва...нья нѣтъ...

Дядя сильно зѣвнулъ и продолжалъ:

«Она пройдетъ, умчитъ и слѣдъ,
Какъ перелетный вѣтръ степей
Съ песковъ сдуваетъ слѣдъ звѣрей.

— Ну, ужь звѣрей-то тутъ куда нехорошо! Зачѣмъ же тутъ черта? А! это было о грусти, а теперь о радости...

И онъ началъ скороговоркой читать, почти про себя:

«За то случается порой
Иной въ насъ демонъ поселится,
Тогда восторгъ живой струей
Насильно въ душу протѣснится...
И затрепещетъ сладко грудь... и т. д.

— Ни худо, ни хорошо! сказалъ онъ, окончивъ.—Впрочемъ, другіе начинали и хуже; попробуй, пиши, занимайся, если есть охота; можетъ-быть, и обнаружится талантъ; тогда другое дѣло.

Александръ опечалился. Онъ ожидалъ совсѣмъ не такого отзыва. Его немного утѣшало то, что онъ считалъ дядю человѣкомъ холоднымъ, почти безъ души.

— Вотъ переводъ изъ Шиллера, сказалъ онъ.

— Довольно; я вижу; а ты знаешь и языки?

— Я знаю по-французски, по-нѣмецки и немного по англійски.

— Поздравляю тебя, давно бы ты сказалъ: изъ тебя можно многое сдѣлать. Давича насказалъ мнѣ про политическую экономію, философію, археологію, Богъ знаетъ про что еще, а о главномъ ни слова—скромность некстати. Я тебѣ тотчасъ найду и литературное занятіе.

— Неужели, дядюшка? вотъ обяжете!—позвольте васъ обнять.

— Погоди, вотъ какъ найду.

— Не покажете ли вы чего-нибудь изъ моихъ сочиненій будущему моему начальнику, чтобъ дать понятіе?

— Нѣтъ, ненужно; если понадобится, ты и самъ покажешь, а можетъ быть, и не понадобится. Подари-ка ты мнѣ свои проекты и сочиненія?...

— Подарить?—извольте, дядюшка, сказалъ Александръ,

которому польстило это требованіе дяди.—Не угодно ли, я вамъ сдѣлаю оглавленіе всѣхъ статей въ хронологическомъ порядкѣ?

— Нѣтъ, не нужно... Спасибо за подарокъ. Евсей! отнеси эти бумаги къ Василью.

— Зачѣмъ же къ Василью? въ вашъ кабинетъ.

— Онъ просилъ у меня бумаги обклеить что-то...

— Какъ, дядюшка?.. въ ужасѣ спросилъ Александръ и схватилъ кипу назадъ.

— Вѣдь ты подарилъ, а тебѣ что за дѣло, какое употребленіе я сдѣлаю изъ твоего подарка?..

— Вы не щадите ничего... ничего!.. съ отчаяніемъ стоналъ, онъ, прижимая бумаги обѣими руками къ груди.

— Александръ, послушайся меня, сказалъ дядя, вырывая у него бумаги:—не будешь краснѣть послѣ и скажешь мнѣ спасибо.

Александръ выпустилъ бумаги изъ рукъ.

— На, отнеси, Евсей, сказалъ Петръ Иванычъ.—Ну вотъ теперь у тебя въ комнатѣ чисто и хорошо: пустяковъ нѣтъ; отъ тебя будетъ зависѣть наполнить ея соромъ, или чѣмъ-нибудь дѣльнымъ. Поѣдемъ на заводъ прогуляться, разсѣяться, подышать свѣжимъ воздухомъ и посмотрѣть, какъ работаютъ.

Утромъ Петръ Иванычъ привезъ племянника въ департаментъ, и пока самъ онъ говорилъ съ своимъ пріятелемъ—начальникомъ отдѣленія, Александръ знакомился съ этимъ новымъ для него міромъ. Онъ еще мечталъ все о проектахъ и ломалъ себѣ голову надъ тѣмъ, какой государственный вопросъ предложатъ ему рѣшить, между тѣмъ все стоялъ и смотрѣлъ.

„Точно заводъ моего дяди!“ рѣшилъ онъ наконецъ: „Какъ тамъ одинъ мастеръ возьметъ кусокъ массы, броситъ ее въ машину, повернетъ разъ, два, три, — смотришь, выйдетъ

конусъ, овалъ или полукругъ; потомъ передаетъ другому, тотъ сушитъ на огнѣ, третій золотитъ, четвертый расписываетъ, и выйдетъ чашка, или ваза, или блюдечко. И тутъ: придетъ посторонній проситель, подастъ, полусогнувшись, съ жалкой улыбкой, бумагу—мастеръ возьметъ, едва дотронется до нея перомъ и передастъ другому, тотъ броситъ ее въ массу тысячи другихъ бумагъ,—но она не затеряется: заклейменная нумеромъ и числомъ, она пройдетъ невредимо чрезъ двадцать рукъ, плодясь и производя себѣ подобныхъ. Третій возьметъ ее и полѣзетъ зачѣмъ-то въ шкапъ, заглянетъ, или въ книгу, или въ другую бумагу, скажетъ нѣсколько магическихъ словъ четвертому—и тотъ пошелъ скрыпѣть перомъ. Поскрыпѣвъ, передаетъ родительницу съ новымъ чадомъ, пятому,—тотъ скрыпитъ въ свою очередь перомъ и рождается еще плодъ, пятый охорашиваетъ его и сдаетъ дальше, и такъ бумага идетъ, идетъ — никогда не пропадаетъ: умрутъ ея производители, а она все существуетъ цѣлые вѣки. Когда, наконецъ, ее покроетъ вѣковая пыль, и тогда еще тревожатъ ее и совѣтуются съ нею. И каждый день, каждый часъ, и сегодня и завтра, и цѣлый вѣкъ, бюрократическая машина работаетъ стройно, непрерывно, безъ отдыха, какъ-будто нѣтъ людей,—одни колеса да пружины...

„Гдѣ же разумъ, оживляющій и двигающій эту фабрику бумагъ?“ думалъ Александръ: „въ книгахъ ли, въ самыхъ ли бумагахъ, или въ головахъ этихъ людей?“

И какія лица увидѣлъ онъ тутъ! На улицѣ какъ-будто этакія и не встрѣчаются и не выходятъ на Божій свѣтъ: тутъ, кажется, они родились, выросли, срослись съ своими мѣстами, тутъ и умрутъ. Поглядѣлъ Адуевъ пристально на начальника отдѣленія: точно Юпитеръ громовержецъ; откроетъ ротъ—и бѣжитъ Меркурій съ мѣдной бляхой на груди; протянетъ руку съ бумагой—и десять рукъ тянутся принять ее.

— Иванъ Иванычъ! сказалъ онъ.

Иванъ Иванычъ выскочилъ изъ-за стола, побѣжалъ къ Юпитеру и сталъ передъ нимъ, какъ листъ передъ травой. И Александръ оробѣлъ самъ не зная отчего.

— Дайте табачку!

Тотъ съ подобострастіемъ поднесъ обѣими руками открытую табакерку.

— Да испытайте вотъ ихъ! сказалъ начальникъ, указывая на Адуева.

„Такъ вотъ кто будетъ меня испытывать!“ думалъ Адуевъ, глядя на желтую фигуру Ивана Иваныча съ обтертыми локтями. „Неужели и этотъ человѣкъ рѣшаетъ государственные вопросы!“

— Хороша ли у васъ рука? спросилъ Иванъ Иванычъ.

— Рука?

— Да-съ; почеркъ. Вотъ потрудитесь переписать эту бумажку.

Александръ удивился этому требованію, но исполнилъ его. Иванъ Иванычъ сморщился, поглядѣвъ на его трудъ.

— Плохо пишутъ-съ, сказалъ онъ начальнику отдѣленія. Тотъ поглядѣлъ.

— Да, не хорошо: на-бѣло не можетъ писать. Ну, пусть пока переписываетъ отпуски, а тамъ, какъ привыкнетъ немного, займите его исполненіемъ бумагъ; можетъ быть, онъ годится: онъ учился въ университетѣ.

Вскорѣ и Адуевъ сталъ одною изъ пружинъ машины. Онъ писалъ, писалъ, писалъ безъ конца, и удивлялся уже, что по утрамъ можно дѣлать что-нибудь другое; а когда вспоминалъ о своихъ проектахъ, краска бросалась ему въ лицо.

„Дядюшка!“ думалъ онъ: „въ одномъ ужъ ты правъ, немилосердно правъ; неужели и во всемъ такъ? ужели я ошибался и въ завѣтныхъ, вдохновенныхъ думахъ, и въ

теплыхъ вѣрованіяхъ въ любовь, въ дружбу... и въ людей... и въ самого себя?.. Что же жизнь?"

Онъ наклонился надъ бумагой и сильнѣе скрыпѣлъ перомъ, а у самого подъ рѣсницами сверкали слезы.

— Тебѣ рѣшительно улыбается фортуна, говорилъ Петръ Иванычъ племяннику.—Я сначала цѣлый годъ безъ жалованья служилъ, а ты вдругъ поступилъ на старшій окладъ; вѣдь это 750 рублей, а съ наградой 1000 будетъ. Прекрасно на первый случай! Начальникъ отдѣленія хвалитъ тебя; только говоритъ, что ты разсѣянъ: то запятыхъ не поставишь, то забудешь написать содержаніе бумаги. Пожалуйста, отвыкни: главное дѣло—обращай вниманіе на то, чтó у тебя передъ глазами, а не заносись вонъ куда.

Дядя указалъ рукой кверху. Съ тѣхъ поръ онъ сдѣлался еще ласковѣе къ племяннику.

— Какой прекрасный человѣкъ мой столоначальникъ, дядюшка! сказалъ однажды Александръ.

— А ты почемъ знаешь?

— Мы сблизились съ нимъ. Такая возвышенная душа, такое честное, благородное направленіе мыслей! и съ помощникомъ также: это, кажется, человѣкъ съ твердой волей, съ желѣзнымъ характеромъ...

— Ужъ ты успѣлъ сблизиться съ ними?

— Да, какъ же!...

— Не звалъ ли тебя столоначальникъ къ себѣ по четвергамъ?

— Ахъ, очень: каждый четвергъ. Онъ, кажется, чувствуетъ ко мнѣ особенное влеченье...

— А помощникъ просилъ денегъ взаймы?

— Да, дядюшка, бездѣлицу... я ему далъ 25 рублей, чтò со мной было; онъ просилъ еще 50.

— Ужь далъ! А! сказалъ съ досадой дядя: — тутъ отчасти я виноватъ, что не предупредилъ тебя; да я думалъ,

что ты не до такой степени простъ, чтобъ черезъ двѣ недѣли знакомства давать деньги взаймы. Нечего дѣлать, грѣхъ пополамъ: двѣнадцать съ полтиной считай за мной.

— Какъ, дядюшка, вѣдь онъ отдастъ?

— Держи карманъ! Я его знаю: за нимъ пропадаетъ моихъ 100 рублей съ тѣхъ поръ, какъ я тамъ служилъ. Онъ у всѣхъ беретъ. Теперь, если попроситъ, ты скажи ему, что я прошу его вспомнить мой должокъ—отстанетъ! а къ столоначальнику не ходи.

— Отчего же, дядюшка?

— Онъ картежникъ. Посадитъ тебя съ двумя такими же молодцами, какъ самъ, а тѣ стакнутся и оставятъ тебя безъ гроша.

— Картежникъ! говорилъ въ изумленіи Александръ:— возможно ли? Кажется, такъ склоненъ къ искреннимъ изліяніямъ...

— А ты скажи ему, такъ, между прочимъ, въ разговорѣ,что я у тебя взялъ всѣ деньги на сохраненіе, такъ и увидишь, склоненъ ли онъ къ искреннимъ изліяніямъ и позоветъ ли когда-нибудь къ себѣ въ четвергъ.

Александръ задумался. Дядя покачалъ головой.

— А ты думалъ, что тамъ около тебя ангелы сидятъ! *Искреннія изліянія, особенное влеченіе!* Какъ, кажется, не подумать о томъ прежде: не мерзавцы ли какіе-нибудь около? Напрасно ты пріѣзжалъ! сказалъ онъ: — право, напрасно!

Однажды Александръ только-что проснулся, Евсей подалъ ему большой пакетъ, съ запиской отъ дяди.

„Наконецъ вотъ тебѣ и литературное занятіе“, написано было въ запискѣ: „я вчера видѣлся съ знакомымъ мнѣ журналистомъ; онъ прислалъ тебѣ для опыта работу“.

Отъ радости у Александра дрожали руки, когда онъ распечатывалъ пакетъ. Тамъ была нѣмецкая рукопись.

„Что это—проза?“ сказалъ онъ: „о чемъ же?“

И прочиталъ написанное наверху карандашомъ:

„*О наземѣ*, статья для отдѣла о сельскомъ хозяйствѣ. Просятъ перевести поскорѣе“.

Долго, задумчивый, сидѣлъ онъ надъ статьею, потомъ медленно, со вздохомъ, принялся за перо и началъ переводить. Черезъ два дня статья была готова и отослана.

— Прекрасно, прекрасно! сказалъ ему черезъ нѣсколько дней Петръ Иванычъ. – Редакторъ предоволенъ, только находитъ, что стиль не довольно строгъ; ну, да съ перваго раза нельзя же всего требовать. Онъ хочетъ познакомиться съ тобой. Ступай къ нему завтра, часовъ въ 7 вечера: тамъ онъ ужъ приготовилъ еще статью.

— Опять о томъ же, дядюшка?

— Нѣтъ, о чемъ-то другомъ; онъ мнѣ сказывалъ, да я забылъ... ахъ, да: *о картофельной патокѣ*. Ты, Александръ, должно быть, въ сорочкѣ родился. Я, наконецъ, начинаю надѣяться, что изъ тебя что-нибудь и выйдетъ: скоро, можетъ быть, не стану говорить тебѣ, зачѣмъ ты пріѣзжалъ. Не прошло мѣсяца, а ужъ со всѣхъ сторонъ такъ на тебя и льется. Тамъ 1000 рублей, да редакторъ обѣщалъ 100 рублей въ мѣсяцъ за четыре печатныхъ листа: это вѣдь 2200 рублей! Нѣтъ! я не такъ началъ! сказалъ онъ, сдвинувъ немного брови.—Напиши же къ матери, что ты пристроенъ и какимъ образомъ. Я тоже стану отвѣчать ей, напишу, что я, за ея добро ко мнѣ, сдѣлалъ для тебя все, что́ могъ.

— Маменька будетъ вамъ... очень благодарна, дядюшка, и я также... сказалъ Александръ со вздохомъ, но ужъ не бросился обнимать дядю.

III.

Прошло болѣе двухъ лѣтъ. Кто бы узналъ нашего провинціала въ этомъ молодомъ человѣкѣ съ изящными мане-

рами, въ щегольскомъ костюмѣ? Онъ очень измѣнился, возмужалъ. Мягкость линій юношескаго лица, прозрачность и нѣжность кожи, пушокъ на подбородкѣ — все исчезло. Нестало и робкой застѣнчивости и граціозной неловкости движеній. Черты лица созрѣли и образовали физіономію, а физіономія обозначила характеръ. Лиліи и розы исчезли, какъ-будто подъ легкимъ загаромъ. Пушокъ замѣнился небольшими бакенбардами. Легкая и шаткая поступь стала ровною и твердою походкою. Въ голосѣ прибавилось нѣсколько басовыхъ нотъ. Изъ подмалеванной картины вышелъ оконченный портретъ. Юноша превратился въ мужчину. Въ глазахъ блистали самоувѣренность и отвага—не та отвага, что́ слышно за версту, что́ глядитъ на все нагло, и ухватками и взглядами говоритъ встрѣчному и поперечному: „смотри, берегись, не задѣнь, не наступи на ногу, а не то—понимаешь? съ нами расправа коротка!“ Нѣтъ, выраженіе той отваги, о которой говорю, не отталкиваетъ, а влечетъ къ себѣ. Она узнается по стремленію къ добру, къ успѣху, по желанію уничтожить заграждающія ихъ препятствія... Прежняя восторженность на лицѣ Александра умѣрялась легкимъ оттѣнкомъ задумчивости, первымъ признакомъ закравшейся въ душу недовѣрчивости и, можетъ быть, единственнымъ слѣдствіемъ уроковъ дяди и безпощаднаго анализа, которому тотъ подвергалъ все, что́ проносилось въ глазахъ и въ сердцѣ Александра. Александръ усвоилъ, наконецъ, и тактъ, то есть умѣнье обращаться съ людьми. Онъ не бросался всѣмъ на шею, особенно съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ, склонный къ *искреннимъ изліяніямъ*, не смотря на предостереженіе дяди, обыгралъ его два раза, а человѣкъ, съ твердымъ характеромъ и желѣзной волей, перебралъ у него не мало денегъ взаймы. И другіе люди и случаи много помогли этому. Въ одномъ мѣстѣ онъ замѣчалъ, какъ изподтишка смѣялись

надъ его юношескою восторженностью и прозвали романтикомъ. Въ другомъ—едва обращали на него вниманіе, потому-что отъ него никому не было ni chaud ni froid. Онъ не давалъ обѣдовъ, не держалъ экипажа, не игралъ въ большую игру. Прежде у Александра болѣло и ныло сердце отъ этихъ стычекъ розовыхъ его мечтаній съ дѣйствительностью. Ему не приходило въ голову спросить себя: да что́ же я сдѣлалъ отличнаго, чѣмъ отличился отъ толпы? Гдѣ мои заслуги и за что́ должны замѣчать меня? А между-тѣмъ самолюбіе его страдало.

Потомъ онъ сталъ понемногу допускать мысль, что въ жизни видно не все однѣ розы, а есть и шипы, которые иногда покалываютъ, но слегка только, а не такъ, какъ разсказываетъ дядюшка. И вотъ онъ началъ учиться владѣть собою, не такъ часто обнаруживалъ порывы и волненія и рѣже говорилъ дикимъ языкомъ, по крайней мѣрѣ, при постороннихъ.

Но все еще, къ немалому горю Петра Иваныча, онъ далеко былъ отъ холоднаго разложенія на простыя начала всего, что́ волнуетъ и потрясаетъ душу человѣка. О приведеніи же въ ясность всѣхъ тайнъ и загадокъ сердца, онъ не хотѣлъ и слушать.

Петръ Иванычъ дастъ ему утромъ порядочный урокъ. Александръ выслушаетъ, смутится или глубоко задумается, а тамъ поѣдетъ куда-нибудь на вечеръ и воротится самъ не свой; дня три ходитъ, какъ шальной — и дядина теорія пойдетъ вся къ чорту. Обаяніе и чадъ больной сферы, громъ музыки, обнаженныя плечи, огонь взоровъ, улыбка розовыхъ устъ, не дадутъ ему уснуть цѣлую ночь. Ему мерещится, то талія, которой онъ касался руками, то томный, продолжительный взоръ, который бросили ему, уѣзжая, то горячее дыханіе, отъ котораго онъ таялъ въ вальсѣ, или разговоръ вполголоса у окна, подъ ревъ мазурки, когда

взоры такъ искрились, языкъ говорилъ Богъ знаетъ чтó. И сердце его билось; онъ съ судорожнымъ трепетомъ обнималъ подушку и долго ворочался съ боку на бокъ.

„Гдѣ же любовь? О, любви, любви жажду!“ говорилъ онъ:—„и скоро ли придетъ она? когда настанутъ эти дивныя минуты, эти сладостныя страданія, трепетъ блаженства, слезы...“ и проч.

На другой день онъ являлся къ дядѣ.

— Какой, дядюшка, вчера былъ вечеръ у Зарайскихъ! говорилъ онъ, погружаясь въ воспоминанія о балѣ.

— Хорошъ?

— О, дивный!

— Порядочный ужинъ былъ?

— Я не ужиналъ.

— Какъ такъ? Въ твои лѣта не ужинать, когда можно! Да ты, я вижу, не шутя привыкаешь къ здѣшнему порядку, даже ужь слишкомъ. Что жь тамъ все прилично было? туалетъ, освѣщеніе...

— Да-съ.

— И народъ порядочный?

— О, да! очень порядочный. Какіе глаза, плечи!

— Плечи? у кого?

— Вѣдь вы про нихъ спрашиваете?

— Про кого?

— Да про дѣвицъ.

— Нѣтъ, я не спрашивалъ про нихъ; но все равно— много было хорошенькихъ?

— О, очень... но жаль, что всѣ онѣ очень однообразны. Чтó одна скажетъ и сдѣлаетъ въ такомъ-то случаѣ, смотришь—то же повторитъ и другая, какъ-будто затверженный урокъ. Была одна... не совсѣмъ похожа на другихъ... а то не видно ни самостоятельности, ни характера. И движенія, и взгляды—все одинаково: не услышишь самород-

ной мысли, ни проблеска чувства... все покрылъ и закрасилъ одинакій лоскъ. Ничто, кажется, не вызоветъ ихъ наружу. И неужели это вѣкъ будетъ заперто и не обнаружится ни передъ кѣмъ? Ужели корсетъ вѣчно будетъ подавлять и вздохъ любви и вопль растерзаннаго сердца? неужели не дастъ простора чувству?...

— Передъ мужемъ все обнаружится, а то, если разсуждать, по-твоему, вслухъ, такъ, пожалуй, многія и вѣкъ въ дѣвкахъ просидятъ. Есть дуры, что прежде времени обнаруживаютъ то, что̀ слѣдовало бы прятать да подавлять, ну, за то послѣ слезы да слезы: не расчетъ!

— И тутъ расчетъ, дядюшка?...

— Какъ и вездѣ, мой милый; а кто не расчитываетъ, того называютъ по-русски безрасчетнымъ, дуракомъ. Коротко и ясно.

— Удерживать въ груди своей благородный порывъ чувства!...

— О, я знаю, ты не станешь удерживать; ты готовъ на улицѣ, въ театрѣ, броситься на шею пріятелю и зарыдать.

— Такъ что же, дядюшка? Сказали бы только, что это человѣкъ съ сильными чувствами, что кто чувствуетъ такъ, тотъ способенъ ко всему прекрасному и благородному и неспособенъ...

— Неспособенъ расчитывать, т. е. размышлять. Велика фигура—человѣкъ съ сильными чувствами, съ огромными страстями! Мало ли какіе есть темпераменты? Восторги, экзальтація: тутъ человѣкъ всего менѣе похожъ на человѣка и хвастаться нечѣмъ. Надо спросить, умѣетъ ли онъ управлять чувствами; если умѣетъ, то и человѣкъ...

— По-вашему, и чувствомъ надо управлять, какъ па̂ромъ, замѣтилъ Александръ:—то выпустить немного, то вдругъ остановить, открыть клапанъ, или закрыть...

— Да, этотъ клапанъ не даромъ природа дала человѣку— это разсудокъ, а ты вотъ не всегда имъ пользуешься — жаль! а малый порядочный!

— Нѣтъ, дядюшка, грустно слушать васъ! лучше познакомьте меня съ этой пріѣзжей барыней...

— Съ которой? съ Любецкой? Она была вчера?

— Была, долго говорила со мной о васъ, спрашивала о своемъ дѣлѣ.

— Ахъ, да! кстати...

Дядя вынулъ изъ ящика бумагу.

— Отвези ей эту бумагу, скажи, что вчера только, и то насилу, выдали изъ палаты; объясни ей хорошенько дѣло: вѣдь ты слышалъ, какъ мы съ чиновникомъ говорили?

— Да, знаю, знаю; ужъ я объясню.

Александръ обѣими руками схватилъ бумагу и спряталъ въ карманъ. Петръ Иванычъ посмотрѣлъ на него.

— Да что жь тебѣ вздумалось познакомиться съ нею? Она, кажется, неинтересна: съ бородавкой у носа.

— Съ бородавкой? Не помню. Какъ это вы замѣтили, дядюшка?

— У носа, да не замѣтить! Что жь тебѣ хочется къ ней?

— Она такая добрая и почтенная...

— Какъ же это ты бородавки у носа не замѣтилъ, а ужь узналъ, что она добрая и почтенная? это странно. Да позволь... у ней вѣдь есть дочь—это маленькая брюнетка. А! теперь не удивляюсь. Такъ вотъ отчего ты не замѣтилъ бородавки на носу!

Оба засмѣялись.

— А я такъ удивляюсь, дядюшка, сказалъ Александръ, —что вы прежде замѣтили бородавку на носу, чѣмъ дочь.

— Подай-ка назадъ бумагу. Ты тамъ, пожалуй, выпустишь все чувство и совсѣмъ забудешь закрыть клапанъ, надѣлаешь вздору и чортъ знаетъ что объяснишь...

— Нѣтъ, дядюшка, не надѣлаю. И бумаги, какъ хотите, не подамъ, я сейчасъ же...

И онъ скрылся изъ комнаты.

А дѣло до сихъ поръ шло да шло своимъ чередомъ. Въ службѣ замѣтили способности Александра и дали ему порядочное мѣсто. Иванъ Иванычъ и ему съ почтеніемъ началъ подносить свою табакерку, предчувствуя, что онъ, подобно множеству другихъ, послуживъ, какъ онъ говаривалъ, безъ году недѣлю, обгонитъ его, сядетъ ему а шею и махнетъ въ начальники отдѣленія, а тамъ, чего добраго и въ вице-директоры, какъ вонъ тотъ, или въ директоры, какъ этотъ, а начинали свою служебную школу и тотъ и этотъ подъ его руководствомъ. „А я работай за нихъ!“ прибавилъ онъ.—Въ редакціи журнала Александръ тоже сдѣлался важнымъ лицомъ. Онъ занимался и выборомъ, и переводомъ, и поправкою чужихъ статей, писалъ и самъ разные теоретическіе взгляды о сельскомъ хозяйствѣ. Денегъ у него, по его мнѣнію, было больше, нежели сколько нужно, а по мнѣнію дяди еще недовольно. Но не всегда онъ работалъ для денегъ. Онъ не отказывался отъ отрадной мысли о другомъ высшемъ призваніи. Юношескихъ его силъ ставало на все. Онъ кралъ время у сна, у службы, и писалъ, и стихи, и повѣсти, и историческіе очерки, и біографіи. Дядя ужь не обклеивалъ перегородокъ его сочиненіями, а читалъ ихъ молча, потомъ посвистывалъ или говорилъ: „да! это лучше прежняго“. Нѣсколько статей явилось подъ чужимъ именемъ. Александръ, съ радостнымъ трепетомъ, прислушивался къ одобрительному суду друзей, которыхъ у него было множество и на службѣ, и по кандитерскимъ, и въ частныхъ домахъ. Исполнялась его лучшая, послѣ любви, мечта. Будущность обѣщала ему много блеску, торжества; его, казалось, ожидалъ не совсѣмъ обыкновенный жребій, какъ вдругъ...

Мелькнуло нѣсколько мѣсяцевъ. Александра стало почти нигдѣ невидно, какъ-будто онъ пропалъ. Дядю онъ посѣщалъ рѣже. Тотъ приписывалъ это его занятіямъ и не мѣшалъ ему. Но редакторъ журнала, однажды при встрѣчѣ съ Петромъ Иванычемъ, жаловался, что Александръ задерживаетъ статьи. Дядя обѣщалъ, при первомъ случаѣ, объясниться съ племянникомъ. Случай представился дня черезъ три. Александръ вбѣжалъ утромъ къ дядѣ, какъ сумасшедшій. Въ его походкѣ и движеніяхъ видна была радостная суетливость.

— Здравствуйте, дядюшка; ахъ, какъ я радъ, что васъ вижу! сказалъ онъ и хотѣлъ обнять его, но тотъ успѣлъ уйти за столъ.

— Здравствуй, Александръ! Что это тебя давно не видно?

— Я... занятъ былъ, дядюшка: дѣлалъ извлеченія изъ нѣмецкихъ экономистовъ...

— А! что жь редакторъ лжетъ? Онъ третьяго дня сказалъ мнѣ, что ты нечего не дѣлаешь—прямой журналистъ! Я-жь его, при встрѣчѣ, отдѣлаю...

— Нѣтъ, вы ему ничего не говорите, перебилъ Александръ:—я ему еще не посылалъ своей работы, оттого онъ такъ и сказалъ...

— Да что съ тобой? у тебя такое праздничное лицо! Ассесора, что ли, тебѣ дали, или крестъ?

Александръ моталъ головой.

— Ну, деньги?

— Нѣтъ.

— Такъ что жь ты такимъ полководцемъ смотришь? Если нѣтъ, такъ не мѣшай мнѣ, а вотъ лучше сядь да напиши въ Москву, къ купцу Дубасову, о скорѣйшей высылкѣ остальныхъ денегъ. Прочти его письмо: гдѣ оно? вотъ.

Оба замолчали и начали писать.

— Кончилъ! сказалъ Александръ черезъ нѣсколько минутъ.

*

— Проворно: молодецъ! Покажи-ка. Что это? Ты ко мнѣ пишешь. „М. Г. Петръ Иванычъ!“ Его зовутъ Тимоѳей Никонычъ. Какъ 520 рублей! 5200! Что съ тобой, Александръ?

Петръ Иванычъ положилъ перо и поглядѣлъ на племянника. Тотъ покраснѣлъ.

— Вы ничего не замѣчаете въ моемъ лицѣ? спросилъ онъ.

— Что-то глуповато... Постой-ка... Ты влюбленъ? сказалъ Петръ Иванычъ.

Александръ молчалъ.

— Такъ, что ли? угадалъ?

Александръ, съ торжественной улыбкой, съ сіяющимъ взоромъ, кивнулъ утвердительно головой.

— Такъ и есть! Какъ это я сразу не догадался? Такъ вотъ отчего ты сталъ лѣниться, отъ этого и не видать тебя нигдѣ. А Зарайскіе и Скачины пристаютъ ко мнѣ: гдѣ да гдѣ Александръ Ѳедорычъ? онъ вонъ гдѣ — на седьмомъ небѣ!

— Петръ Иванычъ сталъ опять писать.

— Въ Надиньку Любецкую! сказалъ Александръ.

— Я не спрашивалъ, отвѣчалъ дядя:—въ кого бы ни было—все одна дурь. Въ какую Любецкую? это что съ бородавкой?

— Э! дядюшка! съ досадой перебилъ Александръ:—какая бородавка?

— У самаго носа. Ты все еще не разглядѣлъ?

— Вы все смѣшиваете. Это, кажется, у матери есть бородавка около носа.

— Ну, все равно.

— Все равно! Надинька! этотъ ангелъ! неужели вы не замѣтили ее? Видѣть однажды—и не замѣтить!

— Да что жь въ ней особеннаго? Чего жь тутъ замѣчать? вѣдь бородавки, ты говоришь, у ней нѣтъ?...

— Далась вамъ эта бородавка? Не грѣшите дядюшка: можно ли сказать, что она похожа на этихъ свѣтскихъ, чопорныхъ маріонетокъ? Вы разсмотрите ея лицо: какая тихая, глубокая дума покоится на немъ! Это—не только чувствующая, это мыслящая дѣвушка... глубокая натура...

Дядя принялся скрыпѣть перомъ по бумагѣ, а Александръ продолжалъ:

— Въ разговорѣ у ней вы не услышите пошлыхъ, общихъ мѣстъ. Какимъ свѣтлымъ умомъ блестятъ ея сужденія! что за огонь въ чувствахъ! какъ глубоко понимаетъ она жизнь! Вы своимъ взглядомъ отравляете ее, а Надинька миритъ меня съ нею.

Александръ замолчалъ на минуту и погрузился совсѣмъ въ мечту о Надинькѣ. Потомъ началъ опять.

— А когда она подниметъ глаза, вы сейчасъ увидите, какому пылкому и нѣжному сердцу служатъ они проводникомъ! а голосъ, голосъ! что за мелодія, что за нѣга въ немъ! Но когда этотъ голосъ прозвучитъ признаніемъ... нѣтъ выше блаженства на землѣ! Дядюшка! какъ прекрасна жизнь! какъ я счастливъ!

У него выступили слезы; онъ бросился и съ розмаху обнялъ дядю.

— Александръ! вскричалъ, вскочивъ съ мѣста, Петръ Иванычъ:—закрой скорѣй свой клапанъ,—весь паръ выпустилъ! Ты сумасшедшій! смотри, что ты надѣлалъ! въ одну секунду ровно двѣ глупости: перемялъ прическу и закапалъ письмо. Я думалъ, ты совсѣмъ отсталъ отъ своихъ привычекъ. Давно ты не былъ такимъ. Посмотри, посмотри, ради Бога, на себя въ зеркало: ну, можетъ ли быть глупѣе физіономія? а неглупъ!

— Ха, ха, ха! я счастливъ, дядюшка!

— Это замѣтно!

— Не правда ли? въ моемъ взорѣ, я знаю, блещетъ гордость. Я гляжу на толпу, какъ могутъ глядѣть только герой, поэтъ и влюбленный, счастливый взаимною любовью...

— И какъ сумасшедшіе смотрятъ, или еще хуже... Ну, что я теперь стану дѣлать съ письмомъ?

— Позвольте, я соскоблю—и незамѣтно будетъ, сказалъ Александръ. Онъ бросился къ столу съ тѣмъ же судорожнымъ трепетомъ, началъ скоблить, чистить, тереть, и протеръ на письмѣ скважину. Столъ отъ тренія зашатался и толкнулъ этажерку. На этажеркѣ стоялъ бюстикъ, изъ итальянскаго алебастра, Софокла или Эсхила. Почтенный трагикъ отъ сотрясенія сначала раза три качнулся на зыбкомъ пьедесталѣ взадъ и впередъ, потомъ свергнулся съ этажерки и разбился въ дребезги.

— Третья глупость, Александръ! сказалъ Петръ Иванычъ, поднимая черепки:—а это пятьдесятъ рублей стоитъ.

— Я заплачу, дядюшка, о! я заплачу, но не проклинайте моего порыва: онъ чистъ и благороденъ: я счастливъ, счастливъ! Боже! какъ хороша жизнь!

Дядя сморщился и покачалъ головой.

— Когда ты умнѣе будешь, Александръ? Богъ знаетъ что говоритъ!

Онъ, между-тѣмъ, съ сокрушеніемъ смотрѣлъ на разбитый бюстъ.

— Заплачу! сказалъ онъ, заплачу. Это будетъ четвертая глупость. Тебѣ, я вижу, хочется разсказать о своемъ счастіи. Ну, нéчего дѣлать. Если ужь дяди обречены принимать участіе во всякомъ вздорѣ своихъ племянниковъ, такъ и быть, я даю тебѣ четверть часа: сиди смирно, не сдѣлай какой-нибудь пятой глупости и разсказывай, а потомъ, послѣ этой новой глупости, уходи: мнѣ нéкогда. Ну... ты счастливъ... такъ что же? разсказывай же поскорѣе.

— Если и такъ, дядюшка, то эти вещи не разсказываются, съ скромной улыбкой замѣтилъ Александръ.

— Я-было приготовилъ тебя, а ты я вижу, все-таки хочешь начать съ обыкновенныхъ прелюдій. Это значитъ, что разсказъ продолжится цѣлый часъ; мнѣ нéкогда: почта не будетъ ждать. Постой, ужь я лучше самъ разскажу.

— Вы? вотъ забавно!

— Ну, слушай же, очень забавно! Ты вчера видѣлся съ своей красавицей наединѣ...

— А вы почему знаете? съ жаромъ началъ Александръ: —вы подсылаете смотрѣть за мнóй?

— Какъ же, я содержу для тебя шпіоновъ на жалованьи. Съ чего ты взялъ, что я такъ забочусь о тебѣ? мнѣ что за дѣло?

Эти слова сопровождались ледянымъ взглядомъ.

— Такъ почему же вы знаете? спросилъ Александръ, подходя къ дядѣ.

— Сиди, сиди, ради Бога, и не подходи къ столу, что-нибудь разобьешь. У тебя на лицѣ все написано, я отсюда буду читать. Ну, у васъ было объясненіе, сказалъ онъ.

Александръ покраснѣлъ и молчалъ. Видно, что дядя опять попалъ.

— Вы оба, какъ водится, были очень глупы, говорилъ Петръ Иванычъ.

Племянникъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— Дѣло началось съ пустяковъ, когда вы остались одни, съ какого-нибудь узора, продолжалъ дядя:—ты спросилъ, кому она вышиваетъ? она отвѣчала „маменькѣ или тетенькѣ“, или что-нибудь подобное, а сами вы дрожали, какъ въ лихорадкѣ...

— А вотъ нѣтъ, дядюшка, не угадали: не съ узора; мы были въ саду... проговорился Александръ и замолчалъ.

— Ну, съ цвѣтка, что-ли, сказалъ Петръ Иванычъ: —

можетъ-быть, еще съ желтаго, все равно; тутъ что́ попадется въ глаза, лишь бы начать разговоръ; такъ-то слова съ языка нейдутъ. Ты спросилъ, нравится ли ей цвѣтокъ; она отвѣчала *да*—почему, дескать? „Такъ", сказала она, и замолчали оба, потому-что хотѣли сказать совсѣмъ другое, и разговоръ не вязался. Потомъ взглянули другъ на друга, улыбнулись и покраснѣли.

— Ахъ, дядюшка, дядюшка, что вы!.. говорилъ Александръ въ сильномъ смущеніи.

— Потомъ, продолжалъ неумолимый дядя:—ты началъ стороной говорить о томъ, что вотъ-де передъ тобой открылся новый міръ. Она вдругъ взглянула на тебя, какъ-будто слушаетъ неожиданную новость; ты, я думаю, сталъ въ тупикъ, растерялся, потомъ опять чуть внятно сказалъ, что только теперь ты узналъ цѣну жизни, что и прежде ты видалъ ее... какъ ее? Марья, что-ли?

— Надинька.

— Но видалъ какъ-будто во снѣ, предчувствовалъ встрѣчу съ ней, что васъ свела симпатія, и что, дескать, теперь, ты посвятишь ей одной всѣ стихи и прозу... А руками-то, я думаю, какъ работалъ! вѣрно опрокинулъ или разбилъ что-нибудь.

— Дядюшка! вы подслушали насъ! вскричалъ внѣ себя Александръ.

— Да, я тамъ за кустомъ сидѣлъ. Мнѣ вѣдь только и дѣла, что бѣгать за тобой, да подслушивать всякій вздоръ.

— Почему же вы все это знаете? спросилъ съ недоумѣніемъ Александръ.

— Мудрено! съ Адама и Евы одна и та же исторія у всѣхъ, съ маленькими варіантами. Узнай характеръ дѣйствующихъ лицъ, узнаешь и варіанты. Это удивляетъ тебя, а еще писатель! Вотъ теперь и будешь прыгать и скакать дня три, какъ помѣшанный, вѣшаться всѣмъ на шею—

только, ради Бога, не мнѣ. Я тебѣ совѣтовалъ бы запереться на это время въ своей комнатѣ, выпустить тамъ весь этотъ паръ и продѣлать всѣ продѣлки съ Евсеемъ, чтобы никто не видалъ. Потомъ немного одумаешься, будешь добиваться ужь другаго, поцѣлуя, напримѣръ...

— Поцѣлуй Надиньки! о, какая высокая, небесная награда! почти заревѣлъ Александръ.

— Небесная!

— Что же—матеріальная, земная, по вашему?

— Безъ сомнѣнія, дѣйствіе электричества; влюбленные—все равно, что двѣ лейденскія банки: оба сильно заряжены;—поцѣлуями электричество разрѣшается, и когда разрѣшится совсѣмъ—прости любовь, слѣдуетъ охлажденіе...

— Дядюшка...

— Да! а ты думалъ какъ?

— Какой взглядъ! какія понятія!

— Да, я забылъ: у тебя еще будутъ фигурировать „вещественные знаки". Опять нанесешь всякой дряни и будешь задумываться да разглядывать, а дѣло въ сторону.

Александръ вдругъ схватился за карманъ.

— Чтó, ужь есть? будешь дѣлать все то же, чтó люди дѣлаютъ съ сотворенія міра.

— Стало быть, то же, чтó и вы дѣлали дядюшка?

— Да, только поглупѣе.

— Поглупѣе! Не называете ли вы глупостью то, чтó я буду любить глубже, сильнѣе васъ, не издѣваться надъ чувствомъ, не шутить и не играть имъ холодно, какъ вы... и не сдергивать покрывала съ священныхъ тайнъ...

— Ты будешь любить, какъ и другіе, ни глубже, ни сильнѣе; будешь также сдергивать и покрывало съ тайнъ... но только ты будешь вѣрить въ вѣчность и неизмѣнность любви, да объ одномъ этомъ и думать, а вотъ это-то и глупо: самъ себѣ готовишь горя болѣе, нежели сколько бы его должно быть.

— О, это ужасно, ужасно, чтó вы говорите, дядюшка! Сколько разъ я давалъ себѣ слово таить передъ вами то, чтó происходитъ въ сердцѣ.

— Зачѣмъ же не сдержалъ? Вотъ пришелъ—помѣшалъ мнѣ...

— Но вѣдь вы одни у меня, дядюшка, близкіе: съ кѣмъ же мнѣ раздѣлить этотъ избытокъ чувствъ? а вы безъ милосердія вонзаете свой анатомическій ножъ въ самые тайные изгибы моего сердца.

— Я это не для своего удовольствія дѣлаю: ты самъ просилъ моихъ совѣтовъ. Отъ сколькихъ глупостей я остерегъ тебя!..

— Нѣтъ, дядюшка, пусть же я буду вѣчно глупъ въ вашихъ глазахъ, но я не могу существовать съ такими понятіями о жизни, о людяхъ. Это больно, грустно! тогда мнѣ не надо жизни, я не хочу ея при такихъ условіяхъ— слышите ли? я не хочу.

— Слышу; да что жь мнѣ дѣлать? вѣдь не могу же я тебя лишить ея.

— Да! говорилъ Александръ: — вопреки вашимъ предсказаніямъ, я буду счастливъ, буду любить вѣчно и однажды.

— Охъ, нѣтъ! Я предчувствую, что ты еще много коечего перебьешь у меня. Но это бы все ничего: любовь любовью; никто не мѣшаетъ тебѣ; не нами заведено заниматься особенно прилежно любовью въ твои лѣта, но однакожь, не до такой степени, чтобы бросать дѣло; любовь любовью, а дѣло дѣломъ...

— Да я дѣлаю извлеченія изъ нѣмецкихъ...

— Полно, никакихъ ты извлеченій не дѣлаешь, предаешься только *сладостной нѣгѣ*, а редакторъ откажетъ тебѣ...

— Пусть его! я не нуждаюсь. Могу ли я думать теперь о презрѣнной пользѣ, когда...

— *О презрѣнной пользѣ*! презрѣнная! Ты ужь лучше построй въ горахъ хижину, ѣшь хлѣбъ съ водой и пой:

Мнѣ хижина убога
Съ тобою будетъ рай...

но только какъ не станетъ у тебя „презрѣннаго металла", у меня не проси—не дамъ...

— Я, кажется, не часто безпокоилъ васъ.

— До сихъ поръ, слава Богу, нѣтъ, а можетъ случиться, если бросишь дѣло; любовь тоже требуетъ денегъ: тутъ и лишнее щегольство и разныя другія траты... Охъ, эта мнѣ любовь въ двадцать лѣтъ! вотъ ужь презрѣнная, такъ презрѣнная, никуда не годится!

— Какая же, дядюшка, годится? въ сорокъ?

— Я не знаю, какова любовь въ сорокъ лѣтъ, а въ тридцать девять...

— Какъ ваша?

— Пожалуй, какъ моя.

— То есть, никакая.

— Ты почему знаешь?

— Будто вы можете любить?

— Почему же нѣтъ? развѣ я не человѣкъ, или развѣ мнѣ восемьдесять лѣтъ? Только если я люблю, то люблю разумно, помню себя, не бью и не опрокидываю ничего.

— Разумная любовь! хороша любовь, которая помнитъ себя! насмѣшливо замѣтилъ Александръ:—которая ни на минуту не забудется...

— Дикая, животная, перебилъ Петръ Иванычъ: — не помнитъ, а разумная должна помнить; въ противномъ случаѣ это не любовь...

— А что же?..

— Такъ, гнусность, какъ ты говоришь.

— Вы... любите! говорилъ Александръ, глядя недовѣрчиво на дядю:—ха, ха, ха!

Петръ Иванычъ молча писалъ.

— Кого же, дядюшка? спросилъ Александръ.

— Тебѣ хочется знать?

— Хотѣлось бы.

— Свою невѣсту.

— Не... невѣсту! едва выговорилъ Александръ, вскочивъ съ мѣста и подходя къ дядѣ.

— Не близко, не близко, Александръ, закрой клапанъ! заговорилъ Петръ Иванычъ, увидя, какіе большіе глаза сдѣлалъ племянникъ, и проворно придвинулъ къ себѣ разныя мелкія вещицы, бюстики, фигурки, часы и чернилицу.

— Стало быть, вы женитесь? спросилъ Александръ съ тѣмъ же изумленіемъ.

— Стало быть.

— И вы такъ покойны! пишете въ Москву письма, разговариваете о постороннихъ предметахъ, ѣздите на заводъ и еще такъ адски холодно разсуждаете о любви!

— Адски холодно—это ново! въ аду, говорятъ, жарко, Да что ты на меня смотришь такъ дико?

— Вы—женитесь!

— Что жь тутъ удивительнаго? спросилъ Петръ Иванычъ, положивъ перо.

— Какъ что? женитесь и ни слова мнѣ!

— Извини, я забылъ попросить у тебя позволенія.

— Не просить позволенія, дядюшка, а надо же мнѣ знать. Родной дядя женится, а я ничего не знаю, мнѣ и не сказали!..

— Вотъ вѣдь сказалъ.

— Сказали, потому-что кстати пришлось.

— Я стараюсь, по возможности, все дѣлать кстати.

— Нѣтъ, чтобъ первому мнѣ сообщить вашу радость: вы знаете, какъ я люблю васъ и какъ раздѣлю...

— Я вообще избѣгаю дѣлежа, а въ женитьбѣ и подавно.

— Знаете что̀, дядюшка? сказалъ Александръ съ живостью:—можетъ быть... нѣтъ, не могу таиться передъ вами... Я не таковъ, все выскажу...

— Охъ, Александръ, некогда мнѣ; если новая исторія, такъ нельзя ли завтра?

— Я хочу только сказать, что, можетъ быть... и я близокъ къ тому же счастью...

— Что̀, спросилъ Петръ Иванычъ, слегка навостривъ уши:—это что-то любопытно...

— А! любопытно? такъ и я помучаю васъ: не скажу.

Петръ Иванычъ равнодушно взялъ пакетъ, вложилъ туда письмо и началъ запечатывать.

— И я, можетъ быть, женюсь! сказалъ Александръ на ухо дядѣ.

Петръ Иванычъ не допечаталъ письма и поглядѣлъ на него очень серьёзно.

— Закрой клапанъ, Александръ! сказалъ онъ.

— Шутите, шутите, дядюшка, а я говорю не шутя. Попрошу у маменьки позволенія.

— Тебѣ жениться!

А что же?

— Въ твои лѣта!

— Мнѣ двадцать три года.

— Пора! Въ эти лѣта женятся только мужики, когда имъ нужна работница въ домѣ.

— Но если я влюбленъ въ дѣвушку и есть возможность жениться, такъ, по вашему, не нужно...

— Я тебѣ никакъ не совѣтую жениться на женщинѣ, въ которую ты влюбленъ.

— Какъ, дядюшка? это новое; я никогда не слыхалъ.

— Мало ли ты чего не слыхалъ!

— Я думалъ все, что супружества безъ любви не должно быть.

— Супружество супружествомъ, а любовь любовью, сказалъ Петръ Иванычъ.

— Какъ же жениться... по расчету?

— Съ расчетомъ, а не по расчету. Только расчетъ этотъ долженъ состоять не въ однихъ деньгахъ. Мужчина такъ созданъ, чтобъ жить въ обществѣ женщины; ты и станешь расчитывать, какъ бы жениться, станешь искать, выбирать между женщинами...

— Искать, выбирать! съ изумленіемъ сказалъ Александръ.

— Да, выбирать. Поэтому-то и не совѣтую жениться, когда влюбишься. Вѣдь любовь пройдетъ—это ужь пошлая истина.

— Это самая грубая ложь и клевета.

— Ну, теперь тебя не убѣдишь; увидишь самъ современемъ, а теперь запомни мои слова только: любовь пройдетъ, повторяю я, и тогда женщина, которая казалась тебѣ идеаломъ совершенства, можетъ быть, покажется очень несовершенною, а дѣлать будетъ нечего. Любовь заслонитъ отъ тебя недостатокъ качествъ, нужныхъ для жены. Тогда-какъ выбирая, ты хладнокровно разсудишь, имѣетъ ли такая-то или такая женщина качества, какія хочешь видѣть въ женѣ: вотъ въ чемъ главный расчетъ. И если отыщешь такую женщину, она непремѣнно должна нравиться тебѣ постоянно, потому-что отвѣчаетъ твоимъ желаніямъ. Изъ этого возникнутъ между ею и тобою близкія отношенія, которыя потомъ образуютъ...

— Любовь? спросилъ Александръ.

— Да... привычку.

— Жениться безъ увлеченія, безъ поэзіи любви, безъ страсти, разсуждать, какъ и зачѣмъ!!

— А ты женился бы, не разсуждая и не спрашивая себя: зачѣмъ? такъ точно, какъ, поѣхавши сюда, тоже не спросилъ себя: зачѣмъ?

— Такъ вы женитесь по расчету? спросилъ Александръ.

— Съ расчетомъ, замѣтилъ Петръ Иванычъ.

— Это все равно.

— Нѣтъ, по расчету значитъ жениться для денегъ — это низко; но жениться безъ расчета—это глупо!.. а тебѣ теперь вовсе не слѣдуетъ жениться.

— Когда же жениться? Когда состарѣюсь? Зачѣмъ я буду слѣдовать нелѣпымъ примѣрамъ.

— Въ томъ числѣ и моему? спасибо!

— Я не про васъ говорю, дядюшка, а про всѣхъ вообще. Услышишь о свадьбѣ, пойдешь посмотрѣть—и что же? видишь прекрасное, нѣжное существо, почти ребенка, которое ожидало только волшебнаго прикосновенія любви, чтобы развернуться въ пышный цвѣтокъ, и вдругъ ее отрываютъ отъ куколъ, отъ няни, отъ дѣтскихъ игръ, отъ танцевъ, и слава Богу, если только отъ этого; а часто не заглянутъ въ ея сердце, которое, можетъ быть, не принадлежитъ уже ей. Ее одѣваютъ въ газъ, въ блонды, убираютъ цвѣтами и, несмотря на слезы, на блѣдность, влекутъ, какъ жертву, и ставятъ—подлѣ кого же? подлѣ пожилаго человѣка, по большей части некрасиваго, который ужь утратилъ блескъ молодости. Онъ, или бросаетъ на нее взоры оскорбительныхъ желаній, или холодно осматриваетъ ее съ головы до ногъ, а самъ думаетъ, кажется: „хороша ты, да, чай, съ блажью въ головѣ: любовь да розы, — я уйму эту дурь, это — глупости! у меня полно вздыхать да мечтать, а веди себя пристойно“, или еще хуже—мечтаетъ объ ея имѣніи,

Самому молодому мало-мало тридцать лѣтъ. Онъ часто съ лысиною, прагда, съ крестомъ, или иногда со звѣздой. И говорятъ ей: „вотъ кому обречены всѣ сокровища твоей юности, ему и первое біеніе сердца и признаніе, и взгляды, и рѣчи, и дѣвственныя ласки, и вся жизнь“. А кругомъ толпой тѣснятся тѣ, кто, по молодости и красотѣ, подъ пару ей, и кому бы надо было стать рядомъ съ невѣстой. Они пожираютъ взглядами бѣдную жертву и какъ будто говорятъ: „вотъ, когда мы истощимъ свѣжесть, здоровье, оплѣшивѣемъ, и мы женимся, и намъ достанется такой же пышный цвѣтокъ...“ Ужасно!...

— Дико, нехорошо, Александръ! пишешь ты ужь два года, сказалъ Петръ Иванычъ—и о наземѣ, и о картофелѣ, и о другихъ серьёзныхъ предметахъ, гдѣ стиль строгій, сжатый, а все еще дико говоришь. Ради Бога, не предавайся экстазу, или, по крайней мѣрѣ, какъ эта дурь найдетъ на тебя, такъ ужь молчи, дай ей пройти, путнаго ничего не скажешь и не сдѣлаешь: выйдетъ непремѣнно нелѣпость.

— Какъ, дядюшка, а развѣ не въ экстазѣ родится мысль поэта?

— Я не знаю, какъ она родится, а знаю, что выходитъ совсѣмъ готовая изъ головы, то есть когда обработается размышленіемъ: тогда только она и хороша. Ну, а по твоему, началъ, помолчавъ, Петръ Иванычъ:—за кого же бы выдавать эти прекрасныя существа?

— За тѣхъ, кого они любятъ, кто еще не утратилъ блеска юношеской красоты, въ комъ и въ головѣ и въ сердцѣ—всюду замѣтно присутствіе жизни, въ глазахъ не угасъ еще блескъ, на щекахъ не остылъ румянецъ, не пропала свѣжесть—признаки здоровья; кто бы не истощенной рукой повелъ по пути жизни прекрасную подругу, а при-

несъ бы ей въ даръ сердце, полное любви къ ней, способное понять и раздѣлить ея чувства, когда права природы...

— Довольно! то есть, за такихъ молодцовъ, какъ ты. Еслибъ мы жили *среди полей и лѣсовъ дремучихъ*—такъ, а то жени вотъ этакого молодца, какъ ты — много будетъ проку! въ первый годъ съ ума сойдетъ, а тамъ и пойдетъ заглядывать за кулисы, или дастъ въ соперницы женѣ ея же горничную, потому-что права-то природы, о которыхъ ты толкуешь, требуютъ перемѣны, новостей—славный порядокъ! а тамъ и жена, замѣтивъ мужнины проказы, полюбитъ вдругъ каски, наряды, да маскарады, и сдѣлаетъ тебѣ того.... а безъ состоянія такъ еще хуже! ѣсть, говоритъ, нечего!

Петръ Иванычъ сдѣлалъ кислую мину.

— „Я, говоритъ, женатъ, продолжалъ онъ: — у меня, говоритъ, ужь трое дѣтей, помогите, не могу прокормиться, я бѣденъ...“ бѣденъ! какая мерзость! нѣтъ, я надѣюсь, что ты не попадешь ни въ ту, ни въ другую категорію.

— Я попаду въ категорію счастливыхъ мужей, дядюшка, а Наденька—счастливыхъ женъ. Не хочу жениться, какъ женится большая часть: наладили одну пѣсню: „молодость прошла, одиночество наскучило, такъ надо жениться!“ Я не таковъ!

— Бредишь, милый.

— Да почему вы знаете?

— Потому-что ты такой же человѣкъ, какъ другіе, а другихъ я давно знаю. Ну, скажи-ка ты, зачѣмъ женишься?

— Какъ зачѣмъ! Надинька — жена моя! воскликнулъ Александръ, закрывъ лицо руками.

— Ну, что? видишь—и самъ не знаешь.

— У! духъ замираетъ отъ одной мысли. Вы не знаете, какъ я люблю ее, дядюшка! я люблю, какъ никогда никто не любилъ: всѣми силами души—ей все...

— Лучше бы ты, Александръ, выбранилъ или, ужь, такъ и быть, обнялъ меня, чѣмъ повторять эту глупѣйшую фразу! Какъ это у тебя языкъ поворотился? „какъ никогда никто не любилъ!“

Петръ Иванычъ пожалъ плечами.

— Что жь, развѣ это не можетъ быть?

— Впрочемъ, точно, глядя на твою любовь, я думаю, что это даже возможно: глупѣе любить нельзя!

— Но она говоритъ, что надо ждать годъ, что мы молоды, должны испытать себя... цѣлый годъ... и тогда...

— Годъ! а! давно бы ты сказалъ! перебилъ Петръ Иванычъ:—это она предложила? Какая же она умница! Сколько ей лѣтъ?

— Восьмнадцать.

— А тебѣ—двадцать три: ну, братъ, она въ двадцать три раза умнѣе тебя. Она, какъ я вижу, понимаетъ дѣло: съ тобою она пошалитъ, пококетничаетъ, время проведетъ весело, а тамъ... есть между этими дѣвчонками преумныя! Ну, такъ ты не женишься. Я думалъ, ты хочешь это какъ-нибудь поскорѣе повернуть, да тайкомъ. Въ твои лѣта эти глупости такъ проворно дѣлаются, что не успѣешь и помѣшать; а то черезъ годъ! до тѣхъ поръ она еще надуетъ тебя...

— Она — надуетъ, кокетничаетъ! дѣвчонка! она, Надинька! фи, дядюшка! Съ кѣмъ вы жили всю жизнь, съ кѣмъ имѣли дѣла, кого любили, если у васъ такія черныя подозрѣнія?..

— Жилъ съ людьми, любилъ женщину.

— Она обманетъ! Этотъ ангелъ, эта олицетворенная искренность, женщина, какую, кажется, Богъ впервые создалъ во всей чистотѣ и блескѣ...

— А все-таки женщина, и вѣроятно обманетъ.

— Вы послѣ этого скажете, что и я надую?

— Современемъ—да, и ты.

— Я! про тѣхъ, кого вы не знаете, вы можете заключать, что угодно; но меня—не грѣхъ ли вамъ подозрѣвать въ такой гнусности? Кто же я въ вашихъ глазахъ?

— Человѣкъ.

— Не всѣ одинаковы. Знайте же, что я, не шутя, искренно далъ ей обѣщаніе любить всю жизнь; я готовъ подтвердить это клятвой...

— Знаю, знаю! Порядочный человѣкъ не сомнѣвается въ искренности клятвы, когда даетъ ее женщинѣ, а потомъ измѣнитъ или охладѣетъ, и самъ не знаетъ какъ. Это дѣлается не съ намѣреніемъ, и тутъ никакой гнусности нѣтъ, некого винить: природа вѣчно любить не позволила. И вѣрующіе въ вѣчную и неизмѣнную любовь дѣлаютъ то же самое, что и невѣрующіе, только не замѣчаютъ или не хотятъ сознаться; мы дескать, выше этого, не люди, а ангелы—глупость!

— Какъ же есть любовники, супруги, которые вѣчно любятъ другъ друга и всю жизнь живутъ?...

— Вѣчно! кто двѣ недѣли любитъ, того называютъ вѣтренникомъ, а два, три года—такъ ужь и вѣчно! Разберика, какъ любовь создана, и самъ увидишь, что она не вѣчна! Живость, пылкость и лихорадочность этого чувства не даютъ ему быть продолжительнымъ. Любовники, супруги живутъ всю жизнь вмѣстѣ—правда! да развѣ любятъ всю жизнь другъ друга? будто ихъ всегда связываетъ первоначальная любовь? будто они ежеминутно ищутъ другъ друга, глядятъ и не наглядятся? Куда подъ конецъ дѣнутся мелочныя угожденія, безпрестанная внимательность, жажда быть вмѣстѣ, слезы, восторги—всѣ эти вздоры? Холодность неповоротливость мужей вошла въ пословицу. „Ихъ любовь обращается въ дружбу!“ говорятъ всѣ важно: такъ вотъ ужь и не любовь! Дружбу! А что это за дружба?

Мужа съ женой связываютъ общіе интересы, обстоятельства, одна судьба,—вотъ и живутъ вмѣстѣ; а нѣтъ этого, такъ и расходятся, любятъ другихъ,—иной прежде, другой послѣ: это называется измѣной!... А живучи вмѣстѣ, живутъ потомъ привычкой, которая, скажу тебѣ на ухо, сильнѣе всякой любви: не даромъ называютъ ее второй натурой; иначе бы люди не перестали терзаться всю жизнь въ разлукѣ или по смерти любимаго предмета, а вѣдь утѣшаются. А то наладили: вѣчно, вѣчно!.. не разберутъ, да и кричатъ.

— Какъ же, вы дядюшка, не опасаетесь за себя? Стало быть, и ваша невѣста... извините... надуетъ васъ?...

— Не думаю.

— Какое самолюбіе!

— Это не самолюбіе, а расчетъ.

— Опять расчетъ!

— Ну, размышленіе, если хочешь.

— А если она влюблена въ кого-нибудь?

— До этого не надо допускать; а еслибъ и случился такой грѣхъ, такъ можно поискуснѣе расхолодить.

— Будто это можно? развѣ въ вашей власти...

— Весьма.

— Этакъ бы дѣлали всѣ обманутые мужья, сказалъ Александръ: —еслибъ былъ способъ...

— Не всѣ мужья одинаковы, мой милый: одни очень равнодушны къ своимъ женамъ, не обращаютъ вниманія на то, что дѣлается вокругъ нихъ и не хотятъ замѣтить; другіе изъ самолюбія и хотѣли бы, да плохи: не умѣютъ взяться за дѣло.

— Какъ же вы сдѣлаете?

— Это мой секретъ; тебѣ не втолкуешь: ты въ горячкѣ.

— Я счастливъ теперь и благодарю Бога; а о томъ, что будетъ впереди, и знать не хочу.

— Первая половина твоей фразы такъ умна, что хоть бы не влюбленному ее сказать: она показываетъ умѣнье пользоваться настоящимъ: а вторая, извини, никуда не годится. „Не хочу знать, что будетъ впереди“, т. е. не хочу думать о томъ, что было вчера и что есть сегодня; не стану ни соображать, ни размышлять, не приготовлюсь къ тому, не остерегусь этого, такъ, куда вѣтеръ подуетъ! Помилуй, на что это похоже?

— А по вашему, какъ же, дядюшка? Настанетъ мигъ блаженства, надо взять увеличительное стекло да и разсматривать...

— Нѣтъ, уменьшительное, чтобъ съ радости не одурѣть вдругъ, не вѣшаться всѣмъ на шею.

— Или придетъ минута грусти, продолжалъ Александръ: —такъ ее разсматривать въ ваше уменьшительное стекло?

— Нѣтъ, грусть въ увеличительное: легче перенесть, когда вообразишь непріятность вдвое больше, нежели она есть.

— Зачѣмъ же, продолжалъ Александръ съ досадой:— я буду убивать вначалѣ всякую радость холоднымъ размышленіемъ, не упившись ею, думать: вотъ она измѣнитъ, пройдетъ? зачѣмъ буду терзаться заранѣе горемъ, когда оно не настало?

— А за то, когда настанетъ, перебилъ дядя:—такъ подумаешь — и горе пройдетъ, какъ проходило тогда-то и тогда-то, и со мной, и съ тѣмъ, и съ другимъ. Надѣюсь, это не дурно и стоитъ обратить на это вниманіе; тогда и терзаться не станешь, когда разглядишь перемѣнчивость всѣхъ шансовъ въ жизни; будешь хладнокровенъ и покоенъ, сколько можетъ быть покоенъ человѣкъ.

— Такъ вотъ гдѣ тайна вашего спокойствія! задумчиво сказалъ Александръ.

Петръ Иванычъ молчалъ и писалъ.

— Но что жь за жизнь! началъ Александръ:—не забыться, а все думать, думать... нѣтъ, я чувствую, что это не такъ. Я хочу жить безъ вашего холоднаго анализа, не думая о томъ, ожидаетъ ли меня впереди бѣда, опасность, или нѣтъ—все равно!... Зачѣмъ я буду думать заранѣе и отравлять...

— Вѣдь я говорю зачѣмъ, а онъ все свое! Не заставь меня сдѣлать на твой счетъ какого-нибудь обиднаго сравненія. Затѣмъ, что когда предвидишь опасность, препятствіе, бѣду, такъ легче бороться съ ней или перенести ее: ни съ ума не сойдешь, ни умрешь; а когда придетъ радость, такъ не будешь скакать и опрокидывать бюстовъ—ясно ли? Ему говорятъ: вотъ начало, смотри же, соображай по этому конецъ, а онъ закрываетъ глаза, мотаетъ головой, какъ при видѣ пугала какого-нибудь, и живетъ подѣтски. По твоему, живи день за днемъ, какъ живется, сиди у порога своей хижины, измѣряй жизнь обѣдами, танцами, любовью да неизмѣнной дружбой. Все хотятъ золотаго вѣка! Ужь я сказалъ тебѣ, что съ твоими идеями хорошо сидѣть въ деревнѣ, съ бабой да полдюжиной ребятъ, а здѣсь надо дѣло дѣлать; для этого безпрестанно надо думать и помнить, что дѣлалъ вчера, что дѣлаешь сегодня, чтобы знать, что нужно дѣлать завтра, т. е. жить съ безпрерывной повѣркой себя и своихъ занятій. Съ этимъ дойдемъ до чего-нибудь дѣльнаго; а такъ... Да что съ тобою толковать: ты теперь въ бреду. Ай! скоро часъ. Ни слова больше, Александръ; уходи... и слушать не стану; завтра обѣдай у меня, кое-кто будетъ.

— Не друзья ли ваши?

— Да... Коневъ, Смирновъ, Ѳедоровъ,—ты ихъ знаешь, и еще кое-кто...

— Коневъ, Смирновъ, Ѳедоровъ! да это тѣ самые люди, съ которыми вы имѣете дѣла.

— Ну, да; все нужные люди.

— Такъ это у васъ друзья? Въ самомъ дѣлѣ не видывалъ, чтобъ вы кого-нибудь принимали съ особенною горячностью.

— Я ужь тебѣ сказывалъ, что друзьями я называю тѣхъ, съ кѣмъ чаще вижусь, которые доставляютъ мнѣ или пользу или удовольствіе. Помилуй! что жь даромъ-то кормить?

— А я думалъ, вы прощаетесь передъ свадьбой съ истинными друзьями, которыхъ душевно любите, съ которыми за чашей помянете въ послѣдній разъ веселую юность и, можетъ быть, при разлукѣ крѣпко прижмете ихъ къ сердцу.

— Ну, въ твоихъ пяти словахъ все есть, чего въ жизни не бываетъ или не должно быть. Съ какимъ восторгомъ твоя тетка бросилась бы тебѣ на шею! Въ самомъ дѣлѣ, тутъ и *истинные друзья*, тогда-какъ есть просто друзья, и *чаша*, тогда-какъ пьютъ изъ бокаловъ или стакановъ, и объятія *при разлукѣ*, когда нѣтъ разлуки. Охъ, Александръ!

— И вамъ не жаль разставаться, или, по крайней мѣрѣ, рѣже видѣться съ этими друзьями? сказалъ Александръ.

— Нѣтъ! я никогда не сближался ни съ кѣмъ до такой степени, чтобъ жалѣть, и тебѣ тоже совѣтую.

— Но, можетъ быть, они не таковы: имъ, можетъ быть, жаль потерять въ васъ добраго товарища, собесѣдника?

— Это ужь не мое, а ихъ дѣло. Я тоже не разъ терялъ такихъ товарищей, да вотъ не умеръ отъ того. Такъ ты будешь завтра?

— Завтра, дядюшка я...

— Что?

— Отозванъ на дачу.

— Вѣрно къ Любецкимъ?

— Да.

— Такъ! Ну, какъ хочешь. Помни о дѣлѣ, Александръ: я скажу редактору, чѣмъ ты занимаешься...

— Ахъ, дядюшка, какъ можно! Я непремѣнно докончу извлеченія изъ нѣмецкихъ экономистовъ...

— Да ты прежде начни ихъ. Смотри же помни, *презрѣннаго металла* не проси, какъ скоро совсѣмъ предашься *сладостной нѣгѣ*.

IV.

Жизнь Александра раздѣлялась на двѣ половины. Утро поглощала служба. Онъ рылся въ запыленныхъ дѣлахъ, соображалъ вовсе некасавшіяся до него обстоятельства, считалъ на бумагѣ милліонами непринадлежавшія ему деньги. Но порой голова отказывалась думать за другихъ, перо выпадало изъ рукъ и имъ овладѣвала та *сладостная нѣга*, на которую сердился Петръ Иванычъ.

Тогда Александръ опрокидывался на спинку стула и уносился мысленно въ мѣсто злачно, въ мѣсто покойно, гдѣ нѣтъ ни бумагъ, ни черпилъ, ни странныхъ лицъ, ни вицмундировъ, гдѣ царствуютъ спокойствіе, нѣга и прохлада, гдѣ въ изящно убранной залѣ благоухаютъ цвѣты, раздаются звуки фортепіано, въ клѣткѣ прыгаетъ попугай, а въ саду качаютъ вѣтвями березы и кусты сирени. И царицей всего этого—она...

Александръ, утромъ, сидя въ департаментѣ, невидимо присутствовалъ на одномъ изъ острововъ, на дачѣ Любецкихъ, а вечеромъ присутствовалъ тамъ видимо, всей своей особой. Бросимъ нескромный взглядъ на его блаженство.

Былъ жаркій день, одинъ изъ рѣдкихъ дней въ Петербургѣ: солнце животворило поля, но морило петербургскія улицы, накаливая лучами гранитъ, а лучи, отскакивая отъ камней, пропекали людей. Люди ходили медленно, повѣсивъ головы, собаки—высунувъ языки. Городъ походилъ

на одинъ изъ тѣхъ сказочныхъ городовъ, гдѣ все, по мановенію волшебника, вдругъ окаменѣло. Экипажи не гремѣли по камнямъ: маркизы, какъ опущенныя вѣки у глазъ, прикрывали окна; торцовая мостовая лоснилась, какъ паркетъ; по тротуарамъ горячо было ступать. Вездѣ было скучно, сонно.

Пѣшеходъ, отирая потъ съ лица, искалъ тѣни. Ямская карета, съ шестью пассажирами, медленно тащилась за городъ, едва подымая пыль за собою. Въ четыре часа чиновники вышли изъ должности и тихо побрели по домамъ.

Александръ выбѣжалъ, какъ-будто въ домѣ обрушился потолокъ, посмотрѣлъ на часы—поздно: къ обѣду не поспѣетъ. Онъ бросился къ ресторатору.

— Что у васъ есть? скорѣй!

— Супъ julienne и à la reine; соусъ à la provençale, à la maitre d'hôtel; жаркое индѣйка, дичь, пирожное суфле.

— Ну, супъ à la provençale, соусъ julienne и жаркое суфле, только поскорѣе!

Слуга посмотрѣлъ на него.

— Ну, что же? сказалъ Александръ съ нетерпѣніемъ.

Тотъ бросился вонъ и подалъ, что ему вздумалось. Адуевъ остался очень доволенъ. Онъ не дожидался четвертаго блюда и побѣжалъ на набережную Невы. Тамъ ожидала его лодка и два гребца.

Черезъ часъ завидѣлъ онъ обѣтованный уголокъ, всталъ въ лодкѣ, и устремилъ взоры въ даль. Сначала глаза его отуманились страхомъ и безпокойствомъ, которое перешло въ сомнѣніе. Потомъ вдругъ лицо озарилось свѣтомъ радости, какъ солнечнымъ блескомъ. Онъ отличилъ у рѣшетки сада знакомое платье; вотъ тамъ его узнали, махнули платкомъ. Его ждутъ, можетъ быть, давно. У него подошвы какъ-будто загорѣлись отъ нетерпѣнія.

„Ахъ! еслибъ можно было ходить пѣшкомъ по водѣ!“ думалъ Александръ: изобрѣтаютъ всякій вздоръ, а вотъ этого не изобрѣтутъ!

Гребцы машутъ веслами медленно, мѣрно, какъ машина. Потъ градомъ льетъ по загорѣлымъ лицамъ; имъ и нужды нѣтъ, что у Александра сердце заметалось въ груди, что, не спуская глазъ съ одной точки, онъ ужь два раза, въ забытьи, заносилъ черезъ край лодки то одну, то другую ногу, а они ничего: гребутъ себѣ съ тою же флегмой, да повременамъ отираютъ рукавомъ лицо.

— Живѣе! сказалъ онъ:—полтинникъ на водку.

Какъ они принялись работать, какъ стали привскакивать на своихъ мѣстахъ! куда дѣвалась усталость? откуда взялась сила? Весла такъ и затренетали по водѣ. Лодка— что скользнетъ, то саженей трехъ какъ не бывало. Махнули разъ десятокъ—и корма уже описала дугу, лодка граціозно подъѣхала и наклонилась у самаго берега. Александръ и Надинька издали улыбались и не сводили другъ съ друга глазъ. Адуевъ ступилъ одной ногой въ воду вмѣсто берега, Надинька засмѣялась.

— Полегче, баринъ, погодите-ка, вотъ я руку подамъ, промолвилъ одинъ гребецъ, когда Александръ былъ уже на берегу.

— Ждите меня здѣсь, сказалъ имъ Адуевъ и побѣжалъ къ Надинькѣ.

Она нѣжно улыбалась издали Александру. Съ каждымъ движеніемъ лодки къ берегу, грудь ея поднималась и опускалась сильнѣе.

— Надежда Александровна!... сказалъ Адуевъ, едва переводя духъ отъ радости.

— Александръ Ѳедорычъ!... отвѣчала она.

Они бросились невольно другъ къ другу, но остановились

и глядѣли другъ на друга съ улыбкой, влажными глазами и не могли ничего сказать. Такъ прошло нѣсколько минутъ.

Нельзя винить Петра Иваныча, что онъ не замѣтилъ Надиньки съ перваго раза. Она была не красавица и не приковывала къ себѣ мгновенно вниманія.

Но если кто пристально вглядывался въ ея черты, тотъ долго не сводилъ съ нея глазъ. Ея физіономія рѣдко оставалась двѣ минуты покойною. Мысли и разнородныя ощущенія до крайности впечатлительной и раздражительной души ея безпрестанно смѣнялись однѣ другими, и оттѣнки этихъ ощущеній сливались въ удивительной игрѣ, придавая лицу ея ежеминутно новое и неожиданное выраженіе. Глаза, напримѣръ, вдругъ бросятъ будто молнію, обожгутъ и мгновенно спрячутся подъ длинными рѣсницами; лицо сдѣлается безжизненно и неподвижно—и передъ вами точно мраморная статуя. Ожидаешь вслѣдъ затѣмъ опять такого же пронзительнаго луча—отнюдь нѣтъ! вѣки подымутся тихо, медленно—васъ озаритъ кроткое сіяніе взоровъ, какъ-будто медленно выплывшей изъ-за облаковъ луны. Сердце непремѣнно отзовется легкимъ біеніемъ на такой взглядъ. Въ движеніяхъ тоже самое. Въ нихъ много было граціи, но это не грація Сильфиды. Въ этой граціи много было дикаго, порывистаго, что даетъ природа всѣмъ, но что потомъ искусство отнимаетъ до послѣдняго слѣда, вмѣсто того, чтобъ только смягчить. Эти-то слѣды часто проявлялись въ движеніяхъ Надиньки. Она иногда сидитъ въ живописной позѣ, но вдругъ, Богъ знаетъ вслѣдствіе какого внутренняго движенія, эта картинная поза нарушится вовсе неожиданнымъ и опять обворожительнымъ жестомъ. Въ разговорахъ тѣ же неожиданные обороты: то вѣрное сужденіе, то мечтательность, рѣзкій приговоръ, потомъ ребяческая выходка, или тонкое притворство. Все показывало въ ней умъ пылкій, сердце своенравное и непо-

стоянное. И не Александръ сошелъ бы съ ума отъ нея; одинъ только Петръ Иванычъ уцѣлѣетъ: да много ли такихъ?

— Вы меня ждали! Боже мой, какъ я счастливъ! сказалъ Александръ.

— Я ждала? и не думала! отвѣчала Надинька, качая головой:—вы знаете, я всегда въ саду.

— Вы сердитесь? робко спросилъ онъ.

— За что? вотъ идея!

— Ну, дайте ручку.

Она подала ему руку, но только онъ коснулся до нея она сейчасъ же вырвала — и вдругъ измѣнилась. Улыбка исчезла, на лицѣ обнаружилось что-то похожее на досаду.

— Что это, вы молоко кушаете? спросилъ онъ.

У Надиньки была чашка въ рукахъ и сухарь.

— Я обѣдаю, отвѣчала она.

— Обѣдаете, въ шесть часовъ, и молокомъ!

— Вамъ, конечно, странно смотрѣть на молоко послѣ роскошнаго обѣда у дядюшки? а мы здѣсь въ деревнѣ: живемъ скромно.

Она передними зубами отломила нѣсколько крошекъ сухаря и запила молокомъ, сдѣлавъ губами премиленькую гримасу.

— Я не обѣдалъ у дядюшки, я еще вчера отказался, отвѣчалъ Адуевъ.

— Какіе вы безсовѣстные! Можно ли такъ лгать? Гдѣ-жь вы были до сихъ поръ?

— Сегодня на службѣ до четырехъ часовъ просидѣлъ:..

— А теперь шесть. Не лгите, признайтесь, ужъ соблазнились обѣдомъ, пріятнымъ обществомъ? тамъ вамъ очень, очень весело было.

— Честное слово, я и не заходилъ къ дядюшкѣ... на-

чалъ съ жаромъ оправдываться Александръ. — Развѣ я тогда могъ бы поспѣть къ вамъ объ эту пору!

— А! вамъ это рано кажется? вы бы еще часа черезъ два пріѣхали! сказала Надинька и быстрымъ пируэтомъ вдругъ отвернулась отъ него и пошла по дорожкѣ къ дому. Александръ за нею.

— Не подходите, не подходите ко мнѣ, заговорила она, махая рукой:—я васъ видѣть не могу.

— Полноте шалить, Надежда Александровна!

— Я совсѣмъ не шалю. Скажите, гдѣ жь вы до сихъ поръ были?

— Въ четыре часа вышелъ изъ департамента, началъ Адуевъ:—часъ ѣхалъ сюда...

— Такъ тогда было бы пять, а теперь шесть. Гдѣ жь вы провели еще часъ? видите, вѣдь какъ лжете!

— Отобѣдалъ у ресторатора на скорую руку...

— На скорую руку! одинъ только часъ! сказала она:— бѣдненькіе! вы должны быть голодны. Не хотите ли молока?

— О, дайте, дайте мнѣ эту чашку... заговорилъ Александръ и протянулъ руку.

Но она вдругъ остановилась, опрокинула чашку вверхъ дномъ и, не обращая вниманія на Александра, съ любопытствомъ смотрѣла, какъ послѣднія капли сбѣгали съ чашки на песокъ.

— Вы безжалостны! сказалъ онъ:—можно ли такъ мучить меня?

— Посмотрите, посмотрите, Александръ Ѳедорычъ, вдругъ перебила Надинька, погруженная въ свое занятіе:—попаду ли я каплей на букашку, вотъ что ползетъ по дорогѣ?... Ахъ, попала! бѣдненькая! она умретъ! сказала она; потомъ заботливо подняла букашку, положила себѣ на ладонь и начала дышать на нее.

— Какъ васъ занимаетъ букашка! сказалъ онъ съ досадой.

— Бѣдненькая! посмотрите: она умретъ, говорила Надинька съ грустью:—что я сдѣлала?

Она несла нѣсколько времени букашку на ладони, и когда та зашевелилась и начала ползать взадъ и впередъ по рукѣ, Надинька вздрогнула, быстро сбросила ее на землю и раздавила ногой, промолвивъ: „мерзкая букашка!“

— Гдѣ же вы были? спросила она потомъ.

— Вѣдь я сказалъ...

— Ахъ, да! у дядюшки. Много было гостей? Пили шампанское? Я даже отсюда слышу, какъ пахнетъ шампанскимъ.

— Да нѣтъ, не у дядюшки! въ отчаяніи перебилъ Александръ.—Кто вамъ сказалъ?

— Вы же сказали.

— Да у него, я думаю, теперь за столъ садятся. Вы не знаете этихъ обѣдовъ: развѣ такой обѣдъ кончается въ одинъ часъ?

— Вы обѣдали два—пятый и шестой.

— А когда же я ѣхалъ сюда?

Она ничего не отвѣчала, прыгнула и достала вѣтку акаціи, потомъ побѣжала по дорожкѣ.

Адуевъ за ней.

— Куда же вы? спросилъ онъ.

— Куда? какъ куда? вотъ прекрасно! къ маменькѣ.

— Зачѣмъ? Можетъ быть, мы ее обезпокоимъ.

— Нѣтъ, ничего.

Марья Михайловна, маменька Надежды Александровны, была одна изъ тѣхъ добрыхъ и нехитрыхъ матерей, которыя находятъ прекраснымъ все, что ни дѣлаютъ дѣтки. Марья Михайловна велитъ, напримѣръ, заложить коляску.

— Куда это, маменька? спроситъ Надинька.

— Поѣдемъ прогуляться: погода такая славная, говоритъ мать.

— Какъ можно: Александръ Ѳедорычъ хотѣлъ быть.

И коляска откладывалась.

Въ другой разъ Марья Михайловна усядется за свой нескончаемый шарфъ и начнетъ вздыхать, нюхать табакъ и перебирать костяными спицами, или углубится въ чтеніе французскаго романа.

— Maman, что жь вы не одѣваетесь? спроситъ Надинька строго.

— А куда?

— Да вѣдь мы пойдемъ гулять.

— Гулять?

— Да. Александръ Ѳедорычъ придетъ за нами. Ужь вы и забыли!

— Да я и не знала.

— Какъ этого не знать! скажетъ Надинька съ неудовольствіемъ.

Мать покидала и шарфъ, и книгу, и шла одѣваться. Такъ Надинька пользовалась полною свободою, распоряжалась и собою, и маменькою, и своимъ временемъ, и занятіями, какъ хотѣла. Впрочемъ, она была добрая и нѣжная дочь, нельзя сказать—послушная, потому только, что не она, а мать слушалась ея; за то можно сказать, что она имѣла послушную мать.

— Подите къ маменькѣ, сказала Надинька, когда они подошли къ дверямъ залы.

— А вы?

— Я послѣ приду.

— Ну, такъ и я послѣ.

— Нѣтъ, идите впередъ.

Александръ вошелъ и тотчасъ же, на цыпочкахъ, воротился назадъ.

— Она дремлетъ въ креслахъ, сказалъ онъ шопотомъ.

— Ничего, пойдемте. Maman, a maman!

— А!

— Александръ Өедорычъ пришелъ.

— А!

— Мг. Адуевъ хочетъ васъ видѣть.

— А!

— Видите, какъ крѣпко уснула. Не будите ее! удерживалъ Александръ.

— Нѣтъ разбужу. Maman!

— А!

— Да проснитесь; Александръ Өедорычъ здѣсь.

— Гдѣ Александръ Өедорычъ? говорила Марья Михайловна, глядя прямо на него и поправляя сдвинувшійся на сторону чепецъ. — Ахъ! это вы, Александръ Өедорычъ? Милости просимъ! А я вотъ сѣла тутъ да и вздремнула, сама не знаю отчего, видно къ погодѣ. У меня что-то и мозоль начинаетъ побаливать — быть дождю. Дремлю, да и вижу во снѣ, что будто Игнатій докладываетъ о гостяхъ, только не поняла о комъ. Слышу, говоритъ, пріѣхали, а кто—не пойму. Тутъ Надинька кличетъ, я сейчасъ же и проснулась. У меня легкій сонъ: чуть кто скрипнетъ, я ужь и смотрю. Садитесь-ка, Александръ Өедорычъ, здоровы ли вы?

— Покорно благодарю.

— Петръ Иванычъ здоровъ ли?

— Слава Богу, покорно благодарю.

— Что онъ не навѣститъ насъ никогда? Я вотъ еще вчера думала: хоть бы, думаю, разъ заѣхалъ когда-нибудь, а то нѣтъ—видно занятъ?

— Очень занятъ, сказалъ Александръ.

— И васъ другой день не видать! продолжала Марья Михайловна. — Давича проснулась, спрашиваю, что На-

динька? Спитъ еще, говорятъ.—Ну, пускай ее спитъ, говорю, цѣлый день на воздухѣ—въ саду, погода стоитъ хорошая, устанетъ. Въ ея лѣта спится крѣпко, не то, что въ мои: такая безсонница бываетъ, повѣрите ли? даже тоска сдѣлается; отъ нервъ, что ли—не знаю. Вотъ подаютъ мнѣ кофе: я вѣдь всегда въ постелѣ его пью—пью да думаю; „что это значитъ, Александра Ѳедорыча не видать? ужь здоровъ ли?“ Потомъ встала, смотрю 11-й часъ — прошу покорнѣйше! людишки и не скажутъ! Прихожу къ Надинькѣ—она еще и не просыпалась. Я разбудила ее. „Пора, молъ, мать моя: скоро 12 часовъ, что это съ тобой?“ Я вѣдь цѣлый день за ней, какъ нянька. Я и гувернантку отпустила нарочно, чтобъ не было чужихъ. Ввѣрь, пожалуй, чужимъ, такъ Богъ знаетъ что сдѣлаютъ. Нѣтъ! я сама занималась ея воспитаніемъ, строго смотрю, отъ себя ни на шагъ, и могу сказать, что Надинька чувствуетъ это: отъ меня тайкомъ и мысли никакой не допуститъ. Я ее какъ-будто насквозь вижу... Тутъ поваръ пришелъ: съ нимъ съ часъ толковала; тамъ почитала *Mémoires du diable*... ахъ, какой пріятный авторъ Сулье! какъ мило описываетъ! Тамъ сосѣдка Марья Ивановна зашла съ мужемъ: такъ я и не видала, какъ прошло утро, гляжу, ужь и четвертый часъ и обѣдать пора!... Ахъ, да: что жь вы къ обѣду не пришли? мы васъ ждали до 5 часовъ.

— До 5 часовъ? сказалъ Александръ: — я никакъ не могъ, Марья Михайловна: служба задержала. Я васъ прошу никогда не ждать меня долѣе четырехъ часовъ.

— И я то же говорила, до вотъ Надинька: „подождемъ да подождемъ“.

— Я! ахъ, ахъ, maman, что вы! Не я ли говорю: „пора, maman, обѣдать“, а вы сказали: “нѣтъ, надо подождать; Александръ Ѳедорычъ давно не былъ: вѣрно придетъ къ обѣду“.

— Смотрите, смотрите! заговорила Марья Михайловна, качая головой:—ахъ, какая безсовѣстная! свои слова да на меня же!

Надинька отвернулась, ушла въ цвѣты и начала дразнить попугая.

— Я говорю: „ну, гдѣ теперь Александру Ѳедорычу быть?“ продолжала Марья Михайловна:—„ужь половина пятаго“. „Нѣтъ, говоритъ, maman, надо подождать—онъ будетъ“.—Смотрю, три четверти: „Воля твоя, говорю я, Надинька: Александръ Ѳедорычь вѣрно въ гостяхъ, не будетъ; я проголодалась“.—Нѣтъ, говоритъ, еще подождать надо, до пяти часовъ“. Такъ и проморила меня. Что, не правда, сударыня?

„Попка, попка!“ слышалось изъ-за цвѣтовъ: „гдѣ ты обѣдалъ сегодня, у дядюшки?“

— Что? спряталась! промолвила мать:—видно совѣстно на свѣтъ Божій смотрѣть!

— Вовсе нѣтъ, отвѣчала Надинька, выходя изъ боскета, и сѣла у окна.

— И таки не сѣла за столъ! говорила Марья Михайловна:—спросила чашку молока и пошла въ садъ; такъ и не обѣдала. Что? посмотри-ка мнѣ прямо въ глаза, сударыня.

Александръ обомлѣлъ при этомъ разсказѣ. Онъ взглянулъ на Надиньку, но она обернулась къ нему спиной и щипала листокъ плюща.

— Надежда Александровна! сказалъ онъ:—уже ли я такъ счастливъ, что вы думали обо мнѣ?

— Не подходите ко мнѣ! закричала она съ досады, что ея плутни открылись.—Маменька шутитъ, а вы готовы вѣрить!

— А гдѣ жь ягоды, что ты приготовила для Александра Ѳедорыча? спросила мать.

— Ягоды?

— Да, ягоды.

— Вѣдь вы ихъ скушали за обѣдомъ... отвѣчала Надинька.

— Я! опомнись, мать моя: ты спрятала и мнѣ не дала. „Вотъ, говоритъ, Александръ Ѳедорычъ пріѣдетъ, тогда и вамъ дамъ". Какова?

Александръ нѣжно и лукаво взглянулъ на Надиньку. Она покраснѣла.

— Сама чистила Александръ Ѳедорычъ, прибавила мать.

— Что это вы все сочиняете, maman? Я очистила двѣ или три ягодки и тѣ сама съѣла, а то Василиса...

— Не вѣрьте, не вѣрьте, Александръ Ѳедорычъ: Василиса съ утра въ городъ послана. Зачѣмъ же скрывать? Александру Ѳедорычу вѣрно пріятнѣе, что ты чистила, а не Василиса.

Надинька улыбнулась, потомъ скрылась опять въ цвѣты и явилась съ полной тарелкой ягодъ. Она протянула Адуеву руку съ тарелкой. Онъ поцѣловалъ руку и принялъ ягоды, какъ маршальскій жезлъ.

— Не стоите вы! заставить такъ долго ждать себя! говорила Надинька:—я два часа у рѣшетки стояла: вообразите! ѣдетъ кто-то: я думала—вы и махнула платкомъ, вдругъ незнакомые, какой-то военный. И онъ махнулъ, такой дерзкій!...

Вечеромъ приходили и уходили гости. Начало смеркаться. Любецкія и Адуевъ остались опять втроемъ. Мало-по-малу разстроилось и это тріо. Надинька ушла въ садъ. Составился нескладный дуэтъ у Марьи Михайловны съ Адуевымъ: долго пѣла она ему о томъ, что дѣлала вчера, сегодня, что будетъ дѣлать завтра. Имъ овладѣла томительная скука и безпокойство. Вечеръ наступаетъ быстро, а онъ еще не успѣлъ ни слова сказать Надинькѣ наединѣ.

*

Выручилъ поваръ; благодѣтель пришелъ спросить, что готовить къ ужину, а у Адуева занимался духъ отъ нетерпѣнія, сильнѣе еще, чѣмъ давича въ лодкѣ. Едва заговорили о котлетахъ, о простоквашѣ, Александръ началъ искусно ретироваться. Сколько маневровъ употребилъ онъ, чтобъ только отойти отъ креселъ Марьи Михайловны! Подошелъ сначала къ окну и взглянулъ на дворъ, а ноги такъ и тянули его въ открытую дверь. Потомъ медленными шагами, едва удерживаясь, чтобы не ринуться опрометью вонъ, онъ перешелъ къ фортепіано, постучалъ въ разныхъ мѣстахъ по клавишамъ, взялъ съ лихорадочнымъ трепетомъ ноты съ пюпитра, взглянулъ въ нихъ и положилъ назадъ; имѣлъ даже твердость понюхать два цвѣтка и разбудить попугая. Тутъ онъ достигъ высшей степени нетерпѣнія; двери были подлѣ, но уйти какъ-то все неловко—надо было простоять минуты двѣ и выйдти какъ-будто нечаянно. А поваръ ужь сдѣлалъ два шага назадъ, еще слово—и онъ уйдетъ, тогда Любецкая непремѣнно обратится опять къ нему. Александръ не вытерпѣлъ и, какъ змѣй, выскользнулъ въ двери и, соскочивъ съ крыльца, не считая ступеней, въ нѣсколько шаговъ очутился въ концѣ аллеи — на берегу, подлѣ Надиньки.

— Насилу вспомнили обо мнѣ! сказала она на этотъ разъ съ кроткимъ упрекомъ.

— Ахъ, что за муку я вытерпѣлъ, отвѣчалъ Александръ: —а вы не помогли!

Надинька показала ему книгу.

— Вотъ чѣмъ бы я вызвала васъ, еслибъ вы не пришли еще минуту, сказала она.—Садитесь, теперь maman ужь не придетъ: она боится сырости. Мнѣ такъ много, такъ много надо сказать вамъ... ахъ!

— И мнѣ тоже... ахъ!

И ничего не сказали или почти ничего, такъ кое-что, о

чемъ ужь говорили десять разъ прежде. Обыкновенно что: мечты, небо, звѣзды, симпатія, счастіе. Разговоръ больше происходилъ на языкѣ взглядовъ, улыбокъ и междометій. Книга валялась на травѣ.

Наступала ночь... нѣтъ, какая ночь! развѣ лѣтомъ въ Петербургѣ бываютъ ночи? это не ночь, а... тутъ надо бы выдумать другое названіе — такъ, полусвѣтъ... Все тихо кругомъ. Нева точно спала; изрѣдка, будто въ просонкахъ, она плеснетъ легонько волной въ берегъ и замолчитъ. А тамъ откуда ни возьмется поздній вѣтерокъ, пронесется надъ сонными водами, но не сможетъ разбудить ихъ, а только зарябитъ поверхность и повѣетъ прохладой на Надиньку и Александра, или принесетъ имъ звукъ дальней пѣсни—и снова все смолкнетъ, и опять Нева неподвижна, какъ спящій человѣкъ, который при легкомъ шумѣ откроетъ на минуту глаза и тотчасъ снова закроетъ; и сонъ пуще сомкнетъ его отяжелѣвшія вѣки. Потомъ со стороны моста послышится какъ-будто отдаленный громъ, а вслѣдъ затѣмъ лай сторожевой собаки съ ближайшей тони, и опять все тихо. Деревья образовали темный сводъ и чуть-чуть, безъ шума, качали вѣтвями. На дачахъ по берегамъ мелькали огоньки.

Что особеннаго тогда носится въ этомъ тепломъ воздухѣ? Какая тайна пробѣгаетъ по цвѣтамъ, деревьямъ, по травѣ, и вѣетъ неизъяснимой нѣгой на душу? зачѣмъ въ ней тогда рождаются иныя мысли, иныя чувства, нежели въ шумѣ, среди людей? А какая обстановка для любви въ этомъ снѣ природы, въ этомъ сумракѣ, въ безмолвныхъ деревьяхъ, благоухающихъ цвѣтахъ и уединеніи! Какъ могущественно все настроивало умъ къ мечтамъ, сердце къ тѣмъ рѣдкимъ ощущеніямъ, которыя во всегдашней, правильной и строгой жизни кажутся такими безполезными, неумѣстными и смѣшными отступленіями... да! безполез-

ными, а между-тѣмъ, въ тѣ минуты душа только и постигаетъ смутно возможность счастья, котораго такъ усердно ищутъ въ другое время и не находятъ.

Александръ и Надинька подошли къ рѣкѣ и оперлись на рѣшетку. Надинька долго, въ раздумьи, смотрѣла на Неву, на даль, Александръ на Надиньку. Души ихъ были переполнены счастьемъ, сердца сладко и вмѣстѣ какъ-то болѣзненно ныли, но языкъ безмолвствовалъ.

Вотъ Александръ тихо коснулся ея таліи. Она тихо отвела локтемъ его руку. Онъ дотронулся опять, она отвела слабѣе, не спуская глазъ съ Невы. Въ третій разъ не отвела.

Онъ взялъ ее за руку — она не отняла и руки; онъ пожалъ руку: рука отвѣчала на пожатіе. Такъ стояли они молча, а что чувствовали!

— Надинька! сказалъ онъ тихо.

Она молчала.

Александръ съ замирающимъ сердцемъ наклонился къ ней. Она почувствовала горячее дыханіе на щекѣ, вздрогнула, обернулась и—не отступила въ благородномъ негодованіи, не вскрикнула!—она не въ силахъ была притвориться и отступить: обаяніе любви заставило молчать разсудокъ, и когда Александръ прильнулъ губами къ ея губамъ, она отвѣчала на поцалуй, хотя слабо, чуть внятно.

„Неприлично!“ скажутъ строгія маменьки: — „одна въ саду, безъ матери, цалуется съ молодымъ человѣкомъ!“ Что дѣлать! неприлично, но она отвѣчала на поцалуй.

„О, какъ человѣкъ можетъ быть счастливъ!“ сказалъ про-себя Александръ и опять наклонился къ ея губамъ и пробылъ такъ нѣсколько секундъ.

Она стояла блѣдная, неподвижная, на рѣсницахъ блистали слезы, грудь дышала сильно и прерывисто.

— Какъ сонъ! шепталъ Александръ.

Вдругъ Надинька встрепенулась, минута забвенія прошла.

— Что это такое? вы забылись! вдругъ сказала она и бросилась отъ него на нѣсколько шаговъ. — Я маменькѣ скажу!

Александръ упалъ съ облаковъ.

— Надежда Александровна! не разрушайте моего блаженства, упрекомъ, началъ онъ:—не будьте похожи на...

Она посмотрѣла на него, и вдругъ, громко, весело засмѣялась, опять подошла къ нему, опять стала у рѣшетки и довѣрчиво оперлась рукой и головой ему на плечо.

— Такъ вы меня очень любите? спросила она, отирая слезу, выкатившуюся на щеку.

Александръ сдѣлалъ невыразимое движеніе плечами. На лицѣ его было „преглупое выраженіе“ сказалъ бы Петръ Иванычъ, что, можетъ быть, и правда, но за то сколько счастья въ этомъ глупомъ выраженіи!

Они по прежнему молча смотрѣли и на воду, и на небо, и на даль, будто между ними ничего не было. Только боялись взглянуть другъ на друга; наконецъ взглянули, улыбнулись и тотчасъ отвернулись опять.

— Уже-ли есть горе на свѣтѣ? сказала Надинька помолчавъ.

— Говорятъ, есть... задумчиво отвѣчалъ Адуевъ:—да я не вѣрю...

— Какое же горе можетъ быть?

— Дядюшка говоритъ—бѣдность.

— Бѣдность! да развѣ бѣдные не чувствуютъ того же, что мы теперь? вотъ ужь они и не бѣдны.

— Дядюшка говоритъ, что имъ не дотого — что надо ѣсть, пить...

— Фи! ѣсть! Дядюшка вашъ не правду говоритъ: можно и безъ этого быть счастливыми: я не обѣдала сегодня, а какъ я счастлива!

Онъ засмѣялся.

— Да, за эту минуту я отдала бы бѣднымъ все, все! продолжала Надинька:—пусть придутъ бѣдные. Ахъ! зачѣмъ я не могу утѣшить и обрадовать всѣхъ какой-нибудь радостью?

— Ангелъ! ангелъ! восторженно произнесъ Александръ, сжавъ ее руку.

— Охъ, какъ вы больно жмете! вдругъ перебила Надинька, сморщивъ брови и отнявъ руку.

Но онъ схватилъ руку опять и началъ цаловать съ жаромъ.

— Какъ я буду молиться, продолжала она: — сегодня, завтра, всегда за этотъ вечеръ! какъ я счастлива! А вы?..

Вдругъ она задумалась; въ глазахъ мелькнула тревога.

— Знаете ли, сказала она: — говорятъ, будто что было однажды, то ужь никогда больше не повторится! Стало быть и эта минута не повторится?

— О, нѣтъ? отвѣчалъ Александръ: — это неправда: повторится! будутъ лучшія минуты; да, я чувствую!..

Она недовѣрчиво покачала головой. И ему пришли въ голову уроки дяди, и онъ вдругъ остановился.

„Нѣтъ“, говорилъ онъ самъ собой:—„нѣтъ, этого быть не можетъ! дядя не зналъ такого счастья, оттого онъ такъ строгъ и недовѣрчивъ къ людямъ. Бѣдный! мнѣ жаль его холоднаго, черстваго сердца: оно не знало упоенія любви, вотъ отчего это жолчное гоненіе на жизнь. Богъ его проститъ? Еслибъ онъ видѣлъ мое блаженство, и онъ не наложилъ бы на него руки, не оскорбилъ бы нечистымъ сомнѣніемъ. Мнѣ жаль его...“

— Нѣтъ, Надинька, нѣтъ, мы будемъ счастливы! продолжалъ онъ вслухъ.—Посмотри вокругъ: не радуется ли все здѣсь, глядя на нашу любовь? Самъ Богъ благословитъ

ее. Какъ весело пройдемъ мы жизнь рука объ руку! какъ будемъ *горды, велики взаимной любовью!*

— Ахъ, перестаньте, перестаньте загадывать! перебила она: — не пророчьте: мнѣ что-то страшно дѣлается, когда вы говорите такъ. Мнѣ и теперь грустно...

— Чего же бояться? Неужели нельзя вѣрить самимъ себѣ?

— Нельзя, нельзя! говорила она, качая головой. Онъ посмотрѣлъ на нее и задумался.

— Отчего? Что же, началъ онъ потомъ,—можетъ разрушить этотъ міръ нашего счастья? кому нужда до насъ? Мы всегда будемъ одни, станемъ удаляться отъ другихъ; что намъ до нихъ за дѣло? и что за дѣло имъ до насъ? насъ не вспомнятъ, забудутъ, и тогда насъ не потревожатъ и слухи о горѣ и бѣдахъ, точно такъ, какъ и теперь, здѣсь, въ саду, никакой звукъ не тревожитъ этой торжественной тишины...

— Надинька! Александръ Ѳедорычъ! раздалось вдругъ съ крыльца:—гдѣ вы?

— Слышите! сказала Надинька пророческимъ тономъ:— вотъ намекъ судьбы: эта минута не повторится больше — я чувствую...

Она схватила его за руку, сжала ее, поглядѣла на него какъ-то странно, печально, и вдругъ бросилась въ темную аллею.

Онъ остался одинъ въ раздумьи.

— Александръ Ѳедорычъ! раздалось опять съ крыльца: —простокваша давно на столѣ.

Онъ пожалъ плечами и пошелъ въ комнату.

— За мигомъ невыразимаго блаженства — вдругъ простокваша!! сказалъ онъ Надинькѣ. — Ужели все такъ въ жизни?

— Лишь бы не было хуже, весело отвѣчала она: — а

простокваша очень хороша, особенно для того, кто не обѣдалъ.

Счастье одушевило ее. Щеки ея пылали, глаза горѣли необыкновеннымъ блескомъ. Какъ заботливо хозяйничала она, какъ весело болтала! не было и тѣни мелькнувшей мгновенно печали: радость поглотила ее.

Заря охватила уже полнеба, когда Адуевъ сѣлъ въ лодку. Гребцы, въ ожиданіи обѣщанной награды, поплевали на руки и начали-было по давнишнему привскакивать на мѣстахъ, изо всей мочи работая веслами.

— Тише ѣхать! сказалъ Александръ:—еще полтинникъ на водку!

Они поглядѣли на него, потомъ другъ на друга. Одинъ почесалъ грудь, другой спину, и стали чуть шевелить веслами, едва дотрогиваясь до воды. Лодка поплыла, какъ лебедь.

„И дядюшка хочетъ увѣрить меня, что счастье химера, что нельзя безусловно вѣрить ничему, что жизнь... безсовѣстный! зачѣмъ онъ хотѣлъ такъ жестоко обмануть меня? Нѣтъ, вотъ жизнь! такъ я воображалъ ее себѣ, такова она должна быть, такова есть и такова будетъ! Иначе нѣтъ жизни!“

Свѣжій, утренній вѣтерокъ чуть-чуть подулъ съ сѣвера. Александръ слегка вздрогнулъ, и отъ вѣтерка и отъ воспоминанія, потомъ зѣвнулъ и, закутавшись въ плащъ, погрузился въ мечты.

V.

Адуевъ достигъ апогея своего счастія. Ему нечего было болѣе желать. Служба, журнальные труды — все забыто, заброшено. Его ужь обошли мѣстомъ: онъ едва примѣтилъ это, и то потому, что напомнилъ дядя. Петръ Иванычъ совѣтовалъ бросить пустяки, но Александръ, при словѣ „пу-

стяки“, пожималъ плечами, съ сожалѣніемъ улыбался и молчалъ. Дядя, увидя безполезность своихъ представленій, тоже пожалъ плечами, улыбнулся съ сожалѣніемъ и замолчалъ, промолвивъ только: „какъ хочешь, это твое дѣло, только, смотри, презрѣннаго металла не проси“.

— Не бойтесь, дядюшка, говорилъ на это Александръ: —худо, когда мало денегъ, много мнѣ ненужно, а довольно—у меня есть.

— Ну, и поздравляю тебя, прибавилъ Петръ Иванычъ.

Александръ видимо избѣгалъ его. Онъ потерялъ всякую довѣренность къ его печальнымъ предсказаніямъ и боялся холоднаго взгляда на любовь вообще и оскорбительныхъ намековъ на отношенія его къ Надинькѣ въ особенности.

Ему противно было слушать, какъ дядя, разбирая любовь его, просто, по общимъ и одинакимъ будто бы для всѣхъ законамъ, профанировалъ это высокое, святое, по его мнѣнію, дѣло. Онъ таилъ свои радости, всю эту перспективу розоваго счастья, предчувствуя, что чуть коснется его анализъ дяди, то, того и гляди, розы разсыплются въ прахъ или превратятся въ назёмъ. А дядя сначала избѣгалъ его оттого, что вотъ, думалъ, малый залѣнится, замотается, придетъ къ нему за деньгами, сядетъ на шею.

Въ походкѣ, взглядѣ, во всемъ обращеніи Александра было что-то торжественное, таинственное. Онъ велъ себя съ другими, какъ богатый капиталистъ на биржѣ съ мелкими купцами, скромно и съ достоинствомъ, думая про себя: „жалкіе! кто изъ васъ обладаетъ такимъ сокровищемъ, какъ я? кто такъ умѣетъ чувствовать? чья могучая душа...“ и проч.

Онъ былъ увѣренъ, что онъ одинъ на свѣтѣ такъ любитъ и любимъ.

Впрочемъ, онъ избѣгалъ не только дяди, но и *толпы*, какъ онъ говорилъ. Онъ, или поклонялся своему божеству,

или сидѣлъ дома, въ кабинетѣ, одинъ, упиваясь блаженствомъ, анализируя, разлагая его на безконечно-малые атомы. Онъ называлъ это *творить особый міръ*, и, сидя въ своемъ уединеніи, точно сотворилъ себѣ изъ ничего какой-то міръ и обрѣтался больше въ немъ, а на службу ходилъ рѣдко и неохотно, называя ее *горькою необходимостью*, *необходимымъ зломъ* или *печальной прозой*. Вообще у него много было варіантовъ на этотъ предметъ. Къ редактору и къ знакомымъ вовсе не ходилъ.

Бесѣдовать съ своимъ *я* было для него высшею отрадою. „Наединѣ съ собою только — писалъ онъ въ какой-то повѣсти — человѣкъ видитъ себя, какъ въ зеркалѣ; тогда только научается онъ вѣрить въ человѣческое величіе и достоинство. Какъ прекрасенъ онъ въ этой бесѣдѣ съ своими душевными силами! какъ вождь, онъ дѣлаетъ имъ строгій обзоръ, строитъ ихъ по мудро-обдуманному плану и стремится во главѣ ихъ, и дѣйствуетъ и зиждетъ! Какъ жалокъ, напротивъ, кто не умѣетъ и боится быть съ собою, кто бѣжитъ отъ самого себя и всюду ищетъ общества, чуждаго ума и духа...“ Подумаешь, мыслитель какой-нибудь открываетъ новые законы строенія міра или бытія человѣческаго, а то просто влюбленный!

Вотъ онъ сидитъ въ волтеровскихъ креслахъ. Передъ нимъ листъ бумаги, на которомъ набросано нѣсколько стиховъ. Онъ, то наклонится надъ листомъ и сдѣлаетъ какую-нибудь поправку, или прибавитъ два-три стиха, то опрокинется на спинку креселъ и задумается. На губахъ блуждаетъ улыбка; видно, что онъ только лишь отвелъ ихъ отъ полной *чаши* счастія. Глаза у него закроются томно, какъ у дремлющаго кота, или вдругъ сверкнутъ огнемъ внутренняго волненія.

Кругомъ тихо. Только издали, съ большой улицы, слышится гулъ отъ экипажей, да повременамъ Евсей, уставъ

чистить сапогъ, заговоритъ вслухъ: „какъ бы не забыть: давича въ лавочкѣ на грошъ уксусу взялъ, да на гривну капусты, завтра надо отдать, а то лавочникъ, пожалуй, въ другой разъ и не повѣритъ — такая собака! Фунтами хлѣбъ вѣшаютъ, словно въ голодный годъ — срамъ! Ухъ, Господи, умаялся. Вотъ тольку дочищу этотъ сапогъ — и спать. Въ Грачахъ, чай, давно спятъ: не поздѣшнему! Когда-то Господь Богъ приведетъ увидѣть...“

Тутъ онъ громко вздохнулъ, подышалъ на сапогъ и опять началъ шмыгать щеткой. Онъ считалъ это занятіе главною и чуть ли не единственною своею обязанностью, и вообще способностью чистить сапоги измѣрялъ достоинство слуги и даже человѣка; самъ онъ чистилъ съ какою-то страстью.

— Перестань, Евсей! ты мнѣ мѣшаешь дѣло дѣлать своими пустяками! кричалъ Адуевъ.

„Пустяки, ворчалъ про себя Евсей:—какъ не пустяки: у тебя такъ вотъ пустяки, а я дѣло дѣлаю. Вишь вѣдь какъ загрязнилъ сапоги, насилу отчистишь“. Онъ поставилъ сапогъ на столъ и глядѣлся съ любовью въ зеркальный лоскъ кожи.

„Поди-ка, вычисти кто этакъ, примолвилъ онъ: — пустяки!“

Александръ все глубже и глубже погружался въ свои мечты о Надинькѣ, потомъ въ творческія мечты.

На столѣ было пусто. Все, что напоминало о прежнихъ его занятіяхъ, о службѣ, о журнальной работѣ, лежало подъ столомъ, или на шкафѣ, или подъ кроватью. „Одинъ видъ *этой грязи*, говорилъ онъ:—пугаетъ творческую думу и она улетаетъ, какъ соловей изъ рощи, при внезапномъ скрыпѣ немазанныхъ колесъ, раздавшемся съ дороги.

Часто заря заставала его надъ какой-нибудь элегіей. Всѣ часы, проводимые не у Любецкихъ, посвящались твор-

честву. Онъ напишетъ стихотвореніе и прочтетъ его Надинькѣ; та перепишетъ на хорошенькой бумажкѣ и выучитъ, и онъ „позналъ *высшее блаженство поэта — слышать свое произведеніе изъ милыхъ устъ.*“—

„Ты моя муза, говорилъ онъ ей: — будь Вестою этого священнаго огня, который горитъ въ моей груди; ты оставишь его—и онъ заглохнетъ навсегда“.

Потомъ онъ посылалъ стихи подъ чужимъ именемъ въ журналъ. Ихъ печатали, потому-то они были недурны, мѣстами не безъ энергіи и всѣ проникнуты пылкимъ чувствомъ; написаны гладко.

Надинька гордилась его любовью и звала его „мой поэтъ“.—

„Да, твой, вѣчно твой“, прибавлялъ онъ. Впереди улыбалась слава, и вѣнокъ, думалъ онъ, сплететъ ему Надинька и перевьетъ лавръ миртами, а тамъ... „Жизнь, жизнь, какъ ты прекрасна!“ восклицалъ онъ. „А дядя? Зачѣмъ смущаетъ онъ миръ души моей? Не демонъ ли это, посланный мнѣ судьбою? Зачѣмъ отравляетъ онъ желчью все мое благо? не изъ зависти ли, что сердце его чуждо этимъ чистымъ радостямъ, или, можетъ быть, изъ мрачнаго желанія вредить... о, дальше, дальше отъ него!.. Онъ убьетъ, заразитъ своею ненавистью мою любящую душу, развратитъ ее...“

И онъ бѣжалъ отъ дяди, не видался съ нимъ по цѣлымъ недѣлямъ, по мѣсяцамъ. А если, при встрѣчѣ, разговоръ заходилъ о чувствѣ, онъ насмѣшливо молчалъ, или слушалъ, какъ человѣкъ, котораго убѣжденія нельзя поколебать никакими доводами. Онъ свои сужденія считалъ непогрѣшительными, мнѣнія и чувства непреложными, и рѣшился впередъ руководствоваться только ими, говоря, что онъ уже не мальчикъ, и что *зачѣмъ же многія чужія только святы?* и проч.

А дядя былъ все тотъ же: онъ ни о чемъ не распрашивалъ племянника, не замѣчалъ, или не хотѣлъ замѣтить его продѣлокъ. Видя, что положеніе Александра не измѣняется, что онъ ведетъ прежній образъ жизни, не проситъ у него денегъ, онъ сталъ съ нимъ ласковъ по прежнему и слегка упрекалъ, что рѣдко бываетъ у него.—

— Жена сердится на тебя, говорилъ онъ:—она привыкла считать тебя роднымъ; мы обѣдаемъ каждый день дома; заходи.

И только. Но Александръ рѣдко заходилъ, да и некогда было: утро на службѣ, послѣ обѣда до ночи у Любецкихъ; оставалась ночь, а ночью онъ уходилъ въ свой особенный, сотворенный имъ *міръ* и продолжалъ творить. Да притомъ, не мѣшаетъ же вѣдь соснуть немножко.

Въ изящной прозѣ онъ былъ менѣе счастливъ. Онъ написалъ комедію, двѣ повѣсти, какой-то очеркъ и путешествіе куда-то. Дѣятельность его была изумительна, бумага такъ и горѣла подъ перомъ. Комедію и одну повѣсть сначала показалъ дядѣ и просилъ сказать, годится ли? Дядя прочиталъ на выдержку нѣсколько страницъ и отослалъ назадъ, написавъ сверху: „годится для... перегородки!“

Александръ взбѣсился и отослалъ въ журналъ, но ему возвратили и то и другое. Въ двухъ мѣстахъ на поляхъ комедіи отмѣчено было карандашемъ: „не дурно“ — и только. Въ повѣсти часто встрѣчались слѣдующія отмѣтки: „слабо, невѣрно, незрѣло, вяло, неразвито“ и проч., а въ концѣ сказано было: „вообще замѣтно незнаніе сердца, излишняя пылкость, неестественность, все на ходуляхъ; нигдѣ не видно человѣка... герой уродливъ... такихъ людей не бываетъ... къ напечатанію неудобно! Впрочемъ авторъ, кажется, не безъ дарованія, надо трудиться!...“

„Такихъ людей не бываетъ!“ подумалъ огорченный и изумленный Александръ: „какъ не бываетъ? да вѣдь ге-

рой-то я самъ. Неужели мнѣ изображать этихъ пошлыхъ героевъ, которые встрѣчаются на каждомъ шагу, мыслятъ и чувствуютъ, какъ толпа, дѣлаютъ, что всѣ дѣлаютъ, — эти жалкія лица вседневныхъ мелкихъ трагедій и комедій, неотмѣченныя особой печатью... унизится ли искусство до того?..“

Онъ, въ подтвержденіе чистоты исповѣдуемаго имъ ученія объ изящномъ, призывалъ тѣнь Байрона, ссылался на Гёте и на Шиллера. Героемъ, возможнымъ въ драмѣ или въ повѣсти, онъ воображалъ не иначе, какъ какого-нибудь корсара, или великаго поэта, артиста, и заставлялъ ихъ дѣйствовать и чувствовать по своему.

Въ одной повѣсти мѣстомъ дѣйствія избралъ онъ Америку; обстановка была роскошная; американская природа, горы, и среди всего этого изгнанникъ, похитившій свою возлюбленную. Цѣлый міръ забылъ ихъ; они любовались собой да природой, и когда пришла вѣсть о прощеніи и возможность возвратиться на родину, они отказались. Потомъ лѣтъ черезъ двадцать, какой-то европеецъ пріѣхалъ туда, пошелъ въ сопровожденіи Индійцевъ на охоту и нашелъ на одной горѣ хижину и въ ней скелетъ.—Европеецъ былъ соперникъ героя. Какъ казалась ему хороша эта повѣсть! съ какимъ восторгомъ читалъ онъ ее въ зимніе вечера Надинькѣ! какъ жадно она внимала ему!—и не принять этой повѣсти!

Объ этой неудачѣ онъ ни полслова Надинькѣ; проглотилъ обиду молча—и концы въ воду.—Что же повѣсть, спрашивала она:—напечатали?—Нѣтъ! говорилъ онъ: — нельзя; тамъ много такого, что у насъ покажется дико и странно...

Еслибъ онъ зналъ, какую правду сказалъ онъ, думая сказать ее совсѣмъ въ другомъ смыслѣ!

Трудиться казалось ему тоже страшнымъ. „Зачѣмъ же талантъ? говорилъ онъ.—Трудится бездарный труженикъ; талантъ творитъ легко и свободно...“ Но, вспомнивъ, что статьи его о сельскомъ хозяйствѣ, да и стихи тоже, были сначала такъ, ни то, ни сё, а потомъ постепенно совершенствовались и обратили на себя особенное вниманіе публики, онъ задумался, понялъ нелѣпость своего заключенія и со вздохомъ отложилъ изящную прозу до другаго времени: когда сердце будетъ биться ровнѣе, мысли придутъ въ порядокъ, тогда онъ далъ себѣ слово заняться, какъ слѣдуетъ.

Дни шли за днями, дни безпрерывныхъ наслажденій для Александра. Онъ счастливъ былъ, когда поцалуетъ кончикъ пальца Надиньки, просидитъ противъ нея въ картинной позѣ часа два, не спуская съ нея глазъ, млѣя и вздыхая, или декламируя приличные случаю стихи.

Справедливость требуетъ сказать, что она иногда на вздохи и стихи отвѣчала зѣвотой. И не мудрено: сердце ея было занято, но умъ оставался празденъ. Александръ не позаботился дать ему пищи. Годъ, назначенный Надинькою для испытанія, проходилъ. Она жила съ матерью опять на той же дачѣ. Александръ заговаривалъ о ея обѣщаніи, просилъ позволенія поговорить съ матерью. Надинька отложила-было до переѣзда въ городъ, но Александръ настаивалъ.

Наконецъ, однажды вечеромъ, при прощаньи, она позволила Александру переговорить на другой день съ матерью.

Александръ не уснулъ цѣлую ночь, не ходилъ въ должность. Въ головѣ у него вертѣлся завтрашній день; онъ все придумывалъ, какъ говорить съ Марьей Михайловной, сочинилъ было рѣчь, приготовился, но едва вспомнилъ, что дѣло идетъ о Надинькиной рукѣ, растерялся въ мечтахъ и

опять все забылъ. Такъ онъ пріѣхалъ вечеромъ на дачу, не приготовившись ни въ чемъ; да и не нужно было: Надинька встрѣтила его, по обыкновенію, въ саду, но съ оттѣнкомъ легкой задумчивости въ глазахъ и безъ улыбки, а какъ-то разсѣянно.

— Нынче нельзя говорить съ маменькой, сказала она:— у насъ этотъ гадкій графъ сидитъ!

— Графъ! какой графъ?

— Вотъ не знаете, какой графъ! графъ Новинскій, извѣстно, нашъ сосѣдъ; вотъ его дача; сколько разъ сами хвалили садъ!

— Графъ Новинскій! у васъ! сказалъ изумленный Александръ:—по какому случаю?

— Я еще и сама не знаю хорошенько, отвѣчала Надинька;—я сидѣла здѣсь и читала вашу книжку, а маменьки дома не было; она пошла къ Марьѣ Ивановнѣ. Только сталъ накрапывать дождь, я иду въ комнату, вдругъ къ крыльцу подъѣзжаетъ коляска, голубая съ бѣлой обивкой, та самая, что все мимо насъ ѣздила:—еще вы хвалили. Смотрю, выходитъ маменька съ какимъ-то мужчиной. Вошли; маменька и говоритъ: „Вотъ, графъ, это моя дочь; прошу любить да жаловать“. Онъ поклонился и я тоже. Мнѣ стыдно стало, я покраснѣла и убѣжала въ свою комнату. А маменька—такая несносная—слышу, говоритъ: „Извините, графъ, она у меня такая дикарка...“ Тутъ я и догадалась, что это долженъ быть нашъ сосѣдъ, графъ Новинскій. Вѣрно онъ завезъ маменьку въ экипажѣ отъ Марьи Ивановны, отъ дождя.

— Онъ... старикъ? спросилъ Александръ.

— Какой старикъ, фи! что вы: молодой, хорошенькій!..

— Ужь вы успѣли разсмотрѣть, что хорошенькій! съ досадой сказалъ Александръ.

— Вотъ прекрасно! долго ли разсмотрѣть? Я съ нимъ ужь говорила. Ахъ! онъ прелюбезный: разспрашивалъ, что я дѣлаю; о музыкѣ говорилъ; просилъ спѣть что-нибудь, да я не стала, я почти не умѣю. Нынѣшней зимой непремѣнно попрошу maman взять мнѣ хорошаго учителя пѣнія. Графъ говоритъ, что это нынче очень въ модѣ—пѣть.

Все это было сказано съ необыкновенною живостью.

— Я думалъ, Надежда Александровна, замѣтилъ Адуевъ:—что нынѣшней зимой у васъ, кромѣ пѣнія, будетъ занятіе...

— Какое же?

— Какое! съ упрекомъ сказалъ Александръ.

— Ахъ! да... что вы на лодкѣ сюда пріѣхали?

Онъ молча смотрѣлъ на нее. Она повернулась и пошла къ дому.

Адуевъ не совсѣмъ покойно вошелъ въ залу. Что за графъ! Какъ съ нимъ вести себя? каковъ онъ въ обращеніи? гордъ? небреженъ? Вошелъ. Графъ первый всталъ и вѣжливо поклонился. Александръ отвѣчалъ принужденнымъ и неловкимъ поклономъ. Хозяйка представила ихъ другъ другу. Графъ почему-то не нравился ему; а онъ былъ прекрасный мужчина: высокій, стройный блондинъ, съ большими выразительными глазами, съ пріятной улыбкой. Въ манерахъ простота, изящество, какая-то мягкость. Онъ, кажется, расположилъ бы къ себѣ всякаго, но Адуева не расположилъ.

Александръ, несмотря на приглашеніе Марьи Михайловны — сѣсть поближе, сѣлъ въ уголъ и сталъ смотрѣть въ книгу, что было очень не свѣтски, неловко, неумѣстно. Надинька стала за кресломъ матери, съ любопытствомъ смотрѣла на графа и слушала, что и какъ онъ говоритъ: онъ былъ для нея новостью.

Адуевъ не умѣлъ скрыть, что графъ не нравился ему. Графъ, казалось, не замѣчалъ его грубости: онъ былъ внимателенъ и обращался къ Адуеву, стараясь сдѣлать разговоръ общимъ. Все напрасно: тотъ молчалъ, или отвѣчалъ: да и нѣтъ.

Когда Любецкая случайно повторила его фамилію, графъ спросилъ, не родня ли ему Петръ Иванычъ.

— Дядя! отвѣчалъ отрывисто Александръ.

— Я съ нимъ часто встрѣчаюсь въ свѣтѣ, сказалъ графъ.

— Можетъ быть. Что жь тутъ мудренаго? отвѣчалъ Адуевъ и пожалъ плечами.

Графъ скрылъ улыбку, закусивъ немного нижнюю губу. Надинька переглянулась съ матерью, покраснѣла и потупила глаза.

— Вашъ дядюшка умный и пріятный человѣкъ! замѣтилъ графъ тономъ легкой ироніи.

Адуевъ молчалъ.

Надинька не вытерпѣла, подошла къ Александру, и пока графъ говорилъ съ ея матерью, шепнула ему:—какъ вамъ не стыдно! графъ такъ ласковъ съ вами, а вы?..

— Ласковъ! съ досадой, почти вслухъ отвѣчалъ Александръ:—я не нуждаюсь въ его ласкахъ, не повторяйте этого слова...

Надинька отскочила отъ него прочь и издали долго глядѣла на него неподвижно, сдѣлавъ большіе глаза, потомъ стала опять за стуломъ матери и не обращала уже вниманія на Александра.

А Адуевъ все ждалъ, вотъ графъ уйдетъ, и онъ, наконецъ, успѣетъ переговорить съ матерью. Но пробило десять, одинадцать часовъ, графъ не уходитъ и все говоритъ.

Всѣ предметы, около которыхъ обыкновенно вертится разговоръ въ началѣ знакомства, истощились. Графъ началъ шутить. Онъ шутилъ умно: въ его шуткахъ — ни

малѣйшей принужденности, ни претензіи на остроуміе, а такъ что-то занимательное, какая-то особенная способность забавно разсказать, даже не анекдотъ, а просто новость, случай, или однимъ неожиданнымъ словомъ серьезную вещь превратитъ въ смѣшную.

И мать и дочь совершенно поддались вліянію его шутокъ, и самъ Александръ не разъ прикрывалъ книгой невольную улыбку. Но онъ бѣсился въ душѣ.

Графъ говорилъ обо всемъ одинаково хорошо, съ тактомъ, и о музыкѣ, и о людяхъ, и о чужихъ краяхъ. Зашелъ разговоръ о мужчинахъ, о женщинахъ: онъ побранилъ мужчинъ, въ томъ числѣ и себя, ловко похвалилъ женщинъ вообще, и сдѣлалъ нѣсколько комплиментовъ хозяйкамъ въ особенности.

Адуевъ подумалъ о своихъ литературныхъ занятіяхъ, о стихахъ. „Вотъ тутъ бы я его срѣзалъ“, подумалъ онъ. Заговорили и о литературѣ; мать и дочь рекомендовали Александра, какъ писателя.

„Вотъ сконфузится-то!“ подумалъ Адуевъ.—

Вовсе нѣтъ. Графъ говорилъ о литературѣ, какъ-будто никогда ничѣмъ другимъ не занимался; сдѣлалъ нѣсколько бѣглыхъ и вѣрныхъ замѣчаній о современныхъ русскихъ и французскихъ знаменитостяхъ. Въ добавокъ ко всему оказалось, что онъ находился въ дружескихъ сношеніяхъ съ первоклассными русскими литераторами, а въ Парижѣ познакомился съ нѣкоторыми и изъ французскихъ. О немногихъ отозвался онъ съ уваженіемъ, другихъ слегка очертилъ въ каррикатурѣ.

О стихахъ Александра онъ сказалъ, что не знаетъ ихъ и не слыхалъ...

Надинька какъ-то странно посмотрѣла на Адуева, какъ-будто спрашивая: „что жь, братъ, ты? не далеко уѣхалъ..“

Александръ оробѣлъ. Дерзкая и грубая мина уступила

мѣсто унынію. Онъ походилъ на пѣтуха съ мокрымъ хвостомъ, прячущагося отъ непогоды подъ навѣсъ.

Вотъ въ буфетѣ зазвенѣли стаканами, ложками, накрываютъ столъ, а графъ не уходитъ. Исчезла всякая надежда. Онъ даже согласился на приглашеніе Любецкой остаться и поужинать простокваши.

„Графъ, а ѣстъ простоквашу!“ шепталъ Адуевъ, съ ненавистью глядя на графа.

Графъ ужиналъ съ аппетитомъ, продолжая шутить, какъ-будто онъ былъ у себя.

— Въ первый разъ въ домѣ, безсовѣстный, а ѣстъ за троихъ! шепнулъ Александръ Надинькѣ.

— Что жь! онъ *кушать* хочетъ! отвѣчала она простодушно.

Графъ, наконецъ, ушелъ, но говорить о дѣлѣ было поздно. Адуевъ взялъ шляпу и побѣжалъ вонъ. Надинька нагнала его и успѣла успокоить.

— Такъ завтра? спросилъ Александръ.

— Завтра насъ дома не будетъ.

— Ну, послѣзавтра.

Они разстались.

Послѣ завтра Александръ пріѣхалъ пораньше. Еще въ саду до него изъ комнаты доносились незнакомые звуки... віолончель не віолончель... Онъ ближе... поетъ мужской голосъ, и какой голосъ! звучный, свѣжій, который такъ, кажется, и просится въ сердце женщины. Онъ дошелъ до сердца и Адуева, но иначе: оно замерло, заныло отъ тоски, зависти, ненависти, отъ неяснаго и тяжелаго предчувствія. Александръ вошелъ въ переднюю со двора.

— Кто у васъ? спросилъ онъ у человѣка.

— Графъ Новинскій.

— Давно?

— Съ шести часовъ.

— Скажи тихонько барышнѣ, что я былъ и зайду опять.

— Слушаю-съ.

Александръ вышелъ вонъ и пошелъ бродить по дачамъ, едва замѣчая куда идетъ. Часа черезъ два онъ воротился.

— Что, все еще у васъ? спросилъ онъ.

— У насъ; да кажется кушать останутся. Барыня приказала жарить рябчиковъ къ ужину.

— А ты говорилъ барышнѣ обо мнѣ?

— Говорилъ-съ.

— Ну, что жь она?

— Ничего не изволила приказывать.

Александръ уѣхалъ домой и не являлся два дня. Богъ знаетъ, что онъ передумалъ и перечувствовалъ; наконецъ поѣхалъ.

Вотъ онъ завидѣлъ дачу, всталъ въ лодкѣ и, прикрывъ глаза рукой отъ солнца, смотрѣлъ впередъ. Вонъ между деревьями мелькаетъ синее платье, которое такъ ловко сидитъ на Надинькѣ; синій цвѣтъ такъ къ лицу ей. Она всегда надѣвала это платье, когда хотѣла особенно нравиться Александру. У него отлегло отъ сердца.

„А! она хочетъ вознаградить меня за временную, невольную небрежность, думалъ онъ:—не она, а я виноватъ: какъ можно было такъ непростительно вести себя? этимъ только вооружишь противъ себя; чужой человѣкъ, новое знакомство... очень натурально, что она, какъ хозяйка... А! вонъ выходитъ изъ-за куста съ узенькой тропинки, идетъ къ рѣшеткѣ, тутъ остановится и будетъ ждать...

Онъ точно вышла на большую аллею... но кто жь еще съ ней поворачиваетъ съ дорожки?...

— Графъ! горестно, вслухъ воскликнулъ Александръ и не вѣрилъ своимъ глазамъ.

— Ась? откликнулся одинъ гребецъ.

— Одна съ нимъ въ саду... шепнулъ Александръ:—какъ со мной...

Графъ съ Надинькой подошли къ рѣшеткѣ и, не взглянувъ на рѣку, повернулись и медленно пошли по аллеѣ назадъ. Онъ наклонился къ ней и говорилъ что-то тихо. Она шла потупя голову.

Адуевъ все стоялъ въ лодкѣ, съ раскрытымъ ртомъ, не шевелясь, протянувъ руки къ берегу, потомъ опустилъ ихъ и сѣлъ. Гребцы продолжали грести.

— Куда вы? бѣшено закричалъ на нихъ Александръ, опомнившись.—Назадъ!

— Назадъ ѣхать? повторилъ одинъ, глядя на него, разинувъ ротъ.

— Назадъ! глухъ что-ли ты?

— А туда не понадобится?

Другой гребецъ молча, проворно сталъ забирать весломъ слѣва, потомъ ударили въ два весла, и лодка быстро помчалась обратно. Александръ нахлобучилъ шляпу чуть не до плечъ и погрузился въ мучительную думу.

Послѣ того онъ не ѣздилъ къ Любецкимъ двѣ недѣли.

Двѣ недѣли: какой срокъ для влюбленнаго! Но онъ все ждалъ: вотъ пришлютъ человѣка узнать, что съ нимъ? не боленъ ли? какъ это всегда дѣлалось, когда онъ захвораетъ, или такъ, закапризничаетъ. Надинька сначала, бывало, отъ имени матери сдѣлаетъ вопросъ по формѣ а потомъ чего не напишетъ отъ себя? Какіе милые упреки, какое нѣжное безпокойство! что за нетерпѣніе!

„Нѣтъ, теперь я не сдамся скоро, думалъ Александръ:— я ее помучаю. Я научу ее, какъ должно обходиться съ постороннимъ мужчиной; примиреніе будетъ не легко!“

И онъ задумалъ жестокій планъ мщенія, мечталъ о раскаяніи, о томъ, какъ онъ великодушно проститъ и дастъ

наставленіе. Но къ нему не шлютъ человѣка и не несутъ повинной; онъ какъ-будто не существовалъ для нихъ.

Онъ похудѣлъ, сдѣлался блѣденъ. Ревность мучительнѣе всякой болѣзни, особенно ревность по подозрѣніямъ, безъ доказательствъ. Когда является доказательство, тогда конецъ и ревности, большею частію и самой любви, тогда знаютъ, по-крайней-мѣрѣ, что́ дѣлать, а до тѣхъ поръ — му́ка! и Александръ испытывалъ ее вполнѣ.

Наконецъ онъ рѣшился поѣхать утромъ, думая застать Надиньку одну и объясниться съ ней.

Пріѣхалъ. Въ саду никого не было, въ залѣ и гостиной тоже. Онъ вышелъ въ переднюю, отворилъ дверь на дворъ...

Какая сцена представилась ему! Два жокея, въ графской ливреѣ, держали верховыхъ лошадей. На одну изъ нихъ графъ и человѣкъ сажали Надиньку; другая приготовлена была для самого графа. На крыльцѣ стояла Марья Михайловна. Она, наморщившись, съ безпокойствомъ смотрѣла на эту сцену.

— Крѣпче сиди, Надинька, говорила она.—Посмотрите, графъ, за ней, ради Христа! Ахъ! я боюсь, ей-Богу, боюсь. Придерживайся за ухо лошади, Надинька: видишь, она точно бѣсъ—такъ и юлитъ.

— Ничего, maman, весело сказала Надинька:—я вѣдь ужъ умѣю ѣздить: посмотрите.

Она хлестнула лошадь, та бросилась впередъ и начала прыгать и рваться на мѣстѣ.

— Ахъ, ахъ! держите! закричала Марья Михайловна, махая рукой:—перестань, убьетъ!

Но Надинька потянула поводья и лошадь стала.

— Видите, какъ она меня слушается! сказала Надинька и погладила лошадь по шеѣ.

Адуева никто и не замѣтилъ. Онъ, блѣдный, молча смотрѣлъ на Надиньку, а она, какъ на смѣхъ, никогда не казалась такъ хороша, какъ теперь. Какъ шла къ ней амазонка и эта шляпка съ зеленой вуалью! какъ обрисовывалась ея талія! Лицо одушевлено было стыдливою гордостью и роскошью новаго ощущенія. Румянецъ, то пропадалъ, то выступалъ, отъ удовольствія, на щекахъ. Лошадь слегка прыгала и заставляла стройную наѣздницу граціозно наклоняться и откидываться назадъ. Станъ ея покачивался на сѣдлѣ, какъ стебель цвѣтка, колеблемый вѣтеркомъ. Потомъ жокей подвелъ лошадь графу.

— Графъ! мы опять черезъ рощу поѣдемъ? спросила Надинька.

„Опять!“ подумалъ Адуевъ.

— Очень хорошо, отвѣчалъ графъ.

Лошади тронулись съ мѣста.

— Надежда Александровна! вдругъ закричалъ Адуевъ какимъ-то дикимъ голосомъ.

Всѣ остановились, какъ вкопаные, какъ будто окаменѣли, и смотрѣли въ недоумѣніи на Александра. Это продолжалось съ минуту.

— Ахъ, это Александръ Ѳедорычъ! первая сказала мать, опомнившись. Графъ привѣтливо поклонился. Надинька проворно откинула вуаль отъ лица, обернулась и посмотрѣла на него съ испугомъ, открывъ немного ротикъ, потомъ быстро отвернулась, стегнула лошадь, та рванулась впередъ и въ два прыжка исчезла за воротами; за нею пустился графъ.

— Тише, тише, ради Бога, тише! кричала мать вслѣдъ: —за ухо держи. А! Господи Боже мой, того и гляди упадетъ: что́ это за страсти такія!

И все пропало; слышенъ былъ только лошадиный топ[illegible] а пыль облакомъ поднялась съ дороги. Александръ

остался съ Любецкой. Онъ молча смотрѣлъ на нее, какъ-будто спрашивалъ глазами: „что́ это значитъ?“ Та не заставила долго ждать отвѣта.

— Уѣхали, сказала она:—и слѣдъ простылъ! Ну, пусть молодежь порѣзвится, а мы съ вами побесѣдуемъ, Александръ Ѳедорычъ. Да что́ это двѣ недѣли о васъ ни слуху, ни духу: разлюбили что ли насъ?

— Я былъ боленъ, Марья Михайловна, угрюмо отвѣчалъ онъ.

— Да, это видно: вы похудѣли и блѣдные такіе! Сядьте-ка поскорѣй, отдохните; да не хотите ли, я прикажу сварить яичекъ въ смятку? до обѣда еще долго.

— Благодарю васъ; я не хочу.

— Отчего? вѣдь сейчасъ будутъ готовы; а яица славныя: Чухонецъ только сегодня принесъ.

— Нѣтъ-съ, нѣтъ.

— Что жь это съ вами? А я все жду да жду, думаю: что жь это значитъ, и самъ не ѣдетъ и книжекъ французскихъ не везетъ? Помните, вы обѣщали что-то: *Peau de chagrin*, что-ли? Жду, жду—нѣтъ! разлюбилъ, думаю, Александръ Ѳедорычъ, насъ, право, разлюбилъ.

— Я боюсь, Марья Михайловна, не разлюбили ли вы меня?

— Грѣхъ вамъ бояться этого, Александръ Ѳедорычъ! Я люблю васъ, какъ роднаго; вотъ не знаю, какъ Надинька; да она еще ребенокъ: что́ смыслитъ? гдѣ ей цѣнить людей! Я каждый день твержу ей: что это, молъ, Александра Ѳедорыча не видать, что не ѣдетъ? и все поджидаю. Повѣрите ли, каждый день до пяти часовъ обѣдать не садилась, все думала: вотъ подъѣдетъ. Ужъ и Надинька говоритъ иногда: „что это, maman, кого вы ждете? мнѣ кушать хочется, и графу, я думаю, тоже...“

— А графъ... часто бываетъ?... спросилъ Александръ.

— Да почти каждый день, а иногда по два раза въ одинъ день; такой добрый, такъ полюбилъ насъ... Ну, вотъ, говоритъ Надинька: „ѣсть хочу, да и только! пора за столъ". —„А какъ Александръ Ѳедорычъ, говорю я, будетъ?.."— „Не будетъ, говоритъ она, хотите пари, что не будетъ? нéчего ждать..." Любецкая рѣзала Александра этими словами, какъ ножомъ.

— Она... такъ и говорила? спросилъ онъ, стараясь улыбнуться.

— Да, такъ таки и говоритъ и торопитъ. Я вѣдь строга, даромъ что смотрю такой доброй. Я ужъ бранила ее: то ждешь, молъ, его до пяти часовъ, не обѣдаешь, то вовсе не хочешь подождать—безтолковая! нехорошо! Александръ Ѳедорычъ старый нашъ знакомый, любитъ насъ, и дяденька его Петръ Иванычъ много намъ расположенія своего показалъ... нехорошо такъ небрежничать! онъ, пожалуй, разсердится да не станетъ ходить..."

— Что жь она? спросилъ Александръ.

— А ничего. Вѣдь вы знаете, она у меня такая живая — вскочитъ, запоетъ, да побѣжитъ, или скажетъ: „пріѣдетъ, если захочетъ!" такая рѣзвушка! я и думаю—пріѣдетъ! Смотришь еще день пройдетъ—нѣтъ! Я опять: „что это, Надинька, здоровъ ли Александръ Ѳедорычъ!"—„Не знаю, говоритъ, maman, мнѣ почемъ знать?"—„Пошлемъка узнать, что съ нимъ?" Пошлемъ да пошлемъ, да такъ вотъ и послали: я-то забыла, понадѣялась на нее, а она у меня вѣтеръ. — Вотъ теперь далась ей эта ѣзда! увидала разъ графа верхомъ изъ окна и пристала ко мнѣ: „хочу ѣздить" да и только! Я туда, сюда, нѣтъ — „хочу"! Сумасшедшая! Нѣтъ, въ мое время какая верховая ѣзда! насъ совсѣмъ не такъ воспитывали. А нынче, ужасъ сказать, дамы стали ужъ покуривать: вонъ, напротивъ насъ молодая вдова живетъ: сидитъ на балконѣ да соломенку цѣлый

день и куритъ; мимо ходятъ, ѣздятъ — ей и нужды нѣтъ! Бывало, у насъ, если и отъ мужчины въ гостиной пахнетъ табакомъ...

— Давно это началось? спросилъ Александръ.

— Да не знаю, говорятъ, лѣтъ съ пять въ моду вошло: вѣдь все отъ Французовъ...

— Нѣтъ-съ, я спрашиваю: давно ли Надежда Александровна ѣздитъ верхомъ?

— Недѣли съ полторы. Графъ такой добрый, такой обходительный: чего, чего не дѣлаетъ для насъ; какъ ее балуетъ! Смотрите, сколько цвѣтовъ! все изъ его саду. Иной разъ совѣстно станетъ. „Что это, говорю, графъ, вы ее балуете? она совсѣмъ ни на что не похожа будетъ!...“ и ее побраню. Мы съ Марьей Ивановной да съ Надинькой были у него въ манежѣ: я вѣдь, вы знаете, сама за ней наблюдаю: ужъ кто лучше матери усмотритъ за дочерью? я сама занималась воспитаніемъ и не хвастаясь скажу: дай Богъ всякому такую дочь! Тамъ при насъ Надинька и училась. Потомъ завтракали у него въ саду, да вотъ теперь каждый день и ѣздятъ. Что это, какой богатый у него домъ! мы смотрѣли: все такъ со вкусомъ, роскошно!

— Каждый день! сказалъ Александръ, почти про себя.

— Да что жъ не потѣшить! сама тоже молода была... бывало...

— И долго они ѣздятъ?

— Часа по три. Ну, а вы чѣмъ это заболѣли?

— Я не знаю... у меня что-то грудь болитъ... сказалъ онъ, прижавъ руку къ сердцу.

— Вы ничего не принимаете?

— Нѣтъ.

— Вотъ то-то молодые люди! все ничего, все до поры до времени, а тамъ и спохватятся, какъ время уйдетъ! Что жь вамъ, ломитъ что ли, ноетъ, или рѣжетъ?

— И ломитъ, и ноетъ, и рѣжетъ! разсѣянно сказалъ Александръ.

— Это простуда; сохрани Боже! не надо запускать, вы такъ уходите себя... можетъ воспаленіе сдѣлаться; и никакихъ лекарствъ! Знаете что? возьмите-ка оподельдоку да и трите на ночь грудь крѣпче, втирайте до́-красна, а вмѣсто чаю пейте траву, я вамъ рецептъ дамъ.

Надинька воротилась блѣдная отъ усталости. Она бросилась на диванъ, едва переводя духъ.

— Смотри-ка! говорила, приложивъ ей руку къ головѣ, Марья Михайловна: — какъ уходилась, насилу дышешь. Выпей воды, да поди переодѣнься распусти шнуровку. Ужъ не доведетъ тебя эта ѣзда до добра!

Александръ и графъ пробыли цѣлый день. Графъ былъ неизмѣнно вѣжливъ и внимателенъ къ Александру, звалъ его къ себѣ взглянуть на садъ, приглашалъ раздѣлить прогулку верхомъ, предлагалъ ему лошадь.

— Я не умѣю ѣздить, холодно сказалъ Адуевъ.

— Вы не умѣете? спросила Надинька:—а какъ это весело! Мы опять завтра поѣдемъ, графъ?

Графъ поклонился.

— Полно тебѣ, Надинька, замѣтила мать: — ты безпокоишь графа.

Ничто, однакожь, не показывало, чтобы между графомъ и Надинькою существовали особенныя отношенія. Онъ былъ одинаково любезенъ и съ матерью и съ дочерью, не искалъ случая говорить съ одной Надинькой, не бѣжалъ за нею въ садъ, глядѣлъ на нее точно такъ же, какъ и на мать. Ея свободное обращеніе съ нимъ и прогулки верхомъ объяснялись, съ ея стороны дикостью и неровностью характера, наивностью, можетъ быть, еще недостаткомъ воспитанія, незнаніемъ условій свѣта; со стороны матери—слабостью и недальновидностью. Внимательность и услужливость гра-

фа и его ежедневныя посѣщенія можно было приписать сосѣдству дачъ и радушному пріему, который онъ всегда находилъ у Любецкихъ.

Дѣло, кажется, естественное, если глядѣть на него простымъ глазомъ; но Александръ смотрѣлъ въ увеличительное стекло и видѣлъ многое... многое... что простымъ глазомъ не усмотришь.

„Отчего, спрашивалъ онъ себя:—перемѣнилась къ нему Надинька?“—Она ужъ не ждетъ его въ саду, встрѣчаетъ не съ улыбкой, а съ испугомъ, одѣвается съ нѣкоторыхъ поръ гораздо тщательнѣе. Нѣтъ небрежности въ обращеніи. Она осмотрительнѣе въ поступкахъ, какъ-будто стала разсудительнѣе. Иногда у ней кроется въ глазахъ и въ словахъ что-то такое, что́ похоже на секретъ... Гдѣ милые капризы, дикость, шалости, рѣзвость? Все пропало. Она стала серьезна, задумчива, молчалива. Ее какъ-будто что-то мучитъ. Она теперь похожа на всѣхъ дѣвицъ: такая же притворщица, такъ же лжетъ, такъ заботливо разспрашиваетъ о здоровьѣ... такъ постоянно внимательна, любезна по формѣ... къ нему... къ Александру! съ кѣмъ... о Боже! И сердце его замирало.

„Это не даромъ, не даромъ, твердилъ онъ самъ съ собою: — тутъ что-то кроется! Но я узнаю, во что бы то ни стало, и тогда горе...

Не попущу, чтобъ развратитель,
Огнемъ и вздоховъ и похвалъ,
Младое сердце искушалъ...
Чтобъ червь презрѣнный, ядовитый
Точилъ лилеи стебелекъ,
Чтобы двухъ-утренній цвѣтокъ
Увялъ, едва полураскрытый...»

И въ этотъ день, когда графъ уже ушелъ, Александръ старался улучить минуту, чтобы поговорить съ Надинькой

наединѣ. Чего онъ не дѣлалъ? Взялъ книгу, которою она, бывало, вызывала его въ садъ отъ матери, показалъ ей и пошелъ къ берегу, думая, вотъ сейчасъ прибѣжитъ. Ждалъ, ждалъ—нейдетъ. Онъ воротился въ комнату. Она сама читала книгу и не взглянула на него. Онъ сѣлъ подлѣ нея. Она не поднимала глазъ, потомъ спросила бѣгло, мимоходомъ, занимается ли онъ литературой, не вышло ли чего-нибудь новаго? О прошломъ ни слова.

Онъ заговорилъ съ матерью. Надинька ушла въ садъ. Мать вышла изъ комнаты и Адуевъ бросился также въ садъ. Надинька, завидѣвъ его, встала со скамьи и пошла не на встрѣчу ему, а по круговой аллеѣ, тихонько къ дому, какъ-будто отъ него. Онъ ускорилъ шаги, и она тоже.

— Надежда Александровна! закричалъ онъ издали: — мнѣ хотѣлось бы сказать вамъ два слова.

— Пойдемте въ комнату: здѣсь сыро, отвѣчала она.

Воротясь, она опять сѣла подлѣ матери. Александру чуть не сдѣлалось дурно.

— И вы нынче боитесь сырости? сказалъ онъ съ колкостью.

— Да, теперь такіе темные вечера, и холодные, отвѣчала она, зѣвая.

— Скоро и переѣдемъ, замѣтила мать.—Потрудитесь, Александръ Ѳедорычъ, зайти на квартиру и напомнить хозяину, чтобъ онъ передѣлалъ два замка́ у дверей, да ставню въ Надинькиной спальнѣ. Онъ обѣщалъ — забудетъ, того гляди. Они всѣ таковы: имъ лишь бы денежки взять.

Адуевъ сталъ прощаться.

— Смотрите же, не надолго! сказала Марья Михайловна.

Надинька молчала.

Онъ ужъ подошелъ къ дверямъ и обернулся къ ней. Она сдѣлала три шага къ нему. Сердце у него встрепенулось.

„Наконецъ!“ подумалъ онъ.

— Вы будете къ намъ завтра? спросила она холодно, но глаза ея устремились на него съ жаднымъ любопытствомъ.

— Не знаю; а что?

— Такъ, спрашиваю; будете ли?

— А вамъ бы хотѣлось?

— Будете вы завтра къ намъ? повторила она тѣмъ же холоднымъ тономъ, но съ бо́льшимъ нетерпѣніемъ.

— Нѣтъ! отвѣчалъ онъ съ досадой.

— А послѣ завтра?

— Нѣтъ; я не буду цѣлую недѣлю, можетъ быть, двѣ... долго!...И онъ устремилъ на нее испытующій взглядъ, стараясь прочесть въ ея глазахъ, какое впечатлѣніе произведетъ этотъ отвѣтъ.

Она молчала, но глаза ея въ одно мгновеніе съ его отвѣтомъ опустились внизъ, и что́ было въ нихъ? отуманила ли ихъ грусть, или блеснула въ нихъ молнія радости—ничего нельзя было прочесть на этомъ мраморномъ, прекрасномъ лицѣ.

Александръ стиснулъ шляпу въ рукѣ и пошелъ вонъ.

— Не забудьте потереть грудь оподельдокомъ! кричала вслѣдъ Марья Михайловна. И вотъ Александру опять задача — разбирать, къ чему былъ сдѣланъ Надинькою вопросъ? что въ немъ заключалось: желаніе или боязнь видѣть его?

— О, какая му́ка! какая му́ка! говорилъ онъ въ отчаяніи.

Не выдержалъ бѣдный Александръ: пріѣхалъ на третій день. Надинька была у рѣшетки сада, когда онъ подъѣзжалъ. Онъ ужь было обрадовался, но только-что онъ сталъ приближаться къ берегу, она, какъ-будто не видя его, повернулась и, сдѣлавъ нѣсколько косвенныхъ шаговъ по дорожкѣ, точно гуляетъ безъ цѣли, пошла домой.

Онъ засталъ ее съ матерью. Тамъ было человѣка два изъ города, сосѣдка Марья Ивановна и неизбѣжный графъ. Мученія Александра были невыносимы. Опять прошелъ цѣлый день въ пустыхъ, ничтожныхъ разговорахъ. Какъ надоѣли ему гости! Они говорили покойно о всякомъ вздорѣ, разсуждали, шутили, смѣялись.

„Смѣются! говорилъ Александръ:—они могутъ смѣяться, когда... Надинька... перемѣнилась ко мнѣ! Имъ это ничего! Жалкіе, пустые люди: всему радуются!“

Надинька ушла въ садъ; графъ не пошелъ съ ней. Съ нѣкотораго времени и онъ и Надинька какъ-будто избѣгали другъ друга при Александрѣ. Онъ иногда застанетъ ихъ въ саду или въ комнатѣ однихъ, но потомъ они разойдутся и при немъ уже не сходятся болѣе. Новое, страшное открытіе для Александра: знакъ, что они въ заговорѣ.

Гости разошлись. Ушелъ и графъ. Надинька этого не знала и не спѣшила домой. Адуевъ безъ церемоніи ушелъ отъ Марьи Михайловны въ садъ. Надинька стояла спиной къ Александру, держась рукой за рѣшетку и опершись головой на руку, какъ въ тотъ незабвенный вечеръ... Она не видала и не слыхала его прихода.

Какъ билось у него сердце, когда онъ крался къ ней на цыпочкахъ. Дыханіе у него замерло.

— Надежда Александровна! едва слышно проговорилъ онъ въ волненіи.

Она вздрогнула, какъ-будто подлѣ нея выстрѣлили, обернулась и отступила отъ него на шагъ.

— Скажите, пожалуйста, что̀ это тамъ за дымъ? заговорила она въ смущеніи, съ живостью указывая на противоположную сторону рѣки:—пожаръ что ли, или печка такая... на заводѣ?..

Онъ молча глядѣлъ на нее.

— Право, я думала пожаръ... Что вы такъ смотрите на меня, не вѣрите?..

Она замолчала.

— И вы, началъ, онъ, качая головой:—и вы, какъ другія, какъ всѣ!.. Кто бы ожидалъ этого... мѣсяца два назадъ?..

— Что вы? я васъ не понимаю, сказала она и хотѣла идти.

— Постойте, Надежда Александровна, я не въ силахъ долѣе сносить этой пытки.

— Какой пытки? я, право, не знаю...

— Не притворяйтесь, скажите, вы ли это? тѣ же ли вы, какія были?

— Я все та же! сказала она рѣшительно.

— Какъ! вы не перемѣнились ко мнѣ!

— Нѣтъ: я, кажется, такъ же ласкова съ вами, такъ же весело встрѣчаю васъ...

— Такъ же весело! а зачѣмъ бѣжите отъ рѣшетки?..

— Я бѣгу? смотрите что выдумали: я стою у рѣшетки, а вы говорите—бѣгу.

Она принужденно засмѣялась.

— Надежда Александровна, оставьте лукавство! продолжалъ Адуевъ.

— Какое лукавство? что вы пристали ко мнѣ?

— Вы ли это? Боже мой! полтора мѣсяца тому назадъ, еще здѣсь...

— Что это за дымъ такой на той сторонѣ, хотѣла бы я знать?..

— Ужасно! ужасно! говорилъ Александръ.

— Да что я вамъ сдѣлала? Вы перестали къ намъ ѣздить—какъ хотите... удерживать противъ воли... начала Надинька.

*

— Притворяетесь! будто вы не знаете, зачѣмъ я пересталъ ѣздить?

Она, глядя въ сторону, покачала головой.

— А графъ? сказалъ онъ почти грозно.

— Какой графъ?

Она сдѣлала мину, какъ-будто въ первый разъ слышитъ о графѣ.

— Какой! скажите еще, говорилъ онъ, глядя ей прямо въ глаза:—что вы равнодушны къ нему?

— Вы съ ума сошли! отвѣчала она, отступая отъ него.

— Да, вы не ошиблись! продолжалъ онъ: — разсудокъ мой угасаетъ съ каждымъ днемъ... Можно ли такъ коварно, неблагодарно поступить съ человѣкомъ, который любилъ васъ больше всего на свѣтѣ, который все забылъ для васъ, все... думалъ скоро быть счастливымъ навсегда, а вы...

— Что я? говорила она, отступивъ еще.

— Что вы? отвѣчалъ онъ, взбѣшенный этимъ хладнокровіемъ.—Вы забыли! я напомню вамъ, что здѣсь, на этомъ самомъ мѣстѣ, вы сто разъ клялись принадлежать мнѣ: „эти клятвы слышитъ Богъ! „говорили вы. Да, Онъ слышалъ ихъ! вы должны краснѣть и передъ небомъ и передъ этими деревьями, передъ каждой травкой... все свидѣтель нашего счастія: каждая песчинка говоритъ здѣсь о нашей любви: смотрите, оглянитесь около себя!.. вы клятвопреступница!!!

Она съ ужасомъ смотрѣла на него. Глаза его сверкали, губы побѣлѣли.

— У! какіе злые! сказала она робко:—за что вы сердитесь? я вамъ не отказывала, вы еще не говорили съ maman... почему же вы знаете...

— Говорить послѣ этихъ поступковъ?..

— Какихъ поступковъ? я не знаю...

— Какихъ? сейчасъ скажу: что значатъ эти свиданія съ графомъ, эти прогулки верхомъ?

— Не бѣжать же мнѣ отъ него, когда maman выйдетъ изъ комнаты! а ѣзда верхомъ значитъ... что я люблю ѣздить... такъ пріятно: скачешь... ахъ, какая миленькая эта лошадка Люси! вы видѣли?.. она ужь знаетъ меня...

— А перемѣна въ обращеніи со мной?.. продолжалъ онъ: —зачѣмъ графъ у васъ каждый день, съ утра до вечера?

— Ахъ, Боже мой! я почемъ знаю! какіе вы смѣшные! maman такъ хочетъ.

— Неправда! maman хочетъ то, чтó вы хотите. Кому эти всѣ подарки, ноты, альбомы, цвѣты? все maman?

— Да, maman очень любитъ цвѣты. Вчера еще она купила у садовника...

— А о чемъ вы съ нимъ говорите вполголоса? продолжалъ Александръ, не обращая вниманія на ея слова: — посмотрите, вы блѣднѣете, вы сами чувствуете свою вину. Разрушить счастье человѣка, забыть, уничтожить все такъ скоро, легко: лицемѣріе, неблагодарность, ложь, измѣна!.. да, измѣна!.. какъ могли вы допустить себя до этого? Богатый графъ, левъ, удостоилъ кинуть на васъ благосклонный взглядъ—и вы растаяли, пали ницъ передъ этимъ мишурнымъ солнцемъ; гдѣ стыдъ!!! Чтобъ графа не было здѣсь! говорилъ онъ задыхающимся голосомъ: — слышите ли? оставьте, прекратите съ нимъ всѣ сношенія, чтобъ онъ забылъ дорогу въ вашъ домъ!.. я не хочу...

Онъ съ бѣшенствомъ схватилъ ее за руку.

— Maman, maman! сюда! пронзительнымъ голосомъ закричала Надинька, вырываясь отъ Александра и, вырвавшись, опрометью бросилась бѣжать домой.

Онъ сѣлъ на скамью и схватился руками за голову.

Она прибѣжала въ комнату блѣдная, испуганная и упала на стулъ.

— Что ты? что съ тобой? что ты кричишь? спросила встревоженная мать, идя ей на встрѣчу.

— Александръ Өедорычъ... нездоровъ! едва могла проговорить она.

— Такъ что жь такъ пугаться?

— Онъ такой страшный... maman, не пускайте его, ради Бога, ко мнѣ.

— Какъ ты меня перепугала, сумасшедшая! Ну что жь, что нездоровъ? я знаю, у него грудь болитъ. Что тутъ страшнаго? не чахотка! потретъ оподельдокомъ—все пройдетъ: видно не послушался, не потеръ.

Александръ опомнился. Горячка прошла, но мука его удвоилась. Сомнѣній онъ не прояснилъ, а перепугалъ Надиньку и теперь, конечно, не добьется отъ нея отвѣта: не такъ взялся за дѣло. Ему, какъ всякому влюбленному, вдругъ пришло въ голову и то: „ну, если она не виновата? можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ она равнодушна къ графу. Безтолковая мать приглашаетъ его каждый день: что же ей дѣлать? Онъ, какъ свѣтскій человѣкъ, любезенъ; Надинька—хорошенькая дѣвушка: можетъ быть онъ и хочетъ нравиться ей, да вѣдь это еще не значитъ, что ужь и понравился. Ей, можетъ быть, нравятся цвѣты, верховая ѣзда, невинныя развлеченія, а не самъ графъ? Да положимъ даже, что тутъ есть немного и кокетства: развѣ это не простительно? другія и старше, да Богъ знаетъ чтó дѣлаютъ“.

Онъ отдохнулъ, лучь радости блеснулъ въ душѣ. Влюбленные всѣ таковы: то очень слѣпы, то слишкомъ прозорливы. Притомъ же такъ пріятно оправдать любимый предметъ!

„А отчего же перемѣна въ обращеніи со мной?“ вдругъ спрашивалъ онъ себя и снова блѣднѣлъ. — „Зачѣмъ она убѣгаетъ меня, молчитъ, будто стыдится? зачѣмъ вчера, въ простой день, одѣлась такъ нарядно? гостей кромѣ его, не

было. Зачѣмъ спросила, скоро ли начнутся балеты?“ Вопросъ простой; но онъ вспомнилъ, что графъ вскользь обѣщалъ доставать всегда ложу, не смотря ни на какія трудности: слѣдовательно онъ будетъ съ ними. Зачѣмъ вчера ушла изъ саду? зачѣмъ не пришла въ садъ? зачѣмъ спрашивала то, зачѣмъ не спрашивала...“

И снова впалъ онъ въ тяжкія сомнѣнія и снова жестоко мучился и дошелъ до заключенія, что Надинька даже никогда его и не любила.

„Боже, Боже! говорилъ онъ въ отчаяньи:—ка́къ тяжело, ка́къ горько жить! Дай мнѣ это мертвое спокойствіе, этотъ сонъ души...“

Черезъ четверть часа онъ пришелъ въ комнату, унылый, боязливый.

— Прощайте, Надежда Александровна, сказалъ онъ робко.

— Прощайте, отвѣчала она отрывисто, не поднимая глазъ.

— Когда позволите мнѣ придти?

— Когда вамъ угодно. Впрочемъ... мы на той недѣлѣ переѣзжаемъ въ городъ: мы вамъ дадимъ знать тогда...

Онъ уѣхалъ. Прошло болѣе двухъ недѣль. Всѣ уже переѣхали съ дачъ. Аристократическіе салоны засіяли снова. И чиновникъ засвѣтилъ двѣ стѣнныя лампы въ гостиной, купилъ полпуда стеариновыхъ свѣчъ, разставилъ два карточные стола, въ ожиданіи Степана Иваныча и Ивана Степаныча, и объявилъ женѣ, что у нихъ будутъ вторники.

А Адуевъ все не получалъ отъ Любецкихъ приглашенія. Онъ встрѣтилъ и повара ихъ и горничную. Горничная, завидя его, бросилась бѣжать прочь: видно было, что она дѣйствовала въ духѣ барышни. Поваръ остановился.

— Что это вы, сударь, забыли насъ? сказалъ онъ: — а мы ужь недѣли полторы, какъ переѣхали.

— Да можетъ быть, вы... не разобрались, не принимаете?

— Какое, сударь, не принимаемъ: ужь всѣ перебывали, только васъ нѣтъ; барыня не надивится. Вотъ его сіятельство такъ каждый день изволитъ жаловать... такой добрый баринъ. Я намедни ходилъ къ нему съ какой-то тетрадкой отъ барышни—красненькую пожаловалъ.

— Какой же ты дуракъ! сказалъ Адуевъ и бросился бѣжать отъ болтуна. Онъ прошелъ вечеромъ мимо квартиры Любецкихъ. Свѣтло. У подъѣзда карета.

— Чья карета? спросилъ онъ.

— Графа Новинскаго.

На другой, на третій день то же. Наконецъ, однажды онъ вошелъ. Мать приняла его радушно, съ упреками за отсутствіе, побранила, что не третъ грудь оподельдокомъ; Надинька—покойно, графъ — вѣжливо. Разговоръ не вязался.

Такъ былъ онъ раза два. Напрасно онъ выразительно глядѣлъ на Надиньку: она какъ-будто не замѣчала его взглядовъ, а прежде какъ замѣчала! бывало, онъ говоритъ съ матерью, а она станетъ напротивъ него, сзади Марьи Михайловны, дѣлаетъ ему гримасы, шалитъ и смѣшитъ его.

Имъ овладѣла невыносимая тоска. Онъ думалъ о томъ только, какъ бы свергнуть съ себя этотъ добровольно взятый крестъ. Ему хотѣлось добиться объясненія. „Какой бы ни былъ отвѣтъ, думалъ онъ:—все равно, лишь бы превратитъ сомнѣніе въ извѣстность“.

Долго обдумывалъ онъ, какъ приняться за дѣло, наконецъ выдумалъ что-то и пошелъ къ Любецкимъ.

Все благопріятствовало ему. Кареты у подъѣзда не было. Тихо прошелъ онъ залу и на минуту остановился передъ дверями гостиной, чтобы перевести духъ. Тамъ Надинька играла на фортепіано. Дальше черезъ комнату сама Любец-

кая сидѣла на диванѣ и вязала шарфъ. Надинька, услыхавши шаги въ залѣ, продолжала играть тише и вытянула головку впередъ. Она съ улыбкой ожидала появленія гостя. Гость появился и улыбка мгновенно исчезла; мѣсто ея замѣнилъ испугъ. Она немного измѣнилась въ лицѣ и встала со стула. Не этого гостя ожидала она.

Александръ молча поклонился и, какъ тѣнь, прошелъ дальше, къ матери. Онъ шелъ тихо, безъ прежней увѣренности, съ поникшей головой. Надинька сѣла и продолжала играть, озираясь, по временамъ, безпокойно назадъ.

Черезъ полчаса мать зачѣмъ-то вызвали изъ комнаты. Александръ пришелъ къ Надинькѣ. Она встала и хотѣла идти.

— Надежда Александровна! сказалъ онъ уныло:—подождите, удѣлите мнѣ пять минутъ, не болѣе.

— Я не могу слушать васъ! сказала она, и пошла было прочь:—въ послѣдній разъ вы были...

— Я былъ виноватъ тогда. Теперь буду говорить иначе, даю вамъ слово: вы не услышите не одного упрека. Не отказывайте мнѣ, можетъ быть, въ послѣдній разъ. Объясненіе необходимо: вѣдь вы мнѣ позволили просить у маменьки вашей руки. Послѣ того случилось много такого... что... словомъ—мнѣ надо повторить вопросъ. Сядьте и продолжайте играть: маменька лучше не услышитъ; вѣдь это не въ первый разъ...

Она машинально повиновалась: слегка краснѣя, начала брать аккорды и въ тревожномъ ожиданіи устремила на него взглядъ.

— Куда же вы ушли, Александръ Ѳедорычъ? спросила мать, воротясь на свое мѣсто.

— Я хотѣлъ поговорить съ Надеждой Александровной о... литературѣ, отвѣчалъ онъ.

— Ну, поговорите, поговорите: въ самомъ дѣлѣ, давно вы не говорили.

— Отвѣчайте мнѣ коротко и искренно на одинъ только вопросъ, началъ онъ вполголоса:—и наше объясненіе сейчасъ кончится... Вы меня не любите болѣе?

— Quelle idée! отвѣчала она, смутившись:—вы знаете, какъ maman и я цѣнили всегда вашу дружбу... какъ были всегда рады вамъ...

Адуевъ посмотрѣлъ на нее и подумалъ: — „ты ли это, капризное, но искреннее дитя? эта шалунья, рѣзвушка? Какъ скоро выучилась она притворяться? какъ быстро развились въ ней женскіе инстинкты! Ужели милые капризы были зародышами лицемѣрія, хитрости?.. вотъ, и безъ дядиной методы, а какъ проворно эта дѣвушка образовалась въ женщину! и все въ школѣ графа, и въ какіе нибудь два, три мѣсяца! О, дядя, дядя! и въ этомъ ты безпощадно правъ!“

— Послушайте, сказалъ онъ такимъ голосомъ, что маска вдругъ слетѣла съ притворщицы:—оставимъ маменьку въ сторонѣ: сдѣлайтесь на минуту прежней Надинькой, когда вы немножко любили меня... и отвѣчайте прямо: мнѣ это нужно знать, ей-Богу, нужно.

Она молчала, только перемѣнила ноты и стала пристально разсматривать и разыгрывать какой-то трудный пассажъ.

— Ну, хорошо, я измѣню вопросъ, продолжалъ Адуевъ: — скажите, не замѣнилъ ли—не назову даже кто — просто, не замѣнилъ ли кто-нибудь меня въ вашемъ сердцѣ?..

Она сняла со свѣчки и долго поправляла свѣтильню, но молчала.

— Отвѣчайте же, Надежда Александровна: одно слово избавитъ меня отъ муки, васъ — отъ непріятнаго объясненія.

— Ахъ, Боже мой, перестаньте! что я вамъ скажу? мнѣ нечего сказать! отвѣчала она, отворачиваясь отъ него.

Другой удовольствовался бы такимъ отвѣтомъ и увидѣлъ бы, что ему не о чемъ больше хлопотать. Онъ понялъ бы все изъ этой безмолвной, мучительной тоски, написанной и на лицѣ ея, проглядывавшей и въ движеніяхъ. Но Адуеву было недовольно. Онъ, какъ палачъ, пыталъ свою жертву и самъ былъ одушевленъ какимъ-то дикимъ, отчаяннымъ желаніемъ выпить чашу разомъ и до конца.

— Нѣтъ! говорилъ онъ: — кончите эту пытку сегодня; сомнѣнія, одно другаго чернѣе, волнуютъ мой умъ, рвутъ на части сердце. Я измучился; я думаю, у меня, лопнетъ грудь отъ напряженія... мнѣ нечѣмъ увѣриться въ своихъ подозрѣніяхъ; вы должны рѣшить все сами; иначе я никогда не успокоюсь.

Онъ смотрѣлъ на нее и ждалъ отвѣта. Она молчала.

— Сжальтесь надо мной! началъ онъ опять: — посмотрите на меня: похожъ ли я на себя? всѣ пугаются меня, не узнаютъ... всѣ жалѣютъ, вы однѣ только...

Точно: глаза его горѣли дикимъ блескомъ. Онъ былъ худъ, блѣденъ, на лбу выступилъ крупный потъ.

Она украдкой бросила на него взглядъ и во взглядѣ мелькнуло что-то похожее на сожалѣніе. Она взяла его даже за руку, но тотчасъ же оставила ее со вздохомъ и все молчала.

— Что же? спросилъ онъ.

— Ахъ, оставьте меня въ покоѣ! сказала она съ тоской:—вы мучите меня вопросами...

— Умоляю васъ, ради Бога! говорилъ онъ: — кончите все однимъ словомъ... Къ чему послужитъ вамъ скрытность? У меня останется глупая надежда, я не отстану, я буду ежедневно являться къ вамъ блѣдный, разстроенный... Я наведу на васъ тоску. Откажете отъ дому —

стану бродить подъ окнами, встрѣчаться съ вами въ театрѣ, на улицѣ, всюду, какъ привидѣніе, какъ memento mori. Всѣ это глупо, можетъ быть, смѣшно, кому до смѣху,—но мнѣ больно! Вы не знаете, что такое страсть, до чего она доводитъ! дай Богъ вамъ и не узнать никогда!.. Что жь пользы? не лучше ли сказать вдругъ?

— Да о чемъ вы меня спрашиваете? сказала Надинька, откинувшись на спинку кресла.—Я совсѣмъ растерялась... у меня голова точно въ туманѣ...

Она судорожно прижала руку ко лбу и тотчасъ же отняла.

— Я спрашиваю: замѣнилъ ли меня кто-нибудь въ вашемъ сердцѣ? одно слово — *да* или *нѣтъ* — рѣшитъ все; долго ли сказать!

Она хотѣла что-то сказать, но не могла и потупивъ глаза, начала ударять пальцемъ по одному клавишу. Видно было, что она сильно боролась сама съ собой. „Ахъ!“ произнесла она наконецъ съ тоской. Адуевъ отеръ платкомъ лобъ.

— Да или нѣтъ? повторилъ онъ, притаивъ дыханіе.

Прошло нѣсколько секундъ.

— Да или нѣтъ!

— Да! прошептала Надинька чуть слышно, потомъ совсѣмъ наклонилась къ фортепіано и, какъ-будто въ забытьи, начала брать сильные аккорды.

Это *да* раздалось едва внятно, какъ вздохъ, но оно оглушило Адуева; сердце у него будто оторвалось, ноги подкосились подъ нимъ. Онъ опустился на стулъ подлѣ фортепіано и молчалъ.

Надинька боязливо взглянула на него. Онъ смотрѣлъ на нее безсмысленно.

— Александръ Ѳедорычъ! закричала вдругъ мать изъ своей комнаты:—въ которомъ ухѣ звенитъ?

Онъ молчалъ.

— Maman васъ спрашиваетъ, сказала Надинька.

— А?

— Въ которомъ ухѣ звенитъ? кричала мать, — да поскорѣе!

— Въ обоихъ! мрачно произнесъ Адуевъ.

— Экіе какіе, въ лѣвомъ! А я загадала, будетъ ли графъ сегодня.

— Графъ! произнесъ Адуевъ.

— Простите меня! сказала Надинька умоляющимъ голосомъ, бросившись къ нему:—я сама себя не понимаю... Это все сдѣлалось нечаянно, противъ моей воли... не знаю какъ... я не могла васъ обманывать...

— Я сдержу свое слово, Надежда Александровна, отвѣчалъ онъ:—не сдѣлаю вамъ ни одного упрека. Благодарю васъ за искренность... вы много, много сдѣлали... сегодня... мнѣ трудно было слышать это *да*... но вамъ еще труднѣе было сказать его... Прощайте; вы болѣе не увидите меня: одна награда за вашу искренность... но графъ, графъ!

Онъ стиснулъ зубы и пошелъ къ дверямъ.

— Да, сказалъ онъ, воротясь: — къ чему это васъ поведетъ? Графъ на васъ не женится: какія у него намѣренія?..

— Не знаю! отвѣчала Надинька, печально качая головой.

— Боже! какъ вы ослѣплены! съ ужасомъ воскликнулъ Александръ.

— У него не можетъ быть дурныхъ намѣреній... отвѣчала она слабымъ голосомъ.

— Берегитесь, Надежда Александровна!

Онъ взялъ ее руку, поцѣловалъ ее и неровными шагами вышелъ изъ комнаты. На него страшно было смотрѣть. Надинька осталась неподвижна на своемъ мѣстѣ.

— Чтожь ты не играешь, Надинька? спросила мать черезъ нѣсколько минутъ.

Надинька очнулась какъ-будто отъ тяжелаго сна и вздохнула.

— Сейчасъ, maman! отвѣчала она и, задумчиво склонивъ голову немного на сторону, робко начала перебирать клавиши. Пальцы у ней дрожали. Она видимо страдала отъ угрызеній совѣсти и отъ сомнѣнія, брошеннаго въ нее словомъ: „берегитесь!“ Когда пріѣхалъ графъ, она была молчалива, скучна; въ манерахъ ея было что-то принужденное. Она, подъ предлогомъ головной боли, рано ушла въ свою комнату. И ей въ этотъ вечеръ казалось горько жить на свѣтѣ.

Адуевъ только-что спустился съ лѣстницы, какъ силы измѣнили ему, онъ сѣлъ на послѣдней ступени, закрылъ глаза платкомъ и вдругъ началъ рыдать громко, но безъ слезъ. Въ это время мимо сѣней проходилъ дворникъ. Онъ остановился и послушалъ.

— Мареа, а Мареа! закричалъ онъ, подошедши къ своей засаленой двери: — подь-ка сюда, послушай, какъ тутъ кто-то реветъ, словно звѣрь. Я думалъ, не арапка ли наша сорвалась съ цѣпи, да нѣтъ, это не арапка.

— Нѣтъ, это не арапка! повторила, вслушиваясь, Мареа.—Что за диковина?

— Поди-ка принеси фонарикъ: тамъ, за печкой виситъ.

Мареа принесла фонарикъ.

— Все реветъ? спросила она.

— Реветъ! Ужь не мошенникъ ли какой забрался?

— Кто тутъ? спросилъ дворникъ.

Нѣтъ отвѣта.

— Кто тутъ! повторила Мареа.

Все тотъ же ревъ. Они вошли оба вдругъ. Адуевъ бросился вонъ.

— Ахъ, да это баринъ какой-то, сказала Марѳа, глядя ему вслѣдъ:—а ты выдумалъ: мошенникъ! Вишь вѣдь хватило ума сказать! Станетъ мошенникъ реветь въ чужихъ. сѣняхъ!

— Ну, такъ видно хмѣленъ!

— Еще лучше! отвѣчала Марѳа: — ты думаешь всѣ въ тебя? не всѣ же пьяные ревутъ, какъ ты.

— Такъ что жь онъ, съ голоду что-ли? съ досадой замѣтилъ дворникъ.

— Что! говорила Марѳа, глядя на него и не зная, что сказать:— почемъ знать, можетъ, обронилъ что-нибудь — деньги...

Они оба вдругъ присѣли и начали съ фонарикомъ шарить по полу во всѣхъ углахъ.

— Обронилъ! ворчалъ дворникъ, освѣщая полъ: — гдѣ тутъ обронить? лѣстница чистая, каменная, тутъ и иголку увидишь... обронилъ! Оно бы слышно было, кабы обронилъ: звякнетъ объ камень;.чай, поднялъ бы! гдѣ тутъ обронить? негдѣ! обронилъ! какъ не обронилъ: таковскій, чтобъ обронилъ! того и гляди—обронитъ! нѣтъ: этакой, небось, самъ наровитъ какъ бы въ карманъ положить! а то обронитъ! знаемъ мы ихъ, мазуриковъ! вотъ и обронилъ! гдѣ онъ обронилъ?

И долго еще ползали они по полу, ища нотерянныхъ денегъ.

— Нѣтъ, нѣту! сказалъ, наконецъ, дворникъ со вздохомъ, потомъ задулъ свѣчку и сжавъ двумя пальцами свѣтильню, отеръ ихъ о тулупъ.

VI.

Въ этотъ же вечеръ, часовъ въ двѣнадцать, когда Петръ Иванычъ, со свѣчой и книгой въ одной рукѣ, а другой при-

держивая полу халата, шелъ изъ кабинета въ спальню ложиться спать, камердинеръ доложилъ ему, что Александръ Ѳедорычъ желаетъ съ нимъ видѣться.

Петръ Иванычъ сдвинулъ брови, подумалъ немного, потомъ покойно сказалъ:

— Проси въ кабинетъ, я сейчасъ приду.

— Здравствуй, Александръ, привѣтствовалъ онъ, воротясь туда, племянника:—давно мы съ тобой не видались. То днемъ тебя не дождешься, а тутъ вдругъ—бацъ ночью! Что такъ поздно? Да что съ тобой? на тебѣ лица нѣтъ.

Александръ, не отвѣчая ни слова, сѣлъ въ кресла въ крайнемъ изнеможеніи. Петръ Иванычъ смотрѣлъ на него съ любопытствомъ.

Александръ вздохнулъ.

— Здоровъ ли ты? спросилъ Петръ Иванычъ заботливо.

— Да, отвѣчалъ Александръ слабымъ голосомъ: — двигаюсь, ѣмъ, пью, слѣдовательно здоровъ.

— Ты не шути однако: посовѣтуйся съ докторомъ.

— Мнѣ ужь совѣтовали и другіе, но никакіе доктора и оподельдоки не помогутъ: мой недугъ не физическій...

— Что же съ тобой? Не проигрался ли ты, или не потерялъ ли деньги? съ живостью спросилъ Петръ Иванычъ.

— Вы никакъ не можете представить себѣ безденежнаго горя! отвѣчалъ Александръ, стараясь улыбнуться.

— Что жь за горе, если оно мѣднаго гроша не стоитъ, какъ иногда твое?..

— Да, вотъ какъ, напримѣръ, теперь. Вы знаете ли мое настоящее горе?

— Какое горе? Дома у тебя все обстоитъ благополучно: это я знаю изъ писемъ, которыми матушка твоя угощаетъ меня ежемѣсячно: въ службѣ ужь ничего не можетъ быть хуже того, что было; подчиненнаго на шею посадили: это послѣднее дѣло. Ты говоришь, что ты здоровъ, денегъ не

потерялъ, не проигралъ... вотъ что важно, а съ прочимъ со всѣмъ легко справиться; тамъ слѣдуетъ вздоръ, любовь, я думаю...

— Да, любовь; но знаете ли, что случилось? когда узнаете, такъ можетъ быть перестанете такъ легко разсуждать, а ужаснетесь...

— Разскажи-ка; давно я не ужасался, сказалъ дядя, садясь:—а впрочемъ, не мудрено и угадать: вѣроятно, надули...

Александръ вскочилъ, хотѣлъ что-то сказать, но ничего не сказалъ и сѣлъ на свое мѣсто.

— Что, правда? Видишь: вѣдь я говорилъ, а ты: „нѣтъ, какъ можно!“

— Можно ли было предчувствовать?.. сказалъ Александръ:—послѣ всего...

— Надо было не предчувствовать, а предвидѣть, то есть знать—это вѣрнѣе—да и дѣйствовать такъ.

— Вы такъ покойно можете разсуждать, дядюшка, когда я... сказалъ Александръ.

— Да мнѣ-то что?

— Я и забылъ: вамъ хоть весь городъ сгори или провались—все равно!

— Слуга покорный! а заводъ?

— Вы шутите, а я страдаю, не шутя; мнѣ тяжело, я точно боленъ.

— Да неужли ты отъ любви такъ похудѣлъ? Какой срамъ! Нѣтъ: ты былъ боленъ, а теперь начинаешь выздоравливать, да и пора! шутка-ли, года полтора тянется глупость. Еще немного, такъ, пожалуй, и я бы повѣрилъ неизмѣнной и вѣчной любви.

— Дядюшка! сказалъ Александръ: — пощадите меня: теперь адъ въ моей душѣ...

— Да! такъ что же?

Александръ подвинулъ свои кресла къ столу, а дядя началъ отодвигать отъ племянника чернильницу, presse-papier и прочее.

„Пришелъ ночью, подумалъ онъ: — въ душѣ адъ... непремѣнно опять разобьетъ что-нибудь".

— Утѣшенія я у васъ не найду, да и не требую, началъ Александръ:—я прошу вашей помощи, какъ у дяди, какъ у родственника... Я кажусь вамъ глупъ — не правда ли?

— Да, еслибъ ты не былъ жалокъ.

— Такъ вамъ жаль меня?

— Очень. Развѣ я дерево? Малый добрый, умный, порядочно воспитанный, а пропадаетъ ни за копѣйку—и отчего? отъ пустяковъ!

— Докажите же, что вамъ жаль меня.

— Чѣмъ же? Денегъ, ты говоришь, не нужно...

— Денегъ, денегъ! о, еслибъ мое несчастіе было только въ безденежьи, я бы благословилъ свою судьбу!

— Не говори этого, серьезно замѣтилъ Петръ Иванычъ, —ты молодъ—проклянешь, а не благословишь судьбу! Я, бывало, не разъ проклиналъ—я!

— Выслушайте же меня терпѣливо...

— Ты долго пробудешь, Александръ? спросилъ дядя.

— Да, мнѣ нужно все ваше вниманіе; а что?

— Такъ вотъ видишь ли: мнѣ хочется поужинать. Я — было собрался спать безъ ужина, а теперь, если просидимъ долго, такъ поужинаемъ, да выпьемъ бутылку вина, а между-тѣмъ ты мнѣ все разскажешь.

— Вы можете ужинать? спросилъ Александръ съ удивленіемъ.

— Да, и очень могу; а ты развѣ не станешь?

— Я — ужинать! да и вы не проглотите куска, когда узнаете, что дѣло идетъ о жизни и смерти.

— О жизни и смерти?.. повторилъ дядя: — да, это, ко-

нечно, очень важно, а впрочемъ попробуемъ, авось проглотимъ.

Онъ позвонилъ.

— Спроси, сказалъ онъ вошедшему камердинеру:—что тамъ есть поужинать, да вели достать бутылку лафиту, за зеленой печатью.

Камердинеръ ушелъ.

— Дядюшка! вы не въ такомъ расположенiи духа, чтобъ слушать печальную повѣсть моего горя, сказалъ Александръ, взявши шляпу:—я лучше приду завтра...

— Нѣтъ, нѣтъ, ничего, живо заговорилъ Петръ Иванычъ, удерживая племянника за руку:—я всегда въ одномъ расположенiи духа. Завтра, того гляди, тоже застанешь за завтракомъ, или еще хуже — за дѣломъ. Лучше ужь кончимъ разомъ. Ужинъ не портитъ дѣла. Я еще лучше выслушаю и пойму. На голодный желудокъ, знаешь, оно неловко...

Принесли ужинъ.

— Что же, Александръ, давай... сказалъ Петръ Иванычъ.

— Да я не хочу, дядюшка, ѣсть! сказалъ съ нетерпѣнiемъ Александръ и пожалъ плечами, глядя, какъ дядя хлопоталъ надъ ужиномъ.

— По крайней-мѣрѣ хоть выпей рюмку вина: вино недурно!

Александръ потрясъ отрицательно головой.

— Ну, такъ возьми сигару да разсказывай, а я буду слушать обоими ушами, сказалъ Петръ Иванычъ и живо принялся ѣсть.

— Вы знаете графа Новинскаго? спросилъ Александръ, помолчавъ.

— Графа Платона?

— Да.

*

— Пріятели; а что?

— Поздравляю васъ съ такимъ пріятелемъ—подлецъ!

Петръ Иванычъ вдругъ пересталъ жевать и съ удивленіемъ посмотрѣлъ на племянника.

— Вотъ тебѣ на! сказалъ онъ:—а ты развѣ знаешь его?

— Очень хорошо.

— Давно ли?

— Мѣсяца три.

— Какъ же такъ? Я лѣтъ пять его знаю и все считалъ порядочнымъ человѣкомъ, да и отъ кого ни послышишь — всѣ хвалятъ, а ты вдругъ такъ уничтожилъ его.

— Давно ли вы стали защищать людей, дядюшка? а прежде бывало...

— Я и прежде защищалъ порядочныхъ людей. А ты давно ли сталъ бранить ихъ, пересталъ называть ангелами?

— Пока не зналъ, а теперь... о, люди, люди! *жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха!* Сознаюсь, кругомъ виноватъ, что не слушалъ васъ, когда вы совѣтовали остерегаться всякаго...

— И теперь посовѣтую; остерегаться не мѣшаетъ: если окажется негодяй — не обманешься, а порядочный человѣкъ—пріятно ошибешься.

— Укажите, гдѣ порядочные люди? говорилъ Александръ съ презрѣніемъ.

— Вотъ хоть мы съ тобой—чѣмъ не порядочные? Графъ, если ужь о немъ зашла рѣчь, тоже порядочный человѣкъ; да мало ли? у всѣхъ есть что-нибудь дурное... а не все дурно и не всѣ дурны.

— Всѣ, всѣ! рѣшительно сказалъ Александръ.

— А ты?

— Я? я, по-крайней-мѣрѣ, унесу изъ толпы разбитое, но чистое отъ низостей сердце, душу растерзанную, но безъ упрека во лжи, въ притворствѣ, въ измѣнѣ, не заражусь...

— Ну, хорошо, посмотримъ. Что же сдѣлалъ тебѣ графъ?

— Что сдѣлалъ? похитилъ все у меня.

— Говори опредѣлительнѣе. Подъ словомъ *все* можно разумѣть Богъ знаетъ что, пожалуй деньги: онъ этого не сдѣлаетъ...

— То, что для меня дороже всѣхъ сокровищъ въ мірѣ, сказалъ Александръ.

— Что жь бы это такое было?

— Все—счастье, жизнь.

— Вѣдь ты живъ!

— Къ сожалѣнію—да! Но эта жизнь хуже ста смертей.

— Скажи же прямо, что случилось?

— Ужасно! воскликнулъ Александръ.—Боже! Боже!

— Э! да не отбилъ ли онъ у тебя твою красавицу, эту... какъ ее? да! онъ мастеръ на это: тебѣ трудно тягаться съ нимъ. Повѣса! повѣса! сказалъ Петръ Иванычъ, положивъ въ ротъ кусокъ индѣйки.

— Онъ дорого заплатитъ за свое мастерство! сказалъ Александръ, вспыхнувъ: — я не уступлю безъ спора... Смерть рѣшитъ, кому изъ насъ владѣть Надинькой. Я истреблю этого пошлаго волокиту! не жить ему, не наслаждаться похищеннымъ сокровищемъ... Я сотру его съ лица земли!..

Петръ Иванычъ засмѣялся.

— Провинція! сказалъ онъ: — à propos о графѣ, Александръ: — онъ не говорилъ, привезли ли ему изъ-за границы фарфоръ! Онъ весной выписывалъ партію: хотѣлось бы взглянуть...

— Не о фарфорѣ рѣчь, дядюшка; вы слышали, что я сказалъ? грозно перебилъ Александръ.

— Мм-мъ! промычалъ утвердительно дядя, обгладывая косточку.

— Что же вы скажете?

— Да ничего. Я слушаю, что ты говоришь.

— Выслушайте хоть разъ въ жизни внимательно: я пришелъ за дѣломъ, я хочу успокоиться, разрѣшить милліонъ мучительныхъ вопросовъ, которые волнуютъ меня... я растерялся... не помню самъ себя, помогите мнѣ...

— Изволь, я къ твоимъ услугамъ; скажи только, что нужно... я даже готовъ деньгами... если только не на пустяки...

— Пустяки! нѣтъ, не пустяки, когда, можетъ быть, черезъ нѣсколько часовъ меня не станетъ на свѣтѣ, или я сдѣлаюсь убійцей... а вы смѣетесь, хладнокровно ужинаете.

— Прошу покорно! самъ, я думаю, наужинался, а другой не ужинай!

— Я двое сутокъ не знаю, что такое ѣсть.

— О, это въ самомъ дѣлѣ что-нибудь важное?

— Скажите одно слово: окажете ли вы мнѣ величайшую услугу?

— Какую?

— Согласитесь ли вы быть моимъ свидѣтелемъ?..

— Котлеты совсѣмъ холодныя! замѣтилъ Петръ Иванычъ съ неудовольствіемъ, отодвигая отъ себя блюдо.

— Вы смѣетесь, дядюшка?

— Самъ посуди, какъ слушать серьезно такой вздоръ: зоветъ въ секунданты!

— Что же вы?

Разумѣется что: не пойду.

— Хорошо; найдется другой, посторонній, кто приметъ участіе въ моей горькой обидѣ. Вы только возьмите на себя трудъ поговорить съ графомъ, узнать условія...

— Не могу: у меня языкъ не поворотится предложить ему такую глупость.

— Такъ прощайте! сказалъ Александръ, взявъ шляпу.

— Что! ужь ты идешь? вина не хочешь выпить?..

Александръ пошелъ-было къ дверямъ, но у дверей сѣлъ на стулъ въ величайшемъ унынiи.

— Къ кому пойти, въ комъ искать участiя?.. сказалъ онъ тихо.

— Послушай, Александръ! началъ Петръ Иванычъ, отирая салфеткой ротъ и подвигая къ племяннику кресло: — я вижу, что съ тобой точно надо поговорить, не шутя. Поговоримъ же. Ты пришелъ ко мнѣ за помощью: я помогу тебѣ, только иначе, нежели какъ ты думаешь, и съ уговоромъ—слушаться. Не зови никого въ свидѣтели: проку не будетъ. Изъ пустяковъ сдѣлаешь исторiю, она разнесется вездѣ, тебя осмѣютъ или, еще хуже, сдѣлаютъ непрiятность. Никто не пойдетъ, а если, наконецъ, найдется какой-нибудь сумасшедшiй, такъ все напрасно: графъ не станетъ драться; я его знаю.

— Не станетъ! такъ въ немъ нѣтъ ни капли благородства! съ злостью замѣтилъ Александръ: — я не полагалъ, чтобъ онъ былъ низокъ до такой степени!

— Онъ не низокъ, а только уменъ.

— Такъ, по вашему мнѣнiю, я глупъ?

— Н...нѣтъ, влюбленъ, сказалъ Петръ Иванычъ съ разстановкой.

— Если вы, дядюшка, намѣрены объяснять мнѣ безсмысленность дуэли, какъ предразсудка, то я предупреждаю васъ—это напрасный трудъ: я останусь твердъ.

— Нѣтъ: это ужь давно доказано, что драться — глупость вообще; да все дерутся; мало ли ословъ? ихъ не вразумишь. Я хочу только доказать, что тебѣ именно драться не слѣдуетъ.

— Любопытно, какъ вы убѣдите меня.

— Вотъ послушай. Скажи-ка, ты на кого особенно сердитъ, на графа, или на нее... какъ ее... Анюта что-ли?

— Я его ненавижу, ее презираю, сказалъ Александръ.

— Начнемъ съ графа: положимъ, онъ приметъ твой вызовъ, положимъ даже, что ты найдешь дурака свидѣтеля— что жь изъ этого? Графъ убьетъ тебя, какъ муху, а послѣ надъ тобой же всѣ будутъ смѣяться; хорошо мщеніе! А ты вѣдь не этого хочешь: тебѣ бы вонъ хотѣлось истребить графа.

— Неизвѣстно, кто кого убьетъ, сказалъ Александръ.

— Навѣрное онъ тебя. Ты вѣдь, кажется, вовсе стрѣлять не умѣешь, а по правиламъ, первый выстрѣлъ—его.

— Тутъ рѣшитъ Божій судъ.

— Ну, такъ воля твоя — онъ рѣшитъ въ его пользу. Графъ, говорятъ, въ пятнадцати шагахъ пулю въ пулю такъ и сажаетъ, а для тебя, какъ нарочно, и промахнется! Положимъ даже, что судъ Божій и попустилъ бы такую неловкость и несправедливость: ты бы какъ-нибудь ненарочно и убилъ его—что жь толку? развѣ ты этимъ воротилъ бы любовь красавицы? Нѣтъ, она бы тебя возненавидѣла, да притомъ тебя бы отдали въ солдаты... А главное, ты бы на другой же день сталъ рвать на себѣ волосы съ отчаянія и тотчасъ охладѣлъ бы къ своей возлюбленной...

Александръ презрительно пожалъ плечами.

— Вы такъ ловко разсуждаете объ этомъ, дядюшка, сказалъ онъ: — разсудите же, что мнѣ дѣлать въ моемъ положеніи?

— Ничего! оставить дѣло такъ: оно ужь испорчено.

— Оставить счастье въ его рукахъ, оставить его гордымъ обладателемъ... о! можетъ ли остановить меня какая нибудь угроза? Вы не знаете моихъ мученій! вы не любили

никогда, если думали помѣшать мнѣ этой холодной моралью... въ вашихъ жилахъ течетъ молоко, а не кровь...

— Полно дичь пороть, Александръ! мало ли на свѣтѣ такихъ, какъ твоя—Марья или Софья, что ли, какъ ее?

— Ее зовутъ Надеждой.

— Надежда? а какая же Софья?

— Софья... это въ деревнѣ, сказалъ Александръ нехотя.

— Видишь ли? продолжалъ дядя: — тамъ Софья, тутъ Надежда, въ другомъ мѣстѣ Марья. Сердце—преглубокій колодезь: долго не дощупаешься дна. Оно любитъ до старости...

— Нѣтъ, сердце любитъ однажды...

— И ты повторяешь слышанное отъ другихъ! Сердце любитъ до тѣхъ поръ, пока не истратитъ своихъ силъ. Оно живетъ своею жизнію и также, какъ и все въ человѣкѣ, имѣетъ свою молодость и старость. Не удалась одна любовь, оно только замираетъ, молчитъ до другой; въ другой помѣшали, разлучили — способность любить опять останется неупотребленной до третьяго, до четвертаго раза, до тѣхъ поръ, пока, наконецъ, сердце не положитъ всѣхъ силъ своихъ въ одной какой-нибудь счастливой встрѣчѣ, гдѣ ничто не мѣшаетъ, а потомъ медленно и постепенно охладѣетъ. Инымъ любовь удалась съ перваго раза, вотъ они и кричатъ, что можно любить только однажды. Пока человѣкъ не старъ, здоровъ...

— Вы все, дядюшка, говорите о молодости, слѣдовательно о матеріальной любви...

— О молодости говорю, потому-что старческая любовь есть ошибка, уродливость. И что за матеріальная любовь? Такой любви нѣтъ, или это не любовь, такъ точно, какъ нѣтъ одной идеальной. Въ любви равно участвуютъ и душа и тѣло; въ противномъ случаѣ любовь неполна: мы не духи и не звѣри. Самъ же говоришь „течетъ въ жилахъ молоко,

а не кровь".—Ну, такъ вотъ видишь ли: съ одной стороны, возьми кровь въ жилахъ—это матеріальное, съ другой—самолюбіе, привычку—это духовное; вотъ тебѣ и любовь! На чемъ я остановился... да! въ солдаты: кромѣ того, послѣ этой исторіи, красавица тебя на глаза къ себѣ не пуститъ. Ты попустому повредилъ бы и ей, и себѣ,—видишь ли? Надѣюсь, этотъ вопросъ мы съ одной стороны обработали окончательно. Теперь...

Петръ Иванычъ налилъ себѣ вина и выпилъ.

— Экой болванъ! сказалъ онъ: — подалъ холодный лафитъ.

Александръ смолчалъ, поникнувъ головой.

— Теперь скажи, продолжалъ дядя, грѣя стаканъ съ виномъ въ обѣихъ рукахъ:—за что ты хотѣлъ стереть графа съ лица земли?

— Я ужь сказалъ вамъ за что! не онъ ли уничтожилъ мое блаженство? Онъ, какъ дикій звѣрь, ворвался...

— Въ овчарню! перебилъ дядя.

— Похитилъ все, продолжалъ Александръ.

— Онъ не похитилъ, а пришелъ да и взялъ. Развѣ онъ обязанъ былъ справляться, занята ли твоя красавица, или нѣтъ? Я не понимаю этой глупости, которую, правду сказать, большая часть любовниковъ дѣлаютъ отъ сотворенія міра до нашихъ временъ: сердиться на соперника! можетъ ли быть что-нибудь безсмысленнѣй—*стереть его съ лица земли*! за что? за то, что онъ понравился! какъ-будто онъ виноватъ и какъ-будто отъ этого дѣла пойдутъ лучше, если мы его накажемъ! А твоя... какъ ее? Катинька, что ли, развѣ противилась ему? сдѣлала какое-нибудь усиліе, чтобъ избѣжать опасности? Она сама отдалась, перестала любить тебя, нечего и спорить—не воротишь! — А настаивать — это эгоизмъ! Требовать вѣрности отъ жены—тутъ есть еще смыслъ: тамъ заключено обязательство; отъ этого зависитъ

часто существенное благосостояніе семейства; да и то нельзя требовать, чтобъ она никого не любила... а можно только требовать, чтобъ она... того... Да и ты самъ не отдалъ ли ее графу обѣими руками? оспоривалъ ли ты ее?

— Вотъ я и хочу оспоривать, сказалъ Александръ, вскочивъ съ мѣста:—а вы останавливаете мой благородный порывъ...

— Оспоривать съ дубиной въ рукахъ! перебилъ дядя:— мы не въ Киргизской Степи. Въ образованномъ мірѣ есть другое орудіе. За это надо было взяться во-время и иначе, вести съ графомъ дуэль другаго рода, въ глазахъ твоей красавицы.

Александръ смотрѣлъ въ недоумѣніи на дядю.

— Какую же дуэль? спросилъ онъ.

— А вотъ сейчасъ скажу. Ты какъ дѣйствовалъ досихъ-поръ?

Александръ, со множествомъ околичностей, смягченій, изворотовъ, кое-какъ, съ ужимками, разсказалъ весь ходъ дѣла.

— Видишь ли? самъ во всемъ кругомъ виноватъ, примолвилъ Петръ Иванычъ, выслушавъ и сморщившись:— сколько глупостей надѣлано! Эхъ, Александръ, принесла тебя сюда нелёгкая! стоило за этимъ ѣздить! Ты бы могъ все это продѣлать тамъ, у себя, на озерѣ, съ теткой. Ну, какъ можно такъ ребячиться, дѣлать сцены... бѣситься? фи! Кто нынче это дѣлаетъ? Что если твоя... какъ ее? Юлія... разскажетъ все графу? Да нѣтъ, этого опасаться нечего, слава Богу! Она вѣрно такъ умна, что на вопросъ его о вашихъ отношеніяхъ сказала...

— Что сказала? поспѣшно спросилъ Александръ.

— Что дурачила тебя, что ты былъ влюбленъ, что ты противный, надоѣлъ ей... какъ это онѣ всегда дѣлаютъ...

— Вы думаете, что она... такъ и... сказала? спросилъ Александръ, блѣднѣя.

— Безъ всякаго сомнѣнія. Неужели ты воображаешь, что она разскажетъ, какъ вы тамъ въ саду сбирали жолтыя цвѣты? Какая простота!

— Какая же дуэль съ графомъ? съ нетерпѣніемъ спросилъ Александръ.

— А вотъ какая: не надо было грубіянить, избѣгать его и дѣлать ему гримасы, а напротивъ, отвѣчать на его любезность вдвое, втрое, вдесятеро, а... эту, какъ ее? Надиньку? кажется попалъ? не раздражать упреками, снисходить къ ея капризамъ, показывать видъ, что не замѣчаешь ничего, что даже у тебя и предположенія объ измѣнѣ нѣтъ, какъ о дѣлѣ невозможномъ. Не надо было допускать ихъ сближаться до короткости, а разстроивать искусно, какъ будто ненарочно, ихъ свиданія съ глазу на глазъ, быть всюду вмѣстѣ, ѣздить съ ними даже верхомъ, и между тѣмъ, тихомолкомъ вызывать, въ глазахъ ея, соперника на бой, и тутъ-то снарядить и двинуть впередъ всѣ силы своего ума, устроить главную батарею изъ остроумія, хитрости да и того... открывать и поражать слабыя стороны соперника такъ какъ-будто нечаянно, безъ умысла, съ добродушіемъ, даже нехотя, съ сожалѣніемъ, и мало-по-малу снять съ него эту драпировку, въ которой молодой человѣкъ рисуется передъ красавицей. Надо было замѣтить, что ее поражаетъ и ослѣпляетъ болѣе всего въ немъ, и тогда искусно нападать па эти стороны, объснить ихъ просто, представлять въ обыкновенномъ видѣ, показать, что новый герой... такъ себѣ... и только для нея надѣлъ праздничный нарядъ... Но все это дѣлать съ хладнокровіемъ, съ терпѣньемъ, съ умѣньемъ—вотъ настоящая дуэль въ нашемъ вѣкѣ! Да гдѣ тебѣ!

Петръ Иванычъ выпилъ при этомъ стаканъ и тотчасъ опять налилъ вина.

— Презрѣнныя хитрости! прибѣгать къ лукавству, чтобъ овладѣть сердцемъ женщины!... съ негодованіемъ замѣтилъ Александръ.

— А къ дубинѣ прибѣгаешь: развѣ это лучше? Хитростью можно удержать за собой чью-нибудь привязанность, а силой — не думаю. Желаніе удалить соперника мнѣ понятно: тутъ хлопочешь изъ того, чтобъ сберечь себѣ любимую женщину, предупреждаешь или отклоняешь опасность—очень натурально! но бить его за то, что онъ внушилъ любовь къ себѣ—это все равно, что ушибиться и потомъ ударить то мѣсто, о которое ушибся, какъ дѣлаютъ дѣти. Воля твоя, а графъ не виноватъ! Ты, какъ я вижу, ничего не смыслишь въ сердечныхъ тайнахъ, оттого твои любовныя дѣла и повѣсти такъ плохи.

— Любовныя дѣла! сказалъ Александръ, качая съ презрѣніемъ головой: — но развѣ лестна и прочна любовь, внушенная хитростью?

— Не знаю, лестна ли, это какъ кто хочетъ, по мнѣ все равно: я вообще о любви невысокаго мнѣнія—ты это знаешь; мнѣ хоть ее и не будь совсѣмъ... но что прочнѣе— такъ это правда. Съ сердцемъ напрямикъ дѣйствовать нельзя. Это мудреный инструментъ: не знай, которую пружину тронуть, такъ онъ заиграетъ Богъ знаетъ что. Внуши чѣмъ хочешь любовь, а поддерживай умомъ. Хитрость— это одна сторона ума; презрѣннаго тутъ ничего нѣтъ. Не нужно унижать соперника и прибѣгать къ клеветѣ: этимъ вооружишь красавицу противъ себя... надо только стряхнуть съ него тѣ блёстки, которыми онъ ослѣпляетъ глаза твоей возлюбленной, сдѣлать его передъ ней простымъ, обыкновеннымъ человѣкомъ, а не героемъ... Я думаю, простительно защищать свое добро благородной хитростью; ею и въ военномъ дѣлѣ не пренебрегаютъ. Вотъ ты жениться

хотѣлъ: хорошъ былъ бы мужъ, еслибъ сталъ дѣлать сцены женѣ, а соперникамъ показывать дубину—и былъ бы того...

Петръ Иванычъ показалъ рукою на лобъ.

— Твоя Варинька была на двадцать процентовъ умнѣе тебя, когда предложила подождать годъ.

— Да могъ ли бы я хитрить, еслибъ и умѣлъ? Для этого надо не такъ любить, какъ я. Иные притворяются подъчасъ холодными, не являются по расчету нѣсколько дней— и это дѣйствуетъ... А я! притворяться, разсчитывать! когда, при взглядѣ на нее, у меня занимался духъ и колѣни дрожали и гнулись подо мной, когда я готовъ былъ на всѣ муки, лишь бы видѣть ее... Нѣтъ! что ни говорите, а для меня больше упоенія — любить всѣми силами души, хоть и страдать, нежели быть любимымъ, не любя, или любя, какъ-то въ половину, для забавы, по отвратительной системѣ, и играть съ женщиной, какъ съ комнатной собаченкой, а потомъ оттолкнуть...

Петръ Иванычъ пожалъ плечами.

— Ну, такъ вотъ и страдай, если тебѣ сладко, сказалъ онъ. — О, провинція! о, Азія! На Востокѣ бы тебѣ жить: тамъ еще приказываютъ женщинамъ, кого любить; а не слушаютъ, такъ ихъ топятъ. Нѣтъ, здѣсь,—продолжалъ онъ, какъ-будто самъ съ собой:—чтобъ быть счастливымъ съ женщиной, то есть не по твоему, какъ сумасшедшіе, а разумно, — надо много условій... надо умѣть образовать изъ дѣвушки женщину по обдуманному плану, по методѣ, если хочешь, чтобъ она поняла и исполнила свое назначеніе. Надо очертить ее магическимъ кругомъ, не очень тѣсно, чтобъ она не замѣтила границъ и не переступила ихъ, хитро овладѣть не только ея сердцемъ — это что! это скользкое и непрочное обладаніе, а умомъ, волей, подчинить ея вкусъ и нравъ своему, чтобъ она смотрѣла на вещи черезъ тебя, думала твоимъ умомъ...

— То есть, сдѣлать ее куклой, или безмолвной рабой мужа! перебилъ Александръ.

— Зачѣмъ? Устрой такъ, чтобъ она не измѣнила ни въ чемъ женскаго характера и достоинства. Предоставь ей свободу дѣйствій въ ея сферѣ, но пусть за каждымъ ея движеніемъ, вздохомъ, поступкомъ наблюдаетъ твой проницательный умъ, чтобъ каждое мгновенное волненіе, вспышка, зародышъ чувства, всегда и всюду встрѣчали, снаружи равнодушный, но не дремлющій глазъ мужа. Учреди постоянный контроль безъ всякой тираніи... да искусно, незамѣтно отъ нея, и веди ее желаемымъ путемъ... О, нужна мудреная и тяжелая школа, и эта школа — умный и опытный мужчина—вотъ въ чемъ штука!

Онъ значительно кашлянулъ и залпомъ выпилъ стаканъ.

— Тогда, продолжалъ онъ: — мужъ можетъ спать покойно, когда жена и не подлѣ него, или сидѣть беззаботно въ кабинетѣ, когда она спитъ...

— А! вотъ онъ, знаменитый секретъ супружескаго счастья! замѣтилъ Александръ:—обманомъ приковать къ себѣ умъ, сердце, волю женщины—и утѣшаться, гордиться этимъ... это счастье! А какъ она замѣтитъ?

— Зачѣмъ гордиться? примолвилъ дядя:—это ненужно!

— Смотря потому, дядюшка, продолжалъ Александръ:— какъ вы беззаботно сидите въ кабинетѣ, когда тетушка почиваетъ, я догадываюсь, что этотъ мужчина...

— Тс! тс!.. молчи, заговорилъ дядя, махая рукой:—хорошо, что жена спитъ, а то... того...

Въ это время дверь въ кабинетъ начала потихоньку отворяться, но никто не показывался.

— А жена должна, заговорилъ женскій голосъ изъ коридора: — не показывать вида, что понимаетъ великую школу мужа и завести маленькую свою, но не болтать о ней за бутылкой вина...

Оба Адуевы бросились къ дверямъ, но въ корридорѣ раздались быстрые шаги, шорохъ платья—и все утихло.

Дядя и племянникъ посмотрѣли другъ на друга.

— Что, дядюшка? спросилъ племянникъ, помолчавъ.

— Что! ничего! сказалъ Петръ Иванычъ, нахмуривъ брови:—не кстати похвастался. Учись Александръ, а лучше не женись, или возьми дуру: тебѣ не сладить съ умной женщиной: мудрена школа!

Онъ задумался, потомъ ударилъ себя по лбу рукой.

— Какъ не сообразить, что она знала о твоемъ позднемъ приходѣ? сказалъ онъ съ досадой: что женщина не уснетъ, когда черезъ комнату есть секретъ между двумя мужчинами, что она непремѣнно, или горничную подошлетъ, или сама... и не предвидѣть! глупо! а все ты да вотъ этотъ проклятый стаканъ лафиту! разболтался! Такой урокъ отъ двадцатилѣтней женщины...

— Вы боитесь, дядюшка!

— Чего бояться? нисколько! сдѣлалъ ошибку—не надо терять хладнокровія, надо умѣть выпутаться.

Онъ опять задумался.

— Она похвасталась, началъ онъ потомъ:—какая у ней школа! у ней школы быть не могло: молода! это она такъ только... отъ досады! но теперь она замѣтила этотъ магическій кругъ, станетъ тоже хитрить... о, я знаю женскую натуру! Но посмотримъ...

Онъ гордо и весело улыбнулся; морщины разгладились на лбу.

— Только надо иначе повести дѣло, прибавилъ онъ:—прежняя метода ни къ чорту не годится. Теперь надо...

Онъ вдругъ спохватился и замолчалъ, боязливо поглядывая на дверь.

— Но это все впереди, продолжалъ онъ: — теперь зай-

мемся твоимъ дѣломъ, Александръ. О чемъ мы говорили? да! ты кажется, хотѣлъ убить что-ли свою, эту... какъ ее?

— Я ее слишкомъ глубоко презираю, сказалъ Александръ, тяжело вздохнувъ.

— Вотъ видишь ли? ты ужь въ половину и вылеченъ. Только правда ли это? ты, кажется, еще сердишься. Впрочемъ, презирай, презирай: это самое лучшее въ твоемъ положеніи. Я хотѣлъ-было сказать кое-что... да нѣтъ. .

— Ахъ, говорите, ради Бога, говорите! сказалъ Александръ: — у меня нѣтъ теперь ни искры разсудка. Я страдаю, гибну... дайте мнѣ своего холоднаго разума. Скажите все, что можетъ облегчить и успокоить больное сердце...

— Да, скажи тебѣ—ты, пожалуй, и опять воротишься туда...

— Какая мысль! послѣ того...

— Ворочаются послѣ и не этого! честное слово — не пойдешь?

— Клятву, если угодно.

— Нѣтъ, честное слово: это вѣрнѣе.

— Честное слово.

— Ну, вотъ видишь ли: мы рѣшили, что графъ не виноватъ...

— Положимъ такъ; что же?

— Ну, а чѣмъ виновата твоя эта... какъ ее?

— Чѣмъ виновата Надинька! съ изумленіемъ возразилъ Александръ:—она не виновата!

— Нѣтъ! ну, чѣмъ, скажи? ее не за что презирать.

— Не за что! нѣтъ, дядюшка, это ужь изъ рукъ вонъ! Положимъ, графъ... еще такъ... онъ не зналъ... да и то нѣтъ! а она? кто же послѣ этого виноватъ? я?

— Да почти такъ, а въ самомъ-то дѣлѣ никто. Скажи, за что ты ее презираешь?

— За низкій поступокъ.

— Въ чемъ же онъ состоитъ?

— Заплатить неблагодарностью за высокую, безграничную страсть...

— За что тутъ благодарить? развѣ ты для нея, изъ угожденія къ ней любилъ? хотѣлъ услужить ей, что-ли? такъ для этого ты бы лучше мать полюбилъ.

Александръ глядѣлъ на него и не зналъ что сказать.

— Ты бы не долженъ былъ обнаруживать предъ ней чувства во всей силѣ: женщина охлаждается, когда мужчина выскажется весь... Ты бы долженъ былъ узнать ея характеръ, да и дѣйствовать сообразно этому, а не лежать, какъ собаченка у ногъ. Какъ это не узнать компаніона, съ которымъ имѣешь какое бы то ни было дѣло? Ты бы разглядѣлъ тогда, что отъ нея больше и ожидать нельзя. Она разыграла свой романъ съ тобой до конца, точно такъ же разыграетъ его и съ графомъ и, можетъ быть еще съ кѣмъ-нибудь... больше отъ нея требовать нельзя: выше и дальше ей нейдти! это не такая натура; а ты вообразилъ себѣ Богъ знаетъ что...

— Но зачѣмъ же она полюбила другаго? съ горестью перебилъ Александръ.

— Вотъ вина-то гдѣ: умный вопросъ! Ахъ, ты дикарь! А зачѣмъ ты ее полюбилъ? Ну, разлюби поскорѣе!

— Развѣ это отъ меня зависитъ?

— А развѣ отъ нея зависѣло полюбить графа? Самъ же твердилъ, что не надо стѣснять порывовъ чувства, а какъ дѣло дошло до самого, такъ зачѣмъ полюбила! Зачѣмъ такой-то умеръ, такая-то съ ума сошла?—какъ отвѣчать на такіе вопросы? Любовь должна же кончиться когда-нибудь: она не можетъ продолжаться вѣкъ.

— Нѣтъ, можетъ. Я чувствую въ себѣ эту силу сердца: я бы любилъ вѣчною любовью...

— Да! а полюби тебя покрѣпче, такъ и того... на попятный дворъ! всѣ такъ, знаю я!

— Пусть бы кончилась ея любовь, сказалъ Александръ:— но зачѣмъ она кончилась такъ?..

— Не все ли равно? вѣдь тебя любили, ты наслаждался—и довольно!

— Отдалась другому! говорилъ Александръ, блѣднѣя.

— А ты бы хотѣлъ, чтобъ она любила тихонько другаго, а тебя продолжала увѣрять въ любви? Ну, ты самъ рѣши, что ей дѣлать, виновата ли она?

— О, я отмщу ей! сказалъ Александръ.

— Ты неблагодаренъ, продолжалъ Петръ Иванычъ: — это дурно! Что бы женщина ни сдѣлала съ тобой, измѣнила, охладѣла, поступила, какъ говорятъ въ стихахъ, *коварно*, — вини природу, предавайся, пожалуй, по этому случаю, философскимъ размышленіямъ, брани міръ, жизнь, что хочешь, но никогда не посягай на личность женщины ни словомъ, ни дѣломъ. Оружіе противъ женщины—снисхожденіе, наконецъ, самое жестокое — забвеніе! только это и позволяется порядочному человѣку. Вспомни, что полтора года ты вѣшался всѣмъ на шею отъ радости, не зналъ куда дѣваться отъ счастья! полтора года безпрерывныхъ удовольствій! воля твоя—ты неблагодаренъ!

— Ахъ, дядюшка, для меня не было ничего на землѣ святѣе любви:—безъ нея жизнь не жизнь...

— А! съ досадой перебилъ Петръ Иванычъ: — тошно слушать такой вздоръ!

— Я боготворилъ бы Надиньку, продолжалъ Александръ: —и не позавидовалъ бы никакому счастью въ мірѣ: съ Надинькой мечталъ я провести всю жизнь — и что же? гдѣ эта благородная, колоссальная страсть, о которой я мечталъ? она разыгралась въ какую-то глупую, пигмеевскую

комедію вздоховъ, сценъ, ревности, лжи, притворства — Боже! Боже!

— Зачѣмъ же ты воображалъ, чего не бываетъ? Не я ли твердилъ тебѣ, что ты до-сихъ-поръ хотѣлъ жить такою жизнію, какой нѣтъ? У человѣка, по твоему, только и дѣла, чтобъ быть любовникомъ, мужемъ, отцомъ... а о другомъ ни о чемъ и знать не хочешь. Человѣкъ сверхъ того, еще и гражданинъ, имѣетъ какое-нибудь званіе, занятіе—писатель что-ли, помѣщикъ, солдатъ, чиновникъ, заводчикъ... А у тебя все это заслоняетъ любовь да дружба... что за Аркадія! Начитался романовъ, наслушался своей тетушки тамъ, въ глуши, и пріѣхалъ съ этими понятіями сюда. Выдумалъ еще—*благородную страсть*!

— Да, благородную!

— Полно, пожалуйста! развѣ есть благородныя страсти?

— Какъ?

— Да такъ. Вѣдь страсть, значитъ, когда чувство, влеченіе, привязанность или что нибудь такое—достигло до той степени, гдѣ ужь перестаетъ дѣйствовать разсудокъ? Ну, что жь тутъ благороднаго? я не понимаю; одно сумасшествіе—это не по человѣчески. Да и зачѣмъ ты берешь одну только сторону медали? я говорю про любовь — ты возьми и другую и увидишь, что любовь не дурная вещь. Вспомни-ка счастливыя минуты: ты мнѣ уши прожужжалъ...

— О, не напоминайте, не напоминайте! говорилъ Александръ, махая рукой: — вамъ хорошо такъ разсуждать, потому-что вы увѣрены въ любимой вами женщинѣ; я бы желалъ посмотрѣть, что бы вы сдѣлали на моемъ мѣстѣ?..

— Что бы сдѣлалъ?.. поѣхалъ бы разсѣяться... на заводъ. Не хочешь ли завтра?

— Нѣтъ, мы съ вами никогда не сойдемся, печально

произнесъ Александръ:—вашъ взглядъ на жизнь не успокоиваетъ, а отталкиваетъ меня отъ нея. Мнѣ грустно, на душу вѣетъ холодъ. До-сихъ-поръ любовь спасала меня отъ этого холода; ея нѣтъ—и въ сердцѣ теперь тоска; мнѣ страшно, скучно...

— Займись дѣломъ.

— Все это правда, дядюшка: вы и подобные вамъ могутъ разсуждать такъ. Вы отъ природы человѣкъ холодный... съ душой, неспособной къ волненіямъ...

— А ты воображаешь, что ты съ могучей душой? Вчера отъ радости былъ на седьмомъ небѣ, а чуть немного того... такъ и не умѣешь перенести горя.

— Паръ, паръ! слабо, едва защищаясь, говорилъ Александръ:—вы мыслите, чувствуете и говорите точно, какъ паровозъ катится по рельсамъ: ровно, гладко, покойно.

— Надѣюсь, это не дурно: лучше, чѣмъ выскочить изъ колеи, бухнуть въ ровъ, какъ ты теперь, и не умѣть встать на ноги. Паръ! паръ! да паръ-то, вотъ видишь, дѣлаетъ человѣку честь. Въ этой выдумкѣ присутствуетъ начало, которое насъ съ тобой дѣлаетъ людьми, а умереть съ горя можетъ и животное. Были примѣры, что собаки умирали на могилѣ господъ своихъ, или задыхались отъ радости послѣ долгой разлуки. Что жь это за заслуга? А ты думалъ, ты особое существо, высшаго разряда, необыкновенный человѣкъ...

Петръ Иванычъ взглянулъ на племянника и вдругъ остановился.

— Что это? ты никакъ плачешь? спросилъ онъ, и лицо его потемнѣло, то есть онъ покраснѣлъ.

Александръ молчалъ. Послѣднія доказательства совсѣмъ сбили его съ ногъ. Возражать было нечего, но онъ находился подъ вліяніемъ господствовавшаго въ немъ чувства.

Онъ вспомнилъ объ утраченномъ счастьѣ, о томъ, что теперь другой... И слезы градомъ потекли по щекамъ его.

— Ай, ай, ай! стыдись! сказалъ Петръ Иванычъ: — и ты мужчина! плачь, ради Бога, не при мнѣ!

— Дядюшка! вспомните о лѣтахъ вашей молодости, всхлипывая говорилъ Александръ:—ужели вы покойно и равнодушно могли бы перенести самое горькое оскорбленіе, какое только судьба посылаетъ человѣку? Жить полтора года такою полной жизнію и вдругъ—нѣтъ ничего! пустота... Послѣ этой искренности хитрость, скрытность, холодность—ко мнѣ! Боже есть ли еще мука сильнѣе? Легко сказать про другаго „измѣнили", а испытать?.. Какъ она перемѣнилась! какъ стала наряжаться для графа! Бывало, пріѣду, она блѣднѣетъ, едва можетъ говоритъ.... лжетъ... о, нѣтъ...

Тутъ слезы хлынули сильнѣе.

— Еслибъ мнѣ осталось утѣшеніе, продолжалъ онъ:— что я потерялъ ее по обстоятельствамъ, еслибъ неволя принудила ее... пусть бы даже умерла—и тогда легче было бы перенести... а то нѣтъ, нѣтъ... другой! это ужасно, невыносимо! И нѣтъ средствъ вырвать ее у похитителя: вы обезоружили меня... что мнѣ дѣлать? научите же! Мнѣ душно, больно... тоска, мука! я умру... застрѣлюсь...

Онъ облокотился на столъ, закрылъ голову руками и громко зарыдалъ...

Петръ Иванычъ растерялся. Онъ прошелся раза два по комнатѣ, потомъ остановился противъ Александра и почесалъ голову, не зная, что начать.

— Выпей вина, Александръ, сказалъ Петръ Иванычъ, сколько могъ понѣжнѣе:—можетъ быть—того...

Александръ — ничего, только плечи и голова его судорожно подергивались; онъ все рыдалъ. Петръ Иванычъ нахмурился, махнулъ рукой и вышелъ изъ комнаты.

— Что мнѣ дѣлать съ Александромъ? сказалъ онъ женѣ.—Онъ тамъ у меня разревѣлся и меня выгналъ; я совсѣмъ измучился съ нимъ.

— А ты его такъ и оставилъ? спросила она:—бѣдный! Пусти меня, я пойду къ нему.

— Да ничего не сдѣлаешь: это ужь такая нутура. Весь въ тетку: та такая же плакса. Я ужь не мало убѣждалъ его.

— Только убѣждалъ?

— И убѣдилъ: онъ согласился со мной.

— О, я не сомнѣваюсь: ты очень уменъ и... хитеръ! прибавила она.

— Слава Богу, если такъ: тутъ, кажется, все, что нужно.

— Кажется, все, а онъ плачетъ.

— Я не виноватъ, я сдѣлалъ все, чтобъ утѣшить его.

— Что жь ты сдѣлалъ?

— Мало ли? И говорилъ битый часъ... даже въ горлѣ пересохло... всю теорію любви, точно на ладони такъ и выложилъ, и денегъ предлагалъ и ужиномъ—и виномъ старался...

— А онъ все плачетъ?

— Такъ и реветъ! подъ конецъ еще пуще.

— Удивительно! Пусти меня: я попробую, а ты пока обдумай свою новую методу...

— Что, что?

Но она, какъ тѣнь скользнула изъ комнаты.

Александръ все еще сидѣлъ, опершись головой на руки. Кто-то дотронулся до его плеча. Онъ поднялъ голову: передъ нимъ молодая, прекрасная женщина, въ пеньюарѣ, въ чепчикѣ à la Finoise.

— Ma tante! сказалъ онъ.

Она сѣла подлѣ него, поглядѣла на него пристально, какъ только умѣютъ глядѣть иногда женщины, потомъ тихо отерла ему платкомъ глаза и поцѣловала въ лобъ, а онъ прильнулъ губами къ ея рукѣ. Долго говорили они.

Черезъ часъ онъ вышелъ задумчивъ, но съ улыбкой, и уснулъ въ первый разъ покойно, послѣ многихъ безсонныхъ ночей. Она воротилась въ спальню съ заплаканными глазами. Петръ Иванычъ давнымъ-давно храпѣлъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Прошло съ годъ послѣ описанныхъ въ послѣдней главѣ первой части сценъ и происшествій.

Александръ, мало-по-малу, перешелъ отъ мрачнаго отчаянья къ холодному унынію. Онъ уже не гремѣлъ проклятіями, съ присовокупленіемъ скрежета зубовъ, противъ графа и Надиньки, а клеймилъ ихъ глубокимъ презрѣніемъ.

Лизавета Александровна утѣшала его со всею нѣжностью друга и сестры. Онъ поддавался охотно этой милой опекѣ. Всѣ такія натуры, какова была его, любятъ отдавать свою волю въ распоряженіе другаго. Для нихъ нянька—необходимость.

Наконецъ страсть выдохлась въ немъ, истинная печаль прошла, но ему жаль было разстаться съ нею; онъ насильственно продолжилъ ее, или, лучше сказать, создалъ себѣ искусственную грусть, игралъ, красовался ею и утопалъ въ ней.

Ему какъ - то нравилось играть роль страдальца. Онъ былъ тихъ, важенъ, туманенъ, какъ человѣкъ, выдержавшій, по его словамъ, *ударъ судьбы*,—говорилъ о высокихъ страданіяхъ, о святыхъ, возвышенныхъ чувствахъ, смятыхъ и втоптанныхъ въ грязь — „и кѣмъ?“ прибавлялъ онъ: — „дѣвчонкой, кокеткой и презрѣннымъ развратни-

комъ, мишурнымъ львомъ. Неужели судьба послала меня въ міръ для того, чтобъ все, что было во мнѣ высокаго, принести въ жертву ничтожеству?"

Ни мужчина мужчинѣ, ни женщина женщинѣ не простили бы этого притворства и сейчасъ свели бы другъ друга съ ходулей. Но чего не прощаютъ молодые люди разныхъ половъ другъ другу?

Лизавета Александровна слушала снисходительно его іереміады и утѣшала какъ могла. Ей это было вовсе не противно, можетъ быть, и потому, что въ племянникѣ она все-таки находила сочувствіе собственному сердцу, слышала, въ его жалобахъ на любовь, голосъ нечуждыхъ и ей страданій.

Она жадно прислушивалась къ стонамъ его сердца и отвѣчала на нихъ непримѣтными вздохами и никѣмъ невидимыми слезами. Она, даже и на притворныя и приторныя изліянія тоски племянника, находила утѣшительныя слова въ такомъ же тонѣ и духѣ; но Александръ и слушать не хотѣлъ.

— О, не говорите мнѣ, ma tante, возражалъ онъ: — я не хочу позорить святаго имени любви, называя такъ наши отношенія съ этой...

Тутъ онъ дѣлалъ презрительную гримасу и готовъ былъ, какъ Петръ Иванычъ, спросить: какъ ее?

— Впрочемъ, прибавлялъ онъ еще съ большимъ презрѣніемъ:—ей простительно: я слишкомъ былъ выше и ея, и графа, и всей этой жалкой и мелкой сферы; не мудрено, что я остался неразгаданнымъ ей.

И послѣ этихъ словъ онъ еще долго сохранялъ презрительную мину.

— Дядюшка твердитъ, что я долженъ быть благодаренъ Надинькѣ, продолжалъ онъ:—за что? чѣмъ ознаменована эта любовь? все пошлости, все общія мѣста. Было ли ка-

кое-нибудь явленіе, которое бы выходило изъ обыкновеннаго круга ежедневныхъ дрязговъ? Видно ли было въ этой любви сколько-нибудь героизма и самоотверженія? Нѣтъ, она все почти дѣлала съ вѣдома матери! отступила ли для меня хоть разъ отъ условій свѣта, отъ долга?—никогда! И это любовь!!! Дѣвушка — и не умѣла влить поэзіи въ это чувство!

— Какой же любви потребовали бы вы отъ женщины? спросила Лизавета Александровна.

— Какой? отвѣчалъ Александръ:—я бы потребовалъ отъ нея первенства въ ея сердцѣ. Любимая женщина не должна замѣчать, видѣть другихъ мужчинъ, кромѣ меня; всѣ они должны казаться ей невыносимы. Я одинъ выше, прекраснѣе, — тутъ онъ выпрямился, — лучше, благороднѣе всѣхъ. Каждый мигъ, прожитый не со мной, для нея потерянный мигъ. Въ моихъ глазахъ, въ моихъ разговорахъ должна она почерпать блаженство и не знать другаго...

Лизавета Александровна старалась скрыть улыбку. Александръ не замѣчалъ.

— Для меня, продолжалъ онъ съ блистающими глазами:—она должна жертвовать всѣмъ: презрѣнными выгодами, расчетами, свергнуть съ себя деспотическое иго матери, мужа, бѣжать, если нужно, на край свѣта, сносить энергически всѣ лишенія, наконецъ презрѣть самую смерть —вотъ любовь! а эта...

— А вы чѣмъ бы вознаградили за эту любовь? спросила тетка..

— Я? О! началъ Александръ, возведя взоры къ небу:— я бы посвятилъ всю жизнь ей, я бы лежалъ у ногъ ея. Смотрѣть ей въ глаза было бы высшимъ счастьемъ. Каждое слово ея было бы мнѣ закономъ. Я бы пѣлъ ея красоту, нашу любовь, природу:

Съ ней обрѣли бъ уста мои
Языкъ Петрарки и любви...

Но развѣ я не доказалъ Надинькѣ, какъ я могу любить?

— Такъ вы совсѣмъ не вѣрите въ чувство, когда оно не выказывается такъ, какъ вы хотите? Сильное чувство прячется...

— Не хотите ли вы увѣрить меня, ma tante, что такое чувство, какъ дядюшкино, напримѣръ, прячется?

Лизавета Александровна вдругъ покраснѣла. Она не могла внутренно не согласиться съ племянникомъ, что чувство безъ всякаго проявленія какъ-то подозрительно, что, можетъ быть, его и нѣтъ, что еслибъ было, оно бы прорвалось наружу, что, кромѣ самой любви, обстановка ея заключаетъ въ себѣ неизъяснимую прелесть.

Тутъ она мысленно пробѣжала весь періодъ своей замужней жизни и глубоко задумалась. Нескромный намекъ племянника пошевелилъ въ ея сердцѣ тайну, которую она прятала такъ глубоко, и навелъ ее на вопросъ: счастлива ли она?

Жаловаться она не имѣла права: всѣ наружныя условія счастья, за которымъ гоняется толпа, исполнялись надъ нею, какъ по заданной программѣ. Довольство, даже роскошь въ настоящемъ, обезпеченность въ будущемъ—все избавляло ее отъ мелкихъ, горькихъ заботъ, которыя сосутъ сердце и сушатъ грудь множества бѣдняковъ.

Мужъ ея неутомимо трудился и все еще трудится. Но что было главною цѣлью его трудовъ? Трудился ли онъ для общей человѣческой цѣли, исполняя заданный ему судьбою урокъ, или только для мелочныхъ причинъ, чтобы пріобрѣсть между людьми чиновное и денежное значеніе, для того ли, наконецъ, чтобы его не гнули въ дугу нужда, обстоятельства? Богъ его знаетъ. О высокихъ цѣляхъ онъ

разговаривать не любилъ, называя это бредомъ, а говорилъ сухо и просто, что надо *дѣло дѣлать*.

Лизавета Александровна вынесла только то грустное заключеніе, что не она и не любовь къ ней были единственною цѣлью его рвенія и усилій. Онъ трудился и до женитьбы, еще не зная своей жены. О любви онъ ей никогда не говорилъ и у ней не спрашивалъ; на ея вопросы объ этомъ отдѣлывался шуткой, остротой, или дремотой. Вскорѣ послѣ знакомства съ ней, онъ заговорилъ о свадьбѣ, какъ-будто давая знать, что любовь тутъ сама собою разумѣется и что о ней толковать много нечего...

Онъ былъ врагъ всякихъ эффектовъ — это бы хорошо; но онъ не любилъ и искреннихъ проявленій сердца, не вѣрилъ этой потребности и въ другихъ. Между тѣмъ, онъ, однимъ взглядомъ, однимъ словомъ могъ бы создать въ ней глубокую страсть къ себѣ: но онъ молчитъ, онъ не хочетъ. Это даже не льститъ его самолюбію.

Она пробовала возбудить въ немъ ревность, думая, что тогда любовь непремѣнно выскажется... Ничего не бывало. Чуть онъ замѣтитъ, что она отличаетъ въ обществѣ какого-нибудь молодаго человѣка, онъ спѣшитъ пригласить его къ себѣ, обласкаетъ, самъ не нахвалится его достоинствами и не боится оставлять его наединѣ съ женой.

Лизавета Александровна иногда обманывала себя, мечтая, что, можетъ быть, Петръ Иванычъ дѣйствуетъ стратегически; что не въ томъ ли состоитъ его таинственная метода, чтобъ, поддерживая въ ней всегда сомнѣніе, тѣмъ поддерживать и самую любовь. Но при первомъ отзывѣ мужа о любви, она тотчасъ же разочаровывалась.

Еслибъ онъ еще былъ грубъ, неотесанъ, бездушенъ, тяжелоуменъ, одинъ изъ тѣхъ мужей, которымъ имя легіонъ, которыхъ такъ безгрѣшно, такъ нужно, такъ отрадно обманывать, для ихъ и своего счастія, которые, кажется,

для того и созданы, чтобъ женщина искала вокругъ себя и любила діаметрально противоположное имъ—тогда другое дѣло: она, можетъ быть, поступила бы, какъ поступаетъ большая часть женъ въ такомъ случаѣ. Но Петръ Иванычъ былъ человѣкъ съ умомъ и тактомъ, не часто встрѣчающимся. Онъ былъ тонокъ, проницателенъ, ловокъ. Онъ понималъ всѣ тревоги сердца, всѣ душевныя бури, но понималъ — и только. Весь кодексъ сердечныхъ дѣлъ былъ у него въ головѣ, но не въ сердцѣ. Въ его сужденіяхъ объ этомъ видно было, что онъ говоритъ какъ бы слышанное и затверженное, но отнюдь не прочувствованное. Онъ разсуждалъ о страстяхъ вѣрно, но не признавалъ надъ собой ихъ власти, даже смѣялся надъ ними, считая ихъ ошибками, уродливыми отступленіями отъ дѣйствительности, чѣмъ-то въ родѣ болѣзней, для которыхъ, со временемъ, явится своя медицина.

Лизавета Александровна чувствовала его умственное превосходство надъ всѣмъ окружающимъ и терзалась этимъ. „Еслибъ онъ не былъ такъ уменъ, думала она:— я была бы спасена...“ Онъ поклоняется положительнымъ цѣлямъ—это ясно, и требуетъ, чтобъ и жена жила не мечтательною жизнію.

„Но, Боже мой! думала Лизавета Александровна—ужели онъ женился только для того, чтобъ имѣть хозяйку, чтобъ придать своей холостой квартирѣ полноту и достоинство семейнаго дома, чтобъ имѣть больше вѣса въ обществѣ? Хозяйка, жена — въ самомъ прозаическомъ смыслѣ этихъ словъ! Да развѣ онъ не постигаетъ, со всѣмъ своимъ умомъ, что и въ положительныхъ цѣляхъ женщины присутствуетъ непремѣнно любовь?.. Семейныя обязанности— вотъ ея заботы: но развѣ можно исполнять ихъ безъ любви? Няньки, кормилицы, и тѣ творятъ себѣ кумира изъ ребенка, за которымъ ходятъ; а жена, а мать! О, пусть я

купила бы себѣ чувство муками, пусть бы перенесла всѣ страданія, какія неразлучны съ страстью, но лишь бы жить полною жизнію, лишь бы чувствовать свое существованіе, а не прозябать!...“

Она взглянула на роскошную мебель, и на всѣ игрушки и дорогія бездѣлки своего будуара—и весь этотъ комфортъ, которымъ у другихъ заботливая рука любящаго человѣка окружаетъ любимую женщину, показался ей холодною насмѣшкой надъ истиннымъ счастьемъ. Она была свидѣтельницею двухъ страшныхъ крайностей — въ племянникѣ и мужѣ. Одинъ восторженъ до сумасбродства, другой — ледянъ до ожесточенія.

„Какъ мало понимаютъ оба они, да и большая часть мужчинъ, истинное чувство! и какъ я понимаю его! думала она:—а что пользы? зачѣмъ? О еслибъ...“

Она закрыла глаза и пробыла такъ нѣсколько минутъ, потомъ открыла ихъ, оглянулась вокругъ, тяжело вздохнула и тотчасъ приняла обыкновенный, покойный видъ. Бѣдняжка! Никто не зналъ объ этомъ, никто не видѣлъ этого. Ей бы вмѣнили въ преступленіе эти невидимыя, неосязаемыя, безъименныя страданія, безъ ранъ, безъ крови, прикрытыя не лохмотьями, а бархатомъ. Но она съ героическимъ самоотверженіемъ таила свою грусть, да еще находила довольно силъ, чтобъ утѣшать другихъ.

Скоро Александръ пересталъ говорить и о высокихъ страданіяхъ и о непонятой и неоцѣненной любви. Онъ перешелъ къ болѣе общей темѣ. Онъ жаловался на скуку жизни, пустоту души, на томительную тоску.

Я пережилъ свои страданья,
Я разлюбилъ свои мечты...

твердилъ онъ безпрестанно.

— И теперь меня преслѣдуетъ черный демонъ. Онъ, ma tante, всюду со мной: и ночью, и за дружеской бесѣдой, за чашей пиршества, и въ минуту глубокой думы!

Такъ прошло нѣсколько недѣль. Кажется, вотъ еще бы недѣли двѣ, такъ чудакъ и успокоился бы совсѣмъ и, можетъ быть, сдѣлался бы совсѣмъ порядочнымъ, то-есть простымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ, какъ всѣ. Такъ нѣтъ! Особенность его странной натуры находила вездѣ случай проявиться.

Однажды онъ пришелъ къ теткѣ въ припадкѣ какого-то злобнаго расположенія духа на весь родъ людской. Что слово, то колкость, что сужденіе, то эпиграмма, направленная и на тѣхъ, кого бы нужно уважать. Пощады не было никому. Досталось и ей, и Петру Иванычу. Лизавета Александровна стала допытываться причины.

— Вы хотите знать, началъ онъ тихо, торжественно:— что меня теперь *волнуетъ*, *бѣситъ*? Слушайте же: вы знаете, я имѣлъ друга, котораго не видалъ нѣсколько лѣтъ, но для котораго у меня всегда оставался уголокъ въ сердцѣ. Дядюшка, въ началѣ моего пріѣзда сюда, принудилъ меня написать къ нему странное письмо, въ которомъ заключались его любимыя правила и образъ мыслей; но я то изорвалъ и послалъ другое, стало быть, мѣняться моему пріятелю было не отъ чего. Послѣ этого письма наша переписка прекратилась, и я потерялъ своего пріятеля изъ виду. Что же случилось? Дня три назадъ, иду по Невскому Проспекту и вдругъ вижу его. Я остолбенѣлъ, по мнѣ побѣжали искры, въ глазахъ явились слезы. Я протянулъ ему руки и не могъ отъ радости сказать ни слова: духъ захватило. Онъ взялъ одну руку и пожалъ. „Здравствуй, Адуевъ!“ сказалъ онъ такимъ голосомъ, какъ-будто мы вчера только съ нимъ разстались. „Давно ли ты здѣсь?“ удивился, что мы до-сихъ-поръ не встрѣтились,

слегка спросилъ, что я дѣлаю, гдѣ служу, долгомъ счелъ увѣдомить, что онъ имѣетъ прекрасное мѣсто, доволенъ и службой, и начальниками, и товарищами, и... всѣми людьми, и своей судьбой... потомъ сказалъ, что ему некогда, что онъ торопится на званный обѣдъ—слышите, ma tante? при свиданіи, послѣ долгой разлуки, съ другомъ; онъ не могъ отложить обѣда...

— Но, можетъ быть его стали бы ждать, замѣтила тетка:—приличія не позволили...

— Приличія и дружба? и вы, ma tante! да это еще что: я вамъ скажу лучше. Онъ сунулъ мнѣ въ руку адресъ, сказалъ, что вечеромъ на другой день ожидаетъ меня къ себѣ — и исчезъ. Долго я смотрѣлъ ему вслѣдъ и все не могъ придти въ себя. Это товарищъ дѣтства, это другъ юности! хорошъ! Но потомъ подумалъ, что, можетъ быть, онъ все отложилъ до вечера и тогда посвятитъ время искренней, задушевной бесѣдѣ. „Такъ и быть, думаю, пойду". Являюсь. У него было человѣкъ десять пріятелей. Онъ протянулъ мнѣ руку ласковѣе, нежели наканунѣ—это правда, но за то, не говоря ни слова, тотчасъ же предложилъ сѣсть за карты. Я сказалъ, что не играю, и усѣлся одинъ на диванѣ, полагая, что онъ броситъ карты и придетъ ко мнѣ. „Не играешь? сказалъ онъ съ удивленіемъ:—что же ты дѣлаешь?" Хорошъ вопросъ! Вотъ я жду часъ, два, онъ не подходитъ ко мнѣ; я выхожу изъ терпѣнія. Онъ предлагалъ мнѣ то сигару, то трубку, жалѣлъ, что я не играю, что мнѣ скучно, старался занять меня — чѣмъ, какъ вы думаете? безпрестанно обращался ко мнѣ и разсказывалъ всякій свой удачный и неудачный выходъ. Я, наконецъ, не вытерпѣлъ, подошелъ къ нему и спросилъ, намѣренъ ли онъ удѣлить мнѣ сколько-нибудь времени въ этотъ вечеръ? А сердце у меня такъ и кипѣло, голосъ дрожалъ. Это его, кажется, удивило. Онъ посмотрѣлъ на меня странно. „Хо-

рошо, говоритъ, вотъ дай докончить пульку". Какъ только онъ сказалъ мнѣ это, я схватилъ шляпу и хотѣлъ уйти, но онъ замѣтилъ и остановилъ меня. „Пулька кончается, сказалъ онъ:—сейчасъ будемъ ужинать". Наконецъ кончили. Онъ сѣлъ подлѣ меня и зѣвнулъ: тѣмъ и началась наша дружеская бесѣда. „Ты мнѣ что-то хотѣлъ сказать?" спросилъ онъ. Это было сказано такимъ монотоннымъ и безчувственнымъ голосомъ, что я, ничего не говоря только посмотрѣлъ на него съ грустной улыбкой. Тутъ онъ вдругъ будто ожилъ и засыпалъ меня вопросами: „что съ тобой? да не нуждаешься ли въ чемъ? да не могу ли я быть тебѣ полезнымъ по службѣ?.." и т. п. Я покачалъ головой и сказалъ ему, что я хотѣлъ говорить съ нимъ не о службѣ, не о матеріальныхъ выгодахъ, а о томъ, что ближе къ сердцу: о золотыхъ дняхъ дѣтства, объ играхъ, о проказахъ... Онъ, представьте! даже не далъ мнѣ договорить. „Ты еще все, говоритъ, такой же мечтатель!" потомъ вдругъ перемѣнилъ разговоръ, какъ-будто считая его пустяками и началъ серьёзно распрашивать меня о моихъ дѣлахъ, о надеждахъ на будущее, о карьерѣ, какъ дядюшка. Я удивился, не вѣрилъ, чтобъ въ человѣкѣ могло до такой степени огрубѣть сердце. Я хотѣлъ испытать въ послѣдній разъ, привязался къ вопросу его о моихъ дѣлахъ и началъ разсказывать о томъ, какъ поступили со мной. „Ты выслушай, что сдѣлали со мной *люди*..." началъ было я. „А что? вдругъ перебилъ онъ съ испугомъ:—вѣрно обокрали?" Онъ думалъ, что я говорю про лакеевъ; другаго горя онъ не знаетъ, какъ дядюшка: до чего можетъ окаменѣть человѣкъ! „Да, сказалъ я:—люди обокрали мою душу..." Тутъ я заговорилъ о моей любви, о мученіяхъ, о душевной пустотѣ... я началъ было увлекаться и думалъ, что повѣсть моихъ страданій растопитъ ледяную кору, что еще въ глазахъ его не высохли слезы... Какъ вдругъ онъ — разра-

зился хохотомъ! смотрю, въ рукахъ у него платокъ: онъ во время моего разсказа все крѣпился, наконецъ не выдержалъ... Я въ ужасѣ остановился.

— Полно, полно, сказалъ онъ:—лучше выпей-ка водки, да станемъ ужинать. Человѣкъ! водки. Пойдемъ, пойдемъ, ха, ха, ха!.. есть славный... рост... ха, ха, ха!.. ростбифъ...

— Онъ взялъ было меня подъ руку, по я вырвался и бѣжалъ отъ этого чудовища... Вотъ каковы люди, ma tante! заключилъ Александръ, потомъ махнулъ рукой и ушелъ.

Лизаветѣ Александровнѣ стало жаль Александра; жаль его пылкаго, но ложно направленнаго сердца. Она увидѣла, что, при другомъ воспитаніи и правильномъ взглядѣ на жизнь, онъ былъ бы счастливъ самъ и могъ бы осчастливить кого-нибудь еще; а теперь онъ жертва собственной слѣпоты и самыхъ мучительныхъ заблужденій сердца. Онъ самъ дѣлаетъ изъ жизни пытку. Какъ указать настоящій путь его сердцу? Гдѣ этотъ спасительный компасъ? Она чувствовала, что только нѣжная, дружеская рука могла ухаживать за этимъ цвѣткомъ.

Ей удалось уже разъ укротить безпокойные порывы въ сердцѣ племянника, но то было въ дѣлѣ любви. Тамъ она знала, какъ обойтись съ оскорбленнымъ сердцемъ. Она, какъ искустная дипломатка, первая осыпала укоризнами Надиньку, выставила ея поступокъ въ самомъ чорномъ видѣ, опошлила ее въ глазахъ Александра и успѣла доказать ему, что она недостойна его любви. Этимъ она вырвала изъ сердца Александра мучительную боль, замѣнивъ ее покойнымъ, хотя несовсѣмъ справедливымъ чувствомъ—презрѣніемъ. Петръ Иванычъ, напротивъ, старался оправдать Надиньку и этимъ не только не успокоилъ, но еще растравилъ его муку, заставилъ думать, что ему предпочтенъ достойнѣйшій.

Но въ дружбѣ другое дѣло. Лизавета Александровна видѣла, что другъ Александра былъ виноватъ въ его глазахъ и правъ въ глазахъ толпы. Прошу растолковать это Александру! Она не рѣшилась на этотъ подвигъ сама и прибѣгла къ мужу, полагая, не безъ основанія, что у него за доводами противъ дружбы дѣло не станетъ.

— Петръ Иванычъ! сказала она однажды ему ласково:— я къ тебѣ съ просьбой?

— Что такое?

— Угадай.

— Говори: ты знаешь, на твои просьбы отказа нѣтъ. Вѣрно о петергофской дачѣ: вѣдь теперь еще рано...

— Нѣтъ! сказала Лизавета Александровна.

— Что же? ты говорила, что боишься нашихъ лошадей, хотѣла посмирнѣе...

— Нѣтъ!

— Ну, о новой мебели?...

Она покачала головой.

— Воля твоя, не знаю, сказалъ Петръ Иванычъ:—вотъ возьми лучше ломбардный билетъ и распорядись, какъ тебѣ нужно; это вчерашній выигрышъ...

— Онъ досталъ было бумажникъ.

— Нѣтъ, не безпокойся, спрячь деньги назадъ, сказала Лизавета Александровна:—это дѣло не будетъ стоитъ тебѣ ни копѣйки.

— Не брать денегъ, когда даютъ! сказалъ Петръ Иванычъ, пряча бумажникъ: — это непостижимо! Что же нужно?

— Нужно только немного доброй воли...

— Сколько хочешь.

— Вотъ видишь: третьяго дня былъ у меня Александръ...

— Охъ, чувствую недоброе! перебилъ Петръ Иванычъ:— ну?

— Онъ такой мрачный, продолжала Лизавета Александровна: — я боюсь, чтобъ все это не довело его до чего-нибудь...

— Да что съ нимъ еще? Опять измѣнили въ любви, что ли?

— Нѣтъ, въ дружбѣ.

— Въ дружбѣ! часъ отъ часу не легче! Какъ же въ дружбѣ? это любопытно: разскажи пожалуйста.

— А вотъ какъ.

Тутъ Лизавета Александровна разсказала ему все, что слышала отъ племянника. Петръ Иванычъ сильно пожалъ плечами.

— Что жь ты хочешь, чтобъ я тутъ сдѣлалъ? видишь, какой онъ!

— А ты обнаружь ему участіе, спроси, въ какомъ положеніи его сердце...

— Нѣтъ, это ужь ты спроси.

— Поговори съ нимъ... какъ это?.. понѣжнѣе, а не такъ, какъ ты всегда говоришь... не смѣйся надъ чувствомъ...

— Не прикажешь ли заплакать?

— Не мѣшало бы.

— А что пользы ему отъ этого?

— Много... и не одному ему... замѣтила въ полголоса Лизавета Александровна.

— Что? спросилъ Петръ Иванычъ.

Она молчала.

— Охъ ужь, мнѣ этотъ Александръ: онъ у меня вотъ гдѣ сидитъ! сказалъ Петръ Иванычъ, показывая на шею.

— Чѣмъ это онъ такъ обременилъ тебя?

— Какъ чѣмъ? Шесть лѣтъ вожусь съ нимъ: то онъ расплачется—надо утѣшать, то поди переписывайся съ матерью.

— Въ самомъ дѣлѣ, бѣдный! Какъ это достаетъ тебя?

Какой страшный трудъ: получить разъ въ мѣсяцъ письмо отъ старушки и, не читая, бросить подъ столъ, или поговорить съ племянникомъ! Какъ же, вѣдь это отвлекаетъ отъ виста! Мужчины, мужчины! Если есть хорошій обѣдъ, лафитъ за золотой печатью да карты—и все тутъ; ни до кого и дѣла нѣтъ! А если къ этому еще случай поважничать и поумничать—такъ и счастливы.

— Какъ для васъ пококетничать, замѣтилъ Петръ Иванычъ.—Всякому свое, моя милая! Чего же еще?

— Чего! а сердце! объ этомъ никогда и рѣчи нѣтъ.

— Вотъ еще!

— Мы очень умны: какъ намъ заниматься такими мелочами? Мы ворочаемъ судьбами людей. Смотрятъ, что у человѣка въ карманѣ да въ петлицѣ фрака, а до остальнаго и дѣла нѣтъ. Хотятъ, чтобъ и всѣ были такіе! Нашелся между ними одинъ чувствительный, способный любить и заставить любить себя...

— Славно онъ заставилъ любить себя эту... какъ ее? Вѣрочку, что ли? замѣтилъ Петръ Иванычъ.

— Нашелъ кого поставить съ нимъ наравнѣ! это насмѣшка судьбы. Она всегда, будто нарочно, сведетъ нѣжнаго, чувствительнаго человѣка съ холоднымъ созданіемъ! Бѣдный Александръ! У него умъ нейдетъ наравнѣ съ сердцемъ, вотъ онъ и виноватъ къ глазахъ тѣхъ, у кого умъ забѣжалъ слишкомъ впередъ, кто хочетъ взять вездѣ только разсудкомъ...

— Согласись, однако, что это главное; иначе...

— Не соглашусь, ни за что не соглашусь: это главное тамъ на заводѣ, можетъ быть, а вы забываете, что у человѣка есть еще чувство...

— Пять! сказалъ Адуевъ:—я еще это въ азбукѣ затвердилъ.

— И досадно и грустно! прошептала Лизавета Александровна.

— Ну, ну, не сердись: я сдѣлаю все, что прикажешь, только научи—какъ! сказалъ Петръ Иванычъ.

— А ты дай ему легкій урокъ...

— Нагоняй? изволь, это мое дѣло.

— Вотъ ужь и нагоняй! Ты объясни ему поласковѣе, чего можно требовать и ожидать отъ нынѣшнихъ друзей; скажи, что другъ такъ не виноватъ, какъ онъ думаетъ... Да мнѣ ли учить тебя? ты такой умный... такъ хорошо хитришь... прибавила Лизавета Александровна.

Петръ Иванычъ, при послѣднемъ словѣ, немного нахмурился.

— Мало ли тамъ у васъ было искреннихъ изліяній? сказалъ онъ сердито: — шептались, шептались и все еще не перешептали всего о дружбѣ да о любви; теперь меня путаютъ...

— За то это въ послѣдній разъ, сказала Лизавета Александровна:—я надѣюсь, что послѣ этого онъ утѣшится.

Петръ Иванычъ недовѣрчиво покачалъ головой.

— Есть ли у него деньги? спросилъ онъ: — можетъ быть, нѣтъ, онъ и того...

— Только деньги на умѣ! Онъ готовъ былъ бы отдать всѣ деньги за одно привѣтливое слово друга.

— Чего добраго: отъ него станется! Разъ онъ и такъ далъ тамъ, у себя въ департаментѣ, чиновнику денегъ за искреннія изліянія... Вотъ кто-то позвонилъ: не онъ ли? Что надо сдѣлать? повтори: дать ему нагоняй... еще что? денегъ?

— Какой нагоняй! ты, пожалуй, хуже надѣлаешь. О дружбѣ я просила тебя поговорить, о сердцѣ, да поласковѣе, повнимательнѣе...

Александръ молча поклонился, молча и много ѣлъ за обѣдомъ, а въ антрактахъ каталъ шарики изъ хлѣба и смотрѣлъ на бутылки и графины изподлобья. Послѣ обѣда онъ взялся было за шляпу.

— Куда же ты? спросилъ Петръ Иванычъ:—посиди съ нами.

Александръ молча повиновался. Петръ Иванычъ думалъ, какъ бы приступить къ дѣлу понѣжнѣе и половчѣе, и вдругъ спросилъ скороговоркою:

— Я слышалъ, Александръ, что другъ твой поступилъ съ тобой какъ-то коварно?

При этихъ неожиданныхъ словахъ Александръ встряхнулъ головой, какъ-будто его ранили, и устремилъ полный упрека взглядъ на тетку. Она тоже не ожидала такого, крутаго приступа къ дѣлу и сначала опустила голову на работу, потомъ также съ упрекомъ поглядѣла на мужа; но онъ былъ подъ двойной эгидою пищеваренія и дремоты, и оттого не почувствовалъ рикошета этихъ вглядовъ.

Александръ отвѣчалъ на его вопросъ чуть слышнымъ вздохомъ.

— Въ-самомъ-дѣлѣ, продолжалъ Петръ Иванычъ:—какое коварство! что за другъ! не видался лѣтъ пять и охладѣлъ до того, что, при встрѣчѣ, не задушилъ друга въ объятіяхъ, а позвалъ его къ себѣ вечеромъ, хотѣлъ усадить за карты... и накормить... А потомъ—коварный человѣкъ! замѣтилъ на лицѣ друга кислую мину и давай разспрашивать о его дѣлахъ, объ обстоятельствахъ, о нуждахъ—какое гнусное любопытство! да еще—о верхъ коварства! осмѣлился предлагать свои услуги... помощь... можетъ быть, деньги! и никакихъ искреннихъ изліяній! ужасно, ужасно! Покажи, пожалуйста, мнѣ это чудовище, приведи въ пятницу обѣдать!.. А почемъ онъ играетъ?

— Не знаю, сказалъ Александръ сердито.— Смѣйтесь,

дядюшка: вы правы; я виноватъ одинъ. Повѣрить людямъ, искать симпатіи — въ комъ? разсыпать бисеръ — передъ кѣмъ! Кругомъ низость, слабодушіе, мелочность, а я еще сохранилъ юношескую вѣру въ добро, въ доблесть, въ постоянство...

Петръ Иванычъ началъ что-то часто и мѣрно кивать головой.

—Петръ Иванычъ! сказала Лизавета Александровна шопотомъ, дернувъ его за рукавъ:—ты спишь?

— Вотъ сплю! сказалъ, проснувшись, Петръ Иванычъ:— я все слышу: „доблесть, постоянство", гдѣ же сплю?

— Не мѣшайте дядюшкѣ, ma tante! замѣтилъ Александръ: — онъ не уснетъ, у него разстроится пищевареніе, и Богъ знаетъ что изъ этого будетъ. Человѣкъ, конечно, властелинъ земли, но онъ также и рабъ своего желудка.

При этомъ онъ хотѣлъ, кажется, горько улыбнуться, но улыбнулся какъ-то кисло.

— Скажи же мнѣ, чего ты хотѣлъ отъ своего друга? жертвы, что-ли, какой-нибудь: чтобъ онъ на стѣну полѣзъ, или кинулся изъ окошка? Какъ ты понимаешь дружбу, что она такое? спросилъ Петръ Иванычъ.

— Теперь ужь жертвы не потребую—не безпокойтесь. Я, благодаря людямъ, низошелъ до жалкаго понятія и о дружбѣ, какъ о любви... Вотъ я всегда носилъ съ собой эти строки, которыя казались мнѣ вѣрнѣйшимъ опредѣленіемъ этихъ двухъ чувствъ, какъ я ихъ понималъ и какъ они должны быть, а теперь вижу, что это ложь, клевета на людей, или жалкое незнаніе ихъ сердца... Люди не способны къ такимъ чувствамъ. Прочь — это коварныя слова!..

Онъ досталъ изъ кармана бумажникъ, а изъ бумажника двѣ осьмушки исписанной бумаги.

— Что это такое? спросилъ дядя:—покажи.

— Не стоитъ! сказалъ Александръ и хотѣлъ рвать бумаги.

— Прочтите, прочтите! стала просить Лизавета Александровна.

— Вотъ какъ два новѣйшіе французскіе романиста опредѣляютъ истинную дружбу и любовь, и я согласился съ ними, думалъ, что встрѣчу въ жизни такія существа и найду въ нихъ... да что! Онъ презрительно махнулъ рукой и началъ читать: „Любить не тою фальшивою, робкою дружбою, которая живетъ въ нашихъ раззолоченныхъ палатахъ, которая не устоитъ передъ горстью золота, которая боится двусмысленнаго слова, но тою могучею дружбою, которая отдаетъ кровь за кровь, которая докажетъ себя въ битвѣ и кровопролитіи, при громѣ пушекъ, подъ ревомъ бурь, когда друзья лобзаются прокопченными порохомъ устами, обнимаются окровавленными объятіями... И если Пиладъ раненъ на смерть, Орестъ, энергически прощаясь съ нимъ, вѣрнымъ ударомъ кинжала прекращаетъ его мученія, страшно клянется отмстить, и сдерживаетъ клятву, потомъ отираетъ слезу и успокоивается...“

Петръ Иванычъ засмѣялся своимъ мѣрнымъ, тихимъ смѣхомъ.

— Надъ кѣмъ вы, дядюшка, смѣетесь? спросилъ Александръ.

— Надъ авторомъ, если онъ говоритъ это, не шутя и отъ себя, а потомъ надъ тобой, если ты дѣйствительно такъ понималъ дружбу.

— Ужели это только смѣшно? спросила Лизавета Александровна.

— Только. Виноватъ: смѣшно и жалко. Впрочемъ, и Александръ согласенъ съ этимъ и позволилъ смѣяться. Онъ

самъ сейчасъ сознался, что такая дружба—ложь и клевета на людей. Это ужь важный шагъ впередъ.

— Ложь потому, что люди неспособны возвышаться до того понятія о дружбѣ, какая должна быть...

— Если люди неспособны, такъ и не должна быть... сказалъ Петръ Иванычъ.

— Но бывали же примѣры...

— Это исключенія, а исключенія почти всегда нехороши. „Окровавленныя объятія, страшная клятва, ударъ кинжала!..“

И онъ опять засмѣялся.

— Ну-ка, прочти о любви, продолжалъ онъ: — у меня и сонъ прошелъ.

— Если это можетъ доставить вамъ случай посмѣяться еще—извольте! сказалъ Александръ и началъ читать слѣдующее:

„Любить значитъ — не принадлежать себѣ, перестать жить для себя, перейти въ существованіе другаго, сосредоточить на одномъ предметѣ всѣ человѣческія чувства — надежду, страхъ, горесть, наслажденіе; любить значитъ жить въ безконечномъ...“

— Чортъ знаетъ, что такое! перебилъ Петръ Иванычъ: —какой наборъ словъ!

— Нѣтъ, это очень хорошо! мнѣ нравится, замѣтила Лизавета Александровна.—Продолжайте, Александръ.

„Не знать предѣла чувству, посвятить себя одному существу“, продолжалъ Александръ читать:—„и жить, мыслить только для его счастія, находить величіе въ униженіи, наслажденіе въ грусти и грусть въ наслажденіи, предаваться всевозможнымъ противоположностямъ, кромѣ любви и ненависти. Любить значитъ жить въ идеальномъ мірѣ...“

Петръ Иванычъ покачалъ при этомъ головой.

„Въ идеальномъ мірѣ (продолжалъ Александръ), превосходящемъ блескомъ и великолѣпіемъ всякій блескъ и великолѣпіе. Въ этомъ мірѣ небо кажется чище, природа роскошнѣе; раздѣлять жизнь и время на два раздѣленія— присутствіе и отсутствіе, на два времени года — весну и зиму; первому соотвѣтствуетъ весна, второму—зима, потому-что, какъ бы ни были прекрасны цвѣты и чиста лазурь неба, но въ отсутствіи вся прелесть того и другаго помрачается; въ цѣломъ мірѣ видѣть только одно существо и въ этомъ существѣ заключать вселенную... Наконецъ, любить значитъ подстерегать каждый взглядъ любимаго существа, какъ бедуинъ подстерегаетъ каждую каплю росы, для освѣженія запекшихся отъ зноя устъ; волноваться въ отсутствіи его роемъ мыслей, а при немъ не умѣть высказать ни одной, стараться превзойти другъ друга въ пожертвованіяхъ.

— Довольно, ради Бога, довольно! перебилъ Петръ Иванычъ:—тернѣнья нѣтъ! ты рвать хотѣлъ: рви же, рви скорѣй! вотъ такъ!

Петръ Ивановичъ даже всталъ съ креселъ и началъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Неужели былъ вѣкъ, когда, не шутя, думали такъ и продѣлывали все это? сказалъ онъ. — Неужели все, что пишутъ о рыцаряхъ и пастушкахъ не обидная выдумка на нихъ? И какъ достаетъ охоты расшевеливать и анализировать такъ подробно эти жалкія струны души человѣческой... любовь! придавать всему этому такое значеніе...

Онъ пожалъ плечами.

— Зачѣмъ, дядюшка, уноситься такъ далеко? сказалъ Александръ: — я самъ чувствую въ себѣ эту силу любви и горжусь ею. Мое несчастіе состоитъ въ томъ только, что я не встрѣтилъ существа, достойнаго этой любви и одареннаго такою же силой...

— Сила любви! повторилъ Петръ Иванычъ:—все равно, еслибъ ты сказалъ—сила слабости.

— Это не по тебѣ, Петръ Иванычъ, замѣтила Лизавета Александровна: ты не хочешь вѣрить существованію такой любви и въ другихъ...

— А ты? неужели ты вѣришь? спросилъ Петръ Иванычъ, подходя къ ней: — да нѣтъ, ты шутишь! Онъ еще ребенокъ и не знаетъ ни себя, ни другихъ, а тебѣ было бы стыдно! Неужели ты могла бы уважать мужчину, еслибъ онъ полюбилъ такъ?.. Такъ ли любятъ?

Лизавета Александровна оставила свою работу.

— Какъ же? спросила она тихо, взявъ его за руки и притягивая къ себѣ.

Петръ Иванычъ тихо высвободилъ свои руки изъ ея рукъ и украдкой показалъ на Александра, который стоялъ у окна, спиной къ нимъ, и опять началъ совершать свое хожденіе по комнатѣ.

— Какъ! говорилъ онъ: — будто ты не слыхала, какъ любятъ!...

— Любятъ! повторила она задумчиво, и медленно принялась опять за работу.

Съ четверть часа длилось молчаніе. Петръ Иванычъ первый прервалъ его.

— Что ты теперь дѣлаешь? спросилъ онъ племянника.

— Да... ничего.

— Мало. Ну, читаешь, по-крайней-мѣрѣ?

— Да...

— Что же?

— Басни Крылова.

— Хорошая книга; да не одну же ее?

— Теперь одну. Боже мой! какіе портреты людей, какая вѣрность!

— Ты что-то сердитъ на людей. Ужели любовь къ этой... какъ ее? сдѣлала тебя такимъ?..

— О! я и забылъ объ этой глупости. Недавно я проѣхалъ по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ былъ такъ счастливъ и такъ страдалъ, думалъ, что воспоминаніями разорву сердце на части.

— Что же, разорвалъ?

— Видѣлъ и дачу, и садъ, и рѣшетку, а сердце и не стукнуло.

— Ну, вотъ: я вѣдь говорилъ. Что же тебѣ такъ противны люди?

— Чѣмъ! своею низостью, мелкостью души... Боже мой! когда подумаешь, сколько подлостей вращается тамъ, гдѣ природа бросила такія чудныя сѣмена...

— Да тебѣ что за дѣло? Исправить, что ли, хочешь людей?

— Что за дѣло? Развѣ до меня не долетаютъ брызги этой грязи, въ которой купаются люди? Вы знаете, что случилось со мною—и послѣ всего этого не ненавидѣтъ, не презирать людей!

— Что же случилось съ тобой?

— Измѣна въ любви, какое-то грубое, холодное забвеніе въ дружбѣ... Да и вообще противно, гадко смотрѣть на людей, жить съ ними! Всѣ ихъ мысли, слова, дѣла — все зиждется на пескѣ. Сегодня бѣгутъ къ одной цѣли, спѣшатъ, сбиваютъ другъ друга съ ногъ, дѣлаютъ подлости, льстятъ, унижаются, строятъ козни, а завтра—и забыли о вчерашнемъ и бѣгутъ за другимъ. Сегодня восхищаются однимъ, завтра ругаютъ: сегодня горячи, нѣжны, завтра холодны... нѣтъ! какъ посмотришь—страшна, противна жизнь! А люди!..

Петръ Иванычъ, сидя въ креслахъ, задремалъ было опять.

— Петръ Иванычъ! сказала Лизавета Александровна, толкнувъ его тихонько.

— Хандришь, хандришь! Надо дѣломъ заниматься, сказалъ Петръ Иванычъ, протирая глаза: — тогда и людей бранить не станешь, незачто. Чѣмъ не хороши твои знакомые? все люди порядочные.

— Да! за кого не хватишься, такъ какой нибудь звѣрь изъ басенъ Крылова и есть, сказалъ Александръ.

— Хозаровы, напримѣръ?

— Цѣлая семья животныхъ! перебилъ Александръ. — Одинъ расточаетъ вамъ въ глаза лесть, ласкаетъ васъ, а за глаза... я слышалъ, что онъ говоритъ обо мнѣ. Другой сегодня съ вами рыдаетъ о вашей обидѣ, а завтра зарыдаетъ съ вашимъ обидчикомъ; сегодня смѣется съ вами надъ другимъ, а завтра съ другимъ надъ вами... гадко!

— Ну, Лунины?

— Хороши и эти. Самъ онъ точно тотъ оселъ, отъ котораго соловей улетѣлъ за тридевять земель. А она такъ доброй лисицой смотритъ...

— Что скажешь о Сониныхъ?

— Да хорошаго ничего не скажешь. Сонинъ всегда дастъ хорошій совѣтъ, когда пройдетъ бѣда, а попробуйте обратиться въ нуждѣ... такъ онъ и отпуститъ безъ ужина домой, какъ лисица волка. Помните, какъ онъ юлилъ передъ вами, когда искалъ мѣста чрезъ ваше посредство? А теперь, послушайте, что говоритъ про васъ...

— И Волочковъ не нравится тебѣ?

— Ничтожное и еще въ добавокъ злое животное...

Александръ даже плюнулъ.

— Ну, отдѣлалъ же! промолвилъ Петръ Иванычъ.

— Чего же мнѣ ждать отъ людей? продолжалъ Александръ.

— Всего: и дружбы, и любви, и штабъ-офицерскаго чина, и денегъ... Ну, теперь заключи эту галлерею портретовъ нашими: скажи, какіе мы съ женой звѣри?

Александръ ничего не отвѣчалъ, но на лицѣ у него мелькнуло выраженіе тонкой, едва замѣтной ироніи. Онъ улыбнулся. Ни это выраженіе, ни улыбка не ускользнули отъ Петра Иваныча. Онъ переглянулся съ женой, та потупила глаза.

— Ну, а ты самъ что за звѣрь? спросилъ Петръ Иванычъ.

— Я не сдѣлалъ людямъ зла! съ достоинствомъ произнесъ Александръ: — я исполнилъ въ отношеніи къ нимъ все... У меня сердце любящее; я распахнулъ широкія объятія для людей, а они что сдѣлали?

— Что это, какъ онъ смѣшно говоритъ! замѣтилъ Петръ Иванычъ, обратясь къ женѣ.

— Тебѣ все смѣшно! отвѣчала она.

— И самъ я отъ людей не требовалъ, продолжалъ Александръ:—ни подвиговъ добра, ни великодушія, ни самоотверженія... требовалъ только должнаго, слѣдующаго мнѣ по всѣмъ правамъ..

— Такъ ты нравъ? Вышелъ совсѣмъ сухъ изъ воды. Постой же, я выведу тебя на свѣжую воду...

Лизавета Александровна замѣтила, что супругъ ея заговорилъ строгимъ тономъ и встревожилась.

— Петръ Иванычъ! шептала она:—перестань...

— Нѣтъ, пусть выслушаетъ правду. Я мигомъ кончу. Скажи, пожалуйста, Александръ, когда ты клеймилъ сейчасъ своихъ знакомыхъ, то негодяями, то дураками, у тебя въ сердцѣ не зашевелилось что-нибудь похожее на угрызеніе совѣсти?

— Отчего же дядюшка?

— А оттого, что у этихъ звѣрей ты нѣсколько лѣтъ сряду находилъ всегда радушный пріемъ: положимъ, передъ тѣми, отъ кого эти люди добивались чего-нибудь, они хитрили, строили имъ козни, какъ ты говоришь; а въ тебѣ имъ нечего было искать: что же заставило ихъ зазывать тебя къ себѣ, ласкать?.. Нехорошо, Александръ!.. прибавилъ серьёзно Петръ Иванычъ. — Другой за одно это, еслибъ и зналъ за ними какіе-нибудь грѣшки, такъ промолчалъ бы.

Александръ весь вспыхнулъ.

— Я приписывалъ ихъ внимательность къ себѣ вашей рекомендаціи, отвѣчалъ онъ, но уже безъ достоинства, а довольно смиренно.—Притомъ это свѣтскія отношенія...

— Ну, хорошо; возьмемъ несвѣтскія. Я ужь доказывалъ тебѣ, не знаю только доказалъ ли, что къ своей этой... какъ ее? Сашенькѣ, что ли? ты былъ несправедливъ. Ты полтора года былъ у нихъ въ домѣ какъ свой: жилъ тамъ съ утра до вечера, да еще былъ любимъ этой *презрѣнной дѣвчонкой*, какъ ты ее называешь. Кажется, это не презрѣнія заслуживаетъ...

— А зачѣмъ она измѣнила?

— То есть полюбила другаго? И это мы рѣшили удовлетворительно. Да неужели ты думаешь, что еслибъ она продолжала любить тебя, ты бы не разлюбилъ ее?

— Я? никогда.

— Ну, такъ ты ничего не смыслишь. Пойдемъ дальше. Ты говоришь, что у тебя нѣтъ друзей, а я все думалъ, что у тебя ихъ трое.

— Трое? воскликнулъ Александръ: — былъ когда-то одинъ, да и тотъ...

— Трое, настойчиво повторилъ Петръ Иванычъ.—Первый, начнемъ по старшинству, этотъ *одинъ*. Не видавшись нѣсколько, лѣтъ, другой бы, при встрѣчѣ, отвернулся отъ

тебя, а онъ пригласилъ тебя къ себѣ, и когда ты пришелъ съ кислой миной, онъ съ участіемъ разспрашивалъ, не нужно ли тебѣ чего, сталъ предлагать тебѣ услуги, помощь, и я увѣренъ, что далъ бы и денегъ—да! а въ нашъ вѣкъ объ этотъ пробный камень споткнется не одно чувство... нѣтъ ты познакомь меня съ нимъ: онъ, я вижу, человѣкъ порядочный... а по-твоему коварный.

Александръ стоялъ, потупя голову.

— Ну, какъ ты думаешь, кто твой второй другъ? спросилъ Петръ Иванычъ.

— Кто? сказалъ съ недоумѣніемъ Александръ: — да никто...

— Безсовѣстный! перебилъ Петръ Иванычъ: а? Лиза! и не краснѣетъ! а я какъ довожусь тебѣ, позволь спросить?

— Вы... родственникъ.

— Важный титулъ! Нѣтъ, я думалъ больше. Не хорошо, Александръ: это такая черта, которая даже на школьныхъ прописяхъ названа *гнусною*, и которой, кажется, у Крылова нѣтъ.

— Но вы всегда отталкивали меня... робко говорилъ Александръ, не поднимая глазъ.

— Да, когда ты хотѣлъ обниматься.

— Вы смѣялись надо мной, надъ чувствомъ...

— А для чего, а зачѣмъ? спросилъ Петръ Иванычъ.

— Вы слѣдили за мной шагъ за шагомъ.

— А! договорился! слѣдилъ! Найми-ка себѣ такого гувернера! Изъ чего я хлопоталъ? Я могъ бы еще прибавить кое-что, но это походило бы на пошлый упрекъ...

— Дядюшка!.. сказалъ Александръ, подходя къ нему и протягивая обѣ руки.

— На свое мѣсто: я еще не кончилъ! холодно сказалъ Петръ Иванычъ.—Третьяго и лучшаго друга, надѣюсь, назовешь самъ...

Александръ опять смотрѣлъ на него и, кажется, спрашивалъ: „да гдѣ же онъ?“ Петръ Иванычъ указалъ на жену.

— Вотъ она.

— Петръ Иванычъ, перебила Лизавета Александровна: —не умничай, ради Бога, оставь...

— Нѣтъ, не мѣшай.

— Я умѣю цѣнить дружбу тетушки... бормоталъ Александръ невнятно.

— Нѣтъ, не умѣешь: еслибъ умѣлъ, ты бы не искалъ глазами друга на потолкѣ, а указалъ бы на нее. Еслибъ чувствовалъ ея дружбу, ты, изъ уваженія къ ея достоинствамъ, не презиралъ бы людей. Она одна выкупила бы, въ глазахъ твоихъ, недостатки другихъ. Кто осушалъ твои слезы да хныкалъ съ тобой вмѣстѣ? Кто во всякомъ твоемъ вздорѣ принималъ участіе, и какое участіе! Развѣ только мать могла бы такъ горячо принимать къ сердцу все, что до тебя касается, и та не съумѣла бы. Еслибъ ты чувствовалъ это, ты не улыбнулся бы давича иронически, ты бы видѣлъ, что тутъ нѣтъ ни лисы, ни волка, а есть женщина, которая любитъ тебя, какъ родная сестра...

— Ахъ! ma tante! сказалъ Александръ, растерянный и совсѣмъ уничтоженный этимъ упрекомъ: — неужели вы думаете, что я не цѣню этого и не считаю васъ блистательнымъ исключеніемъ изъ толпы? Боже, Боже! клянусь...

— Вѣрю, вѣрю, Александръ! отвѣчала она:—вы не слушайте Петра Иваныча: онъ изъ мухи дѣлаетъ слона: радъ случаю поумничать. Перестань, ради Бога, Петръ Иванычъ.

— Сейчасъ, сейчасъ, кончу — *еще одно послѣднее сказанье*! Ты сказалъ, что исполняешь все, чего требуютъ отъ тебя твои обязанности къ другимъ?

Александръ уже ни слова не отвѣчалъ и не поднималъ глазъ.

— Ну, скажи, любишь ли ты свою мать?

Александръ вдругъ ожилъ.

— Какой вопросъ? сказалъ онъ:—кого послѣ этого любить мнѣ? Я ее обожаю, я отдалъ бы за нее жизнь...

— Хорошо. Стало-быть, тебѣ извѣстно, что она живетъ, дышетъ только тобою, что всякая твоя радость и горе — радость и горе для нея. Она теперь время считаетъ не мѣсяцами, не недѣлями, а вѣстями о тебѣ и отъ тебя... Скажи-ка, давно ли ты писалъ къ ней?

Александръ встрепенулся.

— Недѣли... три, пробормоталъ онъ.

— Нѣтъ: четыре мѣсяца! Какъ прикажешь назвать такой поступокъ? Ну-ка, какой ты звѣрь? Можетъ быть, оттого и не называешь, что у Крылова такого нѣтъ.

— А что? вдругъ съ испугомъ спросилъ Александръ.

— А то, что старуха больна съ горя.

— Ужели? Боже! Боже!

— Неправда! неправда! сказала Лизавета Александровна и тотчасъ же побѣжала къ бюро и достала оттуда письмо, которое подала Александру.—Она не больна, но очень тоскуетъ.

— Ты балуешь его, Лиза, сказалъ Петръ Иванычъ.

— А ты ужь не въ мѣру строгъ. У Александра были такія обстоятельства, которыя отвлекали его на время...

— Для дѣвчонки, забыть мать—славныя обстоятельства!

— Да полно, ради Бога! сказала она убѣдительно и указала на племянника.

Александръ, прочитавъ письмо матери, закрылъ имъ себѣ лицо.

— Не мѣшайте дядюшкѣ, ma tante: пусть онъ гремитъ

упреками; я заслужилъ хуже: я чудовище! говорилъ онъ, дѣлая отчаянныя гримасы.

— Ну, успокойся, Александръ! сказалъ Петръ Иванычъ:—такихъ чудовищъ много. Увлекся глупостью и на время забылъ о матери—это естественно; любовь къ матери—чувство покойное. У ней на свѣтѣ одно—ты: оттого ей естественно огорчаться. Казнить тебя тутъ еще не за что; скажу только словами любимаго твоего автора:

«Чѣмъ кумушекъ считать трудиться
Не лучше ль на себя, кума оборотиться?

и быть снисходительнымъ къ слабостямъ другихъ. Это такое правило, безъ котораго ни себѣ, ни другимъ житья не будетъ. Вотъ и все. Ну, я пойду уснуть.

— Дядюшка! вы сердитесь? сказалъ Александръ голосомъ глубокаго раскаянія.

— Съ чего ты это взялъ? Изъ чего я стану себѣ портить кровь? и не думалъ сердиться. Я только хотѣлъ разыграть роль медвѣдя въ баснѣ: *мартышка и зеркало*. Что, вѣдь искусно разыгралъ? Лиза, а?

Онъ мимоходомъ хотѣлъ ее поцѣловать, но она увернулась.

— Кажется, я въ точности исполнилъ твои приказанія, прибавилъ Петръ Иванычъ: — что же ты?... да: забылъ одно... въ какомъ положеніи твое сердце, Александръ? спросилъ онъ.

Александръ молчалъ.

— А денегъ не нужно? спросилъ опять Петръ Иванычъ.

— Нѣтъ, дядюшка...

— Никогда не попроситъ! сказалъ Петръ Иванычъ, затворяя за собою дверь.

— Что будетъ думать обо мнѣ дядюшка? спросилъ Александръ, помолчавъ.

— То же, что и прежде, отвѣчала Лизавета Александровна. — Вы думаете, что онъ говорилъ вамъ все это съ сердцемъ, отъ души?

— А какъ же?

— И! нѣтъ. Повѣрьте, что онъ поважничать хотѣлъ. Видите, какъ онъ все это методически сдѣлалъ? расположилъ доказательства противъ васъ по порядку: прежде слабыя, а потомъ посильнѣе; сначала вывѣдалъ причину вашихъ дурныхъ отзывовъ о людяхъ... а потомъ ужь... вездѣ метода! Теперь и забылъ, я думаю.

— Сколько ума! какое знаніе жизни, людей, умѣнье владѣть собой!

— Да, много ума и слишкомъ много умѣнья владѣть собой, задумчиво говорила Лизавета Александровна:—но...

— А вы, ma tante, вы перестанете уважать меня? Но повѣрьте, только такія потрясенія, какія были со мной, могли отвлечь меня... Боже! бѣдная маменька!

Лизавета Александровна подала ему руку.

— Я, Александръ, не перестану уважать въ васъ сердце, сказала она.—Чувство вовлекаетъ васъ и въ ошибки, оттого я всегда извиню ихъ.

— Ахъ, ma tante! вы идеалъ женщины!

— Просто женщина.

На Александра довольно сильно подѣйствовалъ нагоняй дяди. Онъ тутъ же, сидя съ теткой, погрузился въ мучительныя думы. Казалось, спокойствіе, которое она съ такимъ трудомъ, такъ искусно водворила въ его сердцѣ, вдругъ оставило его. Напрасно ждала она какой-нибудь злой выходки, сама называлась на колкость и преусердно подводила подъ эпиграмму Петра Иваныча: Александръ былъ глухъ и нѣмъ. На него какъ-будто вылили ушатъ холодной воды.

— Что съ вами? отчего вы такіе? спрашивала тетка.

— Да такъ, ma tante: что-то невесело на сердцѣ. Дядюшка далъ мнѣ понять меня самого: славно растолковалъ!

— Вы не слушайте его: онъ иногда и неправду говоритъ.

— Нѣтъ, не утѣшайте меня. Я теперь гадокъ самому себѣ. Презиралъ, ненавидѣлъ людей, а теперь и себя. Отъ людей можно скрыться, а отъ себя куда уйдешь? Такъ все ничтожно: всѣ эти блага, вся пустошь жизни, и люди, и самъ...

— Ахъ, этотъ Петръ Иванычъ! промолвила съ глубокимъ вздохомъ Лизавета Александровна:—онъ хоть на кого нагонитъ тоску!

— Одно только отрицательное утѣшеніе и осталось мнѣ, что я не обманулъ никого, не измѣнилъ ни въ любви, ни въ дружбѣ...

— Васъ не умѣли цѣнить, промолвила тетка: — но повѣрьте, найдется сердце, которое васъ оцѣнитъ; я вамъ порука въ томъ. Вы еще такъ молоды, забудьте это все, займитесь: у васъ есть талантъ: пишите... Пишете ли вы что-нибудь теперь?

— Нѣтъ.

— Напишите.

— Боюсь, ma tante...

— Не слушайте Петра Иваныча: разсуждайте съ нимъ о политикѣ, объ агрономіи, о чемъ хотите, только не о поэзіи. Онъ вамъ никогда объ этомъ правды не скажетъ. Васъ оцѣнитъ публика—вы увидите...—Такъ будете писать?

— Хорошо.

— Скоро начнете?

— Какъ только могу. Теперь на одно это и осталась надежда.

Петръ Иванычъ, выспавшись, пришелъ къ нимъ, одѣтый совсѣмъ и со шляпой въ рукахъ. Онъ тоже посовѣтовалъ Александру заняться дѣломъ по службѣ и по отдѣлу сельскаго хозяйства для журнала.

— Постараюсь, дядюшка, отвѣчалъ Александръ: — но вотъ я обѣщалъ тетушкѣ...

Лизавета Александровна сдѣлала ему знакъ, чтобъ онъ молчалъ, но Петръ Иванычъ замѣтилъ.

— Что, что обѣщалъ? спросилъ онъ.

— Привезти новыя ноты, отвѣчала она.

— Нѣтъ, неправда; что такое Александръ?

— Написать повѣсть, или что-нибудь...

— Ты еще не отказался отъ изящной литературы? говорилъ Петръ Иванычъ, обирая пылинки съ платья. — А ты, Лиза, сбиваешь его съ толку—напрасно!

— Я не въ правѣ отказаться отъ этого, замѣтилъ Александръ.

— Кто жь тебя неволитъ?

— Зачѣмъ я самовольно и неблагодарно отвергну почетное назначеніе, къ которому призванъ? Одна свѣтлая надежда въ жизни и осталась, а я уничтожу и ее? Если я погублю что свыше вложено въ меня, то погублю и себя...

— Да что вложено въ тебя такое, растолкуй мнѣ пожалуйста?

— Этого я, дядюшка, не могу растолковать вамъ. Надо понимать самому. Воздымались ли у васъ на головѣ волосы отъ чего-нибудь, кромѣ гребенки?

— Нѣтъ! сказалъ Петръ Иванычъ.

— Ну, вотъ видите. Бушевали ли въ васъ страсти, кипѣло ли воображеніе и создавало ли вамъ изящные призраки, которые просились воплотиться! билось ли сердце особеннымъ біеніемъ?

— Дико, дико! Ну, такъ что жь? спросилъ Петръ Иванычъ.

— А то, что съ кѣмъ этого не бывало, такъ тому и растолковать нельзя, почему хочется писать, когда какой-то безпокойный духъ твердитъ, и днемъ и ночью, и во снѣ и на яву: пиши, пиши...

— Да вѣдь ты не умѣешь писать?

— Полно, Петръ Иванычъ: самъ не умѣешь, такъ зачѣмъ же мѣшать другимъ? сказала Лизавета Александровна.

— Извините, дядюшка, если замѣчу, что вы не судья въ этомъ дѣлѣ.

— Кто жь судья? она?

Петръ Иванычъ указалъ на жену.

— Она—нарочно, а ты вѣришь, прибавилъ онъ.

— Да и сами вы въ началѣ моего пріѣзда сюда совѣтовали писать, испытывать себя...

— Ну, такъ что жь? попробовалъ—не выходитъ ничего: и бросить бы.

— Неужели вы никогда не нашли у меня ни дѣльной мысли, ни удачнаго стиха?

— Какъ не найти! есть. Ты не глупъ: какъ же у неглупаго человѣка въ нѣсколькихъ пудахъ сочиненій не найти удачной мысли? Такъ вѣдь это не талантъ, а умъ.

— Ахъ! сказала Лизавета Александровна, съ досадой повернувшись на стулѣ.

— А біеніе сердца, трепетъ, сладостная нѣга и прочее такое—съ кѣмъ не бываетъ?

— Да съ тобой, я думаю, первымъ! замѣтила жена.

— Ну, вотъ! А помнишь, я, бывало, восхищался...

— Чѣмъ это? не помню.

— Всѣ испытываютъ эти вещи, продолжалъ Петръ Иванычъ, обращаясь къ племяннику:—кого не трогаютъ ти-

шина или тамъ темнота ночи, что ли, шумъ дубравы, садъ, пруды, море? Еслибъ это чувствовали одни художники, такъ некому было бы понимать ихъ. А отражать всѣ эти ощущенія въ своихъ произведеніяхъ — это другое дѣло: для этого нуженъ талантъ, а его у тебя, кажется, нѣтъ. Его не скроешь: онъ блеститъ въ каждой строкѣ, въ каждомъ ударѣ кисти...

— Петръ Иванычъ! тебѣ пора ѣхать, сказала Лизавета Александровна.

— Сейчасъ.

— Отличиться хочется? продолжалъ онъ: — тебѣ есть чѣмъ отличиться. Редакторъ хвалитъ тебя, говоритъ, что статьи твои о сельскомъ хозяйствѣ обработаны прекрасно, въ нихъ есть мысль—все показываетъ, говоритъ, ученаго производителя, а не ремесленника. Я порадовался. „Ба! думаю, Адуевы всѣ не безъ головы!“ видишь: и у меня есть самолюбіе! Ты можешь отличиться и въ службѣ и пріобрѣсть извѣстность писатель...

— Хороша извѣстность: писатель о наземѣ.

— Всякому свое: одному суждено витать въ небесныхъ пространствахъ, а другому рыться въ наземѣ и оттуда добывать сокровища. Я не понимаю, отчего пренебрегать скромнымъ назначеніемъ? и оно имѣетъ свою поэзію. Вотъ ты бы выслужился, нажилъ бы трудами денегъ, выгодно женился бы, какъ большая часть... Не понимаю, чего еще? Долгъ исполненъ, жизнь пройдена съ честью, трудолюбиво—вотъ въ чемъ счастье! по-моему, такъ. Вотъ я статскій совѣтникъ по чину, заводчикъ по ремеслу; а предложи-ка мнѣ въ замѣнъ званіе перваго поэта, ей-Богу не возьму!

— Послушай, Петръ Иванычъ: ты, право опоздаешь! перебила Лизавета Александровна:—скоро десять часовъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, пора. Ну, до свиданія. А то вообразятъ себя, Богъ знаетъ съ чего, необыкновенными людьми, ворчалъ Петръ Иванычъ, уходя вонъ:—да и того...

II.

Александръ, возвратясь домой отъ дяди, сѣлъ въ кресло и задумался. Онъ припомнилъ весь разговоръ съ дядей и теткой и потребовалъ строгаго отчета отъ самаго себя.

Какъ, въ свои лѣта, позволивъ себѣ ненавидѣть и презирать людей, разсмотрѣвъ и обсудивъ ихъ ничтожность, мелочность, слабости, перебравъ всѣхъ и каждаго изъ своихъ знакомыхъ, онъ забылъ разобрать себя! Какая слѣпота! И дядя далъ ему урокъ, какъ школьнику, разобралъ его по ниточкѣ, да еще при женщинѣ; что бы ему самому оглянуться на себя! Какъ дядя долженъ выиграть въ этотъ вечеръ въ глазахъ жены! Это бы, пожалуй, ничего, оно такъ и должно быть; но вѣдь онъ выигралъ на его счетъ. Дядя имѣетъ надъ нимъ неоспоримый верхъ, всюду и во всемъ.

Гдѣ же, думалъ онъ, послѣ этого преимущество молодости, свѣжести, пылкости ума и чувствъ, когда человѣкъ, съ нѣкоторою только опытностью, но съ чорствымъ сердцемъ, безъ энергіи, уничтожаетъ его на каждомъ шагу, такъ, мимоходомъ, небрежно? Когда же споръ будетъ равенъ и когда, наконецъ, перевѣсъ будетъ на его сторонѣ? А на его сторонѣ, кажется, и талантъ, и избытокъ душевныхъ силъ... а дядя является исполиномъ въ сравненіи съ нимъ. Съ какою увѣренностью онъ споритъ, какъ легко устраняетъ всякое противорѣчіе и достигаетъ цѣли, шутя, съ зѣвотой, насмѣхаясь надъ чувствомъ, надъ сердечными изліяніями дружбы и любви, словомъ, надъ всѣмъ, въ чемъ пожилые люди привыкли завидовать молодымъ.

Перебирая все это въ умѣ, Александръ покраснѣлъ отъ стыда. Онъ далъ себѣ слово строго смотрѣть за собой и,

при первомъ случаѣ, уничтожить дядю: доказать ему, что никакая опытность не замѣнитъ того, что *вложено свыше*; что, какъ онъ, Петръ Иванычъ, тамъ себѣ ни проповѣдуй, а съ этой минуты не сбудется ни одно изъ его холодныхъ, методическихъ предсказаній. Александръ самъ найдетъ свой путь и пойдетъ по немъ не робкими, а твердыми и ровными шагами. Онъ теперь не то, что былъ три года назадъ. Онъ проникъ взглядомъ въ тайники сердца, разсмотрѣлъ игру страстей, добылъ себѣ тайну жизни, конечно, не безъ мученій, но за то закалилъ себя противъ нихъ навсегда. Будущее ему ясно, онъ возсталъ, окрылился,—онъ не ребенокъ, а мужъ,—смѣло впередъ! Дядя увидитъ и, въ свою очередь, разыграетъ впослѣдствіи передъ нимъ, опытнымъ мастеромъ, роль жалкаго ученика; онъ узнаетъ, къ удивленію своему, что есть иная жизнь, иныя отличія, иное счастье, кромѣ жалкой карьеры, которую онъ себѣ избралъ и которую навязываетъ и ему, можетъ быть, изъ зависти. Еще, еще одно благородное усиліе — и борьба кончена!

Александръ ожилъ. Онъ опять сталъ творить особый міръ, нѣсколько помудрѣе перваго. Тетка поддерживала въ немъ это расположеніе, но тайкомъ, когда Петръ Иванычъ спалъ или уѣзжалъ на заводъ и въ англійскій клубъ.

Она разспрашивала Александра о занятіяхъ. А ужь какъ это нравилось ему. Онъ разсказывалъ ей планъ своихъ сочиненій и иногда, въ видѣ совѣта, требовалъ одобренія.

Она часто спорила съ нимъ, но еще чаще соглашалась.

Александръ привязался къ труду, какъ привязываются къ послѣдней надеждѣ.—За этимъ, говорилъ онъ теткѣ: — вѣдь ужь нѣтъ ничего: тамъ голая степь, безъ воды безъ зелени, мракъ, пустыня; — что тогда будетъ жизнь? хоть въ гробъ ложись! И онъ работалъ неутомимо.

Иногда угасшая любовь придетъ на память, онъ взволнуется — и за перо: и напишетъ трогательную элегію. Въ другой разъ желчь хлынетъ къ сердцу и подниметъ со дна недавно бушевавшую тамъ ненависть и презрѣніе къ людямъ—смотришь—и родится нѣсколько энергическихъ стиховъ. Въ то же время онъ обдумывалъ и писалъ повѣсть. Онъ потратилъ на нее много размышленія, чувства, матеріальнаго труда и около полугода времени. Вотъ, наконецъ, повѣсть готова, пересмотрѣна и переписана набѣло. Тетка была въ восхищеніи.

Въ этой повѣсти дѣйствіе происходило уже не въ Америкѣ, а гдѣ-то въ тамбовской деревнѣ. Дѣйствующія лица были обыкновенные люди: клеветники, лжецы и всякаго рода изверги — во фракахъ, измѣнницы въ корсетахъ и въ шляпкахъ. Все было прилично, на своихъ мѣстахъ.

— Я думаю, ma tante, это можно показать дядюшкѣ?

— Да, да, конечно, отвѣчала она: — а впрочемъ... не лучше ли отдать напечатать такъ, безъ него? Онъ всегда противъ этого: скажетъ что-нибудь... Вы знаете, это кажется ему ребячествомъ.

— Нѣтъ, лучше показать! отвѣчалъ Александръ. — Я послѣ вашего суда и собственнаго сознанія, не боюсь никого, а между тѣмъ, пусть онъ увидитъ...

Показали. Петръ Иванычъ, увидя тетрадь, немного нахмурился и покачалъ головой.

— Что это, вы вдвоемъ сочинили? спросилъ онъ: — что-то много. Да какъ мелко писано: охота же писать!

— Ты погоди качать головой, отвѣчала жена:—а прежде выслушай.—Прочтите намъ, Александръ. —Только ты выслушай внимательно, не дремли и скажи потомъ свой приговоръ. Недостатки вездѣ можно найти, если захочешь искать ихъ. А ты будь снисходителенъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ? будьте только справедливы, прибавилъ Александръ.

— Нечего дѣлать; я выслушаю, сказалъ Петръ Иванычъ со вздохомъ:—только съ условіемъ, во-первыхъ, не послѣ обѣда вскорѣ читать, а то я за себя не ручаюсь, что не засну. Этого, Александръ, на свой счетъ не принимай; что бы ни читали послѣ обѣда, а меня всегда клонитъ сонъ; а во-вторыхъ, если это что-нибудь дѣльное, то я скажу свое мнѣніе, а нѣтъ — я буду только молчать, а вы тамъ какъ себѣ хотите.

Стали читать. Петръ Иванычъ ни разу не вздремнулъ, слушалъ, не сводя глазъ съ Александра, даже рѣдко мигалъ, а два раза такъ одобрительно кивнулъ головой.

— Видишь! сказала жена вполголоса. Я тебѣ говорила.

Онъ ей кивнулъ.

Читали два вечера сряду. Въ первый вечеръ, послѣ чтенія, Петръ Иванычъ разсказалъ къ удивленію жены, все, что будетъ дальше.

— Ты почему знаешь? спросила она.

— Мудрено! Идея ужь не новая, — тысячу разъ писали объ этомъ. Дальше и читать бы не нужно, да посмотримъ, какъ она развилась у него.

Когда, на другой вечеръ, Александръ дочитывалъ послѣднюю страницу, Петръ Иванычъ позвонилъ. Вошелъ человѣкъ.

— Приготовь одѣться, сказалъ онъ. — Извини, Александръ, что перервалъ: тороплюсь, — опоздаю въ клубъ къ висту.

Александръ кончилъ. Петръ Иванычъ проворно пошелъ вонъ.

— Ну, до свиданья! сказалъ онъ женѣ и Александру. Я ужь не заѣду сюда.

— Постой! постой! закричала жена:—что жь ты ничего не скажешь о повѣсти?

— По уговору не слѣдуетъ! отвѣчалъ онъ и хотѣлъ идти.

— Это упрямство! сказала она.—О, онъ упрямъ—я его знаю! Вы не смотрите на это, Александръ.

„Это недоброжелательство!“ подумалъ Александръ. Онъ меня хочетъ втоптать въ грязь, стащить въ свою сферу. Все-таки онъ умный чиновникъ, заводчикъ—и больше ничего, а я поэтъ...

— Это изъ рукъ вонъ, Петръ Иванычъ! начала жена чуть не со слезами. Ты хоть что-нибудь скажи. Я видала, что ты, въ знакъ одобренія, качалъ головой, стало быть, тебѣ понравилось. Только по упрямству не хочешь сознаться. Какъ сознаться, что намъ нравится повѣсть! Мы слишкомъ умны для этого. Признайся, что хорошо.

— Я качалъ головой потому, что и изъ этой повѣсти видно, что Александръ уменъ, но онъ неумно сдѣлалъ, что написалъ ее.

— Однакожь, дядюшка, судъ такого рода...

— Послушай: вѣдь ты мнѣ не вѣришь, нечего и спорить; изберемъ лучше посредника. Я даже вотъ что сдѣлаю, чтобъ кончить это между нами однажды навсегда: я назовусь авторомъ этой повѣсти и отошлю ее къ моему пріятелю, сотруднику журнала: посмотримъ, что онъ скажетъ. Ты его знаешь и, вѣроятно, положишься на его судъ. Онъ человѣкъ опытный.

— Хорошо, посмотримъ.

Петръ Иванычъ сѣлъ къ столу и наскоро написалъ нѣсколько строкъ, потомъ передалъ письмо Александру.

„Я, на старости лѣтъ, пустился въ авторство“, писалъ „онъ:—что дѣлать: хочется прославиться, взять и тутъ,— „съ ума сошелъ! Вотъ я и произвелъ прилагаемую при „семъ повѣсть. Просмотрите ее, и если годится, то напе-

„чатайте въ вашемъ журналѣ, разумѣется, за деньги: вы „знаете, я даромъ работать не люблю. Вы удивитесь и не „повѣрите, но я позволяю вамъ даже подписать мою фамилію, стало быть, не лгу.“

Увѣренный въ благопріятномъ отзывѣ о повѣсти, Александръ покойно ожидалъ отвѣта. Онъ даже радовался, что дядя упомянулъ въ запискѣ о деньгахъ.

„Очень, очень умно, думалъ онъ.—Маменька жалуется, что хлѣбъ дешевъ: пожалуй, не скоро пришлетъ денегъ; а тутъ оно и кстати получить тысячи полторы“.

Прошло, однако же, недѣли три, отвѣта все не было. Вотъ наконецъ, однажды утромъ, къ Петру Иванычу принесли большой пакетъ и письмо.

— А! назадъ прислали! сказалъ онъ, лукаво вглянувъ на жену.

Онъ не распечаталъ записки и не показалъ женѣ, какъ она ни просила. Въ тотъ же день вечеромъ, передъ тѣмъ, какъ ѣхать въ клубъ, онъ самъ отправился къ племяннику.

Дверь была не заперта. Онъ вошелъ. Евсей храпѣлъ, растянувшись въ передней діагонально на полу. Свѣтильня страшно нагорѣла и свѣсилась съ подсвѣчника. Онъ заглянулъ въ другую комнату: темно.

„О, провинція!“ проворчалъ Петръ Иванычъ.

Онъ растолкалъ Евсея, показалъ ему на дверь, на свѣчку и погрозилъ тростью. Въ третьей комнатѣ за столомъ сидѣлъ Александръ, положивъ руки на столъ, а на руки голову, и тоже спалъ. Передъ нимъ лежала бумага. Петръ Иванычъ взглянулъ—стихи.

Онъ взялъ бумагу и прочиталъ слѣдующее:

Весны пора прекрасная минула,
Исчезъ на вѣкъ волшебный мигъ любви,
Она въ груди могильнымъ сномъ уснула
И пламенемъ не пробѣжитъ въ крови!
На алтарѣ ея осиротѣломъ

Давно другой кумиръ воздвигнулъ я,
Молюсь ему... но...

— И самъ уснулъ! Молись, милый, не лѣнись! сказалъ вслухъ Петръ Иванычъ. — Свои же стихи, да какъ уходили тебя! Зачѣмъ другаго приговора? самъ изрекъ себѣ.

— А! сказалъ Александръ, потягиваясь: — вы все еще противъ моихъ сочиненій! Скажите, дядюшка, откровенно, что заставляетъ васъ такъ настойчиво преслѣдовать талантъ, когда нельзя не признать....

— Да зависть, Александръ. Посуди самъ: ты пріобрѣтешь славу, почетъ, можетъ быть, еще безсмертіе, а я останусь темнымъ человѣкомъ и принужденъ буду довольствоваться названіемъ полезнаго труженика. А вѣдь я тоже Адуевъ! воля твоя, обидно! Что я такое? прожилъ вѣкъ свой тихо, безвѣстно, исполнилъ только свое дѣло и былъ еще гордъ и счастливъ этимъ. Не жалкій ли удѣлъ? Когда умру, то есть ничего не буду чувствовать и знать, *струны вѣщія баяновъ* не станутъ говорить обо мнѣ, *отдаленные вѣка*, *потомство*, *міръ* не наполнятся моимъ именемъ, не узнаютъ, что жилъ на свѣтѣ статскій совѣтникъ Петръ Иванычъ Адуевъ, и я не буду утѣшаться этимъ въ гробѣ, если я и гробъ уцѣлѣемъ какъ-нибудь до потомства. Какая разница ты: когда, *расширяся шумящими крылами*, будешь летать *подъ облаками*, мнѣ придется утѣшаться только тѣмъ, что въ массѣ человѣческихъ трудовъ есть *капля и моего меда*, какъ говоритъ твой любимый авторъ.

— Оставьте его ради Бога, въ сторонѣ; что онъ за любимый авторъ! Издѣвается только надъ ближнимъ.

— А! издѣвается! Не съ тѣхъ ли поръ ты разлюбилъ Крылова, какъ увидѣлъ у него свой портретъ? A propos! знаешь ли, что твоя будущая слава, твое безсмертіе у меня въ карманѣ? но я желалъ бы лучше, чтобъ тамъ были твои деньги: это вѣрнѣе.

— Какая слава?

— А отвѣтъ на мою записку.

— Ахъ! дайте, ради Бога, скорѣе. Что онъ пишетъ?

— Я не читалъ; прочитай самъ, да вслухъ.

— И вы могли утерпѣть?

— Да мнѣ-то что?

— Какъ что! Вѣдь я вашъ родной племянникъ: какъ не полюбопытствовать? Какая холодность! это эгоизмъ, дядюшка!

— Можетъ быть: я не запираюсь. Впрочемъ, я знаю, что тутъ написано. На, читай!

Александръ началъ читать громко, а Петръ Иванычъ постукивалъ палкой по сапогамъ. Въ запискѣ было вотъ что:

„Что это за мистификація, мой любезнѣйшій Петръ „Иванычъ? Вы пишете повѣсти! Да кто жь вамъ повѣ„ритъ? И вы думали обморочить меня, стараго воробья! „А еслибъ, чего Боже сохрани, это была правда, еслибъ „вы оторвали на время ваше перо отъ дорогихъ, въ бук„вальномъ смыслѣ, строкъ, изъ которыхъ каждая, конечно, „не одинъ червонецъ стоитъ, и переставъ выводить почтенные итоги, произвели бы лежащую передо мною по„вѣсть, то я и тогда сказалъ бы вамъ, что хрупкія произве„денія вашего завода гораздо прочнѣе этого творенія...“

У Александра голосъ вдругъ упалъ.

„Но я отвергаю такое обидное подозрѣніе на вашъ счетъ,“ продолжалъ онъ робко и тихо.

— Не слышу, Александръ, погромче! сказалъ Петръ Иванычъ.

Александръ продолжалъ тихимъ голосомъ.

— „Принимая участіе въ авторѣ повѣсти, вы вѣроятно „хотите знать мое мнѣніе. Вотъ оно. Авторъ долженъ быть „молодой человѣкъ. Онъ не глупъ, но что-то не путемъ

„сердитъ на весь міръ. Въ какомъ озлобленномъ, ожесточенномъ духѣ пишетъ онъ! Вѣрно разочарованный. О, „Боже! когда переведется этотъ народъ? Какъ жаль, что „отъ фальшиваго взгляда на жизнь гибнетъ у насъ много „дарованій въ пустыхъ, безплодныхъ мечтахъ, въ напрасныхъ стремленіяхъ къ тому, къ чему они не призваны“.

Александръ остановился и перевелъ духъ. Петръ Иванычъ закурилъ сигару и пустилъ кольцо дыму. Лицо его, по обыкновенію, выражало совершенное спокойствіе. Александръ продолжалъ читать глухимъ, едва слышнымъ голосомъ:

„Самолюбіе, мечтательность, преждевременное развитіе „сердечныхъ склонностей и неподвижность ума, съ неиз„бѣжнымъ послѣдствіемъ — лѣнью—вотъ причины этого „зла. Наука, трудъ, практическое дѣло—вотъ что можетъ „отрезвить нашу праздную и больную молодежь“.

— Все дѣло можно бы въ трехъ строкахъ объяснить, сказалъ Петръ Иванычъ, поглядѣвъ на часы:—а онъ въ пріятельскомъ письмѣ написалъ цѣлую диссертацію! ну, не педантъ ли? Читать ли дальше, Александръ? брось: скучно. Мнѣ бы надо тебѣ кое-что сказать...

— Нѣтъ, дядюшка, позвольте, ужь я выпью чашу до дна: дочитаю.

— Ну, читай на здоровье.

„Это печальное направленіе душевныхъ способностей“, читалъ Александръ, „обнаруживается въ каждой строкѣ „присланной вами повѣсти. Скажите же вашему protégé, „что писатель тогда только, во-первыхъ, напишетъ дѣльно, „когда не будетъ находиться подъ вліяніемъ личнаго увле„ченія и пристрастія. Онъ долженъ обозрѣвать покойнымъ „и свѣтлымъ взглядомъ жизнь и людей вообще, — иначе „выразить только свое *я*, до котораго никому нѣтъ дѣла. „Этотъ недостатокъ сильно преобладаетъ въ повѣсти.

„Второе и главное условіе—этого, пожалуй, автору не го-„ворите, изъ сомнѣнія къ молодости и авторскому само-„любію, самому безпокойному изъ всѣхъ самолюбій—ну-„женъ талантъ, а его тутъ и слѣда нѣтъ. Языкъ, впрочемъ, „вездѣ правиленъ и чистъ; авторъ даже обладаетъ сло-гомъ...“ Насилу дочиталъ Александръ.

— Вотъ давно бы такъ! сказалъ Петръ Иванычъ—а то, Богъ знаетъ, что наговорилъ! О прочемъ мы съ тобой и безъ него разсудимъ.

У Александра опустились руки. Онъ молча, какъ человѣкъ, оглушенный неожиданнымъ ударомъ, глядѣлъ мутными глазами прямо въ стѣну. Петръ Иванычъ взялъ у него письмо и прочиталъ въ P. S. слѣдующее: „Если „вамъ непремѣнно хочется помѣстить эту повѣсть въ нашъ „журналъ—пожалуй, для васъ, въ лѣтніе мѣсяцы, когда „мало читаютъ, я помѣщу, но о вознагражденіи и думать „нельзя“.

— Ну, что, Александръ, какъ ты себя чувствуешь? спросилъ Петръ Иванычъ.

— Покойнѣе, нежели можно ожидать, отвѣчалъ съ усиліемъ Александръ:—Чувствую какъ человѣкъ обманутый во всемъ.

— Нѣтъ, какъ человѣкъ, который обманывалъ самъ себя, да хотѣлъ обмануть и другихъ...

Александръ не слыхалъ этого возраженія.

— Ужели и это мечта?... и это измѣнило?.. шепталъ онъ.—Горькая утрата! Что жь, не привыкать стать обманываться! Но зачѣмъ же, я не понимаю, вложены были въ меня всѣ эти неодолимыя побужденія къ творчеству?..

— Вотъ то-то! въ тебя вложили побужденія, а самое творчество видно и забыли вложить, сказалъ Петръ Иванычъ:—я говорилъ!

Александръ отвѣчалъ вздохомъ и задумался. Потомъ вдругъ съ живостью бросился отворять всѣ ящики, досталъ нѣсколько тетрадей, листковъ, клочковъ и началъ съ ожесточеніемъ бросать въ каминъ.

— Вотъ это не забудь! сказалъ Петръ Иванычъ подвигая къ нему листокъ съ начатыми стихами, лежавшій на столѣ.

— И это туда же! говорилъ Александръ съ отчаяніемъ, бросая стихи въ каминъ.

— Нѣтъ ли еще чего? Поищи-ка хорошенько, спросилъ Петръ Иванычъ, осматриваясь кругомъ: — ужь за одинъ бы разъ дѣлать умное дѣло. Вонъ, что тамъ это на шкафѣ за связка?

— Туда же! говорилъ Александръ, доставая ее:—это статьи о сельскомъ хозяйствѣ.

— Не жги, не жги этого! Отдай мнѣ! сказалъ Петръ Иванычъ, протягивая руку:—это не пустяки.

Но Александръ не слушалъ.

— Нѣтъ! сказалъ онъ со злостью: — если погибло для меня благородное творчество въ сферѣ изящнаго, такъ я не хочу и труженичества: въ этомъ судьба меня не переломитъ!

И связка полетѣла въ каминъ.

— Напрасно! замѣтилъ Петръ Иванычъ и между тѣмъ самъ палкой шарилъ въ корзинѣ подъ столомъ, нѣтъ ли еще чего-нибудь бросить въ огонь.

— А что же мы съ повѣстью сдѣлаемъ, Александръ? Она у меня.

— Не нужно ли вамъ оклеить перегородки?

— Нѣтъ, теперь нѣтъ. Не послать ли за ней? Евсей! Опять заснулъ: смотри, тамъ мою шинель у тебя подъ носомъ украдутъ! Сходи скорѣе ко мнѣ, спроси тамъ у Василья толстую тетрадь, что лежитъ въ кабинетѣ на бюро, и принеси сюда.

Александръ сидѣлъ, опершись на руку, и смотрѣлъ въ каминъ. Принесли тетрадь. Александръ поглядѣлъ на плодъ полугодовыхъ трудовъ и задумался. Петръ Иванычъ замѣтилъ это.

Оба стали смотрѣть, какъ она загорится, Петръ Иванычъ, повидимому, съ удовольствіемъ, Александръ съ грустью, почти со слезами. Вотъ верхній листъ зашевелился и поднялся, какъ-будто невидимая рука перевертывала его; края его загнулись, онъ почернѣлъ, потомъ скробился и вдругъ вспыхнулъ; за нимъ быстро вспыхнулъ другой, третій, а тамъ вдругъ нѣсколько поднялись и загорѣлись кучей, но слѣдующая подъ ними страница еще бѣлѣлась и черезъ двѣ секунды тоже начала чернѣть по краямъ.

Александръ, однакожь, успѣлъ прочесть на ней: глава III-я. Онъ вспомнилъ, что было въ этой главѣ, и ему стало жаль ее. Онъ всталъ съ креселъ и схватилъ щипцы, чтобы спасти остатки своего творенія. „Можетъ быть, еще...“ шептала ему надежда.

— Постой, вотъ я лучше тростью, сказалъ Петръ Иванычъ:—а то обожжешься щипцами.

Онъ подвинулъ тетрадь въ глубину камина, прямо на уголья. Александръ остановился въ нерѣшимости. Тетрадь была толста и не вдругъ поддалась дѣйствію огня. Изъ-подъ нея сначала повалилъ густой дымъ; пламя изрѣдка вырвется снизу, лизнетъ ее по боку, оставитъ черное пятно и опять спрячется. Еще можно было спасти. Александръ ужь протянулъ руку, но въ ту жь секунду пламя озарило и кресла, и лицо Петра Иваныча, и столъ; вся тетрадь вспыхнула и черезъ минуту потухла, оставивъ по себѣ кучу чорнаго пепла, по которому мѣстами пробѣгали огненныя змѣйки. Александръ бросилъ щипцы.

— Все кончено! сказалъ онъ.

— Кончено! повторилъ Петръ Иванычъ.

— Ухъ! промолвилъ Александръ:—я свободенъ!

— Ужь это въ другой разъ я помогаю тебѣ очищать квартиру, сказалъ Петръ Иванычъ:—надѣюсь, что на этотъ разъ...

— Невозвратно, дядюшка.

— Аминь! примолвилъ дядя, положивъ ему руки на плеча.—Ну, Александръ, совѣтую тебѣ не медлить: сейчасъ же напиши къ Ивану Иванычу, чтобы прислалъ тебѣ работу въ отдѣленіе сельскаго хозяйства. Ты, по горячимъ слѣдамъ, послѣ всѣхъ глупостей, теперь напишешь преумную вещь. А онъ все заговариваетъ: „что жь, говоритъ, вашъ племянникъ...“

Александръ съ грустью покачалъ головой.

— Не могу, сказалъ онъ: — нѣтъ, не могу: все кончено.

— Что жь ты станешь теперь дѣлать?

— Что? спросилъ онъ и задумался: — теперь пока ничего.

— Это только въ провинціи какъ-то умѣютъ ничего не дѣлать; а здѣсь... Зачѣмъ же ты пріѣзжалъ сюда? Это непонятно!... Ну, пока довольно объ этомъ. У меня до тебя есть просьба.

Александръ медленно приподнялъ голову и взглянулъ на дядю вопросительно.

— Вѣдь ты знаешь, началъ Петръ Иванычъ, подвигая къ Александру свои кресла:—моего компаніона Суркова?

Александръ кивнулъ головой.

— Да, ты иногда обѣдывалъ у меня съ нимъ, только успѣлъ ли ты разглядѣть хорошенько, что это за птица? Онъ добрый малый, но препустой. Господствующая его слабость—женщины. Онъ же, къ-несчастію, какъ ты видишь, недуренъ собой, то есть румянъ, гладокъ, высокъ, ну,

всегда завитъ, раздушенъ, одѣтъ по картинкѣ: вотъ и воображаетъ, что всѣ женщины отъ него безъ ума — такъ, фатъ! Да чортъ съ нимъ совсѣмъ, я бы не замѣтилъ этого; но вотъ бѣда: чуть заведется страстишка, онъ и пошелъ мотать. Тутъ у него пойдутъ и сюрпризы, и подарки, и угожденія; самъ пустится въ щегольство, начнетъ мѣнять экипажи, лошадей... просто разоренье! И за моей женой волочился. Бывало, ужь я и не забочусь посылать человѣка за билетомъ въ театръ: Сурковъ непремѣнно привезетъ. Лошадей ли надо промѣнять, достать ли что-нибудь рѣдкое, толпу ли растолкать, съѣздить ли осмотрѣть дачу, куда не пошлешь—золото! Ужъ какъ былъ полезенъ: этакаго за деньги не наймешь. Жаль! Я нарочно не мѣшалъ ему, да женѣ очень надоѣлъ: я и прогналъ. Вотъ когда онъ этакъ пустится мотать, ему ужь не достаетъ процентовъ, онъ начинаетъ просить денегъ у меня—откажешь, заговариваетъ о капиталѣ. „Что, говоритъ, мнѣ вашъ заводъ? никогда нѣтъ свободныхъ денегъ въ рукахъ!“ Добро бы взялъ какую-нибудь... такъ нѣтъ: все ищетъ связей въ свѣтѣ: „мнѣ говоритъ, надобно *благородную интригу*: я безъ любви жить не могу!“ не оселъ ли? Малому чуть не сорокъ лѣтъ и не можетъ жить безъ любви!

Александръ вспомнилъ о себѣ и печально улыбнулся.

— Онъ все вретъ, продолжалъ Петръ Иванычъ. — Я послѣ разсмотрѣлъ, о чемъ онъ хлопочетъ. Ему только бы похвастаться, — чтобъ о немъ говорили, что онъ въ связи съ такой-то, что видятъ въ ложѣ у такой-то, или что онъ на дачѣ сидѣлъ вдвоемъ на балконѣ поздно вечеромъ, катался, что-ли, тамъ съ ней гдѣ-нибудь въ уединенномъ мѣстѣ, въ коляскѣ или верхомъ. А между-тѣмъ выходитъ, что эти такъ называемыя *благородныя интриги* — чтобъ чортъ ихъ взялъ! гораздо дороже обходятся, чѣмъ неблагородныя. Вотъ изъ чего бьется дурачина!

— Къ чему же это все ведетъ, дядюшка? спросилъ Александръ:—я не вижу, что я могу тутъ сдѣлать.

— А вотъ увидишь. Недавно воротилась сюда изъ-за границы молодая вдова, Юлія Павловна Тафаева. Она очень недурна собой. Съ мужемъ я и Сурковъ были пріятели. Тафаевъ умеръ въ чужихъ краяхъ. Ну, догадываешься?

— Догадываюсь: Сурковъ влюбился во вдову.

— Такъ: совсѣмъ одурѣлъ! а еще?

— Еще... не знаю...

— Экой какой! Ну, слушай: Сурковъ мнѣ раза два проговорился, что ему скоро понадобятся деньги. Я сейчасъ догадался, что это значитъ, только съ какой стороны вѣтеръ дуетъ — не могъ угадать. Я допытываться, зачѣмъ деньги? Онъ мялся, мялся, наконецъ сказалъ, что хочетъ отдѣлать себѣ квартиру на Литейной. Я припоминать, что бы такое было на Литейной — и вспомнилъ, что Тафаева живетъ тамъ же и прямёхонько противъ того мѣста, которое онъ выбралъ. Ужь и задатокъ далъ. Бѣда грозитъ неминучая, если... не поможешь ты. Теперь догадался?

Александръ поднялъ носъ немного кверху, провелъ взглядомъ по стѣнѣ, по потолку, потомъ мигнулъ раза два и сталъ глядѣть на дядю, но молчалъ.

Петръ Иванычъ смотрѣлъ на него съ улыбкой. Онъ страхъ любилъ замѣтить въ комъ-нибудь промахъ со стороны ума, догадливости и дать почувствовать это.

— Что это, Александръ, съ тобой? А еще повѣсти пишешь! сказалъ онъ.

— Ахъ, догадался, дядюшка!

— Ну, славу Богу!

— Сурковъ проситъ денегъ; у васъ ихъ нѣтъ, вы хотите, чтобъ я...—И не договорилъ.

Петръ Иванычъ засмѣялся. Александръ не кончилъ фразы и смотрѣлъ на дядю въ недоумѣніи.

— Нѣтъ, не то! сказалъ Петръ Иванычъ.—Развѣ у меня когда-нибудь не бываетъ денегъ? Попробуй обратиться, когда хочешь, увидишь! А вотъ что: Тафаева черезъ него напомнила мнѣ о знакомствѣ съ ея мужемъ. Я заѣхалъ. Она просила посѣщать ее; я обѣщалъ и сказалъ, что привезу тебя: ну, теперь, надѣюсь, понялъ?

— Меня? повторилъ Александръ, глядя во всѣ глаза на дядю.—Да, конечно... теперь понялъ... торопливо прибавилъ онъ, но на послѣднемъ словѣ запнулся.

— А что ты понялъ? спросилъ Петръ Иванычъ.

— Хоть убейте, ничего, дядюшка, не понимаю! Позвольте... можетъ быть у ней пріятный домъ... вы хотите, чтобъ я разсѣялся... такъ какъ мнѣ скучно...

— Вотъ, прекрасно! стану я возить тебя для этого по домамъ! Послѣ этого недостаетъ только, чтобъ я тебѣ закрывалъ на ночь ротъ платкомъ отъ мухъ! Нѣтъ, все не то. А вотъ въ чемъ дѣло: влюби-ка въ себя Тафаеву.

Александръ вдругъ поднялъ брови и посмотрѣлъ на дядю.

— Вы шутите, дядюшка? это нелѣпо! сказалъ онъ.

— Тамъ, гдѣ точно есть нелѣпости, ты ихъ дѣлаешь очень важно, а гдѣ дѣло просто и естественно—это у тебя нелѣпости. Что жь тутъ нелѣпаго? Разбери, какъ нелѣпа сама любовь: игра крови, самолюбіе... Да что толковать съ тобой: вѣдь ты все еще вѣришь въ неизбѣжное назначеніе кого любить, въ симпатію душъ!

— Извините: теперь ни во что не вѣрю. Но развѣ можно влюбить и влюбиться по произволу?

— Можно, но не для тебя. Не бойся: я такого мудренаго порученія тебѣ не дамъ. Ты вотъ только что сдѣлай. Ухаживай за Тафаевой, будь внимателенъ, не давай Сур-

кову оставаться съ ней наединѣ... ну, просто, взбѣси его. Мѣшай ему: онъ слово, ты два, онъ мнѣніе, ты опроверженіе. Сбивай его безпрестанно съ толку, уничтожай на каждомъ шагу...

— Зачѣмъ?

— Все еще не понимаешь! А затѣмъ, мой милый, что онъ сначала будетъ съ ума сходить отъ ревности и досады, потомъ охладѣетъ. Это у него скоро слѣдуетъ одно за другимъ. Онъ самолюбивъ до глупости. Квартира тогда не понадобится, капиталъ останется цѣлъ, заводскія дѣла пойдутъ своимъ чередомъ... ну понимаешь? Ужь это въ пятый разъ я съ нимъ играю шутку: прежде, бывало, когда былъ холостой и помоложе, самъ, а не то, кого-нибудь изъ пріятелей подошлю.

— Но я съ нею незнакомъ, сказалъ Александръ.

— А для этого-то я и повезу тебя къ ней въ среду. По средамъ у ней собираются кое-кто изъ старыхъ знакомыхъ.

— А если она отвѣчаетъ любви Суркова, тогда, согласитесь, что мои угожденія и внимательность взбѣсятъ не одного его.

— Э, полно! Порядочная женщина, разглядѣвъ дурака, перестанетъ имъ заниматься, особенно при свидѣтеляхъ: самолюбіе не позволитъ. Тутъ же около будетъ другой, поумнѣе и покрасивѣе: она посовѣстится, скорѣй броситъ. Вотъ для этого я и выбралъ тебя.

Александръ поклонился.

— Сурковъ не опасенъ, продолжалъ дядя:—но Тафаева принимаетъ очень немногихъ, такъ-что онъ можетъ, пожалуй, въ ея маленькомъ кругу прослыть и львомъ и умникомъ. На женщинъ много дѣйствуетъ внѣшность. Онъ же мастеръ угодить, ну, его и терпятъ. Она, можетъ быть, кокетничаетъ съ нимъ, а онъ и того... И умныя женщины

любятъ, когда для нихъ дѣлаютъ глупости, особенно дорогія. Только онѣ любятъ большею частью при этомъ не того, кто ихъ дѣлаетъ, а другаго... Многіе этого не хотятъ понять, въ томъ числѣ и Сурковъ,—вотъ ты и вразуми его.

— Но Сурковъ, вѣроятно, тамъ и не по средамъ бываетъ: въ среду я ему помѣшаю, а въ другіе дни какъ?

— Все учи тебя! Ты польсти ей, прикинься немножко влюбленнымъ — со втораго раза она пригласитъ тебя ужь не въ среду, а въ четвергъ или въ пятницу; ты удвой внимательность, а я потомъ немножко ее настрою, намекну, будто ты и въ-самомъ-дѣлѣ—того... Она, кажется... сколько я могъ замѣтить... Такая чувствительная... должно быть, слабонервная... она, я думаю, тоже не прочь отъ симпатіи... отъ изліяній...

— Какъ это можно? говорилъ въ раздумьи Александръ: —Еслибъ я могъ еще влюбиться—такъ? а то не могу... и успѣха не будетъ.

— Напротивъ, тутъ-то и будетъ. Еслибъ ты влюбился, ты не могъ бы притворяться, она сейчасъ бы замѣтила и пошла бы играть съ вами съ обоими въ дураки. А теперь... да ты мнѣ взбѣси только Суркова: ужь я знаю его, какъ свои пять пальцевъ. Онъ, какъ увидитъ, что ему не везетъ, не станетъ тратить деньги даромъ, а мнѣ это только и нужно... Слушай, Александръ, это очень важно для меня: если ты это сдѣлаешь—помнишь двѣ вазы, что́ понравились тебѣ на заводѣ? онѣ — твои: только пьедесталъ ты самъ купи.

— Помилуйте, дядюшка, неужели вы думаете, что я...

— Да за что́ жь ты станешь даромъ хлопотать, терять время? Вотъ прекрасно! Ничего! вазы очень красивы. Въ нашъ вѣкъ безъ ничего, ничего и не сдѣлаютъ. Когда я что-нибудь для тебя сдѣлаю, предложи мнѣ подарокъ: я возьму.

— Странное порученіе! сказалъ Александръ нерѣшительно.

— Надѣюсь, ты не откажешься исполнить его для меня. Я для тебя тоже готовъ сдѣлать, что̀ могу: когда понадобятся деньги—обратись... Такъ въ среду! Эта исторія продолжится мѣсяцъ, много два. Я тебѣ тамъ скажу, какъ не нужно будетъ, тогда и брось.

— Извольте, дядюшка, я готовъ; только странно... За успѣхъ не ручаюсь... еслибъ я могъ еще самъ влюбиться, тогда... а то нѣтъ...

— И очень хорошо, что не можешь, а то бы все дѣло испортилъ. Я самъ ручаюсь за успѣхъ. Прощай!

Онъ ушелъ, а Александръ долго еще сидѣлъ у камина, надъ милымъ пепломъ.

Когда Петръ Иванычъ воротился домой, жена спросила:
—Что̀ Александръ, что̀ его повѣсть, будетъ ли онъ писать?

— Нѣтъ, я его вылечилъ навсегда.

Адуевъ разсказалъ ей содержаніе письма, полученнаго имъ съ повѣстью, и о томъ, какъ они сожгли все.

— Ты безъ жалости, Петръ Иванычъ! сказала Лизавета Александровна: — или не умѣешь ничего порядочно сдѣлать, за что̀ ни примешься.

— Ты хорошо дѣлала, что принуждала его бумагу марать! развѣ у него есть талантъ?

— Нѣтъ.

Петръ Иванычъ посмотрѣлъ па нее съ удивленіемъ.

— Такъ зачѣмъ же ты?..

— А ты все еще не понялъ, не догадался?

Онъ молчалъ и невольно вспомнилъ сцену свою съ Александромъ.

— Чего жь тутъ не понять? это очень ясно! говорилъ онъ, глядя на нее во всѣ глаза.

— А что̀, скажи?

— Чтó... чтó... ты хотѣла дать ему урокъ... только иначе, мягче, по-своему...

— Не понимаетъ, а еще умный человѣкъ! Отчего онъ былъ все это время веселъ, здоровъ, почти счастливъ? Оттого, что надѣялся. Вотъ я поддерживала эту надежду: ну, теперь ясно?

— Такъ это ты все хитрила съ нимъ?

— Я думаю, это позволительно. А ты чтó надѣлалъ? Тебѣ его вовсе не жаль: отнялъ послѣднюю надежду.

— Полно! какую послѣднюю надежду: еще много глупостей впереди.

— Чтó онъ теперь будетъ дѣлать? Опять станетъ ходить повѣся носъ?

— Нѣтъ! не станетъ: не до того будетъ: я задалъ ему работу.

— Что? опять переводъ какой-нибудь о картофелѣ? Развѣ это можетъ занять молодаго человѣка, и особенно пылкаго и восторженнаго? У тебя бы только была занята голова.

— Нѣтъ, моя милая, не о картофелѣ, а по заводу кое-что.

III.

Настала и среда. Въ гостиной Юліи Павловны собралось человѣкъ двѣнадцать или пятнадцать гостей. Четыре молодыя дамы, два иностранца съ бородами, заграничные знакомые хозяйки, да офицеръ составляли одинъ кружокъ.

Отдѣльно отъ нихъ, на бержеркѣ, сидѣлъ старикъ, повидимому отставной военный, съ двумя клочками сѣдыхъ волосъ подъ носомъ и со множествомъ ленточекъ въ петлицѣ. Онъ толковалъ съ какимъ-то пожилымъ человѣкомъ о предстоявшихъ откупахъ.

Въ другой комнатѣ старушка и двое мужчинъ играли въ карты. За фортепіано сидѣла очень молоденькая дѣвица, другая тутъ же разговаривала со студентомъ.

Явились Адуевы. Рѣдко кто умѣлъ войти съ такой непринужденностью и достоинствомъ въ гостиную, какъ Петръ Иванычъ. За нимъ, съ какой-то нерѣшимостью, слѣдовалъ Александръ.

Какая разница между ними: одинъ цѣлой головой выше, стройный, полный, человѣкъ крѣпкой и здоровой натуры, съ самоувѣренностью въ глазахъ и въ манерахъ. Но ни въ одномъ взглядѣ, ни въ движеніи, ни въ словѣ нельзя было угадать мысли или характера Петра Иваныча — такъ все прикрыто было въ немъ свѣтскостью и искусствомъ владѣть собой. Кажется, у него расчитаны были и жесты и взгляды. Блѣдное, безстрастное лицо показывало, что въ этомъ человѣкѣ немного разгула страстямъ подъ деспотическимъ правленіемъ ума, что сердце у него бьется или не бьется по приговору головы.

Въ Александрѣ, напротивъ, все показывало слабое и нѣжное сложеніе, и измѣнчивое выраженіе лица, и какая-то лѣнь или медленность и неровность движеній, и матовый взглядъ, который сейчасъ высказывалъ, какое ощущеніе тревожило сердце его, или какая мысль шевелилась въ головѣ. Онъ былъ средняго роста, но худъ и блѣденъ, — не отъ природы, какъ Петръ Иванычъ, а отъ безпрерывныхъ душевныхъ волненій; волосы не росли, какъ у того, густымъ лѣсомъ по головѣ и по щекамъ, но спускались по вискамъ и по затылку длинными, слабыми, но чрезвычайно мягкими, шелковистыми прядями свѣтлаго цвѣта, съ прекраснымъ отливомъ.

Дядя представилъ племянника.

— А моего пріятеля Суркова нѣтъ? спросилъ Петръ Иванычъ, оглядываясь съ удивленіемъ.—Онъ забылъ васъ.

— О, нѣтъ! я очень благодарна ему, отвѣчала хозяйка. —Онъ посѣщаетъ меня. Вы знаете, я, кромѣ знакомыхъ моего покойнаго мужа, почти никого не принимаю.

— Да гдѣ же онъ?

— Онъ сейчасъ будетъ. Вообразите, онъ далъ слово мнѣ и кузинѣ достать непремѣнно ложу на завтрашній спектакль, когда, говорятъ, нѣтъ никакой возможности... и теперь поѣхалъ.

— И достанетъ; я ручаюсь за него: онъ геній на это. Онъ всегда достаетъ мнѣ, когда ни знакомство, ни протекція не помогаютъ. Гдѣ онъ беретъ и за какія деньги — это его тайна.

Пріѣхалъ и Сурковъ. Туалетъ его былъ свѣжъ, но въ каждой складкѣ платья, въ каждой бездѣлицѣ рѣзко проглядывала претензія быть львомъ, превзойти всѣхъ модниковъ и самую моду. Если, напримѣръ, мода требовала распашныхъ фраковъ, такъ его фракъ распахивался до того, что походилъ на распростертыя птичьи крылья; если носили откидные воротники, такъ онъ заказывалъ себѣ такой воротникъ, что въ своемъ фракѣ онъ похожъ былъ на пойманнаго сзади мошенника, который рвется вонъ изъ рукъ. Онъ самъ давалъ наставленія своему портному, какъ шить. Когда онъ явился къ Тафаевой, шарфъ его на этотъ разъ былъ приколотъ къ рубашкѣ булавкой такой неумѣренной величины, что она походила на дубинку.

— Ну что, достали? раздалось со всѣхъ сторонъ.

Сурковъ только-что хотѣлъ отвѣчать, но увидѣвъ Адуева съ племянникомъ, вдругъ остановился и поглядѣлъ на нихъ съ удивленіемъ.

— Предчувствуетъ! сказалъ Петръ Иванычъ тихо племяннику.—Ба! да онъ съ тростью: что это значитъ?

— Это что? спросилъ онъ Суркова, показывая на трость.

— Давича выходилъ изъ коляски... оступился и немного хромаю, отвѣчалъ тотъ, покашливая.

— Вздоръ! шепнулъ Петръ Иванычъ Александру. — Замѣть набалдашникъ: видишь золотую львиную голову?

Третьягодня онъ хвастался мнѣ, что заплатилъ за нее Барбье шестьсотъ рублей, и теперь показываетъ; вотъ тебѣ образчикъ средствъ, какими онъ дѣйствуетъ. Сражайся и сбей его вонъ съ этой позиціи.

Петръ Иванычъ указалъ въ окно на домъ, бывшій напротивъ.

— Помни, что вазы твои, и одушевись, прибавилъ онъ.

— На завтрашній спектакль имѣете билетъ? спросилъ Сурковъ Тафаеву, подходя къ ней торжественно.

— Нѣтъ.

—*Позвольте вамъ вручить*! продолжалъ онъ и досказалъ весь отвѣтъ Загорѣцкаго изъ *Горе отъ ума*.

Усы офицера слегка зашевелились отъ улыбки. Петръ Иванычъ искоса поглядѣлъ на племянника, а Юлія Павловна покраснѣла. Она стала приглашать Петра Иваныча въ ложу.

— Очень вамъ благодаренъ, отвѣчалъ онъ: но я завтра дежурный въ театрѣ при женѣ; а вотъ позвольте представить вамъ взамѣнъ молодаго человѣка...

Онъ показалъ на Александра.

— Я хотѣла просить и его; насъ только трое: я съ кузиной, да...

— Онъ вамъ замѣнитъ и меня, сказалъ Петръ Иванычъ: —а въ случаѣ нужды и этого повѣсу.

Онъ указалъ на Суркова и началъ что-то тихо говорить ей. Она при этомъ два раза украдкою взглянула на Александра и улыбнулась.

— Благодарю, отвѣчалъ Сурковъ:—только не худо было бы предложить этотъ замѣнъ пораньше, когда не было билета: я бы посмотрѣлъ тогда, какъ бы замѣнили меня.

— Ахъ! я вамъ очень благодарна за вашу любезность, съ живостью сказала хозяйка Суркову:—но не пригласила васъ въ ложу потому, что у васъ есть кресло. Вы вѣрно

предпочтете быть прямо противъ сцены... особенно въ балетѣ...

— Нѣтъ, нѣтъ, лукавите, вы не думаете этого: промѣнять мѣсто подлѣ васъ—ни за что!

— Но оно ужь обѣщано...

— Какъ? Кому?

— М. Рене.

Она показала на одного изъ бородатыхъ иностранцевъ.

— Oui, madame m'a fait cet honneur... живо забормоталъ тотъ.

Сурковъ, разиня ротъ, поглядѣлъ на него, потомъ на Тафаеву.

— Я перемѣнюсь съ нимъ: я предложу ему кресло, сказалъ онъ.

— Попробуйте.

Бородачъ и руками и ногами.

— Покорно васъ благодарю! сказалъ Сурковъ Петру Иванычу, косясь на Александра:—этимъ я вамъ обязанъ.

— Не стоитъ благодарности. Да не хочешь ли въ мою ложу? насъ только двое съ женой: ты же давно съ ней не видался: поволочился бы.

Сурковъ съ досадой отвернулся отъ него. Петръ Иванычъ тихонько уѣхалъ. Юлія посадила Александра подлѣ себя и говорила съ нимъ цѣлый часъ. Сурковъ вмѣшивался нѣсколько разъ въ разговоръ, но какъ-то не кстати. Заговорилъ что-то о балетѣ и получилъ въ отвѣтъ *да*, когда надо было сказать *нѣтъ*, и наоборотъ: ясно, что его не слушали. Потомъ вдругъ перескочилъ къ устрицамъ, увѣряя, что онъ съѣлъ ихъ утромъ сто восемьдесятъ штукъ—и не получилъ даже взгляда. Онъ сказалъ еще нѣсколько общихъ мѣстъ, и не видя никакого толку, схватилъ шляпу и вертѣлся около Юліи, давая ей замѣтить, что онъ недоволенъ и собирается уѣхать. Но она не замѣтила.

— Я уѣзжаю! сказалъ онъ, наконецъ, выразительно.— Прощайте!

Въ этихъ словахъ слышалась худо скрытая досада.

— Уже! отвѣчала она покойно.—Завтра дадите взглянуть на себя въ ложѣ хоть на одну минуту?

— Какое коварство! Одну минуту, когда знаете, что за мѣсто подлѣ васъ я не взялъ бы мѣста въ раю.

— Если въ театральномъ, вѣрю!

Ему ужь не хотѣлось уѣзжать. Досада его прошла отъ брошеннаго Юліею ласковаго слова на прощаньи. Но всѣ видѣли, что онъ раскланивался: надо было поневолѣ уходить, и онъ ушелъ, оглядываясь какъ собаченка, которая пошла-было вслѣдъ за своимъ господиномъ, но которую гонятъ назадъ.

Юліи Павловнѣ было двадцать три, двадцать четыре года. Петръ Иванычъ угадалъ: она въ самомъ-дѣлѣ была слабонервна, но это не мѣшало ей быть вмѣстѣ очень хорошенькой, умной и граціозной женщиной. Только она была робка, мечтательна, чувствительна, какъ бóльшая часть нервныхъ женщинъ. Черты лица нѣжныя, тонкія, взглядъ кроткій и всегда задумчивый, частію грустный—безъ причины, или, если хотите, по причинѣ нервъ.

На міръ и жизнь она глядѣла не совсѣмъ благосклонно, задумывалась надъ вопросомъ о своемъ существованіи и находила, что она лишняя здѣсь. Но, Боже сохрани, если кто, даже случайно, проговаривался при ней о могилѣ, о смерти—она блѣднѣла. Отъ ея взгляда ускользала свѣтлая сторона жизни. Въ саду, въ рощѣ она выбирала для прогулки темную, густую аллею и равнодушно глядѣла на смѣющійся пейзажъ. Въ театрѣ смотрѣла всегда драму, комедію рѣдко, водевиль никогда; зажимала уши отъ доходившихъ до нея случайно звуковъ веселой пѣсни, никогда не улыбалась шуткѣ.

Въ другое время черты ея лица выражали томленіе, но не страдальческое, не болѣзненное, а томленіе будто нѣги. Видно было, что она внутренно боролась съ какою-нибудь обольстительною мечтою—и изнемогала. Послѣ такой борьбы долго она была молчалива, грустна, потомъ вдругъ впадала въ безотчетно веселое расположеніе духа, не измѣняя, однако же, своему характеру: что́ веселило ее — не развеселило бы другаго. Все нервы! А послушать этихъ дамъ, такъ чего онѣ не скажутъ! слова: *судьба*, *симпатія*, *безотчетное влеченіе*, *невѣдомая грусть*, *смутныя желанія*—такъ и толкаютъ одно другое, а кончится всетаки вздохомъ, словомъ нервы и флакончикомъ со спиртомъ.

— Какъ вы угадали меня! сказала Тафаева Александру при прощаньи.—Изъ мужщинъ никто, даже мужъ, не могли понять хорошенько моего характера.

А дѣло въ томъ, что чуть ли Александръ и самъ не былъ таковъ. То-то было раздолье ему!

— До свиданія.

Она подала ему руку.

— Надѣюсь, что теперь вы безъ дядюшки найдете ко мнѣ дорогу? прибавила она.

Настала зима. Александръ обыкновенно обѣдалъ по пятницамъ у дяди. Но вотъ ужь прошло четыре пятницы, онъ не являлся, не заходилъ и въ другіе дни. Лизавета Александровна сердилась; Петръ Иванычъ ворчалъ, что онъ заставлялъ понапрасну ждать себя лишніе полчаса.

А между тѣмъ Александръ былъ не безъ дѣла; онъ исполнялъ порученіе дяди. Сурковъ ужь давно пересталъ ѣздить къ Тафаевой и вездѣ объявилъ, что у нихъ все кончено, что онъ *разорвалъ съ ней связь*. Однажды вечеромъ—это было въ четвергъ — Александръ, воротясь домой, нашелъ у себя на столѣ двѣ вазы и записку отъ дяди. Петръ Иванычъ благодарилъ его за дружеское усердіе и звалъ

на другой день, по обыкновенію, обѣдать. Александръ задумался, какъ-будто это приглашеніе разстроивало его планы. На другой день, однако же, онъ пошелъ къ Петру Иванычу за часъ до обѣда.

— Что съ тобой? совсѣмъ тебя не видать? забыли насъ? закидали его вопросами и дядя и тетка.

— Ну! удружилъ, продолжалъ Петръ Иванычъ:—сверхъ ожиданія! а скромничалъ: „не могу, говоритъ, не умѣю!“ не умѣетъ! Я хотѣлъ давно повидаться съ тобой, да тебя нельзя поймать. Ну, очень благодаренъ! Получилъ вазы въ цѣлости?

— Получилъ. Но я ихъ назадъ пришлю.

— Зачѣмъ? ни, ни: онѣ, по всѣмъ правамъ твои.

— Нѣтъ! сказалъ Александръ рѣшительно:—я не возьму этого подарка.

— Ну, какъ хочешь! онѣ нравятся женѣ: она возьметъ.

— Я не знала, Александръ, сказала Лизавета Александровна съ лукавою улыбкой:—что вы такъ искусны на эти дѣла... мнѣ ни слова...

— Это дядюшка придумалъ, отвѣчалъ сконфуженный Александръ: — я тутъ ровно ничего, онъ и меня научилъ...

— Да, да, слушай его: онъ самъ не умѣетъ. А такъ обработалъ дѣльцо... Очень, очень благодаренъ! А дуралей-то мой, Сурковъ, чуть съ ума не сошелъ. Насмѣшилъ меня. Недѣли двѣ назадъ тому, вбѣгаетъ ко мнѣ самъ не свой: я сейчасъ понялъ, зачѣмъ, только не показываю виду, пишу, будто ничего не знаю. „А! это ты, говорю: что скажешь хорошаго?“ Онъ улыбнулся, хотѣлъ притвориться покойнымъ... а у самого чуть не слезы на глазахъ. „Ничего, говоритъ, хорошаго: я пріѣхалъ къ вамъ съ дурными вѣстями“. Я поглядѣлъ на него будто съ удивленіемъ. „Что такое?“ спрашиваю. „Да о вашемъ, говоритъ, пле-

мянникѣ!“ „А что? ты пугаешь меня? скажи скорѣй!“ спрашиваю я. Тутъ спокойствіе его лопнуло: онъ началъ кричать, бѣситься. Я откатился отъ него съ креслами — нельзя говорить: такъ и брызжетъ. „Сами, говоритъ, жаловались, что онъ мало занимается, а вы же его и пріучаете къ бездѣлью“. „Я?“ „Да, вы: кто его познакомилъ съ Julie?“ Надо тебѣ сказать, что онъ со втораго дня знакомства съ женщиной ужь начинаетъ звать ее полуименемъ. „Что жь за бѣда?“ говорю я. „А та бѣда, говоритъ, что онъ у ней теперь съ утра до вечера сидитъ...“

Александръ вдругъ покраснѣлъ.

— Видишь вѣдь какъ лжетъ отъ злости, думалъ я, продолжалъ Петръ Иванычъ, поглядывая на племянника:— станетъ Александръ сидѣть тамъ съ утра до вечера! объ этомъ я его не просилъ; такъ ли?

Петръ Иванычъ остановилъ на племянникѣ свой холодный и покойный взоръ, который показался Александру просто огненнымъ.

— Да... я иногда... захожу... бормоталъ Александръ.

— Иногда—это разница, продолжалъ дядя:—я такъ и просилъ; не каждый же день. Я зналъ, что онъ лжетъ. Что тамъ дѣлать каждый день? соскучишься!

— Нѣтъ! она очень умная женщина... прекрасно воспитана... любитъ музыку... говорилъ Александръ невнятно, съ разстановкою, и почесалъ глазъ, хотя онъ не чесался, погладилъ лѣвый високъ, потомъ досталъ платокъ и отеръ губы.

Лизавета Александровна пристально, украдкою, взглянула на него, отвернулась къ окну и улыбнулась.

— А! ну, тѣмъ лучше, сказалъ Петръ Иванычъ:—если тебѣ не было скучно; а я все боялся, не надѣлалъ ли я тебѣ непріятныхъ хлопотъ. Вотъ я говорю Суркову: „спасибо, милый, что ты принимаешь участіе въ моемъ племянникѣ;

очень, очень благодаренъ тебѣ... только не преувеличиваешь ли ты дѣла? Бѣда не такъ еще велика...“ „Какъ не бѣда! закричалъ онъ:—онъ, говоритъ, дѣломъ не занимается; молодой человѣкъ долженъ трудиться...“ „И это не бѣда, говорю я, тебѣ что за нужда?“ „Какъ, говоритъ, что за нужда: онъ вздумалъ дѣйствовать противъ меня хитростями...“ „А, вотъ гдѣ бѣда!“ сталъ я дразнить. „Внушаетъ, говоритъ, Юліи чортъ знаетъ что про меня... Она совсѣмъ теперь перемѣнилась ко мнѣ. Я проучу его, молокососа—извини, повторяю его слова,—гдѣ, говоритъ, ему со мной бороться? онъ только клеветой взялъ; надѣюсь, что вы вразумите его...“ „Пожурю, говорю я, непремѣнно пожурю; только, полно, правда ли это? чѣмъ онъ тебѣ надосадилъ?“ Ты ей тамъ цвѣты, что ли, дарилъ?.. Петръ Иванычъ опять остановился, какъ-будто ожидая отвѣта. Александръ молчалъ. ПетръИванычъ продолжалъ: „Какъ, говоритъ, неправда? зачѣмъ онъ ей каждый день букетъ цвѣтовъ носитъ? теперь, говоритъ, зима... чего это стоитъ?.. я знаю, говоритъ, что значатъ эти букеты.“ Вотъ что, подумалъ я самъ про себя, свой-то человѣкъ: нѣтъ, я вижу родство не пустая вещь:—сталъ ли бы ты такъ хлопотать для другаго? „Только точно ли каждый день? говорю я. Постой, я спрошу его: ты пожалуй, солжешь“. И вѣрно совралъ! да? Не можетъ быть, чтобъ ты...

Александру хоть сквозь землю провалиться. А Петръ Иванычъ безпощадно смотрѣлъ прямо ему въ глаза и ждалъ отвѣта.

— Иногда... я точно... носилъ... сказалъ Александръ, потупивъ глаза.

— Ну, опять-таки-иногда. Не каждый день: это, въ самомъ дѣлѣ, убыточно. Ты, впрочемъ, скажи мнѣ, что все это стоитъ тебѣ: я не хочу, чтобъ ты тратился для меня; довольно и того, что ты хлопочешь. Ты дай мнѣ счетъ. Ну,

и долго тутъ Сурковъ поролъ горячку. „Они всегда, говоритъ, прогуливаются вдвоемъ пѣшкомъ или въ экипажѣ тамъ, гдѣ меньше народу“.

Александра при этихъ словахъ не много покоробило: онъ вытянулъ ноги изъ-подъ стула и вдругъ опять поджалъ ихъ.

— Я покачалъ сомнительно головой, продолжалъ дядя:—станетъ онъ гулять каждый день! говорю. „Спросите, говоритъ, у людей...“ Я лучше у самого спрошу; сказалъ я... Вѣдь неправда?

— Я нѣсколько разъ... точно... гулялъ съ ней...

— Такъ не каждый же день; объ этомъ я не просилъ; я зналъ, что онъ вретъ. „Ну, что жь, я говорю ему, за важность? Она вдова, близкихъ мужчинъ нѣтъ у ней; Александръ скроменъ,—не то, что ты повѣса. Вотъ она и беретъ его: нельзя же ей одной“. Онъ слушать ничего не хочетъ. „Нѣтъ, говоритъ меня не проведете! я знаю. Всегда съ ней въ театрѣ; я же, говоритъ, и ложу достану, иногда Богъ знаетъ съ какими хлопотами, а онъ въ ней и засѣдаетъ“. Я ужь тутъ не выдержалъ и расхохотался. „Такъ тебѣ и надо, думаю, болванъ!“ Ай да Александръ! вотъ племянникъ! Только совѣстно мнѣ, что ты такъ хлопочешь для меня.

Александръ былъ какъ въ пыткѣ. Со лба капали крупныя капли пота. Онъ едва слышалъ, что говорилъ дядя, а не смялъ взглянуть ни на него, ни на тетку.

Лизавета Александровна сжалилась надъ нимъ. Она покачала мужу головой, упрекая, что онъ мучитъ племянника. Но Петръ Иванычъ не унялся.

— Сурковъ, отъ ревности, вздумалъ увѣрять меня, продолжалъ онъ:—что ты ужь будто и влюбленъ по уши въ Тафаеву. „Нѣтъ, ужь извини, говорю я ему, вотъ это неправда: послѣ всего, что съ нимъ случилось, онъ не влю-

бится. Онъ слишкомъ хорошо знаетъ женщинъ и презираетъ ихъ... Не правда ли?

Александръ, не поднимая глазъ, кивнулъ головой.

Лизавета Александровна страдала за него.

— Петръ Иванычъ! сказала она, чтобъ какъ-нибудь замять рѣчь.

— А? что?

— Давича приходилъ человѣкъ отъ Лукьяновыхъ съ письмомъ.

— Знаю; хорошо. На чемъ я остановился?

— Опять, Петръ Иванычъ, ты сталъ сбрасывать пепелъ въ мои цвѣты. Смотри, что это такое?

— Ничего, милая: говорятъ, пепелъ способствуетъ растительности... Такъ я хотѣлъ сказать...

— Да не пора ли, Петръ Иванычъ, обѣдать?

— Хорошо, вели давать! Вотъ ты кстати напомнила объ обѣдѣ. Сурковъ говоритъ, что ты, Александръ, тамъ почти каждый день обѣдаешь, что, говоритъ, оттого нынче у васъ и по пятницамъ не бываетъ, что будто вы цѣлые дни вдвоемъ проводите... чортъ знаетъ что вралъ тутъ, надоѣлъ: наконецъ я его выгналъ. Такъ и вышло, что совралъ. Нынче пятница, а вотъ ты на лицо!

Александръ переложилъ одну ногу на другую и склонилъ голову къ лѣвому плечу.

— Я весьма, весьма благодаренъ тебѣ. Это—и дружеская и родственная услуга! заключилъ Петръ Иванычъ.— Сурковъ убѣдился, что ему нечего взять, и ретировался: „она, говоритъ, воображаетъ, что я стану вздыхать по ней—ошибается!“ „А я еще хотѣлъ говоритъ, отдѣлать этажъ изъ оконъ въ окна и Богъ знаетъ, какія намѣренія имѣлъ: она, говоритъ, можетъ быть, и не мечтала о такомъ счастьи, какое ей готовилось. Я бы, говоритъ, не прочь жениться, еслибъ она умѣла привязать меня къ себѣ. Те-

перь все кончено. Вы правду, говоритъ, совѣтовали, Петръ Иванычъ. Я сохраню и деньги и время!“ И теперь малый байронствуетъ, ходитъ такой угрюмый и денегъ не проситъ. И я съ нимъ скажу: все кончено! Твое дѣло сдѣлано, Александръ, и мастерски! я теперь покоенъ надолго. Больше не хлопочи. Можешь къ ней теперь и не заглядывать: я воображаю, какая тамъ скука!.. извини меня, пожалуйста... я заслужу это какъ-нибудь. Когда понадобятся деньги, обратись. Лиза! вели намъ подать хорошаго вина къ обѣду: мы выпьемъ за успѣхъ дѣла.

Петръ Иванычъ вышелъ изъ комнаты. Лизавета Александровна посмотрѣла украдкой раза два на Александра и видя, что онъ не говоритъ ни слова, тоже вышла что-то приказать людямъ.

Александръ сидѣлъ, какъ-будто въ забытьи, и все смотрѣлъ себѣ на колѣни. Наконецъ поднялъ голову, осмотрѣлся—никого нѣтъ. Онъ перевелъ духъ, посмотрѣлъ на часы—четыре. Онъ поспѣшно взялъ шляпу, махнулъ рукой въ ту сторону, куда ушелъ дядя, и тихонько, на цыпочкахъ, оглядываясь во всѣ стороны, добрался до передней, тамъ взялъ шинель въ руки, опрометью бросился бѣжать съ лѣстницы и уѣхалъ къ Тафаевой.

Сурковъ не солгалъ: Александръ любилъ Юлію. Онъ почти съ ужасомъ почувствовалъ первые припадки этой любви, какъ-будто какой-нибудь заразы. Его мучили и страхъ и стыдъ: страхъ—подвергнуться опять всемъ прихотямъ и своего и чужаго сердца, стыдъ—передъ другими, болѣе всего передъ дядей. Дорого онъ далъ бы, чтобъ скрыть отъ него. Давно ли, три мѣсяца назадъ тому, онъ такъ гордо, рѣшительно отрекся отъ любви, написалъ даже эпитафію въ стихахъ этому безпокойному чувству, читанную дядей, наконецъ явно презиралъ женщинъ — и вдругъ опять у ногъ женщины! Опять доказательство ребяческой

опромечтивости. Боже! когда же онъ освободится отъ несокрушимаго вліянія дяди? Неужели жизнь его никогда не приметъ особеннаго, неожиданнаго оборота, а будетъ вѣчно идти по предсказаніямъ Петра Иваныча?

Эта мысль приводила его въ отчаяніе. Онъ радъ бы бѣжать отъ новой любви. Но какъ бѣжать? Какая разница между любовью къ Надинькѣ и любовью къ Юліи! Первая любовь—ничто иное, какъ несчастная ошибка сердца, которое требовало пищи, а сердце въ тѣ лѣта такъ неразборчиво: принимаетъ первое, что попадается. А Юлія! это уже не капризная дѣвочка, непонимающая ни его, ни самой себя, ни любви. Это, женщина въ полномъ развитіи, слабая тѣломъ, но съ энергіей духа—для любви: она—вся любовь! Другихъ условій для счастья и жизни она не признаетъ. Любить — будто бездѣлица? это также даръ; а Юлія—геній въ этомъ. Вотъ о какой любви мечталъ онъ: о сознательной, разумной, но вмѣстѣ сильной, незнающей ничего внѣ своей сферы.

„Я не задыхаюсь отъ радости, какъ животное, говорилъ онъ самъ себѣ: — духъ не замираетъ, но во мнѣ совершается процессъ важнѣе, выше: я созпаю свое счастье, размышляю о немъ, и оно полнѣе, хотя, можетъ быть, тише... Какъ благородно, непритворно, совсѣмъ безъ жеманства, отдалась Юлія своему чувству! Она какъ-будто ждала человѣка, понимающаго глубоко любовь — и чело-ловѣкъ явился. Онъ, какъ законный властелинъ, вступилъ гордо во владѣніе наслѣдственнаго богатства и признанъ съ покорностью. Какая отрада, какое блаженство, думалъ Александръ, ѣдучи къ ней отъ дяди: — знать, что есть въ мірѣ существо, которое, гдѣ бы ни было, что бы ни дѣлало, помнитъ о насъ, сближаетъ всѣ мысли, занятія, поступки—все къ одной точкѣ и одному понятію—о любимомъ существѣ! Это какъ-будто нашъ двойникъ. Чтó онъ

ни слышитъ, что́ ни видитъ, мимо чего ни пройдетъ, или что́ ни пройдетъ мимо него, все повѣряется впечатлѣніемъ другаго, своего двойника; это впечатлѣніе извѣстно обоимъ, оба изучили другъ друга—и потомъ повѣренное такимъ образомъ впечатлѣніе принимается и утверждается въ душѣ неизгладимыми чертами. Двойникъ отказывается отъ собственныхъ ощущеній, если они не могутъ быть раздѣлены или приняты другимъ. Онъ любитъ то, что́ любитъ другой, и ненавидитъ, что́ тотъ ненавидитъ. Они живутъ нераздѣльно въ одной мысли, въ одномъ чувствѣ: у нихъ одно духовное око, одинъ слухъ, одинъ умъ, одна душа...“

— Баринъ! кое мѣсто на Литейной? спросилъ извощикъ.

Юлія любила Александра еще сильнѣе, нежели онъ ее. Она даже не сознавала всей силы своей любви и не размышляла о ней. Она любила въ первый разъ—это бы еще ничего — нельзя же полюбить прямо во второй разъ; но бѣда была въ томъ, что сердце у ней было развито до не́льзя, обработано романами и приготовлено, не то что для первой, но для той романической любви, которая существуетъ въ нѣкоторыхъ романахъ, а не въ природѣ, и которая оттого всегда бываетъ несчастлива, что невозможна на дѣлѣ. Между тѣмъ умъ Юліи не находилъ въ чтеніи однихъ романовъ здоровой пищи и отставалъ отъ сердца. Она не могла никакъ представить себѣ тихой, простой любви безъ бурныхъ проявленій, безъ неумѣренной нѣжности. Она бы тотчасъ разлюбила человѣка, еслибъ онъ *не палъ къ ея ногамъ*, при удобномъ случаѣ, еслибъ не клялся ей *всѣми силами души*, еслибъ осмѣлился *не сжечь и испепелить ее въ своихъ объятіяхъ*, или дерзнулъ бы, кромѣ любви, заняться другимъ дѣломъ, а не пилъ бы только *чашу жизни* по каплѣ въ ея слезахъ и поцалуяхъ.

Отсюда родилась мечтательность, которая создала ей особый міръ. Чуть что-нибудь въ простомъ мірѣ соверша-

лось не по законамъ особаго, сердце ея возмущалось, она страдала. Слабый и безъ того организмъ женщины подвергался потрясенію, иногда весьма сильному. Частыя волненія раздражали нервы и наконецъ довели ихъ до совершеннаго разстройства. Вотъ отчего эта задумчивость и грусть безъ причины, этотъ сумрачный взглядъ на жизнь у многихъ женщинъ; вотъ отчего стройный, мудро-созданный и совершающійся, по непреложнымъ законамъ, порядокъ людскаго существованія кажется имъ тяжкою цѣпью; вотъ, однимъ словомъ, отчего пугаетъ ихъ дѣйствительность, заставляя строить міръ, подобный міру фатаморганы.

Кто же постарался обработать преждевременно и такъ неправильно сердце Юліи и оставить въ покоѣ умъ?.. Кто? А тотъ классическій тріумвиратъ педагоговъ, которые, по призыву родителей, являются воспринять на свое попеченіе юный умъ, открыть ему *всѣхъ вещей дѣйства и причины*, расторгнуть завѣсу прошедшаго и показать, что́ подъ нами, надъ нами, что́ въ самихъ насъ — трудная обязанность! За то и призваны были три націи на этотъ важный подвигъ. Родители сами отступились отъ воспитанія, полагая, что всѣ ихъ заботы кончаются тѣмъ, чтобъ, положась на рекомендацію добрыхъ пріятелей, нанять француза Пуле, для обученія французской литературѣ и другимъ наукамъ; далѣе нѣмца Шмита, потому-что это принято учиться, но отнюдь не выучиваться понѣмецки; наконецъ, русскаго учителя Ивана Иваныча.

— Да они всѣ такіе нечосаные, говоритъ мать:—одѣты такъ всегда дурно, хуже лакея на видъ; иногда еще отъ нихъ виномъ пахнетъ...

— Какъ же безъ русскаго учителя? нельзя! рѣшилъ отецъ:—не безпокойся: я самъ выберу почище.

Вотъ французъ принялся за дѣло. Около него ухаживали и отецъ и мать. Его приглашали въ домъ, какъ гостя, об-

ходились съ нимъ очень почтительно: это былъ дорогой французъ.

Ему было легко учить Юлію: она, благодаря гувернаткѣ, болтала по-французски, читала и писала почти безъ ошибокъ. М. Пуле оставалось только занять ее сочиненіями. Онъ задавалъ ей разныя темы: то описать восходящее солнце, то опредѣлить любовь и дружбу, то написать поздравительное письмо родителямъ, или излить грусть при разлукѣ съ подругой.

А Юліи изъ своего окна видно было только, какъ солнце заходитъ за домъ купца Гирина; съ подругами она никогда не разлучалась, а дружба и любовь... но тутъ впервые мелькнула у ней идея объ этихъ чувствахъ. Надо же когда нибудь узнать о нихъ.

Истощивъ весь запасъ этихъ темъ, Пуле рѣшился, наконецъ, приступить къ той завѣтной, тоненькой тетрадкѣ, на заглавномъ листѣ которой крупными буквами написано: Cours de littérature française. Кто изъ насъ не помнитъ этой тетради? Черезъ два мѣсяца Юлія знала наизусть французскую литературу, то есть тоненькую тетрадку, а черезъ три забыла ее; но гибельные слѣды остались. Она знала, что былъ Вольтеръ, и иногда навязывала ему *Мучениковъ*, а Шатобріану приписывала *Dictionnaire philosophique*. Монтаня называла M-r de Montaigne и упоминала о немъ иногда рядомъ съ Гюго. Про Мольера говорила, что онъ *пишетъ* для театра; изъ Расина выучила знаменитую тираду: A peine nous sortions des portes de Trezènes.

Въ миѳологіи ей очень понравилась комедія, разыгранная между Вулканомъ, Марсомъ и Венерой. Она было заступилась за Вулкана, но узнавъ, что онъ былъ хромой и неуклюжій, и притомъ кузнецъ, сейчасъ перешла на сторону Марса. Она полюбила и басню о Семелѣ и Юпитерѣ, и объ изгнаніи Аполлона и его проказахъ на землѣ, при-

нимая все это такъ, какъ оно написано, и не подозрѣвая никакого другаго значенія въ этихъ сказкахъ. Подозрѣвалъ ли самъ французъ—Богъ знаетъ! На вопросы ея объ этой религіи древнихъ, онъ, наморщивъ лобъ, съ важностью отвѣчалъ ей: Des bêtises! Mais cette bête de Vulcain devait avoir une drôle de mine... écoutez, прибавилъ онъ потомъ, прищуривъ немного глаза и потрепавъ ее по рукѣ:— que feriez-vous à la place de Venus? Она ничего не отвѣчала, но въ первый разъ въ жизни покраснѣла по неизвѣстной ей причинѣ.

Французъ усовершенствовалъ наконецъ воспитаніе Юліи тѣмъ, что познакомилъ ее уже не теоретически, а практически съ новой школой французской литературы. Онъ давалъ ей надѣлавшіе въ свое время большаго шуму: Le manuscrit vert, Les sept péchés capitaux, L'âne mort и цѣлую фалангу книгъ, наводнявшихъ тогда Францію и Европу.

Бѣдная дѣвушка съ жадностью бросилась въ этотъ безбрежный океанъ. Какими героями казались ей Жанены, Бальзаки, Друино — и цѣлая вереница великихъ мужей! Что передъ ихъ дивными изображеніями жалкая сказка о Вулканѣ? Венера, передъ этими новыми героями, просто невинность! И она жадно читала новую школу, вѣроятно читаетъ и теперь.

Между тѣмъ, какъ французъ зашелъ такъ далеко, солидный нѣмецъ не успѣлъ пройти и грамматики: онъ очень важно составлялъ таблички склоненій, спряженій, придумывалъ разные затѣйливые способы, какъ запомнить окончанія падежей; толковалъ, что иногда частица zu ставится на кон*цу* и т. п.

А когда отъ него потребовали литературы, бѣднякъ перепугался. Ему показали тетрадь француза, онъ покачалъ головой и сказалъ, что по-нѣмецки этому нельзя учить, а что есть хрестоматія Аллера, въ которой всѣ писатели, съ

своими сочиненіями, состоятъ на лицо. Но онъ этимъ не отдѣлался: къ нему пристали, чтобъ онъ познакомилъ Юлію, какъ Мг. Пуле, съ разными сочинителями.

Нѣмецъ наконецъ обѣщалъ и пришелъ домой въ сильномъ раздумьи. Онъ отворилъ, или, правильнѣе, вскрылъ шкапъ, вынулъ одну дверцу совсѣмъ и приставилъ ее къ стѣнкѣ, потому-что шкапъ съ давнихъ поръ не имѣлъ ни петель, ни замка,—досталъ оттуда старые сапоги, полголовы сахару, бутылку съ нюхательнымъ табакомъ, графинъ съ водкой и корку чернаго хлѣба, потомъ изломанную кофейную мельницу, далѣе бритвенницу, съ кускомъ мыла и съ щеточкой въ помадной банкѣ, старые подтяжки, оселокъ для перочиннаго ножа и еще нѣсколько подобной дряни. Наконецъ, за этимъ показалась книга, другая, третья, четвертая—такъ, пять счетомъ—всѣ тутъ. Онъ похлопалъ ихъ одну объ другую: пыль поднялась облакомъ, какъ дымъ, и торжественно осѣнила голову педагога.

Первая книга была: Идилліи Геснера—gut! сказалъ нѣмецъ, и съ наслажденіемъ прочелъ идиллію о разбитомъ кувшинѣ. Развернулъ вторую книгу: Готскій Календарь 1804 года. Онъ перелистовалъ ее: тамъ династіи европейскихъ государей, картинки разныхъ замковъ, водопадовъ:—sehr gut! сказалъ нѣмецъ. Третья – библія: онъ отложилъ ее въ сторону, пробормотавъ набожно: Nein! Четвертая—*Юнговы ночи*: онъ покачалъ головой и пробормоталъ: Nein! Послѣдняя—Вейссе! и нѣмецъ торжественно улыбнулся: da habe ich's сказалъ онъ. Когда ему сказали, что есть еще Шиллеръ, Гёте и другіе, онъ покачалъ головой и упрямо затвердилъ: Nein!

Юлія зѣвнула, только-что нѣмецъ перевелъ ей первую страницу изъ Вейссе, и потомъ вовсе не слушала. Такъ отъ нѣмца у ней въ памяти и осталось только, что частица zu ставится иногда на кон*цу*.

А русскій? этотъ еще добросовѣстнѣе нѣмца дѣлалъ свое дѣло. Онъ почти со слезами увѣрялъ Юлію, что *существительное имя* или *глаголъ* есть такая часть рѣчи, а *предлогъ* вотъ такая-то, и наконецъ достигъ, что она повѣрила ему и выучила наизусть опредѣленія всѣхъ частей рѣчи. Она могла даже разомъ исчислить всѣ предлоги, союзы, нарѣчія и когда учитель важно вопрошалъ: „А какія суть междометія страха или удовольствія“, она вдругъ, не переводя духу, проговаривала: ахъ, охъ, эхъ, увы, о, а, ну, эге! И наставникъ былъ въ восторгѣ.

Она узнала нѣсколько истинъ и изъ синтаксиса, но не могла никогда приложить ихъ къ дѣлу и осталась при грамматическихъ ошибкахъ на всю жизнь.

Изъ исторіи она узнала, что былъ Александръ Македонскій, что онъ много воевалъ, былъ прехрабрый... и, конечно, прехорошенькій... а что еще онъ значилъ и что значилъ его вѣкъ, объ этомъ ни ей, ни учителю и въ голову не приходило, да и Кайдановъ не распространяется очень объ этомъ.

Когда отъ учителя потребовали литературы, онъ притащилъ кучу старыхъ подержанныхъ книгъ. Тутъ были и Кантемиръ, и Сумароковъ, потомъ Ломоносовъ, Державинъ, Озеровъ. Всѣ удивились; осторожно развернули одну книгу, понюхали, потомъ бросили и потребовали чего-нибудь поновѣе. Учитель принесъ Карамзина. Но послѣ новой французской школы читать Карамзина! Юлія прочла *Бѣдную Лизу*, нѣсколько страницъ изъ *Путешествій*, и отдала назадъ.

Антрактовъ у бѣдной ученицы, между этими занятіями, оставалось пропасть, и никакой благородной, здоровой пищи для мысли! Умъ начиналъ засыпать, а сердце бить тревогу. Вотъ тутъ-то подвернулся услужливый кузенъ и кстати привезъ ей нѣсколько главъ Онѣгина, Кавказскаго

Плѣнника и проч. И дѣва познала сладость русскаго стиха. Онѣгинъ былъ выученъ наизусть и не покидалъ изголовья Юліи. И кузенъ, какъ прочіе наставники, не умѣлъ растолковать ей значенія и достоинства этого произведенія. Она взяла себѣ за образецъ Татьяну и мысленно повторяла своему идеалу пламенныя строки Татьянина письма къ Онѣгину, и сердце ея ныло, билось. Воображеніе искало то Онѣгина, то какого-нибудь героя мастеровъ новой школы—блѣднаго, грустнаго, разочарованнаго...

Итальянецъ и другой французъ довершили ея воспитаніе, давъ ея голосу и движеніямъ стройные размѣры, то есть выучили танцовать, пѣть, играть или, лучше, поиграть до замужества на фортепіано, но музыкѣ не выучили. И вотъ она осьмнадцати лѣтъ, но уже съ постоянно задумчивымъ взоромъ, съ интересной блѣдностью, съ воздушной таліей, съ маленькой ножкой, явилась въ салонахъ на показъ свѣту.

Ее замѣтилъ Тафаевъ, человѣкъ со всѣми аттрибутами жениха, то есть съ почтеннымъ чиномъ, съ хорошимъ состояніемъ, съ крестомъ на шеѣ, словомъ съ карьерой и фортуной. Нельзя сказать про него, чтобъ онъ былъ только простой и добрый человѣкъ. О, нѣтъ! онъ въ обиду себя не давалъ и судилъ весьма здраво о нынѣшнемъ состояніи Россіи, о томъ, чего ей недостаетъ въ хозяйственномъ и промышленномъ состояніи, и въ своей сферѣ считался дѣловымъ человѣкомъ.

Блѣдная, задумчивая дѣвушка, по какому-то странному противорѣчію съ его плотной натурой, сдѣлала на него сильное впечатлѣніе. Онъ на вечерахъ уходилъ изъ-за картъ и погружался въ непривычную думу, глядя на этотъ полувоздушный призракъ, летавшій передъ нимъ. Когда на него падалъ ея томный взоръ, разумѣется, случайно, онъ, бойкій гладіаторъ въ салонныхъ разговорахъ, сму-

щался передъ робкой дѣвочкой, хотѣлъ ей иногда сказать что-нибудь, но не могъ. Это надоѣло ему и онъ рѣшился дѣйствовать положительнѣе, чрезъ разныхъ тетокъ.

Справки о приданомъ оказались удовлетворительны. „Что-же: насъ пара!“ разсуждалъ онъ самъ съ собой. „Мнѣ только сорокъ пять лѣтъ, ей осьмнадцать: съ нашимъ состояніемъ и не двое прожили бы хорошо. Наружность? она еще заурядъ хорошенькая, а я, что-называется мужчина... видный. Образована она, говорятъ: что же? И я когда-то учился, помню, учили и по-латыни и римскую исторію. Еще и теперь помню: тамъ консулъ этотъ—какъ его... ну, чортъ съ нимъ! Помню и о реформаціи читали... и эти стихи: Beatus ille... какъ дальше? puer, pueri! puero... нѣтъ не то, чортъ знаетъ—все перезабылъ. Да вѣдь, ей-Богу, затѣмъ и учатъ, чтобы забыть. Ну, вотъ хоть зарѣжь меня, а я говорю, что вонъ и этотъ, и тотъ, всѣ эти чиновные и умные люди, ни одинъ не скажетъ, какой это консулъ тамъ... или въ которомъ году были олимпійскія игры, стало быть, учатъ такъ... потому что порядокъ такой! чтобъ по глазамъ только было видно, что учился. Да и какъ не забыть: вѣдь въ свѣтѣ объ этомъ ужь потомъ ничего никогда не говорятъ, а заговори-ка кто, такъ я думаю, просто выведутъ! Нѣтъ, насъ пара“.

И вотъ, когда Юлія вышла изъ дѣтства, ее на первомъ шагу встрѣтила самая печальная дѣйствительность—обыкновенный мужъ. Какъ онъ далекъ былъ отъ тѣхъ героевъ, которыхъ создало ей воображеніе и поэты!

Пять лѣтъ провела она въ этомъ скучномъ снѣ, какъ она называла замужество безъ любви, и вдругъ явились свобода и любовь. Она улыбнулась, простерла къ нимъ горячія объятія предалась своей страсти, какъ человѣкъ предается быстрому бѣгу на конѣ. Онъ несется съ могучимъ животнымъ, забывая пространство. Духъ замираетъ, предметы

бѣгутъ назадъ; въ лицо вѣетъ свѣжесть; грудь едва выноситъ ощущеніе нѣги... или, какъ человѣкъ, предающійся безпечно въ челнокѣ теченію волнъ: солнце грѣетъ его, зеленые берега мелькаютъ въ глазахъ, игривая волна ласкаетъ корму и такъ сладко шепчетъ, забѣгаетъ впередъ и манитъ все дальше, дальше, показывая путь безконечной струей... И онъ влечется. Некогда смотрѣть и думать тогда, чѣмъ кончится путь: мчитъ ли конь въ пропасть, влечетъ ли волна на скалу?.. Мысли уноситъ вѣтеръ, глаза закрываются, обояніе непреодолимо... такъ и она не преодолѣвала его, а все влеклась, влеклась... Для нея, наконецъ, настали поэтическія мгновенія жизни: она полюбила эту, то сладостную, то мучительную тревожность души, искала сама волненій, выдумывала себѣ и муку и счастье. Она пристрастилась къ своей любви, какъ пристращаются къ опіуму, и жадно пила сердечную отраву.

Юлія была ужь взволнована ожиданіемъ. Она стояла у окна и нетерпѣніе ея возрастало съ каждой минутой. Она ощипывала китайскую розу и съ досадой бросала листья на полъ, а сердце такъ и замирало: это былъ моментъ муки. Она мысленно играла въ вопросъ и отвѣтъ: придетъ или не придетъ? вся сила ея соображенія была устремлена на то, чтобъ рѣшить эту мудреную задачу. Если соображенія говорили утвердительно, она улыбалась, если нѣтъ— блѣднѣла.

Когда Александръ подъѣхалъ, она, блѣдная, опустилась въ кресла отъ изнеможенія—такъ сильно работали въ ней нервы. Когда онъ вошелъ... невозможно описать этого взгляда, которымъ она встрѣтила его, этой радости, которая мгновенно разлилась по всѣмъ ея чертамъ, какъ-будто они годъ не видались, а они видѣлись наканунѣ Она молча указала на стѣнные часы; но едва онъ заикнулся, чтобъ оправдаться, она, не выслушавъ, повѣрила, простила за-

была всю боль нетерпѣнія, подала ему руку и оба сѣли на диванъ и долго говорили, долго молчали, долго смотрѣли другъ на друга. Не напомни человѣкъ, они непремѣнно забыли бы обѣдать.

Сколько наслажденій! Никогда Александру и не мечталось о такой полнотѣ *искреннихъ, сердечныхъ изліяній*. Лѣтомъ прогулки вдвоемъ за городомъ: если толпу привлекали куда-нибудь музыка, фейерверкъ, вдали между деревьями мелькали они, гуляя подъ-руку. Зимой Александръ пріѣзжалъ къ обѣду и послѣ они сидѣли рядомъ у камина до ночи. Иногда велѣли закладывать санки, и, промчавшись по темнымъ улицамъ, спѣшили продолжать нескончаемую бесѣду за самоваромъ. Каждое явленіе кругомъ, каждое мимолетное движеніе мысли и чувства,—все замѣчалось и дѣлилось вдвоемъ.

Александръ боялся встрѣчи съ дядей, какъ огня. Онъ иногда приходилъ къ Лизаветѣ Александровнѣ, но она никогда не успѣвала расшевелить въ немъ откровенности. Онъ всегда былъ въ безпокойствѣ, чтобъ не засталъ дядя и не разыгралъ съ нимъ опять какой-нибудь сцены, и оттого всегда сокращалъ свои визиты.

Былъ ли онъ счастливъ? Про другихъ можно сказать въ такомъ случаѣ и *да* и *нѣтъ*, а про него *нѣтъ*; у него любовь начиналась страданіемъ. Минутами, когда онъ успѣвалъ забыть прошлое, онъ вѣрилъ въ возможность счастья, въ Юлію и въ ея любовь. Въ другое время онъ вдругъ смущался въ пылу самыхъ *искреннихъ изліяній*, съ боязнію слушалъ ея страстный, восторженный бредъ. Ему казалось, что вотъ, того и гляди, она измѣнитъ, или какой-нибудь другой неожиданный *ударъ судьбы* мигомъ разрушитъ великолѣпный міръ блаженства. Вкушая минуту радости, онъ зналъ, что ее надо выкупить страданіемъ, и хандра опять находила на него.

Однакожь, прошла зима, настало лѣто, а любовь не кончалась. Юлія привязывалась къ нему все сильнѣе. Ни измѣны, ни *удара судьбы* не было: случилось совсѣмъ другое. Взоръ его просвѣтлѣлъ. Онъ свыкся съ мыслію о возможности постоянной привязанности. „Только эта любовь ужь не такъ пылка... думалъ онъ однажды, глядя на Юлію: — но за то прочна, можетъ быть, вѣчна! Да, нѣтъ сомнѣнія. А! наконецъ, я понимаю тебя, судьба! Ты хочешь вознаградить меня за прошлыя мученія и ввести, послѣ долгаго странствованія, въ мирную пристань. „Такъ вотъ гдѣ пріютъ счастья... Юлія!“ воскликнулъ онъ вслухъ.

Она вздрогнула.

— Что вы? спросила она.

— Нѣтъ! такъ...

— Нѣтъ! скажите: у васъ была какая-то мысль. Александръ упрямился. Она настаивала.

— Я думалъ, что для полноты нашего счастья недостаетъ...

— Чего? съ безпокойствомъ спросила она.

— Такъ, ничего! мнѣ пришла странная идея. Юлія смутилась.

— Ахъ! не мучьте меня, говорите скорѣй! сказала она.

Александръ задумался и говорилъ вполголоса, какъ-будто съ собой.

— Пріобрѣсти право не покидать ее ни на минуту, не уходить домой... быть всюду и всегда съ ней. Быть въ глазахъ свѣта законнымъ ея обладателемъ... Она назоветъ меня громко, не краснѣя и не блѣднѣя, своимъ... и такъ всю жизнь! и гордиться этимъ вѣчно...

Говоря этимъ высокимъ слогомъ, слово за слово, онъ добрался, до слова: *супружество*. Юлія вздрогнула, потомъ заплакала. Она подала ему руку съ чувствомъ невыразимой нѣжности и признательности, и они оба оживились,

оба вдругъ заговорили. Положено было Александру поговорить съ теткой и просить ея содѣйствія въ этомъ мудреномъ дѣлѣ.

Въ радости, они не знали что дѣлать. Вечеръ былъ прекрасный. Они отправились куда-то за городъ, въ глушь, и нарочно отыскавъ съ большимъ трудомъ гдѣ-то холмъ, просидѣли цѣлый вечеръ на немъ, смотрѣли на заходящее солнце, мечтали о будущемъ образѣ жизни, предполагали ограничиться тѣснымъ кругомъ знакомыхъ, не принимать и не дѣлать пустыхъ визитовъ

Потомъ воротились домой и начали толковать о будущемъ порядкѣ въ домѣ, о распредѣленіи комнатъ и прочее. Пришли къ тому, какъ убрать комнаты. Александръ предложилъ обратить ея уборную въ свой кабинетъ, такъ, чтобъ это было подлѣ спальни.

— Какую же мебель хотите вы въ кабинетъ? спросила она.

— Я бы желалъ орѣховаго дерева съ синей бархатной покрышкой.

— Это очень мило и не марко: для мужскаго кабинета надобно выбирать непремѣнно темные цвѣта: свѣтлые скоро портятся отъ дыму. А вотъ здѣсь, въ маленькомъ пассажѣ, который ведетъ изъ будущаго вашего кабинета въ спальню, я устрою боскетъ—не правда ли, это будетъ прекрасно? Тамъ поставлю одно кресло, такъ, чтобы я могла, сидя на немъ, читать или работать и видѣть васъ въ кабинетѣ.

— Недолго мнѣ такъ прощаться съ вами, говорилъ, прощаясь, Александръ.

Она зажала ему ротъ рукой.

На другой день Александръ отправился къ Лизаветѣ Александровнѣ открывать то, что ей давно было извѣстно, и требовать ея совѣта и помощи. Петра Иваныча не было дома.

— Что жь, хорошо! сказала она, выслушавъ его исповѣдь: — вы теперь не мальчикъ: можете судить о своихъ чувствахъ и располагать собой. Только не торопитесь: узнайте ее хорошенько.

— Ахъ, ma tante, еслибъ вы ее знали! Сколько достоинствъ!

— Напримѣръ?

— Она такъ любитъ меня...

— Это, конечно, важное достоинство, да не одно это нужно въ супружествѣ.

Тутъ она сказала нѣсколько общихъ истинъ на счетъ супружескаго состоянія, о томъ, какова должна быть жена, каковъ мужъ.

— Только погодите. Теперь осень наступаетъ, прибавила она:—съѣдутся всѣ въ городъ. Тогда я сдѣлаю визитъ вашей невѣстѣ; мы познакомимся и я примусь за дѣло горячо. Вы не оставляйте ее: я увѣрена, что вы будете счастливѣйшій мужъ.

Она обрадовалась.

Женщины страхъ какъ любятъ женить мужчинъ; иногда онѣ и видятъ, что бракъ какъ-то не клеится и не долженъ бы клеиться, но всячески помогаютъ дѣлу. Имъ лишь бы устроить свадьбу, а тамъ новобрачные какъ себѣ хотятъ. Богъ знаетъ, изъ чего онѣ хлопочутъ.

Александръ просилъ тетку, до окончанія дѣла, ничего не говорить Петру Иванычу.

Промелькнуло лѣто, протащилась и скучная осень. Наступила другая зима. Свиданія Адуева съ Юліей были такъ же часты.

У ней какъ-будто сдѣланъ былъ строгій разсчетъ днямъ, часамъ и минутамъ, которые можно было провести вмѣстѣ. Она выискивала всѣ случаи къ тому.

— Рано ли вы завтра отправитесь на службу? спрашивала она иногда.

— Часовъ въ одиннадцать.

— А въ десять пріѣзжайте ко мнѣ, будемъ завтракать вмѣстѣ. Да нельзя ли не ходить совсѣмъ? будто ужь тамъ безъ васъ...

— Какъ же? отечество... долгъ... говорилъ Александръ.

— Вотъ прекрасно! А вы скажите, что вы любите и любимы. Неужели начальникъ вашъ никогда не любилъ? Если у него есть сердце, онъ пойметъ. Или принесите сюда свою работу: кто вамъ мѣшаетъ заниматься здѣсь?

Въ другой разъ не пускала его въ театръ, а къ знакомымъ рѣшительно почти никогда. Когда Лизавета Александровна пріѣхала къ ней съ визитомъ, Юлія долго не могла придти въ себя, увидѣвъ, какъ молода и хороша тетка Александра. Она воображала ее такъ-себѣ теткой: пожилой, нехорошей, какъ большая часть тетокъ, а тутъ, прошу покорнѣйше, женщина лѣтъ двадцати шести, семи, и красавица! Она сдѣлала Александру сцену и стала рѣже пускать его къ дядѣ.

Но что значили ея ревность и деспотизмъ въ сравненіи съ деспотизмомъ Александра? Онъ ужь убѣдился въ ея привязанности, видѣлъ, что измѣна и охлажденіе не въ ея натурѣ и — ревновалъ: но какъ ревновалъ! Это не была ревность отъ избытка любви: плачущая, стонущая, вопіющая отъ мучительной боли въ сердцѣ, трепещущая отъ страха потерять счастье, — но равнодушная, холодная, злая. Онъ тиранилъ бѣдную женщину изъ любви, какъ другіе не тиранятъ изъ ненависти. Ему покажется, напримѣръ, что, вечеромъ, при гостяхъ, она не довольно долго и нѣжно или часто глядитъ на него, и онъ осматривается, какъ звѣрь, кругомъ, — и горе, если въ это время около Юліи есть молодой человѣкъ, и даже не молодой, а просто

человѣкъ, часто женщина, иногда — вещь. Оскорбленія, колкости, черныя подозрѣнія и упреки сыпались градомъ. Она тутъ же должна была оправдываться и откупаться разными пожертвованіями, безусловною покорностью: не говорить съ тѣмъ, не сидѣть тамъ, не подходить туда, переносить лукавыя улыбки и шопотъ хитрыхъ наблюдателей, краснѣть, блѣднѣть, компрометировать себя.

Если она получала приглашеніе куда-нибудь, она не отвѣчая, прежде всего обращала на него вопросительный взглядъ,—и чуть онъ наморщитъ брови, она блѣдная и трепещущая, въ ту же минуту отказывалась. Иногда онъ дастъ позволеніе—она соберется, одѣнется, готовится сѣсть въ карету,—какъ вдругъ онъ, по минутному капризу, произноситъ грозное *veto*! и она раздѣвалась, карета откладывалась. Послѣ онъ, пожалуй, начнетъ просить прощенья, предлагаетъ ѣхать, но когда же опять дѣлать туалетъ, закладывать карету? Такъ и остается. Онъ ревновалъ не къ красавцамъ, не къ достоинству ума или таланта, а даже къ уродамъ, наконецъ къ тѣмъ, чья физіономія просто не нравилась ему.

Однажды пріѣхалъ какой-то гость изъ ея стороны, гдѣ жили ея родные. Гость былъ пожилой, некрасивый человѣкъ, говорилъ все объ урожаѣ да о своемъ сенатскомъ дѣлѣ, такъ что Александръ, соскучившись слушать его, ушелъ въ сосѣднюю комнату. Ревновать было не къ чему. Наконецъ гость сталъ прощаться.

— Я слышалъ, сказалъ онъ:—что вы по средамъ дома; не позволите ли мнѣ присоединиться къ обществу вашихъ знакомыхъ?

Юлія улыбнулась и готовилась сказать: прошу! какъ вдругъ изъ другой комнаты раздался шепотъ громче всякаго крика: „не хочу!“

— Не хочу! торопливо, вслухъ повторила Юлія гостю, вздрогнувъ.

Но Юлія сносила все. Она запиралась отъ гостей, никуда не выѣзжала и сидѣла съ глазу на глазъ съ Александромъ.

Они продолжали систематически упиваться блаженствомъ. Истративъ весь запасъ извѣстныхъ и готовыхъ наслажденій, она начала придумывать новыя, разнообразить этотъ, и безъ того богатый удовольствіяти, міръ. Какой даръ изобрѣтательности обнаружила Юлія! Но и этотъ даръ истощился. Начались повторенія. Желать и испытывать было нечего.

Не было ни одного загороднаго мѣста, котораго бы они не посѣтили, ни одной пьесы, которой бы они не видали вмѣстѣ, ни одной книги, которую бы не прочитали и не обсудили. Они изучили чувства, образъ мыслей, достоинства и недостатки другъ друга, и ничто уже не мѣшало имъ привести въ исполненіе задуманный планъ.

Искреннія изліянія стали рѣдки. Они иногда по цѣлымъ часамъ сидѣли, не говоря ни слова. Но Юлія была счастлива и молча.

Она изрѣдка перекинется съ Александромъ вопросомъ и получитъ да или нѣтъ—и довольна; а не получитъ этого, такъ посмотритъ на него пристально; онъ улыбнется ей, и она опять счастлива. Не улыбнись онъ и не отвѣть ничего, она начнетъ стеречь каждое движеніе, каждый взглядъ и толковать по своему, и тогда не оберешься упрековъ.

О будущемъ они перестали говорить, потому-что Александръ при этомъ чувствовалъ какое-то смущеніе, неловкость, которой не могъ объяснить себѣ, и старался замять разговоръ. Онъ сталъ размышлять, задумываться. Магическій кругъ, въ который заключена была его жизнь любовью, мѣстами разорвался, и ему вдали показались то лица прія-

телей и рядъ разгульныхъ удовольствій, то блистательные балы съ толпой красавицъ, то вѣчно занятой и дѣловой дядя, то покинутыя занятія...

Въ такомъ расположеніи духа сидѣлъ онъ однажды вечеромъ у Юліи. На дворѣ была мятель. Снѣгъ билъ въ окна и клочьями прилипалъ къ стекламъ. Въ комнатѣ слышалось однообразное качанье маятника столовыхъ часовъ, да изрѣдка вздохи Юліи.

Александръ окинулъ взглядомъ, отъ нéчего дѣлать, комнату, потомъ посмотрѣлъ на часы—десять, а надо просидѣть еще часа два: онъ зѣвнулъ. Взглядъ его остановился на Юліи.

Она, прислонясь спиной къ камину, стояла, склонивъ блѣдное лицо къ плечу, и слѣдила глазами за Александромъ, но не съ выраженіемъ недовѣрчивости и допроса, а нѣги, любви и счастья. Она, повидимому, боролась съ тайнымъ ощущеніемъ, съ сладкой мечтой, и казалась утомленной.

Нервы такъ сильно дѣйствовали, что и самый трепетъ нѣги повергалъ ее въ болѣзненное томленіе: мука и блаженство были у ней неразлучны.

Александръ отвѣчалъ ей сухимъ, безпокойнымъ взоромъ. Онъ подошелъ къ окну и началъ слегка барабанить пальцами по стеклу, глядя на улицу.

Съ улицы доносился до нихъ смѣшанный шумъ голосовъ, ѣзды экипажей. Въ окнахъ вездѣ свѣтились огни, мелькали тѣни. Ему казалось, что тамъ, гдѣ больше освѣщено, собралась веселая толпа; тамъ, можетъ быть, происходилъ живой размѣнъ мыслей, огненныхъ, летучихъ ощущеній: тамъ живутъ шумно и радостно. А вонъ, въ томъ слабоосвѣщенномъ окнѣ, вѣроятно, сидитъ надъ дѣльнымъ трудомъ благородный труженникъ. И Александръ подумалъ, что почти два года уже онъ влачитъ праздную, глупую

жизнь,—и вотъ два года вонъ изъ итога годовъ жизни, — а все любовь! Тутъ онъ напалъ на любовь.

„И что это за любовь!“ думалъ онъ:—„какая-то сонная, безъ энергіи. Эта женщина поддалась чувству безъ борьбы, безъ усилій, безъ препятствій, какъ жертва: слабая, безхарактерная женщина! осчастливила своей любовью перваго, кто попался; не будь меня, она полюбила бы точно также Суркова, и уже начала любить: да! какъ она ни защищайся — я видѣлъ! приди кто-нибудь побойчѣе и поискуснѣе меня, она отдалась бы тому... это просто безнравственно! Это ли любовь! гдѣ же тутъ симпатія душъ, о которой проповѣдуютъ чувствительныя души? А ужь тутъ ли не тянуло душъ другъ къ другу: казалось, слиться бы имъ на вѣкъ, а вотъ поди жь ты! Чортъ знаетъ, что это такое, не разберешь! шепнулъ онъ съ досадой“.

— Что вы тамъ дѣлаете? О чемъ думаете? спросила Юлія.

— Такъ... сказалъ онъ, зѣвая, и сѣлъ на диванъ, подальше отъ нея, обхвативъ одной рукой уголъ шитой подушки.

— Сядьте здѣсь, поближе.

Онъ не сѣлъ и ничего не отвѣчалъ.

— Что съ вами? продолжала она, подходя къ нему: — вы несносны сегодня.

— Я не знаю... сказалъ онъ вяло:—мнѣ что-то... какъ будто я...

Онъ не зналъ, что́ отвѣчать ей и самому себѣ. Онъ еще все хорошенько не объяснилъ себѣ, что́ съ нимъ дѣлается.

Она сѣла подлѣ него, начала говорить о будущемъ и мало-по-малу оживилась. Она представляла счастливую картину семейной жизни, порой шутила и заключила очень нѣжно:

— Вы—мой мужъ! смотрите, сказала она, показывая вокругъ: — скоро все это будетъ ваше. Вы здѣсь будете владычествовать въ домѣ, какъ у меня въ сердцѣ. Я теперь независима, могу дѣлать что̀ хочу, поѣхать, куда глаза глядятъ, а тогда ничто здѣсь не тронется съ мѣста безъ вашего приказанія; я сама буду связана вашей волей; но какая прекрасная цѣпь! Заковывайте же поскорѣй; когда же?.. Всю жизнь мечтала я о такомъ человѣкѣ, о такой любви... и вотъ мечта исполняется... и счастье близко... я едва вѣрю... Знаете ли: это мнѣ кажется сномъ. Не награда ли это за всѣ мои прошедшія страданія?..

Александру мучительно было слышать эти слова.

— А еслибъ я васъ разлюбилъ? вдругъ спросилъ онъ, стараясь придать голосу шутливый тонъ.

— Я бы вамъ уши выдрала! отвѣчала она, взявъ его за ухо, потомъ вздохнула и задумалась отъ одного шутливаго намека. Онъ молчалъ.

— Да что съ вами? вдругъ спросила она съ живостію:— вы молчите, едва слушаете меня, смо̀трите въ сторону...

Тутъ она подвинулась къ нему и, положивъ ему на плечо руку, стала говорить тихо, почти шопотомъ, на ту же тему, но не такъ положительно. Она напомнила начало ихъ сближенія, начало любви, первые ея признаки и первыя радости. Она почти задыхалась отъ нѣги ощущеній; на блѣдныхъ ея щекахъ зардѣлись два розовыя пятнышка. Они постепенно разгорались, глаза блистали, потомъ сдѣлались томны и полузакрылись; грудь дышала сильно. Она говорила едва внятно и одной рукой играла мягкими волосами Александра, потомъ заглянула ему въ глаза. Онъ тихо освободилъ голову отъ ея руки, вынулъ изъ кармана гребенку и тщательно причесалъ приведенные ею въ безпорядокъ волосы. Она встала и посмотрѣла на него пристально.

— Что съ вами, Александръ? спросила она съ безпокойствомъ.

„Вотъ пристала! почемъ я знаю?“ думалъ онъ, но молчалъ.

— Вамъ скучно? вдругъ сказала она, и въ голосѣ ея слышались и вопросъ и сомнѣніе.

„Скучно! подумалъ онъ:—слово найдено! Да! это мучительная, убійственная скука! вотъ ужь съ мѣсяцъ этотъ червь вползъ ко мнѣ въ сердце и точитъ его... О, Боже мой, что мнѣ дѣлать? а она толкуетъ о любви, о супружествѣ. Какъ ее образумить?“

Она сѣла за фортепіано и сыграла нѣсколько любимыхъ его пьесъ. Онъ не слушалъ и все думалъ свою думу.

У Юліи опустились руки. Она вздохнула, завернулась въ шаль и бросилась въ другой уголъ дивана, откуда взорами съ тоской наблюдала за Александромъ.

Онъ взялъ шляпу.

— Куда вы? спросила она съ удивленіемъ.

— Домой.

— Еще нѣтъ одинадцати часовъ.

— Мнѣ надо писать къ маменькѣ: я давно не писалъ къ ней.

— Какъ давно: вы третьягодня писали.

Онъ молчалъ: сказать было нечего. Онъ точно писалъ и какъ-то вскользь сказалъ ей тогда объ этомъ, но забылъ; а любовь не забываетъ ни одной мелочи. Въ глазахъ ея все, что ни касается до любимаго предмета, все важный фактъ. Въ умѣ любящаго человѣка плетется многосложная ткань изъ наблюденій, тонкихъ соображеній, воспоминаній, догадокъ обо всемъ, что окружаетъ любимаго человѣка, что творится въ его сферѣ, что имѣетъ на него вліяніе. Въ любви довольно одного слова, намека... чего намека! взгляда, едва примѣтнаго движенія губъ, чтобы составить догадку, потомъ перейти отъ нея къ соображенію, отъ соображенія къ рѣшительному заключенію и потомъ мучить-

ся или блаженствовать отъ собственной мысли. Логика влюбленныхъ, иногда фальшивая, иногда изумительно-вѣрная, быстро возводитъ зданіе догадокъ, подозрѣній, но сила любви еще быстрѣе разрушаетъ его до основанія: часто довольно для этого одной улыбки, слезы, много, много двухъ, трехъ словъ—и прощай подозрѣнія. Этого рода контроля ни усыпить, ни обмануть невозможно ничѣмъ. Влюбленный, то вдругъ заберетъ въ голову то, чего другому бы и во снѣ не приснилось, то не видитъ того, что дѣлается у него подъ носомъ, то проницателенъ до ясновидѣнія, то недальновиденъ до слѣпоты.

Юлія вскочила съ дивана, какъ кошка, и схватила его за руку.

— Что это значитъ? куда вы? спросила она.

— Да ничего, право ничего; ну, мнѣ просто спать хочется: я нынче мало спалъ—вотъ и все.

— Мало спали! какъ же сами сказали давича утромъ, что спали девять часовъ, и что у васъ даже отъ того голова заболѣла?..

Опять нехорошо.

— Ну, голова болитъ... сказалъ онъ, смутившись немного:—оттого и ѣду.

— А послѣ обѣда сказали, что голова прошла.

— Боже мой, какая у васъ память! Это несносно! Ну, мнѣ просто хочется домой.

— Развѣ вамъ здѣсь нехорошо? Что у васъ тамъ, дома?

Она, глядя ему въ глаза, недовѣрчиво покачала головой. Онъ кое-какъ успокоилъ ее и уѣхалъ.

„Что ежели я не поѣду сегодня къ Юліи?“ задалъ себѣ вопросъ Александръ, проснувшись на другой день поутру.

Онъ прошелся раза три по комнатѣ. „Право не поѣду!“ прибавилъ онъ рѣшительно.

— Евсей! одѣваться.—И пошелъ бродить по городу.

„Какъ весело, какъ пріятно гулять одному! думалъ онъ: —пойти—куда хочется, остановиться, прочитать вывѣску, заглянуть въ окно магазина, зайти туда, сюда... очень, очень хорошо! Свобода – великое благо! Да! именно: свобода въ обширномъ, высокомъ смыслѣ, значитъ—гулять одному!“

Онъ постукивалъ тростью по тротуару, весело кланялся съ знакомыми. Проходя по Морской, онъ увидѣлъ въ окнѣ одного дома знакомое лицо. Знакомый приглашалъ его рукой войти. Онъ поглядѣлъ. Ба! да это Дюмэ! и вошелъ, отобѣдалъ, просидѣлъ до вечера, вечеромъ отправился въ театръ, изъ театра ужинать. О домѣ онъ старался не вспоминать: онъ зналъ, что̀ тамъ ждетъ его.

Въ-самомъ-дѣлѣ, по возвращеніи, онъ нашелъ до полдюжины записокъ на столѣ и соннаго лакея въ передней. Слугѣ не велѣно было уходить, не дождавшись его. Въ запискахъ—упреки, допросы и слѣды слезъ. На другой день надо было оправдываться. Онъ отговорился дѣломъ по службѣ. Кое-какъ помирились.

Дня черезъ три, и съ той и съ другой стороны, повторилось то же самое. Потомъ опять и опять. Юлія похудѣла, никуда не выѣзжала и никого не принимала, но молчала, потому-что Александръ сердился за упреки.

Недѣли черезъ двѣ послѣ того, Александръ условился съ пріятелями выбрать день и повеселиться на пропалую; но въ то же утро онъ получилъ записку отъ Юліи, съ просьбой пробыть съ ней цѣлый день и пріѣхать пораньше. Она писала, что она больна, грустна, что нервы ея страдаютъ и т. п. Онъ разсердился, однакожь поѣхалъ предупредить ее, что онъ не можетъ остаться съ ней, что у него много дѣла.

— Да, конечно: обѣдъ у Дюмэ, театръ, катанье на горахъ—очень важныя дѣла... сказала она томно.

*

— Это что значитъ? спросилъ онъ съ досадой:—вы, кажется, присматриваете за мной? я этого не потерплю.

Онъ всталъ и хотѣлъ идти.

— Постойте, послушайте! сказала она:—поговоримте.

— Мнѣ нéкогда.

— Одну минуту: сядьте.

Онъ сѣлъ нéхотя на край стула.

Она, сложивъ руки, безпокойно вглядывалась въ него, какъ-будто старалась прочесть на лицѣ его заранѣе отвѣтъ на то, что ей хотѣлось сказать.

Онъ отъ нетерпѣнія вертѣлся на мѣстѣ.

— Поскорей! мнѣ нéкогда! сказалъ онъ сухо.

Она вздохнула.

— Вы меня ужь не любите? спросила она, слегка качая головой.

— Старая пѣсня! сказалъ онъ, поглаживая шляпу рукавомъ.

— Какъ она вамъ надоѣла! отвѣчала она.

Онъ всталъ и началъ скорыми шагами ходить по комнатѣ. Черезъ минуту послышалось всхлипыванье.

— Этого только не доставало! сказалъ онъ почти съ яростью, остановясь передъ ней:—мало вы мучили меня!..

— Я мучила! воскликнула она и зарыдала сильнѣе.

— Это нестерпимо! сказалъ Александръ, готовясь уйти.

— Ну, не стану, не стану! торопливо заговорила она, отирая слезы: — видите, я не плачу, только не уходите, сядьте.

Она старалась улыбнуться, а слезы такъ и капали на щеки. Александръ почувствовалъ жалость. Онъ сѣлъ и началъ качать ногой. Онъ сталъ задавать себѣ мысленно вопросъ за вопросомъ и дошелъ до заключенія, что онъ охладѣлъ, не любитъ Юлію. А за что? Богъ знаетъ! Она любитъ его съ каждымъ днемъ сильнѣе и сильнѣе; не от-

того ли? Боже мой? какое противорѣчіе! Всѣ условія счастья тутъ. Ничто не препятствуетъ имъ, даже и другое чувство не отвлекаетъ, а онъ охладѣлъ! О, жизнь! Но какъ успокоить Юлію? Пожертвовать собой? влачить съ нею скучные, долгіе дни; притворяться—онъ не умѣетъ, а не притворяться — значитъ видѣть ежеминутно слезы, слышать упреки, мучить ее и себя... Заговорить ей вдругъ о дядиной теоріи измѣнъ и охлажденій—прошу покорнѣйше: она, ничего не видя, плачетъ, а тогда! что дѣлать?

Юлія, видя, что онъ молчитъ, взяла его за руку и поглядѣла ему въ глаза. Онъ медленно отвернулся и тихо высвободилъ свою руку. Онъ не только не чувствовалъ влеченія къ ней, но, отъ прикосновенія ея, по тѣлу его пробѣжала холодная и непріятная дрожь. Она удвоила ласки. Онъ не отвѣчалъ на нихъ и сдѣлался еще холоднѣе, угрюмѣе. Она вдругъ оторвала отъ него свою руку и всныхнула. Въ ней проснулись женская гордость, оскорбленное самолюбіе, стыдъ. Она выпрямила голову, станъ, покраснѣла отъ досады.

— Оставьте меня! сказала она отрывисто!

Онъ проворно пошелъ вонъ, безъ всякаго возраженія. Но когда шумъ шаговъ его сталъ затихать, она бросилась вслѣдъ за нимъ!

— Александръ Ѳедорычъ! Александръ Ѳедорычъ? закричала она.

Онъ воротился.

— Куда же вы?

— Да вѣдь вы велѣли уйти.

— А вы и рады бѣжать. Останьтесь!

— Мнѣ нéкогда!

Она взяла его за руку и—опять полилась нѣжная, пламенная рѣчь, мольбы, слезы. Онъ ни взглядомъ, ни словомъ, ни движеніемъ не обнаружилъ сочувствія,—стоялъ

точно деревянный, переминаясь съ ноги на ногу. Его хладнокровіе вывело ее изъ себя. Посыпались угрозы и упреки. Кто бы узналъ въ ней кроткую, слабонервную женщину? Локоны у ней распустились, глаза горѣли лихорадочнымъ блескомъ, щоки пылали, черты лица странно разложились. „Какъ она нехороша!“ думалъ Александръ, глядя на нее съ гримасой.

— Я отмщу вамъ, говорила она: — вы думаете, что такъ легко можно шутить судьбой женщины? Вкрались въ сердце лестью, притворствомъ, овладѣли мной совершенно, а потомъ кинули, когда я ужь не въ силахъ выбросить васъ изъ памяти... нѣтъ! я васъ не оставлю: я буду васъ всюду преслѣдовать. Вы никуда не уйдете отъ меня: поѣдете въ деревню — и я за вами, за границу—и я туда же, всегда и вездѣ. Я не легко разстанусь съ своимъ счастьемъ. Мнѣ все равно: какова ни будетъ жизнь моя... мнѣ больше нéчего терять; но я отравлю и вашу: я отмщу, отмщу; у меня должна быть соперница! Не можетъ быть, чтобъ вы такъ оставили меня... я найду ее— и посмотрите чтó я сдѣлаю: вы не будете рады и жизни! Съ какимъ бы наслажденіемъ я услыхала теперь о вашей гибели... я бы сама убила васъ!—крикнула она дико, бѣшенно.

„Какъ это глупо! нелѣпо!“ думалъ Александръ, пожимая плечами.

Видя, что Александръ равнодушенъ и къ угрозамъ, она вдругъ перешла въ тихій, грустный тонъ, потомъ молча глядѣла на него.

— Сжальтесь надо мной! заговорила она: — не покидайте меня; что я теперь безъ васъ буду дѣлать? я не вынесу разлуки. Я умру! Подумайте: женщины любятъ иначе, нежели мужчины: нѣжнѣе, сильнѣе. Для нихъ любовь—все, особенно для меня: другія кокетничаютъ, лю-

бять свѣтъ, шумъ, суету; я не привыкла къ этому, у меня другой характеръ. Я люблю тишину, уединеніе, книги, музыку, но васъ болѣе всего на свѣтѣ...

Александръ обнаружилъ нетерпѣніе.

— Ну, хорошо! не любите меня, съ живостію продолжала она: — но исполните ваше обѣщаніе: женитесь на мнѣ, будьте только со мной... вы будете свободны: дѣлайте, что хотите, даже любите, кого хотите, лишь бы я иногда, изрѣдка видѣла васъ... О, ради Бога, сжальтесь, сжальтесь!..

Она заплакала и не могла продолжать. Волненіе истощило ее, она упала на диванъ, закрыла глаза, зубы ея стиснулись, ротъ судорожно искривился. Съ ней сдѣлался истерическій припадокъ. Черезъ часъ она опомнилась, пришла въ себя. Около нея суетилась горничная. Она оглядѣлась кругомъ.—А гдѣ же?... спросила она.

— Они уѣхали!

— Уѣхалъ! уныло повторила она и долго сидѣла молча и неподвижно.

На другой день записка за запиской къ Александру. Онъ не являлся и не давалъ отвѣта. На третій, на четвертый день то же. Юлія написала къ Петру Иванычу, приглашая его къ себѣ по важному дѣлу. Жену его она не любила, потому-что она была молода, хороша и приходилась Александру теткой.

Петръ Иванычъ засталъ ее не шутя больной, чуть не умирающей. Онъ пробылъ у ней часа два, потомъ отправился къ Александру.

— Каковъ притворщикъ, а! сказалъ онъ.

— Что такое? спросилъ Александръ.

— Смотрите, какъ-будто не его дѣло! Не умѣетъ влюбить въ себя женщину, а самъ съ ума сводитъ.

— Я не понимаю, дядюшка...

— Чего тутъ не понимать? понимаешь! Я былъ у Тафаевой: она мнѣ все сказала.

— Какъ! пробормоталъ Александръ въ сильномъ смущеніи.—Все сказала!

— Все. Какъ она любитъ тебя! Счастливецъ! Ну, вотъ ты все плакалъ, что не находишь страсти: вотъ тебѣ и страсть: утѣшься! Она съ ума сходитъ, ревнуетъ, плачетъ, бѣсится... Только зачѣмъ вы меня путаете въ свои дѣла? Вотъ ты женщинъ сталъ навязывать мнѣ на руки. Этого только не доставало: потерялъ цѣлое утро съ ней. Я думалъ, за какимъ тамъ дѣломъ: не имѣніе ли хочетъ заложить въ Опекунскій Совѣтъ... она какъ-то говорила... а вотъ за какимъ: ну, дѣло!

— Зачѣмъ же вы у ней были?

— Она звала, жаловалась на тебя. Въ самомъ дѣлѣ, какъ тебѣ не стыдно такъ неглижировать? четыре дня глазъ не казалъ — шутка ли? Она, бѣдная, умираетъ! Ступай, поѣзжай скорѣе...

— Что жь вы ей сказали?

— Обыкновенно что: что ты также ее любишь безъ ума: что ты давно искалъ нѣжнаго сердца; что тебѣ страхъ какъ нравятся *искреннія изліянія* и безъ любви ты тоже не можешь жить; сказалъ, что напрасно она безпокоится: ты воротишься; совѣтовалъ не очень стѣснять тебя, позволить иногда и пошалить... а то, говорю, вы наскучите другъ другу... ну, обыкновенно, что́ говорится въ такихъ случаяхъ. Она стала такая веселая, проговорилась, что у васъ положено быть свадьбѣ, что и жена моя тутъ вмѣшалась. А мнѣ ни слова—каковы! Ну, что жь: дай Богъ! у этой хоть что-нибудь есть; проживете вдвоемъ. Я сказалъ ей, что ты непремѣнно исполнишь свое обѣщаніе... Я ужь нынче постарался для тебя, Александръ, въ бла-

годарность за услугу, которую ты мнѣ оказалъ... увѣрилъ ее, что ты любишь *такъ пламенно, такъ нѣжно*...

— Что вы надѣлали, дядюшка! заговорилъ Александръ, мѣняясь въ лицѣ: — я... я не люблю ее больше!.. я не хочу жениться!.. Я холоденъ къ ней, какъ ледъ!.. скорѣй въ воду... чѣмъ...

— Ба, ба, ба! сказалъ Петръ Иванычъ съ притворнымъ изумленіемъ:—тебя ли я слышу? Да не ты ли говорилъ—помнишь? что презираешь человѣческую натуру и особенно женскую; что нѣтъ сердца въ мірѣ достойнаго тебя?.. Чтó еще ты говорилъ? дай Богъ память...

— Ради Бога, ни слова, дядюшка: довольно и этого упрека; зачѣмъ еще нравоученіе? Вы думаете, что я такъ не понимаю... О, люди! люди!

Онъ вдругъ началъ хохотать, а съ нимъ и дядя.

— Вотъ такъ-то лучше? сказалъ Петръ Иванычъ: — я говорилъ, что ты самъ будешь смѣяться надъ собою—вотъ оно...

И опять оба захохотали.

— Ну-ка, скажи, продолжалъ Петръ Иванычъ:—какого ты мнѣнія теперь объ этой... какъ ее?.. Пашенька, что ли, съ бородавкой-то?

— Дядюшка, это не великодушно!

— Нѣтъ, я только говорю, чтобъ узнать, все ли ты еще презираешь ее?

— Оставьте это, ради Бога, а лучше помогите мнѣ теперь выйти изъ ужаснаго положеніе. Вы такъ умны, такъ разсудительны...

— А! теперь комплименты, лесть! Нѣтъ, ты женись-ка поди.

— Ни за чтó, дядюшка! Умоляю, помогите!..

— То-то и есть, Александръ: хорошо, что я давно догадался о твоихъ продѣлкахъ...

— Какъ, давно!

— Да такъ: я знаю о твоей связи съ самаго начала.

— Вамъ вѣрно сказала ma tante.

— Какъ не такъ! я ей сказалъ. Чтó тутъ мудренаго? у тебя все на лицѣ было написано. Ну, не тужи: я ужь помогъ тебѣ.

— Какъ? когда?

— Сегодня же утромъ. Не безпокойся: Тафаева больше не станетъ тревожить тебя...

— Какъ же вы сдѣлали? Чтó вы ей сказали?

— Долго повторять, Александръ! скучно.

— Но, можетъ быть, вы Богъ знаетъ чтó наговорили ей. Она ненавидитъ, презираетъ меня...

— Не все ли равно? я успокоилъ ее—этого и довольно; сказалъ, что ты любить не можешь, что не стоитъ о тебѣ и хлопотать...

— Что жь она?

— Она теперь даже рада, что ты оставилъ ее.

— Какъ, рада! сказалъ Александръ задумчиво.

— Такъ, рада.

— Вы не замѣтили въ ней ни сожалѣнія, ни тоски? ей все равно? Это ни на что не похоже!

Онъ началъ въ безпокойствѣ ходить по комнатѣ.

— Рада, покойна! твердилъ онъ:—прошу покорнѣйше! сейчасъ же ѣду къ ней.

— Вотъ люди! замѣтилъ Петръ Иванычъ: — вотъ сердце: живи имъ—хорошо будетъ! Да не ты ли боялся, чтобъ она не прислала за тобой? не ты ли просилъ помочь? а теперь встревожился, что она, разставаясь съ тобой, не умираетъ съ тоски.

— Рада, довольна! говорилъ, ходя взадъ и впередъ, Александръ, и не слушая дяди. А! такъ она не любила меня! ни тоски, ни слезъ. Нѣтъ, я увижу ее.

Петръ Иванычъ пожалъ плечами.

— Воля ваша: я не могу оставить такъ, дядюшка! прибавилъ Александръ, хватаясь за шляпу.

— Ну, такъ поди къ ней опять: тогда и не отвяжешься, а ужь ко мнѣ потомъ не приставай: я не стану вмѣшиваться; и теперь вмѣшался только потому, что самъ же ввелъ тебя въ это положеніе. Ну, полно, что́ еще повѣсилъ носъ?

— Стыдно жить на свѣтѣ!.. сказалъ со вздохомъ Александръ.

— И не заниматься дѣломъ, примолвилъ дядя.—Полно! приходи сегодня къ намъ: за обѣдомъ посмѣемся надъ твоей исторіей, а потомъ прокатаемся на заводъ.

— Какъ я мелокъ, ничтоженъ! говорилъ въ раздумьи Александръ: — нѣтъ у меня сердца! я жалокъ, нищъ духомъ!

— А все отъ любви! прервалъ Петръ Иванычъ.—Какое глупое занятіе: предоставь его какому-нибудь Суркову. А ты дѣльный малый: можешь заняться чѣмъ-нибудь поважнѣе. Полно тебѣ гоняться за женщинами.

— Но вѣдь вы любите же вашу жену?..

— Да, конечно. Я очень къ ней привыкъ, но это не мѣшаетъ мнѣ дѣлать свое дѣло. Ну, прощай же, приходи.

Александръ сидѣлъ смущенный, угрюмый. Къ нему подкрался Евсей съ сапогомъ, въ который опустилъ руку.

— Извольте-ка посмотрѣть, сударь, сказалъ онъ умильно:—какая вакса-то: вычистишь, словно зеркало, а всего четвертакъ сто́итъ.

Александръ очнулся, посмотрѣлъ машинально на сапогъ, потомъ на Евсея.

— Пошелъ вонъ! сказалъ онъ:—ты дуракъ!

— Въ деревню бы послать... началъ опять Евсей.

— Пошелъ, говорю тебѣ, пошелъ! закричалъ Александръ, почти плача: — ты измучилъ меня, ты своими сапогами сведешь меня въ могилу... ты... варваръ!

Евсей проворно убрался въ переднюю.

IV.

— Отчего это Александръ не ходитъ къ намъ? я его мѣсяца три не видалъ, спросилъ однажды Петръ Иванычъ у жены, воротясь откуда-то домой.

— Я ужь потеряла надежду когда-нибудь увидѣться съ нимъ, отвѣчала она.

— Да чтó съ нимъ. Опять влюбленъ, что ли?

— Не знаю.

— Онъ здоровъ?

— Здоровъ.

— Напиши, пожалуйста, къ нему, мнѣ нужно поговорить съ нимъ. У нихъ опять перемѣны въ службѣ, а онъ, я думаю, и не знаетъ. Не понимаю, чтó за безпечность.

— Я ужь десять разъ писала, звала. Онъ говоритъ, что некогда, а самъ играетъ съ какими-то чудаками въ шашки или удитъ рыбу. Поди ты лучше самъ: ты бы узналъ, чтó съ нимъ.

— Нѣтъ, не хочется. Послать человѣка.

— Александръ не пойдетъ.

— Попробуемъ.

Послали. Человѣкъ вскорѣ воротился.

— Ну что, онъ дома? спросилъ Петръ Иванычъ.

— Дома-съ. Кланяться приказали.

— Чтó онъ дѣлаетъ?

— Лежатъ на диванѣ.

— Какъ, объ эту пору?

— Они, слышь, всегда лежатъ.

— Да что жь онъ, спитъ?

— Никакъ нѣтъ-съ. Я самъ сначала думалъ, что почиваютъ, да глазки-то у нихъ открыты: на потолокъ изволятъ смотрѣть.

Петръ Иванычъ пожалъ плечами.

— Онъ придетъ сюда? спросилъ онъ.

— Никакъ нѣтъ-съ. „Кланяйся, говоритъ, доложи дяденькѣ, чтобъ извинили: не такъ, дескать, здоровъ“; и вамъ, сударыня, кланяться приказали.

— Что еще тамъ съ нимъ? Это удивительно, право! Вѣдь уродится же этакой! Не вели откладывать кареты. Нечего дѣлать, съѣзжу. Но ужь право въ послѣдній разъ.

И Петръ Иванычъ засталъ Александра на диванѣ. Онъ, при входѣ дяди, привсталъ и сѣлъ.

— Ты нездоровъ? спросилъ Петръ Иванычъ.

— Такъ... отвѣчалъ Александръ, зѣвая.

— Что же ты дѣлаешь?

— Ничего.

— И ты можешь пробыть безъ дѣла?

— Могу.

— Я слышалъ, Александръ, сегодня, что будто у васъ Ивановъ выходитъ.

— Да, выходитъ.

— Кто жь на его мѣсто?

— Говорятъ, Иченко.

— А ты что?

— Я? ничего.

— Какъ ничего? Отчего же не ты?

— Не удостоиваютъ. Что жь дѣлать: вѣрно не гожусь.

— Помилуй, Александръ, надо хлопотать. Ты бы съѣздилъ къ директору.

— Нѣтъ, сказалъ Александръ, тряся головой.

— Тебѣ, повидимому, все равно?

— Все равно.

— Да вѣдь ужь тебя въ третій разъ обходятъ.

— Все равно: пусть!

— Вотъ посмотримъ, что-то скажешь, когда твой бывшій подчиненный станетъ приказывать тебѣ, или когда войдетъ, а тебѣ надо встать и поклониться.

— Что жь: встану и поклонюсь.

— А самолюбіе?

— У меня его нѣтъ.

— Однакожь, у тебя есть же какіе-нибудь интересы въ жизни?

— Никакихъ. Были да прошли.

— Не можетъ быть: одни интересы смѣняются другими. Отчегожь у тебя прошли, а у другихъ не проходятъ? Рано бы, кажется: тебѣ еще и тридцати лѣтъ нѣтъ...

Александръ пожалъ плечами.

Петру Иванычу ужь и не хотѣлось продолжать этого разговора. Онъ называлъ все это капризами; но онъ зналъ, что, по возвращеніи домой, ему не избѣжать вопросовъ жены, и оттого нехотя продолжалъ:

— Ты бы развлекся чѣмъ-нибудь, посѣщалъ бы общество, сказалъ онъ:—читалъ бы.

— Не хочется, дядюшка.

— Про тебя ужь начинаютъ поговаривать, что ты того... этакъ... тронулся отъ любви, дѣлаешь Богъ знаетъ что̀, водишься съ какими-то чудаками... Я бы для одного этого пошелъ.

— Пусть ихъ говорятъ, что̀ хотятъ.

— Послушай, Александръ, шутки въ сторону. Это все мелочи; можешь кланяться или не кланяться, посѣщать общество, или нѣтъ—дѣло не въ томъ. Но вспомни, что тебѣ, какъ и всякому, надо сдѣлать какую-нибудь карьеру. Думаешь ли ты иногда объ этомъ?

— Какъ же не думаю: я ужь сдѣлалъ.

— Какъ такъ?

— Я очертилъ себѣ кругъ дѣйствія и не хочу выходить изъ этой черты. Тутъ я хозяинъ: вотъ моя карьера.

— Это лѣнь.

— Можетъ быть.

— Ты не въ правѣ лежать на боку, когда можешь дѣлать что-нибудь, пока есть силы. Сдѣлано ли твое дѣло?

— Я дѣлаю дѣло. Никто не упрекнетъ меня въ праздности. Утро я занятъ въ службѣ, а трудиться сверхъ того —это роскошь, произвольная обязанность. Зачѣмъ я буду хлопотать?

— Всѣ хлопочутъ изъ чего нибудь: иной потому, что считаетъ своимъ долгомъ дѣлать сколько есть силъ, другой изъ денегъ, третій изъ почета... Ты что́ за исключеніе?

— Почетъ, деньги! особенно деньги! Зачѣмъ онѣ? Вѣдь я сытъ, одѣтъ: на это станетъ.

— И одѣтъ-то теперь плохо, замѣтилъ дядя.—Да будто тебѣ только и надобно?

— Только.

— А роскошь умственныхъ и душевныхъ наслажденій, а искусство... началъ было Петръ Иванычъ, поддѣлываясь подъ тонъ Александра. — Ты можешь идти впередъ: твое назначеніе выше; долгъ твой призываетъ тебя къ благородному труду... А стремленія къ высокому—забылъ?

— Богъ съ ними! Богъ съ ними! сказалъ съ безпокойствомъ Александръ. — И вы, дядюшка, начали дико говорить! Этого прежде не водилось за вами. Не для меня ли? Напрасный трудъ! Я стремился выше—вы помните? Что жь вышло?

— Помню, какъ ты вдругъ съ разу въ министры захотѣлъ, а потомъ въ писатели. А какъ увидалъ, что къ высокому званію ведетъ длинная и трудная дорога, а для писа-

теля нуженъ талантъ, такъ и назадъ. Много вашей братьи пріѣзжаетъ сюда съ высшими взглядами, а дѣла своего пòдъ носомъ не видитъ. Какъ понадобится бумагу написать—смотришь, и того... Я не про тебя говорю: ты доказалъ, что можешь заниматься, а со временемъ и быть чѣмъ нибудь. Да скучно, долго ждать. Мы вдругъ хотимъ; не удалось—и носъ повѣсили.

— Да я стремиться выше не хочу. Я хочу такъ остаться, какъ есть: развѣ я не въ правѣ избрать себѣ занятіе, ниже ли оно моихъ способностей, или нѣтъ—что нужды? если я дѣлаю дѣло добросовѣстно—я исполняю свой долгъ. Пусть упрекаютъ меня въ неспособности къ высшему: меня нисколько не огорчило бы, если бъ это была и правда. Сами же вы говорили, что есть поэзія въ скромномъ удѣлѣ, а теперь упрекаете, что я избралъ скромнѣйшій. Кто мнѣ запретитъ сойти нѣсколькими ступенями ниже и стать на той, которая мнѣ нравится? Я не хочу высшаго назначенія—слышите ли, не хочу?...

— Слышу! я не глухъ, только все это жалкіе софизмы.

— Нужды нѣтъ. Вотъ я нашелъ себѣ мѣсто и буду сидѣть на немъ вѣкъ. Нашелъ простыхъ, незатѣйливыхъ людей, нужды нѣтъ, что ограниченныхъ умомъ, играю съ ними въ шашки и ужу рыбу — и прекрасно! Пусть я по вашему буду наказанъ за это, пусть лишусь наградъ, денегъ, почета, значенія — всего, чтò такъ льститъ вамъ. Я навсегда отказываюсь...

— Ты, Александръ, хочешь притвориться покойнымъ и равнодушнымъ ко всему, а въ твоихъ словахъ такъ и кипитъ досада: ты и говоришь, какъ будто не словами, слезами. Много жолчи въ тебѣ: ты не знаешь на кого излить ее, потому-что виноватъ только самъ.

— Пусть! сказалъ Александръ.

— Что жь ты хочешь? Человѣкъ долженъ же хотѣть чего нибудь?

— Хочу, чтобъ мнѣ не мѣшали быть въ моей темной сферѣ, не хлопотать ни о чемъ и быть покойнымъ.

— Да развѣ это жизнь?

— А по моему та жизнь, которою вы живете, не жизнь: стало быть, и я правъ.

— Тебѣ бы хотѣлось передѣлать жизнь по своему: я воображаю, хороша была бы. У тебя, я думаю, среди розовыхъ кустовъ, гуляли бы все попарно любовники да друзья...

Александръ ничего не сказалъ.

Петръ Иванычъ молча глядѣлъ на него. Онъ опять похудѣлъ. Глаза впали. На щекахъ и лбу появились преждевременныя складки.

Дядя испугался. Душевнымъ страданіямъ онъ мало вѣрилъ, но боялся, не кроется ли подъ этимъ уныніемъ начало какого-нибудь физическаго недуга. „Пожалуй, думалъ онъ, малый рехнется, а тамъ поди раздѣлывайся съ матерью: то-то заведется переписка! того гляди, еще прикатитъ сюда“.

— Да ты, Александръ, разочарованный, я вижу, сказалъ онъ.

„Какъ бы, думалъ онъ повернуть его назадъ, къ его любимымъ идеямъ. Постой-ка, я прикинусь...“

— Послушай, Александръ, сказалъ онъ: — ты очень опустился. Стряхни съ себя эту апатію. Нехорошо! И отчего? Ты, можетъ быть, принялъ слишкомъ горячо къ сердцу, что я иногда небрежно отзывался о любви, о дружбѣ. Вѣдь это я дѣлалъ шутя, больше для того, чтобъ умѣрить въ тебѣ восторженность, которая въ нашъ положительный вѣкъ какъ-то неумѣстна, особенно здѣсь, въ Петербургѣ, гдѣ все уравнено, какъ моды, такъ и страсти,

и дѣла, и удовольствія, все взвѣшено, узнано, оцѣнено... всему назначены границы. Зачѣмъ одному отступать наружно отъ этого общаго порядка? Неужели же ты въ самомъ дѣлѣ думаешь, что я безчувственный, что я не признаю любви? Любовь — чувство прекрасное: нѣтъ ничего святѣе союза двухъ сердецъ, или дружба, напримѣръ... Я внутренно убѣжденъ, что чувство должно быть постоянно, вѣчно...

Александръ засмѣялся.

— Что ты? спросилъ Петръ Иванычъ.

— Дико, дико говорите, дядюшка. Не прикажете ли сигару? закуримъ: вы будете продолжать говорить, а я послушаю.

— Да что съ тобой?

— Такъ, ничего. Вздумали поддѣть меня! А называли когда-то неглупымъ человѣкомъ! хотите играть мной, какъ мячикомъ—это обидно! Не вѣкъ же быть юношей. Къ чему нибудь да пригодилась школа, которую я прошелъ. Какъ вы пустились ораторствовать! будто у меня нѣтъ глазъ? Вы только устроили фокусъ, а я смотрѣлъ.

„Не за свое дѣло взялся, подумалъ Петръ Иванычъ:— къ женѣ послать.“

— Приходи къ намъ, сказалъ онъ:—жена очень хочетъ видѣть тебя.

— Не могу, дядюшка.

— Хорошо ли ты дѣлаешь, что забываешь ее?

— Можетъ быть, очень дурно, но ради Бога извините меня и теперь не ждите. Погодите еще нѣсколько времени, приду.

— Ну, какъ хочешь, сказалъ Петръ Иванычъ. Онъ махнулъ рукой и поѣхалъ домой.

Онъ сказалъ женѣ, что отступается отъ Александра, что

какъ онъ хочетъ, такъ пусть и дѣлаетъ, а онъ, Петръ Иванычъ, сдѣлалъ все, что могъ, и теперь умываетъ руки.

Александръ, бѣжавъ Юліи, бросился въ вихрь шумныхъ радостей. Онъ твердилъ стихи извѣстнаго нашего поэта:

Пойдемъ туда, гдѣ дышетъ радость,
Гдѣ шумный вихрь забавъ шумитъ,
Гдѣ не живутъ, но тратятъ жизнь и младость!
Среди веселыхъ игръ за радостнымъ столомъ,
На часъ упившись счастьемъ ложнымъ,
Я пріучусь къ мечтамъ ничтожнымъ
Съ судьбою примирюсь виномъ.
Я сердца усмирю заботы
Я думамъ не велю летать;
Небесъ на тихое сіянье
Я не велю глазамъ своимъ взирать и проч.

Явилась семья друзей и съ ними неизбѣжная *чаша*. Друзья созерцали лики свои въ пѣнистой влагѣ, потомъ въ лакированныхъ сапогахъ. „Прочь горе восклицали они, ликуя: прочь заботы! Истратимъ, уничтожимъ, испепелимъ, выпьемъ жизнь и молодость! Ура!“ Стаканы и бутылки съ трескомъ летѣли на полъ.

На нѣкоторое время свобода, шумныя сборища, безпечная жизнь заставили его забыть Юлію и тоску. Но все одно да одно, обѣды у ресторатёровъ, тѣ же лица съ мутными глазами; ежедневно все тотъ же глупый и пьяный бредъ собесѣдниковъ и, въ добавокъ къ этому, еще постоянно разстроенный желудокъ: нѣтъ, это не по немъ. Слабый организмъ тѣла и душа Александра, настроенная на грустный, элегическій тонъ, не вынесли этихъ забавъ.

Онъ бѣжалъ *веселыхъ игръ за радостнымъ столомъ* и очутился одинъ въ своей комнатѣ, наединѣ съ собой, съ забытыми книгами. Но книга вываливалась изъ рукъ, перо не слушалось вдохновенія. Шиллеръ, Гёте, Байронъ являли ему мрачную сторону человѣчества—свѣтлой онъ не замѣчалъ: ему было не до нея.

*

А какъ счастливъ бывалъ онъ въ этой комнатѣ нѣкогда! онъ былъ не одинъ: около него присутствовалъ тогда прекрасный призракъ и осѣнялъ его днемъ за заботливымъ трудомъ, ночью бодрствовалъ надъ его изголовьемъ. Тамъ жили съ нимъ тогда мечты, будущее было одѣто туманомъ, но не тяжелымъ, предвѣщающимъ ненастье, а утреннимъ, скрывающимъ свѣтлую зарю. За тѣмъ туманомъ таилось что-то, вѣроятно—счастье... А теперь? не только его комната, для него опустѣлъ цѣлый міръ, и въ немъ самомъ холодъ, тоска...

Вглядываясь въ жизнь, вопрошая сердце, голову, онъ съ ужасомъ видѣлъ, что ни тамъ, ни сямъ не осталось ни одной мечты, ни одной розовой надежды: все уже было назади; туманъ разсѣялся; передъ нимъ разостлалась, какъ степь, голая дѣйствительность. Боже! какое необозримое пространство! какой скучный, безотрадный видъ! Прошлое погибло, будущее уничтожено, счастья нѣтъ: все химера—а живи!

Чего онъ хотѣлъ, и самъ не зналъ; а какъ многаго не хотѣлъ!

Голова его была какъ-будто въ туманѣ. Онъ не спалъ, но былъ, казалось, въ забытьи. Тяжелыя мысли безконечной вереницей тянулись въ головѣ. Онъ думалъ:

„Что могло увлечь его? Плѣнительныхъ надеждъ, безпечности—нѣтъ! онъ зналъ все, что впереди. Почетъ, стремленіе по пути честей? Да что ему въ нихъ. Стоитъ ли, для какихъ-нибудь двадцати, тридцати лѣтъ, биться какъ рыба объ ледъ? И грѣетъ ли это сердце? Отрадно ли душѣ, когда тебѣ нѣсколько человѣкъ поклонятся низко, а сами подумаютъ, можетъ быть: „чортъ бы тебя взялъ!“

Любовь? Да, вотъ еще! Онъ знаетъ ее наизусть, да и потерялъ уже способность любить. А услужливая память, какъ на смѣхъ, напоминала ему Надиньку, но не невин-

ную, простодушную Надиньку—этого она никогда не напоминала—а непремѣнно Надиньку—измѣнницу, со всею обстановкой, съ деревьями, съ дорожкой, съ цвѣтами, и среди всего этотъ змѣенокъ, съ знакомой ему улыбкой, съ краской нѣги и стыда... и все для другаго, не для него!.. Онъ со стономъ хватался за сердце.

„Дружба, подумалъ онъ:—другая глупость! Все извѣдано, новаго ничего нѣтъ, старое не повторится, а живи!"

Онъ никому и ничему не вѣрилъ, не забывался въ наслажденіи; вкушалъ его, какъ человѣкъ безъ аппетита вкушаетъ лакомое блюдо, холодно, зная, что за этимъ наступитъ скука, что наполнить душевной пустоты ничѣмъ нельзя. Ввѣриться чувству—оно обманетъ и только взволнуетъ душу и прибавитъ еще нѣсколько ранъ къ прежнимъ. Глядя на людей, связанныхъ любовью непомнящихъ себя отъ восторга, онъ улыбался иронически и думалъ: „погодите, опомнитесь; послѣ первыхъ радостей начнется ревность, сцены примиренія, слезы. Живучи вмѣстѣ, надоѣдите другъ другу смертельно, а разстанетесь — вдвое заплачете. Сойдетесь опять — еще хуже. Сумасшедшіе! безпрерывно ссорятся, дуются другъ на друга, ревнуютъ, потомъ мирятся на минуту, чтобъ сильнѣе поссориться: это у нихъ любовь, преданность! а всѣ вмѣстѣ, съ пѣной на устахъ, иногда со слезами отчаянія на глазахъ, упрямо называютъ *счастьемъ*! А дружба ваша... *брось-ка кость*, такъ *что твои собаки*!"

Желать онъ боялся, зная, что часто, въ моментъ достиженія желаемаго, судьба вырветъ изъ рукъ счастье и предложитъ совсѣмъ другое, чего вовсе не хочешь — такъ, дрянь какую-нибудь; а если наконецъ и дастъ желаемое, то прежде измучитъ, истомитъ, унизитъ въ собственныхъ глазахъ и потомъ броситъ, какъ бросаютъ подачку собакѣ, заставивши ее прежде проползти до лакомаго куска, смот-

рѣть на него, держать на носу, заваляться въ пыли, стоять на заднихъ лапахъ, и тогда—пиль!

Его пугалъ и періодическій приливъ счастья и несчастья въ жизни. Радостей онъ не предвидѣлъ, а горе все непремѣнно впереди, его не избѣжишь: всѣ подвержены общему закону; всѣмъ, какъ казалось ему, отпущена ровная доля и счастья и несчастья. Счастье для него кончилось, и какое счастье? фантасмагорія, обманъ. Только горе реально, а оно впереди. Тамъ и болѣзни, и старость, и разныя утраты, можетъ быть, еще нужда... Всѣ эти *удары рока*, какъ говоритъ деревенская тетушка, стерегутъ его; а отрады какія? Высокое поэтическое назначеніе измѣнило; на него наваливаютъ тяжкую ношу и называютъ это долгомъ! Остаются жалкія блага—деньги, комфортъ, чины... Богъ съ ними! О, какъ грустно раздѣлять жизнь, понять, какова она, и не понять, зачѣмъ она!

Такъ хандрилъ онъ и не видѣлъ исхода изъ омута этихъ сомнѣній. Опыты только понапрасну измяли его, а здоровья не подбавили въ жизнь, не очистили воздуха въ ней и не дали свѣта. Онъ не зналъ, что дѣлать: ворочался съ боку на бокъ на диванѣ, сталъ перебирать въ умѣ знакомыхъ—и пуще затосковалъ. Одинъ служитъ отлично, пользуется почетомъ, извѣстностью, какъ хорошій администраторъ; другой обзавелся семьей и предпочитаетъ тихую жизнь всѣмъ суетнымъ благамъ міра, никому не завидуя, ничего не желая; третій... да что? всѣ, всѣ какъ-то пристроились, основались и идутъ по своему ясному и угаданному пути. „Одинъ я только... да что же я такое?“

Тутъ онъ сталъ допытываться у самого себя: могъ ли бы онъ быть администраторомъ, какимъ-нибудь командиромъ эскадрона? могъ ли бы довольствоваться семейною жизнью? и увидѣлъ, что ни то, ни другое, ни третье не удовлетворило бы его. Какой то бѣсенокъ все шевелился въ немъ,

все шепталъ ему, что это мелко для него, что ему бы летать выше... а гдѣ и какъ—онъ не могъ рѣшить. Въ авторствѣ онъ ошибся. Что же дѣлать, что начать? спрашивалъ онъ себя, и не зналъ, что отвѣчать. А досада такъ и грызла его: ну, хоть пожалуй администраторомъ или эскадроннымъ командиромъ... да нѣтъ: время ушло, надо начинать съ азбуки.

Отчаяніе выдавило у него слезы изъ глазъ,—слезы досады, зависти, недоброжелательства ко всѣмъ, самыя мучительныя слезы. Онъ горько каялся, что не послушалъ матери и бѣжалъ изъ глуши.

„Маменька сердцемъ чуяла отдаленное горе, думалъ онъ:—тамъ эти безпокойные порывы спали бы непробуднымъ сномъ; тамъ не было бы бурнаго броженія этой сложной жизни. Между-тѣмъ и тамъ посѣтили бы меня всѣ человѣческія чувства и страсти: и самолюбіе, и гордость, и честолюбіе—все, въ маломъ размѣрѣ, коснулось бы сердца въ тѣсныхъ границахъ нашего уѣзда—и все бы удовлетворилось. Первый въ уѣздѣ! да! все условно. Божественная искра небеснаго огня, который, болѣе или менѣе, горитъ во всѣхъ насъ, сверкнула бы тамъ незамѣтно во мнѣ и скоро потухла бы въ праздной жизни, или зажглась бы въ привязанности къ женѣ и дѣтямъ. Существованіе не было бы отравлено. Я прошелъ бы гордо свое назначеніе: путь жизни былъ бы тихъ, казался бы и простъ и понятенъ мнѣ, жизнь была бы по силамъ, я бы вынесъ борьбу съ ней... А любовь? Она цвѣла бы пышнымъ цвѣтомъ и наполнила бы всю жизнь мою. Софья полюбила бы меня въ тишинѣ. Я не терялъ бы вѣры ни во что, рвалъ бы однѣ розы, не зная шиповъ, не испытывая даже ревности, за недостаткомъ — соперничества! Зачѣмъ же такъ сильно и слѣпо влекло меня въ даль, въ туманъ, на неровную и неизвѣстную борьбу съ судьбой? А какъ прекрасно понималъ

я тогда и жизнь и людей! такъ понималъ бы ихъ еще и теперь, ничего не понимая. Я ждалъ тогда отъ жизни такъ много и, неразсмотрѣвъ ее пристально, ждалъ бы тамъ отъ нея чего-нибудь еще и до сихъ поръ. Сколько сокровищъ открылъ я въ душѣ своей: куда они дѣлись? Я пустилъ ихъ въ размѣнъ по свѣту, я отдалъ искренность сердца, первую завѣтную страсть—и что получилъ? горькое разочарованіе, узналъ, что все обманъ, все непрочно, что нельзя надѣяться ни на себя, ни на другихъ—и сталъ бояться и другихъ и себя... Я не могъ, среди этого анализа, признать мелочей жизни и быть ими доволенъ, какъ дядюшка и многіе другіе... И вотъ теперь!..

Теперь онъ желалъ только одного: забвеніе прошедшаго, спокойствіе, сна души. Онъ охлаждался болѣе и болѣе къ жизни, на все смотрѣлъ сонными глазами. Въ толпѣ людской, въ шумѣ собраній онъ находилъ скуку, бѣжалъ отъ нихъ, а скука за нимъ.

Онъ удивлялся, какъ могутъ люди веселиться, безпрестанно заниматься чѣмъ нибудь, увлекаться каждый день новыми интересами. Ему странно казалось, какъ это всѣ не ходятъ сонные, какъ онъ, не плачутъ, и вмѣсто того, чтобъ болтать о погодѣ, не говорятъ о тоскѣ и взаимныхъ страданіяхъ, а если и говорятъ, такъ о тоскѣ въ ногахъ или въ другомъ мѣстѣ, о ревматизмѣ или геморроѣ. Одно тѣло наводитъ на нихъ заботу, а души и въ поминѣ нѣтъ! „Пустые, ничтожные люди, животныя!“ думалъ онъ. А иногда-таки впадалъ въ глубокое раздумье. „Ихъ такъ много, этихъ ничтожныхъ людей, говорилъ онъ себѣ съ нѣкоторымъ безпокойствомъ:—а я одинъ: неужели... всѣ они... пусты... неправы... а я?..

Тутъ ему казалось, что чуть ли не онъ одинъ виноватъ, и онъ дѣлался отъ этого еще несчастнѣе.

Со старыми знакомыми онъ пересталъ видѣться; прибли-

женіе новаго лица обдавало его холодомъ. Послѣ разговора съ дядей, онъ еще глубже утонулъ въ апатическомъ снѣ: душа его погрузилась въ совершенную дремоту. Онъ предался какому-то истуканному равнодушію, жилъ праздно, упрямо удалялся отъ всего, что̀ только напоминало образованный міръ.

„Какъ бы ни прожить, лишь бы прожить! говорилъ онъ: —всякій воленъ понимать жизнь, какъ хочетъ; а тамъ, какъ умрешь...“

Онъ искалъ бесѣды людей съ желчнымъ, озлобленнымъ умомъ, съ ожесточеннымъ сердцемъ, и отводилъ душу, слушая злыя насмѣшки надъ судьбой; или проводилъ время съ людьми, неравными ему ни по уму, ни по воспитанію, всего чаще со старикомъ Костяковымъ, съ которымъ Заѣзжаловъ хотѣлъ познакомить Петра Иваныча.

Костяковъ жилъ на Пескахъ и ходилъ по своей улицѣ въ лакированномъ картузѣ, въ халатѣ, подпоясавшись носовымъ платкомъ. У него жила кухарка, съ которой онъ игралъ по вечерамъ въ свои козыри. Если случался пожаръ, онъ являлся первый и уходилъ послѣдній. Проходя мимо церкви, въ которой отпѣвали покойника, онъ продирался сквозь толпу взглянуть мертвому въ лицо и потомъ шелъ провожать его на кладбище. Вообще онъ былъ страстный любитель всякихъ церемоній, и веселыхъ, и печальныхъ; любилъ также присутствовать при разныхъ экстраординарныхъ происшествіяхъ, какъ-то: дракахъ, несчастныхъ смертныхъ случаяхъ, провалавъ потолковъ и т. п., и читалъ съ особеннымъ наслажденіемъ исчисленіе подобныхъ случаевъ въ газетахъ. Читалъ онъ, кромѣ этого, еще медицинскія книги, „для того, говорилъ онъ, чтобъ знать, что въ человѣкѣ есть“. Зимой Александръ игралъ съ нимъ въ шашки, а лѣтомъ за городомъ удилъ рыбу. Старикъ разговаривалъ о томъ, о сёмъ. Когда шли къ

полю, онъ говорилъ о хлѣбѣ, о посѣвѣ; по берегу—о рыбѣ, о судоходствѣ; по улицѣ — дѣлалъ замѣчанія о домахъ, о постройкѣ, о матеріалахъ и доходахъ... отвлеченностей никакихъ. На жизнь смотрѣлъ, какъ на хорошую вещь, когда есть деньги, и наоборотъ. Такой человѣкъ былъ неопасенъ Александру и душевныхъ волненій пробудить не могъ.

Александръ также усердно старался умертвить въ себѣ духовное начало, какъ отшельники стараются объ умерщвленіи плоти. На службѣ онъ былъ молчаливъ, при встрѣчѣ съ знакомыми отдѣлывался двумя, тремя словами и, отговариваясь недосугомъ, бѣжалъ прочь. За то съ своимъ пріятелемъ Костяковымъ онъ видѣлся каждый день. То старикъ сидитъ у него цѣлый день, то зазоветъ къ себѣ Адуева на щи. Ужь онъ выучилъ Александра дѣлать настойку, варить селянку и рубцы. Потомъ они отправляются вмѣстѣ куда-нибудь въ окрестную деревню—въ поле. У Костякова вездѣ было много знакомыхъ. Съ мужиками онъ разсуждалъ о ихъ житьѣ-бытьѣ, съ бабами шутилъ — и точно былъ балагуръ, какъ рекомендовалъ его Заѣзжаловъ. Александръ предоставлялъ ему полную волю говорить, а самъ большею частью молчалъ.

Онъ уже чувствовалъ, что идеи покинутаго міра посѣщали его рѣже, вращаясь въ головѣ медленнѣе и, не находя въ окружающемъ ни отраженія, ни сопротивленія, не сходили па языкъ и умирали не плодясь. Въ душѣ было дико и пусто, какъ въ заглохшемъ саду. Ему оставалось ужь не много до состоянія совершенной одервенѣлости. Еще нѣсколько мѣсяцевъ—и прощай! Но вотъ что случилось.

Однажды Александръ съ Костяковымъ удили рыбу. Костяковъ, въ архалукѣ, въ кожаной фуражкѣ, водрузивъ берегу нѣсколько удочекъ разной величины, и донныхъ,

и съ поплавками, съ бубенчиками и съ колокольчиками, курилъ изъ коротенькой трубки, а самъ наблюдалъ, не смѣя мигнуть, за всей этой батареей удочекъ, въ томъ числѣ и за удочкой Адуева, потому-что Александръ стоялъ, прислонясь къ дереву, и смотрѣлъ въ другую сторону. Долго такъ стояли они молча.

— У васъ клюётъ, смотрите, Александръ Ѳедорычъ! вдругъ шопотомъ сказалъ Костяковъ.

Адуевъ посмотрѣлъ на воду и опять отвернулся.

— Нѣтъ, это такъ показалось вамъ отъ зыби, сказалъ онъ.

— Смотрите, смотрите! закричалъ Костяковъ:—клюётъ, ей-Богу, клюётъ! ай, ай! тащите, тащите! держите!

Въ самомъ дѣлѣ, поплавокъ нырнулъ въ воду, лѣса проворно побѣжала за нимъ же, за лѣсой поползла и палка съ куста. Александръ ухватился за палку, потомъ за лѣсу.

— Тише, полегоньку, не такъ... что вы это? кричалъ Костяковъ, проворно перехватывая лѣсу.—Батюшки! тяжесть какая! не дергайте: водите, водите, а то оборветъ. Вотъ такъ, направо, налѣво, сюда, къ берегу! Отходите! дальше; теперь тащите, тащите, только не вдругъ; вотъ такъ, вотъ такъ.

На поверхности воды показалась огромная щука. Она быстро свилась кольцомъ, сверкнувъ серебристой чешуей, хлестнула хвостомъ направо, налѣво и обдала ихъ обоихъ брызгами. Костяковъ поблѣднѣлъ.

— Какая щука-то! закричалъ онъ почти съ испугомъ и распростерся надъ водой, падалъ, спотыкался о свои удочки и ловилъ обѣими руками вертѣвшуюся надъ водой щуку.— Ну, на берегъ, на берегъ, туда, дальше! тамъ ужъ наша будетъ, какъ ни вертись. Вишь какъ скользитъ: словно бѣсъ! Ахъ, какая!

„Ахъ!“ кто-то повторилъ сзади.

Александръ обернулся. Въ двухъ шагахъ отъ нихъ стоялъ старикъ, подъ руку съ нимъ хорошенькая дѣвушка, высокаго роста, съ открытой головой и съ зонтикомъ въ рукахъ. Брови у ней слегка нахмурились. Она немного нагнулась впередъ и съ сильнымъ участіемъ слѣдила глазами за каждымъ движеніемъ Костякова. Она даже не замѣтила Александра.

Адуева смутило это неожиданное явленіе. Онъ выпустилъ изъ рукъ палку, щука бухнулась въ воду, граціозно вильнула хвостомъ и умчалась въ глубь, увлекая за собой лѣсу. Все это сдѣлалось въ одно мгновеніе.

— Александръ Ѳедорычъ! что вы это? какъ бѣшеный закричалъ Костяковъ и началъ хватать лѣсу. Онъ дернулъ ее и вытащилъ только конецъ, но безъ крючка и безъ щуки.

Онъ, весь блѣдный, оборотился къ Александру, показывая ему конецъ лѣсы, и съ яростью посмотрѣлъ на него съ минуту молча, потомъ плюнулъ.

— Никогда не пойду съ вами рыбу ловить, будь я анаѳема! промолвилъ онъ и отошелъ къ своимъ удочкамъ.

Въ это время дѣвушка замѣтила, что Александръ смотритъ на нее, покраснѣла и отступила назадъ. Старикъ, по видимому ея отецъ, поклонился Адуеву. Адуевъ угрюмо отвѣчалъ на поклонъ, бросилъ удочку и сѣлъ шагахъ въ десяти оттуда на скамью подъ деревомъ.

„И тутъ покоя нѣтъ! думалъ онъ. — Вотъ какой-то Эдипъ съ Антигоной. Опять женщина! Никуда не уйдешь. Боже мой! какая ихъ пропасть вездѣ!“

— Эхъ, вы, рыболовы! говорилъ, между тѣмъ, Костяковъ, поправляя свои удочки и поглядывая по временамъ злобно на Александра:—куда вамъ рыбу ловить! ловили бы вы мышей, сидя тамъ у себя, на диванѣ: а то рыбу ловить! Гдѣ ужь ловить, коли изъ рукъ ушла? чуть во рту не

была, только-что не жареная! Диво еще, какъ у васъ съ тарелки не уходитъ!

— А естъ клёвъ? спросилъ старикъ.

— Да, вотъ видите, отвѣчалъ Костяковъ:—вонъ у меня на шести удочкахъ хоть бы поганый ершишка насмѣхъ клюнулъ: а тамъ объ эту пору,—диви бы на донную,—а то съ поплавкомъ, вонъ что привалило: щука фунтовъ въ десять, да и тутъ прозѣвали. Вотъ, говорятъ, на ловца звѣрь бѣжитъ! Какъ не такъ: сорвись-ка у меня, такъ я бы ее въ водѣ досталъ; а тутъ щука сама въ зубы лѣзетъ, а мы спимъ... а еще рыболовы называются! Какіе это рыболовы! этакіе ли рыболовы бываютъ? Нѣтъ, настоящій-то рыболовъ, хоть изъ пушки рядомъ пали, не смигнетъ. А то это рыболовы! Куда вамъ рыбу ловить!

Дѣвушка, между тѣмъ, успѣла разглядѣть, что Александръ былъ совсѣмъ другаго рода человѣкъ, нежели Костяковъ. И костюмъ Александра былъ не такой, какъ Костякова, и талія, и лѣта, и манеры, да и все. Она быстро замѣтила въ немъ признаки воспитанія, на лицѣ прочла мысль; отъ нея не ускользнулъ даже и оттѣнокъ грусти.

„Но что жь онъ убѣжалъ! подумала она.—Странно, кажется, я не такая, чтобъ бѣгать отъ меня...“

Она гордо выпрямилась, опустила рѣсницы, потомъ подняла ихъ и неблагосклонно взглянула на Александра.

Ей ужь было досадно. Она увлекла отца и величаво прошла мимо Адуева. Старикъ опять раскланялся съ Александромъ; но дочь не удостоила его даже взгляда.

„Пусть узнаетъ онъ, что имъ вовсе не занимаются!“ думала она, поглядывая украдкой, смотритъ ли Адуевъ.

Александръ, хотя и не взглянулъ на нее, однако невольно принялъ позу поживописнѣе.

„Каково! онъ и не смотритъ! думала дѣвушка.—Какая дерзость!“

Костяковъ на другой же день повлекъ Александра опять на рыбную ловлю и, такимъ образомъ, по собственному заклятію, сталъ анаѳемой.

Два дня ничто не нарушало ихъ уединенія. Александръ сначала оглядывался, будто съ боязнію: но, не видя никаго, успокоился опять. Во второй день онъ вытащилъ огромнаго окуня. Костяковъ вполовину помирился съ нимъ.

— Но все это не щука! говорилъ онъ со вздохомъ: — было счастье въ рукахъ, да не умѣли пользоваться; дважды этого не случится. А у меня опять ничего! на шесть удочекъ—ничего.

— А вы позвоните въ колокольчики-то! сказалъ какой-то крестьянинъ, остановившійся мимоходомъ посмотрѣть на успѣхъ ловли: — можетъ рыба на благовѣстъ-то и того... пойдетъ.

Костяковъ злобно посмотрѣлъ на него.

— Молчи ты, необразованный человѣкъ! сказалъ онъ:— мужикъ!

Мужикъ пошелъ прочь.

— Дубина! кричалъ вслѣдъ ему Костяковъ: — скотъ, такъ скотъ и есть. Шутилъ бы съ своимъ братомъ, анаѳема этакая! скотъ, говорю тебѣ, мужикъ!

Боже сохрани раздразнить охотника въ минуту неудачи!

На третій день, когда они молча удили, устремивъ неподвижный взоръ на воду, сзади послышался шорохъ. Александръ обернулся и вздрогнулъ, какъ-будто его укусилъ комаръ, ни болѣе, ни менѣе. Старикъ и дѣвушка были тутъ.

Адуевъ, косясь на нихъ, едва отвѣчалъ на поклонъ старика, но, кажется, онъ ожидалъ этого посѣщенія. Обыкновенно онъ ходилъ на рубную ловлю очень небрежно одѣтый; а тутъ надѣлъ новое пальто и кокетливо повязалъ на шею голубую косыночку, волосы расправилъ, даже,

кажется, немного позавилъ и сталъ походить на идиллическаго рыбака. Выждавъ столько времени, сколько требовало приличіе, онъ ушелъ и сѣлъ подъ дерево!

„Cela passe toute permission!“ подумала Антигона, вспыхнулъ отъ гнѣва.

— Извините! сказалъ Эдипъ Адуеву: — мы, можетъ быть, помѣшали вамъ?..

— Нѣтъ! отвѣчалъ Адуевъ.—Я усталъ.

— Есть ли клёвъ? спросилъ старикъ Костякова.

— Какой клёвъ, когда подъ руку говорятъ, отвѣчалъ тотъ сердито.—Вотъ тутъ прошелъ какой-то лѣшій, болтнулъ подъ руку—и хоть бы клюнуло съ тѣхъ поръ. А вы, видно, близко въ этихъ мѣстахъ изволите жить? спросилъ онъ у Эдипа.

— Вонъ наша дача, съ балкономъ, отвѣчалъ тотъ.

— Дорого изволите платить?

— Пятьсотъ рублей за лѣто.

— Дача, кажется, хорошая, хозяйственная, и на дворѣ строенія много. Тысячъ тридцать, чай, стала, хозяину.

— Да, около того.

— Такъ-съ.

— А это дочка ваша?

— Дочь.

— Такъ-съ. Славная барышня! Гулять изволите?

— Да, гуляемъ. На дачѣ жить, надо гулять.

— Точно, точно, какъ не гулять: время стоитъ хорошее; не то, что на той недѣлѣ: какая была погода, ай, ай, ай! не приведи Богъ! Чай, озими досталось.

— Богъ дастъ, поправится.

— Дай Богъ!

— Такъ у васъ нынче не ловится!

— У меня ничего, а у нихъ такъ вотъ, извольте посмотрѣть.

Онъ показалъ окуня.

— Доложу вамъ, продолжалъ онъ:—это рѣдкость, какъ они счастливы! Жаль, что думаютъ не объ этомъ, а то бы съ ихъ счастьемъ мы никогда съ пустыми руками не уходили. Упустить этакую щуку!

Онъ вздохнулъ.

Антигона начала живѣе вслушиваться, но Костяковъ замолчалъ.

Появленіе старика съ дочерью стало повторяться чаще и чаще. И Адуевъ удостоилъ ихъ вниманія. Онъ иногда тоже перемолвитъ слова два со старикомъ, а съ дочерью все ничего. Ей сначала было досадно, потомъ обидно, наконецъ стало грустно. А поговори съ ней Адуевъ, или даже обрати на нее обыкновенное вниманіе—она бы забыла о немъ; а теперь совсѣмъ другое. Сердце людское только, кажется, и живетъ противорѣчіями: не будь ихъ, и его какъ-будто нѣтъ въ груди.

Антигона обдумала было какой-то ужасный планъ мщенія, но потомъ мало-по-малу оставила его.

Однажды, когда старикъ съ дочерью подошли къ нашимъ пріятелямъ, Александръ, погодя немного, положилъ удочку на кустъ, а самъ, по обыкновенію, сѣлъ на свое мѣсто и машинально смотрѣлъ, то на отца, то на дочь.

Они стояли къ нему бокомъ. Въ отцѣ онъ не открылъ ничего особеннаго. Бѣлая блуза, нанковые панталоны и низенькая шляпа съ большими полями, подбитыми зеленымъ плюшемъ. Но за то дочь! какъ граціозно оперлась она на руку старика! Вѣтеръ по временамъ отвѣвалъ, то локонъ отъ ея лица, какъ-будто нарочно, чтобы показать Александру прекрасный профиль и бѣлую шею, то приподнималъ шелковую мантилью и выказывалъ стройную талію, то заигрывалъ съ платьемъ и открывалъ маленькую ножку. Она задумчиво смотрѣла на воду.

Александръ долго не могъ отвести глазъ отъ нея и почувствовалъ, что по тѣлу его пробѣжала лихорадочная дрожь. Онъ отвернулся отъ соблазна и сталъ прутомъ срывать головки съ цвѣтовъ.

„А! знаю я, что это такое! думалъ онъ:—дай волю, оно бы и пошло! Вотъ и любовь готова: глупо! Дядюшка правъ. Но одно животное чувство меня не увлечетъ,—нѣтъ, я до этого не унижусь.“

— Можно мнѣ поудить? робко спросила дѣвушка у Костякова.

— Можно, сударыня, отчего неможно? отвѣчалъ тотъ, подавая ей удочку Адуева.

— Ну, вотъ вамъ и товарищъ! сказалъ отецъ Костякову и, оставя дочь, пошелъ бродить вдоль берега.

— Смотри же, Лиза, налови рыбы къ ужину, прибавилъ онъ.

Нѣсколько минутъ длилось молчаніе.

— Отчего это вашъ товарищъ такой угрюмый? спросила Лиза тихо у Костякова.

— Третій разъ мѣстомъ обошли, сударыня.

— Что? спросила она, сдвинувъ слегка брови.

— Въ третій разъ, молъ, мѣста не даютъ.

Она покачала головой.

„Нѣтъ: не можетъ быть! подумала она:—не то!“

— Вы мнѣ не вѣрите, сударыня? будь я анаѳема! И щуку-то, помните, упустилъ все отъ этого.

„Не то, не то, подумала она уже съ увѣренностью:—я знаю, отчего онъ упустилъ щуку.“

— Ахъ, ахъ, закричала она вдругъ:—посмотрите, шевелится, шевелится.

Она дернула и ничего не поймала.

— Сорвалась! сказалъ Костяковъ, глядя на удочку:—вишь какъ червяка-то схватила: большой окунь долженъ

быть. А вы не умѣете, сударыня: не дали ему клюнуть хорошенько.

— Да развѣ и тутъ надо умѣть?

— Какъ и во всемъ, сказалъ Александръ машинально.

Она вспыхнула и съ живостью обернулась, уронивъ, въ свою очередь, удочку въ воду. Но Александръ смотрѣлъ уже въ другую сторону.

— Какъ же достичь этого, чтобы умѣть? сказала она съ легкимъ трепетомъ въ голосѣ.

— Чаще упражняться, отвѣчалъ Александръ.

„А, вотъ что! думала она, замирая отъ удовольствія:— то есть чаще приходить сюда—понимаю! Хорошо, я буду приходить, но я помучаю васъ, г. дикарь за всѣ ваши дерзости...“

Такъ кокетство перевело ей отвѣтъ Александра, а онъ въ тотъ день больше ничего и не сказалъ.

„Она подумаетъ, пожалуй, Богъ знаетъ что! говорилъ онъ самъ себѣ:—станетъ жеманиться, кокетничать... это глупо!“

Съ того дня посѣщенія старика и дѣвушки повторялись ежедневно. Иногда Лиза приходила безъ старика, съ нянькой. Она приносила съ собою работу, книги, и садилась подъ дерево, показывая видъ совершеннаго равнодушія къ присутствію Александра.

Она думала тѣмъ затронуть его самолюбіе и, какъ она говорила, *помучить*. Она вслухъ разговаривала съ нянькой о домѣ, о хозяйствѣ, чтобы показать, что она даже и не видитъ Адуева. А онъ иногда и точно не видалъ ее, увидѣвъ же, сухо кланялся—и ни слова.

Видя, что этотъ обыкновенный маневръ ей не удался, она перемѣнила планъ аттаки и раза два заговаривала съ нимъ сама; иногда брала у него удочку. Александръ, мало-по-малу, сталъ съ ней разговорчивѣе, но былъ очень

остороженъ и не допускалъ никакой искренности. Расчетъ ли то былъ съ его стороны, или еще *прежнихъ ранъ*, что ли, *ничто не излечило*, какъ онъ говорилъ, только онъ былъ довольно холоденъ съ ней и въ разговорѣ.

Однажды старикъ велѣлъ принести на берегъ самоваръ. Лиза разливала чай. Александръ упрямо отказался отъ чаю, сказавъ, что онъ не пьетъ его по вечерамъ.

„Всѣ эти чаи ведутъ за собой сближеніе... знакомства... не хочу!“ подумалъ онъ.

— Что вы? да вчера четыре стакана выпили! сказалъ Костяковъ.

— Я на воздухѣ не пью, поспѣшно прибавилъ Александръ.

— Напрасно! сказалъ Костяковъ: — чай славнѣйшій цвѣточный, поди, рублевъ пятнадцать. Пожалуйте-ка еще, сударыня, да хорошо бы ромку!

Принесли и ромъ.

Старикъ зазывалъ Александра къ себѣ, но онъ отказался на отрѣзъ. Лиза, услышавъ отказъ, надула губки. Она стала добиваться отъ него причины нелюдимости. Какъ ни хитро наводила она разговоръ на этотъ предметъ, Александръ еще хитрѣе отдѣлывался.

Эта таинственность только раздражала любопытство, а, можетъ быть, и другое чувство Лизы. На лицѣ ея, до тѣхъ поръ ясномъ, какъ лѣтнее небо, появилось облачко безпокойства, задумчивости. Она часто устремляла на Александра грустный взглядъ, со вздохомъ отводила глаза и потупляла въ землю, а сама, кажется, думала: „вы несчастливы! можетъ быть, обмануты... О, какъ бы я умѣла сдѣлать васъ счастливымъ! какъ бы берегла васъ, какъ бы любила... я бы защитила васъ отъ самой судьбы, я бы...“ и прочее.

*

Такъ думаетъ большая часть женщинъ и большая часть обманываетъ тѣхъ, кто вѣритъ этому пѣнію сиренъ. Александръ будто ничего не замѣчаетъ. Онъ говоритъ съ ней, какъ бы говорилъ съ пріятелемъ, съ дядей: никакого оттѣнка той нѣжности, которая невольно вкрадывается въ дружбу мужчины и женщины и дѣлаетъ эти отношенія непохожими на дружбу. Оттого и говорятъ, что между мужчиной и женщиной нѣтъ и не можетъ быть дружбы, что называемое дружбой между ними—есть не что иное, какъ или начало, или остатки любви, или наконецъ, самая любовь. Но, глядя на обращеніе Адуева съ Лизой, можно было повѣрить, что такая дружба существуетъ.

Однажды только онъ отчасти открылъ или хотѣлъ открыть ей образъ своихъ мыслей. Онъ взялъ со скамьи принесенную ею книгу и развернулъ. То былъ Чайльдъ-Гарольдъ во французскомъ переводѣ. Александръ покачалъ головой, вздохнулъ и молча положилъ книгу на мѣсто.

— Вамъ не нравится Байронъ? Вы противъ Байрона? сказала она.—Байронъ такой великій поэтъ—и не нравится вамъ!

— Я ничего не говорю, а вы ужь напали на меня, отвѣчалъ онъ.

— Отчего же вы покачали головой?

— Такъ; мнѣ жаль, что эта книга попалась вамъ въ руки.

— Кого же жаль: книги или меня?

Александръ молчалъ.

— Отчего же мнѣ не читать Байрона? спросила она.

— По двумъ причинамъ, сказалъ Александръ, помолчавъ. Онъ положилъ свою руку на ея руку, для большаго ли убѣжденія, или потому, что у ней была бѣленькая и мягкая ручка—и началъ говорить тихо, мѣрно, поводя глазами, то по локонамъ Лизы, то по шеѣ, то по таліи. По

мѣрѣ этихъ переходовъ, возвышался постепенно и голосъ его.

— Во-первыхъ, потому, говорилъ онъ,—что вы читаете Байрона по французски и, слѣдовательно, для васъ потеряны красота и могущество языка поэта. Посмотрите, какой здѣсь блѣдный, безцвѣтный, жалкій языкъ! Это прахъ великаго поэта: идеи его какъ-будто расплылись въ водѣ. Во-вторыхъ, потому бы я не совѣтовалъ вамъ читать Байрона, что... онъ, можетъ быть, пробудитъ въ душѣ вашей такія струны, которыя бы вѣкъ молчали безъ того...

Тутъ онъ крѣпко и выразительно сжалъ ея руку, какъ-будто хотѣлъ придать тѣмъ вѣсъ своимъ словамъ.

— Зачѣмъ вамъ читать Байрона? продолжалъ онъ:— можетъ-быть, жизнь ваша протечетъ тихо, какъ этотъ ручей: видите, какъ онъ малъ, мелокъ; онъ не отразитъ ни цѣлаго неба въ себѣ, ни тучъ; на берегахъ его нѣтъ ни скалъ, ни пропастей; онъ бѣжитъ игриво; чуть-чуть лишь легкая зыбь рябитъ его поверхность; отражаетъ онъ только зелень береговъ, клочокъ неба, да маленькія облака... такъ, вѣроятно, протекла бы и жизнь ваша, а вы напрашиваетесь на напрасныя волненія, на бури; хотите взглянуть на жизнь и людей сквозь мрачное стекло... Оставьте, не читайте! глядите на все съ улыбкой, не смотрите въ даль, живите день за днемъ, не разбирайте темныхъ сторонъ въ жизни и людяхъ, а то...

— А то что?

— Ничего! сказалъ Александръ, будто опомнившись.

— Нѣтъ, скажите мнѣ: вы вѣрно испытали что нибудь?

— Гдѣ моя удочка? Позвольте, мнѣ пора.

Онъ казался встревоженнымъ, что высказался такъ неосторожно.

— Нѣтъ, еще слово, заговорила Лиза:—вѣдь поэтъ долженъ пробуждать сочувствіе къ себѣ. Байронъ великій

поэтъ, отчего же вы не хотите, чтобъ я сочувствовала ему? развѣ я такъ глупа, ничтожна, что не пойму?..

Она обидѣлась.

— Не то совсѣмъ: сочувствуйте тому, что свойственно вашему женскому сердцу: ищите того, что подъ ладъ ему, иначе можетъ случиться страшный разладъ... и въ головѣ, и въ сердцѣ. Тутъ онъ покачалъ головой, намекая на то, что онъ самъ—жертва этого разлада.

— Одинъ покажетъ вамъ, говорилъ онъ:—цвѣтокъ и заставитъ наслаждаться его запахомъ и красотой, а другой укажетъ только ядовитый сокъ въ его чашечкѣ... тогда для васъ пропадутъ и красота, и благоуханіе. Онъ заставитъ васъ сожалѣть о томъ, зачѣмъ тамъ этотъ сокъ—и вы забудете, что есть и благоуханіе... Есть разница между этими обоими людьми и между сочувствіемъ къ нимъ. Не ищите же яду, не добирайтесь до начала всего, что дѣлается съ нами и около насъ; не ищите ненужной опытности: не она ведетъ къ счастью.

Онъ замолчалъ. Она довѣрчиво и задумчиво слушала его.

— Говорите, говорите... сказала она съ дѣтской покорностью:—я готова слушать васъ цѣлые дни, повиноваться вамъ во всемъ...

— Мнѣ? сказалъ Александръ холодно:—помилуйте! какое я имѣю право располагать вашей волей?... Извините, что я позволилъ себѣ сдѣлать замѣчаніе. Читайте, что угодно... Чайльдъ-Гарольдъ — очень хорошая книга, Байронъ—великій поэтъ!

— Нѣтъ, не притворяйтесь! не говорите такъ. Скажите, что мнѣ читать?

Онъ съ педантическою важностью предложилъ было ей нѣсколько историческихъ книгъ, путешествій, но она сказала, что это ей и въ пансіонѣ надоѣло. Тогда онъ указалъ

ей Вальтеръ-Скотта, Купера, нѣсколько французскихъ и англійскихъ писателей и писательницъ, изъ русскихъ двухъ или трехъ авторовъ, стараясь при этомъ, будто нечаянно, обнаружить свой литературный вкусъ и тактъ. Потомъ между ними уже не было подобнаго разговора.

Александръ все хотѣлъ бѣжать прочь.—„Что мнѣ женщины! говорилъ онъ:—любить я не могу; я отжилъ для нихъ...“

— „Ладно, ладно! возражалъ на это Костяковъ:—вотъ женитесь, такъ увидите. Я самъ, бывало, только бы играть съ молодыми дѣвками да бабами, а какъ пришла пора къ вѣнцу, словно колъ въ голову вбили: такъ кто-то и пихалъ жениться!“

И Александръ не бѣжалъ. Въ немъ зашевелились всѣ прежнія мечты. Сердце стало биться усиленнымъ тактомъ. Въ глазахъ его мерещились, то талія, то ножка, то локонъ Лизы, и жизнь опять немного просвѣтлѣла. Дня три ужь не Костяковъ звалъ его, а онъ самъ тащилъ Костякова на рыбную ловлю. „Опять! опять прежнее! говорилъ Александръ:—но я твердъ!“ и между-тѣмъ торопливо шелъ на рѣчку.

Лиза всякій разъ съ нетерпѣніемъ поджидала прихода пріятелей. Костякову каждый вечеръ готовилась чашка душистаго чаю съ ромомъ—и, можетъ быть, Лиза отчасти обязана была этой хитрости тѣмъ, что они не пропускали ни одного вечера. Если они опаздывали, Лиза съ отцомъ шла имъ на встрѣчу. Когда ненастная погода удерживала пріятелей дома, на другой день упрекамъ, и имъ, и погодѣ, не было конца.

Александръ думалъ, думалъ, и рѣшился на время прекратить свои прогулки, Богъ знаетъ съ какою цѣлью, онъ и самъ не зналъ этого, и не ходилъ ловить рыбу цѣлую недѣлю. И Костяковъ не ходилъ. Наконецъ пошли.

Еще за версту до того мѣста, гдѣ они ловили, встрѣтили они Лизу съ нянькой. Она вскрикнула, завидя ихъ, потомъ вдругъ смѣшалась, покраснѣла. Адуевъ холодно поклонился, Костяковъ пустился болтать.

— Вотъ и мы, сказалъ онъ:—вы не ждали? хе, хе, хе! вижу, что не ждали: и самовара нѣтъ! Давненько, сударыня, давненько не видались! Есть ли клёвъ? Я все порывался, да вотъ Александра Ѳедорыча не могъ уговорить: сидитъ дома... или нѣтъ, бишь, все лежитъ.

Она съ упрекомъ взглянула на Адуева.

— Что это значитъ? спросила она.

— Что?

— Вы не были цѣлую недѣлю?

— Да, кажется, съ недѣлю не былъ.

— Отчего же?

— Такъ, не хотѣлось...

— Не хотѣлось! сказала она съ изумленіемъ.

— Да; а что?

Она молчала, но, кажется, думала: „да развѣ вамъ можетъ не хотѣться идти сюда?“

— Я хотѣла послать папеньку въ городъ къ вамъ, сказала она:—да не знала, гдѣ вы живете.

— Въ городъ, ко мнѣ? зачѣмъ?

— Прекрасный вопросъ! сказала она обиженнымъ тономъ:—зачѣмъ? Провѣдать, не случилось ли съ вами чего-нибудь, здоровы ли вы?..

— Да что же вамъ?..

— Что мнѣ? Боже!

— Что Боже?

— Какъ что!.. да вѣдь... у меня ваши книги есть... Она смѣшалась.—Недѣлю не быть! прибавила она.

— Развѣ я непремѣнно долженъ бывать здѣсь каждый день?

— Непремѣнно!

— Зачѣмъ?

— Зачѣмъ, зачѣмъ! Она печально глядѣла на него и твердила:—зачѣмъ, зачѣмъ!

Онъ взглянулъ на нее. Что это? слезы, смятеніе, и радость, и упреки? Она блѣдна, немного похудѣла, глаза покраснѣли.

„Такъ вотъ что! уже! подумалъ Александръ: — я не ожидалъ такъ скоро!“ Потомъ онъ громко засмѣялся.

— Зачѣмъ? говорите вы. Послушайте... продолжала она. У ней въ глазахъ блеснула какая-то рѣшимость. Она, повидимому, готовилась сказать что-то важное, но въ ту минуту подходилъ къ нимъ ея отецъ.

— До завтра, сказала она:—завтра мнѣ надо съ вами поговорить; сегодня я не могу: сердце мое слишкомъ полно... Завтра вы придете? да, слышите? вы не забудете насъ? не покинете?..

И побѣжала, не дождавшись отвѣта.

Отецъ поглядѣлъ пристально на нее, потомъ на Адуева, и покачалъ головой. Александръ молча смотрѣлъ ей вслѣдъ. Онъ будто и жалѣлъ и досадовалъ на себя, что незамѣтно довелъ ее до этого положенія; кровь бросилась ему не къ сердцу, а въ голову.

„Она любитъ меня, думалъ Александръ, ѣдучи домой.— Боже мой, какая скука! какъ это нелѣпо: теперь нельзя и пріѣхать сюда, а въ этомъ мѣстѣ рыба славно клюётъ... досадно!“

А между тѣмъ внутренно онъ, кажется, почему-то былъ не недоволенъ этимъ, сталъ веселъ и болталъ поминутно съ Костяковымъ

Услужливое воображеніе, какъ нарочно, рисовало ему портретъ Лизы во весь ростъ, съ роскошными плечами, съ стройной таліей, не забыло и ножку. Въ немъ зашевелилось

странное ощущеніе, опять по тѣлу пробѣжала дрожь, но не добралась до души—и замерла. Онъ разобралъ это ощущеніе отъ источника до самаго конца.

„Животное! бормоталъ онъ про-себя:—такъ вотъ какая мысль бродитъ у тебя въ умѣ... а! обнаженныя плечи, бюстъ, ножка... воспользоваться довѣрчивостью, неопытностью... обмануть... ну, хорошо, обмануть, а тамъ что?— Та же скука, да еще можетъ быть, угрызеніе совѣсти, а изъ чего? Нѣтъ! нѣтъ! не допущу себя, не доведу и ее... О, я твердъ! чувствую въ себѣ довольно чистоты души, благородства сердца... Я не паду во прахъ—и не увлеку ее".

Лиза ждала его цѣлый день съ трепетомъ удовольствія, а потомъ сердце у ней сжалось: она оробѣла, сама не зная отчего, стала грустна и почти не желала прихода Александра. Когда же урочный часъ насталъ, а Александра не было, нетерпѣніе ея превратилось въ томительную тоску. Съ послѣднимъ лучемъ солнца исчезла всякая надежда; она заплакала.

На другой день опять ожила, опять съ утра была весела, а къ вечеру сердце стало пуще ныть и замирать, и страхомъ, и надеждой. Опять не пришли.

На третій, на четвертый день то же. А надежда все влекла ее на берегъ: чуть вдали покажется лодка, или мелькнутъ по берегу двѣ человѣческія тѣни, она затрепещетъ и изнеможетъ подъ бременемъ радостнаго ожиданія. Но когда увидитъ, что въ лодкѣ не они, что тѣни не ихъ, она опуститъ уныло голову на грудь, отчаяніе сильнѣе наляжетъ на душу... Черезъ минуту опять коварная надежда шепчетъ ей утѣшительный предлогъ промедленія —и сердце опять забьется ожиданіемъ. А Александръ медлилъ, какъ-будто нарочно.

Наконецъ, когда она, полубольная, съ безнадежностью въ душѣ, сидѣла однажды на своемъ мѣстѣ подъ деревомъ,

вдругъ послышался ей шорохъ; она обернулась и задрожала отъ радостнаго испуга: передъ ней, сложа руки крестомъ, стоялъ Александръ.

Она съ радостными слезами протянула ему руки и долго не могла придти въ себя. Онъ взялъ ее за руку и жадно, также съ волненіемъ, вглядывался ей въ лицо.

— Вы похудѣли! сказалъ онъ тихо:—вы страдаете?

Она вздрогнула.

— Какъ вы долго не были! промолвила она.

— А вы ждали меня?

— Я? съ живостью отвѣчала она. — О, еслибъ вы знали!... Она докончила отвѣтъ крѣпкимъ пожатіемъ его руки.

— А я пришелъ проститься съ вами! сказалъ онъ и остановился, наблюдая, что будетъ съ ней.

Она съ испугомъ и недовѣрчивостью взглянула на него.

— Неправда, сказала она.

— Правда! отвѣчалъ онъ.

— Послушайте! вдругъ заговорила она, робко оглядываясь во всѣ стороны: — не уѣзжайте, ради Бога, не уѣзжайте! я вамъ скажу тайну... Здѣсь насъ увидитъ папенька изъ окошекъ: пойдемте къ намъ въ садъ, въ бесѣдку... она выходитъ въ поле, я васъ проведу.

Они пошли. Александръ не сводилъ глазъ съ ея плечъ, стройной таліи, и чувствовалъ лихорадочную дрожь.

„Что жь за важность, думалъ, онъ, идучи за ней,—что я пойду? вѣдь я такъ только... взгляну, какъ у нихъ тамъ, въ бесѣдкѣ... отецъ звалъ же меня; вѣдь я могъ бы идти прямо и открыто... но я далекъ отъ соблазна, ей-Богу, далекъ, и докажу это: вотъ, нарочно пришелъ сказать, что ѣду... хотя и не ѣду никуда!—Нѣтъ, демонъ! меня не соблазнишь“. Но тутъ, кажется, какъ-будто Крылова бѣсёнокъ, явившійся изъ-за печки затворнику, шепнулъ и

ему: „А зачѣмъ ты пришелъ сказать это? въ этомъ не было надобности; ты бы не явился, и недѣли черезъ двѣ былъ бы забытъ...“

Но Александру казалось, что онъ поступаетъ благородно, являясь на подвигъ самоотверженія, бороться съ соблазномъ лицомъ къ лицу. Первымъ трофеемъ его побѣды надъ собой былъ поцалуй, похищенный имъ у Лизы, потомъ онъ обнялъ ее за талію, сказалъ, что никуда не ѣдетъ, что выдумалъ это, чтобъ испытать ее, узнать, есть ли въ ней чувство къ нему. Наконецъ, къ довершенію побѣды, онъ обѣщалъ на другой день явиться въ этотъ же часъ въ бесѣдку. Идучи домой, онъ разсуждалъ о своемъ поступкѣ, и его обдавало то холодомъ, то жаромъ. Онъ замиралъ отъ ужаса и не вѣрилъ самому себѣ; наконецъ рѣшился не быть завтра—и явился ранѣе назначеннаго часа.

Это было въ августѣ мѣсяцѣ. Ужь смеркалось. Александръ обѣщалъ быть въ девять часовъ, а пришелъ въ восемь, одинъ, безъ удочки. Онъ, какъ воръ, пробирался къ бесѣдкѣ, то боязливо оглядывался, то бѣжалъ опрометью. Но кто-то опередилъ его. Тотъ тоже торопливо, запыхавшись, вбѣжалъ въ бесѣдку и сѣлъ на диванъ въ темномъ углу.

Александра какъ-будто стерегли. Онъ тихо отворилъ дверь, въ сильномъ волненіи, на цыпочкахъ, подошелъ къ дивану и тихо взялъ за руку — отца Лизы. Александръ вздрогнулъ, отскочилъ, хотѣлъ бѣжать, но старикъ поймалъ его за фалду и посадилъ насильно подлѣ себя на диванъ.

— Какъ это вы, батюшка, зашли сюда? спросилъ онъ.

— Я... за рыбой... бормоталъ Александръ, едва шевеля губами. Зубы у него стучали одинъ о другой. Старикъ былъ вовсе не страшенъ, но Александръ, какъ и всякій воръ, пойманный на дѣлѣ, дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ.

— За рыбой! повторилъ старикъ насмѣшливо.—Знаете ли, что это значитъ ловить рыбу въ мутной водѣ? Давно я замѣчаю за вами, и вотъ узналъ васъ наконецъ; а Лизу свою знаю съ пеленъ: она добра и довѣрчива, а вы, вы опасный плутъ...

Александръ хотѣлъ встать, но старикъ удержалъ его за руку.

— Да, батюшка, не погнѣвайтесь. Вы прикинулись несчастнымъ, притворно избѣгали Лизы, завлекли ее, увѣрились, да и хотѣли воспользоваться... Хорошее ли это дѣло? Какъ васъ назвать?

— Клянусь честью, я не предвидѣлъ послѣдствій... сказалъ Александръ голосомъ глубокаго убѣжденія:—я не хотѣлъ...

Старикъ молчалъ нѣсколько минутъ.

— А можетъ быть и то! сказалъ онъ: — можетъ быть, вы не по любви, а такъ, отъ праздности, сбивали съ толку бѣдную дѣвочку, не зная сами, что изъ этого будетъ; удастся—хорошо, не удастся — нужды нѣтъ! Въ Петербургѣ много этакихъ молодцовъ... Знаете, какъ поступаютъ съ такими франтами?

Александръ сидѣлъ, потупя взоры. У него не доставало духу оправдываться.

— А сначала я думалъ лучше объ васъ, да ошибся, крѣпко ошибся! Видишь, вѣдь какимъ тихинькимъ прикинулся! слава Богу, что спохватился вовремя... Слушайте: терять времени некогда; глупая дѣвчонка, того и гляди, явится на свиданіе. Я вчера подкараулилъ васъ. Ненужно, чтобъ она видѣла насъ вмѣстѣ: вы уйдете и, разумѣется, не воротитесь никогда; она подумаетъ, что вы обманули ее, и это послужитъ ей урокомъ. Только смотрите, чтобъ васъ здѣсь никогда не было; найдите другое мѣсто для рыбной ловли, а не то... я провожу васъ нелас-

ково... Счастье ваше, что Лиза еще можетъ прямо глядѣть мнѣ въ глаза; я цѣлый день наблюдалъ за нею... иначе вы не этой дорогой вышли бы отсюда... Прощайте!

Александръ что-то хотѣлъ сказать, но старикъ отворилъ дверь и почти вытолкалъ его.

Александръ вышелъ, въ какомъ положеніи—пусть судитъ читатель, если только ему не совѣстно будетъ на минуту поставить себя на его мѣсто. У моего героя брызнули даже слезы изъ глазъ, слезы стыда, бѣшенства на самого себя, отчаянія...

„Зачѣмъ я живу? громко сказалъ онъ:—отвратительная, убійственная жизнь! А я, я... нѣтъ! если у меня не достало твердости устоять противъ обольщенія... то достанетъ духу прекратить это безполезное, позорное существованіе...“

Онъ скорыми шагами подошелъ къ рѣчкѣ. Она была черна. По волнамъ перебѣгали какія-то длинныя, фантастическія, уродливыя тѣни. Берегъ, гдѣ стоялъ Александръ, былъ мелокъ.

— Тутъ и умереть нельзя! сказалъ онъ презрительно и пошелъ на мостъ, бывшій оттуда во ста шагахъ. Александръ облокотился на перила по срединѣ моста и сталъ вглядываться въ воду. Онъ мысленно прощался съ жизнію, посылалъ вздохи къ матери, благословлялъ тетку, даже простилъ Наденьку. Слезы умиленія текли у него по щекамъ... Онъ закрылъ лицо руками... Неизвѣстно, что бы онъ сдѣлалъ, какъ вдругъ мостъ заколебался у него подъ ногами; онъ оглянулся: Боже мой! онъ на краю пропасти: передъ нимъ зіяетъ могила: половина моста отдѣлилась и отплываетъ прочь... проходятъ барки; еще минута—и прощай! Онъ собралъ всѣ силы и сдѣлалъ отчаянный пры-

жокъ... на ту сторону. Тамъ онъ остановился, перевелъ духъ и схватился за сердце.

— Что, баринъ, испужался? спросилъ его сторожъ.

— Чего, братецъ, чуть было въ середину не попалъ, отвѣчалъ дрожащимъ голосомъ Александръ.

— Боже храни! долго ль до грѣха? промолвилъ сторожъ, зѣвая: — въ запрошломъ лѣтѣ одинъ барочникъ и такъ упалъ.

Александръ пошелъ домой, придерживаясь рукой за сердце. Онъ по временамъ оглядывался на рѣку, на разведенный мостъ и, вздрагивая, тотчасъ же отворачивался и ускорялъ шаги.

Между тѣмъ Лиза кокетливо одѣвалась, не брала съ собой ни отца, ни няньки, и каждый вечеръ просиживала до поздней ночи подъ деревомъ.

Настали темные вечера: она все ждала; но о пріятеляхъ ни слуху, ни духу.

Пришла осень. Желтые листья падали съ деревьевъ и усѣяли берега; зелень полиняла; рѣка приняла свинцовый цвѣтъ; небо было постоянно сѣро; дулъ холодный вѣтеръ съ мелкимъ дождемъ. Берега и рѣки опустѣли: не слышно было ни веселыхъ пѣсенъ, ни смѣху, ни звонкихъ голосовъ по берегамъ; лодки и барки перестали сновать взадъ и впередъ. Ни одно насѣкомое не прожужжитъ въ травѣ, ни одна птичка не защебечетъ на деревѣ; только галки и вороны крикомъ наводили уныніе на душу; и рыба перестала клевать.

А Лиза все ждала: ей непремѣнно нужно было поговорить съ Александромъ: открыть ему тайну. Она все сидѣла на скамьѣ, подъ деревомъ, въ кацавейкѣ. Она похудѣла; глаза у ней немного впали; щеки были подвязаны платкомъ. Такъ засталъ ее однажды отецъ.

— Пойдемъ, полно тутъ сидѣть, сказалъ онъ, морщась и дрожа отъ холода: — посмотри, у тебя руки посинѣли; ты озябла. Лиза! слышишь ли? нойдемъ.

— Куда?

— Домой: мы сегодня переѣзжаемъ въ городъ.

— Зачѣмъ? спросила она съ удивленіемъ.

— Какъ зачѣмъ? осень на дворѣ; мы одни только остались на дачѣ.

— Ахъ, Боже мой! сказала она:—здѣсь и зимой будетъ хорошо: останемтесь.

— Вотъ что еще вздумала! Полно, полно, пойдемъ!

— Погодите! сказала она умоляющимъ голосомъ:—еще воротятся красные дни.

— Послушай! отвѣчалъ отецъ, трепля ее по щекѣ и указывая на то мѣсто, гдѣ удили пріятели: — они не воротятся...

— Не... воротятся! повторила она вопросительно-печальнымъ голосомъ, потомъ подала отцу руку и тихо, склонивъ голову, пошла домой, оглядываясь по временамъ назадъ.

А Адуевъ съ Костяковымъ давно уже удили гдѣ-то въ противоположной сторонѣ отъ этого мѣста.

V.

Мало по-малу Александръ успѣлъ забыть и Лизу, и непріятную сцену съ ея отцомъ. Онъ опять сталъ покоенъ, даже веселъ, часто хохоталъ плоскимъ шуткамъ Костякова. Его смѣшилъ взглядъ этого человѣка на жизнь. Они строили даже планы уѣхать куда-нибудь подальше, выстроить на берегу рѣки, гдѣ много рыбы, хижину, и прожить тамъ остатокъ дней. Душа Александра опять стала утопать въ тинѣ скудныхъ понятій и матеріальнаго быта.

Но судьба не дремала, и ему не удавалось утонуть совсѣмъ въ этой тинѣ.

Осенью онъ получилъ отъ тетки записку съ убѣдительнѣйшею просьбою проводить ее въ концертъ, потому-что дядя былъ не совсѣмъ здоровъ. Пріѣхалъ какой-то артистъ, европейская знаменитость.

— Какъ, въ концертъ! говорилъ Александръ въ сильной тревогѣ: — въ концертъ, опять въ эту толпу, въ самый блескъ мишуры, лжи, притворства... нѣтъ, не поѣду.

— Поди, чай, еще пять рублевъ стоитъ, замѣтилъ бывшій тутъ Костяковъ.

— Билетъ стоитъ пятнадцать рублей, сказалъ Александръ: — но я охотно бы далъ пятьдесятъ, чтобъ не ѣхать.

— Пятнадцать! закричалъ Костяковъ, всплеснувъ руками:—вотъ мошенники! анаѳемы! ѣздятъ сюда надувать насъ, обирать деньги. Дармоѣды проклятые! Не ѣздите, Александръ Ѳедорычъ, плюньте! Добро бы вещь какая-нибудь: взялъ бы домой, на столъ поставилъ, или съѣлъ; а то послушалъ только, да и на: плати пятнадцать рублевъ! За пятнадцать рублевъ можно жеребенка купить.

— Иногда за то, чтобы провести съ удовольствіемъ вечеръ, платятъ и дороже, замѣтилъ Александръ.

— Провести вечеръ съ удовольствіемъ! Да знаете что: пойдемте въ баню, славно проведемъ! Я всякій разъ, какъ соскучусь, иду туда—и любо; пойдешь часовъ въ шесть, а выйдешь въ двѣнадцать, и погрѣешься, и тѣло почешешь, а иногда и знакомство пріятное сведешь: придетъ духовное лицо, либо купецъ, либо офицеръ; заведутъ рѣчь о торговлѣ, что ли, или о представленіи свѣта... и не вышелъ бы! а всего по шести гривенъ съ человѣка! Не знаютъ, гдѣ вечеръ провести!

Но Александръ поѣхалъ. Онъ со вздохомъ вытащилъ давно ненадѣванный, прошлогодній фракъ, натянулъ бѣлыя перчатки.

— Перчатки пять рублевъ, и того двадцать? считалъ Костяковъ, присутствовавшій при туалетѣ Адуева.—Двадцать рублевъ, такъ вотъ, въ одинъ вечеръ кинули! Послушать: эко диво!

Александръ отвыкъ одѣваться порядочно. Утромъ онъ ходилъ на службу въ покойномъ вицмундирѣ, вечеромъ въ старомъ сюртукѣ или въ пальто. Ему было неловко во фракѣ. Тамъ тѣснило, тутъ чего-то не доставало; шеѣ было слишкомъ жарко въ атласномъ платкѣ.

Тетка встрѣтила его привѣтливо, съ чувствомъ благодарности за то, что онъ рѣшился для нея покинуть свое затворничество, но ни слова о его образѣ жизни и занятіяхъ.

Отыскавъ въ залѣ мѣсто для Лизаветы Александровны, Адуевъ прислонился къ колоннѣ, подъ сѣнью какого-то плечистаго меломана, и началъ скучать. Онъ тихонько зѣвнулъ въ руку, но не успѣлъ закрыть рта, какъ раздались оглушительныя рукоплесканія, привѣтствовавшія артиста. Александръ и не взглянулъ на него.

Заиграли интродукцію. Черезъ нѣсколько минутъ оркестръ сталъ стихать. Къ послѣднимъ его звукамъ прицѣпились чуть-слышно другіе, сначала рѣзвые, игривые, какъ-будто напоминавшіе игры дѣтства: слышались точно дѣтскіе голоса, шумные, веселые; потомъ звуки стали плавнѣе и мужественнѣе; они, казалось, выражали юношескую безпечность, отвагу, избытокъ жизни и силъ. Потомъ полились медленнѣе, тише, какъ-будто передавали нѣжное изліяніе любви, задушевный разговоръ, и, ослабѣвая, мало-по-малу, слились въ странный шопотъ и незамѣтно смолкли...

Никто не смѣлъ пошевелиться. Масса людей замерла въ безмолвіи. Наконецъ вырвалось у всѣхъ единодушно *ахъ!* и шопотомъ пронеслось по залѣ. Толпа-было зашевелилась, но вдругъ звуки снова проснулись, полились crescendo, потокомъ, потомъ раздробились на тысячу каскадовъ и запрыгали, тѣсня и подавляя другъ друга. Они гремѣли, будто упреками ревности, кипѣли бѣшенствомъ страсти; ухо не успѣвало ловить ихъ, — и вдругъ прервались, какъ точно у инструмента не стало болѣе ни силъ, ни голоса. Изъ-подъ смычка сталъ вырываться, то глухой отрывистый стонъ, то слышались плачущіе, умоляющіе звуки, и все окончилось болѣзненнымъ, продолжительнымъ вздохомъ. Сердце надрывалось: звуки, какъ-будто пѣли объ обманутой любви и безнадежной тоскѣ. Всѣ страданія, вся скорбь души человѣческой слышались въ нихъ.

Александръ трепеталъ. Онъ поднялъ голову и поглядѣлъ сквозь слезы черезъ плечо сосѣда. Худощавый нѣмецъ, согнувшись надъ своимъ инструментомъ, стоялъ передъ толпой и могущественно повелѣвалъ ею. Онъ кончилъ и равнодушно отеръ платкомъ руки и лобъ. Въ залѣ раздался ревъ и страшныя рукоплесканія. И вдругъ этотъ артистъ согнулся въ свой чередъ передъ толпой и началъ униженно кланяться и благодарить.

„И онъ поклоняется ей, думалъ Александръ, глядя съ робостью на эту тысячеглавую гидру:—онъ, стоящій такъ высоко передъ ней!..“

Артистъ поднялъ смычекъ и — все мгновенно смолкло. Заколебавшаяся толпа слилась опять въ одно неподвижное тѣло. Потекли другіе звуки, величавые, торжественные; отъ этихъ звуковъ спина слушателя выпрямлялась, голова поднималась, носъ вздергивался выше: они пробуждали въ сердцѣ гордость, рождали мечты о славѣ. Ор-

кестръ началъ глухо вторить, какъ-будто отдаленный гулъ толпы, какъ народная молва...

Александръ поблѣднѣлъ и поникъ головой. Эти звуки, какъ нарочно, внятно разсказывали ему прошедшее, всю жизнь его, горькую и обманутую.

— Посмотри, какая мина у этого! сказалъ кто-то, указывая на Александра: — я не понимаю, какъ можно такъ обнаружиться: я Паганини слыхалъ, да у меня и бровь не шевельнулась.

Александръ проклиналъ, и приглашеніе тетки, и артиста, а болѣе всего судьбу, что она не даетъ ему забыться.

„И къ чему? съ какой цѣлью? думалъ онъ: — чего она добивается отъ меня? къ чему напоминать мнѣ мое безсиліе, безполезность прошедшаго, котораго не воротишь?

Проводивъ тетку до дому, онъ хотѣлъ было ѣхать къ себѣ, но она удержала его за руку.

— Неужели вы не зайдете? спросила она съ упрекомъ.

— Нѣтъ.

— Отчего же?

— Теперь уже поздно; когда-нибудь въ другой разъ.

— И это вы мнѣ отказываете?

— Вамъ болѣе, нежели кому-нибудь.

— Почему же?

— Долго говорить. Прощайте.

— Полчаса, Александръ, слышите? не болѣе. Если откажете, значитъ вы никогда ни на волосъ не имѣли ко мнѣ дружбы.

Она просила съ такимъ чувствомъ, такъ убѣдительно, что у Александра не стало духу отказаться, и онъ пошелъ за ней, склонивъ голову. Петръ Иванычъ былъ у себя въ кабинетѣ.

— Неужели я заслужила отъ васъ одно пренебреженіе,

Александръ? спросила Лизавета Александровна, усадивъ его у камина.

— Вы ошибаетесь: это не пренебреженіе, отвѣчалъ онъ.

— Что же это значитъ? какъ это назвать: сколько разъ я писала къ вамъ, звала къ себѣ, вы не шли, наконецъ перестали отвѣчать на записки.

— Это не пренебреженіе...

— Что же?

— Такъ! сказалъ Александръ и вздохнулъ. — Прощайте, ma tante.

— Постойте! что я вамъ сдѣлала? что съ вами, Александръ? Отчего вы такіе? отчего равнодушны ко всему, никуда не ходите, живете въ обществѣ не по васъ?

— Да такъ, ma tante; этотъ образъ жизни мнѣ нравится: такъ покойно жить, хорошо; это по мнѣ...

— По васъ? вы находите пищу для ума и сердца въ такой жизни, съ такими людьми?

Александръ кивнулъ головой.

— Вы притворяетесь, Александръ; вы чѣмъ-нибудь сильно огорчены, и молчите. Прежде, бывало, вы находили кому повѣрить ваше горе; вы знали, что всегда найдете утѣшеніе или, по крайней мѣрѣ, сочувствіе; а теперь развѣ у васъ никого ужь нѣтъ?

— Никого!..

— Вы никому не вѣрите?

— Никому.

— Развѣ вы не вспоминаете иногда о вашей матушкѣ... о ея любви къ вамъ... ласкахъ?.. Неужели вамъ не приходило въ голову, что, можетъ быть, кто-нибудь и здѣсь любитъ васъ, если не такъ, какъ она, то, по-крайней-мѣрѣ, какъ сестра или, еще больше, какъ другъ?

— Прощайте, ma tante! сказалъ онъ.

— Прощайте, Александръ: я васъ не удерживаю болѣе, отвѣчала тетка. У ней навернулись слезы.

Александръ взялъ было шляпу, но потомъ положилъ и поглядѣлъ на Лизавету Александровну.

— Нѣтъ, не могу бѣжать отъ васъ: недостаетъ силъ! сказалъ онъ:—что вы дѣлаете со мной?

— Будьте опять прежнимъ Александромъ, хоть на одну минуту. Разскажите, повѣрьте мнѣ все...

— Да, я не могу молчать передъ вами: вамъ выскажу все, что у меня на душѣ, сказалъ онъ.

— Вы спрашиваете, отчего я прячусь отъ людей, отчего я ко всему равнодушенъ, отчего не вижусь даже съ вами?.. отчего? Знайте же, что жизнь давно опротивѣла мнѣ, и я избралъ себѣ такой бытъ, гдѣ она меньше замѣтна. Я ничего не хочу, не ищу, кромѣ покоя, сна души. Я извѣдалъ всю пустоту и всю ничтожность жизни — и глубоко презираю ее. *Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ въ душѣ не презирать людей.* Дѣятельность, хлопоты, заботы, развлеченіе—все надоѣло мнѣ. Я ничего не хочу добиваться и искать; у меня нѣтъ цѣли, потому-что къ чему повлечешься, достигнешь — и увидишь, что все призракъ. Радости для меня миновали; я къ нимъ охладѣлъ. Въ образованномъ мірѣ, съ людьми, я сильнѣе чувствую невыгоды жизни, а у себя, одинъ, вдалекѣ отъ толпы, я одеревенѣлъ: случись, что хочетъ въ этомъ снѣ — я не замѣчаю ни людей, ни себя. Я ничего не дѣлаю и не вижу ни чужихъ, ни своихъ поступковъ—и покоенъ... мнѣ все равно: счастья не можетъ быть, а несчастье не пройметъ меня...

— Это ужасно! Александръ, сказала тетка: — въ эти лѣта такое охлажденіе ко всему...

— Чему вы удивляетесь, ma tante? Отдѣлитесь на минуту отъ тѣснаго горизонта, въ которомъ вы заключены, посмотрите на жизнь, на міръ: что это такое?.. Что вчера

велико, сегодня ничтожно; чего хотѣлъ вчера, не хочешь сегодня; вчерашній другъ—сегодня врагъ. Стоитъ ли хлопотать изъ чего-нибудь, любить, привязываться, ссориться, мириться—словомъ, жить? не лучше ли спать и умомъ, и сердцемъ? Я сплю, оттого и не хожу никуда, и къ вамъ особенно... Я уснулъ-было совсѣмъ, а вы будите и умъ, и сердце, и толкаете ихъ опять въ омутъ. Если хотите видѣть меня веселымъ, здоровымъ, можетъ быть, живымъ, даже, пожалуй, по понятіямъ дядюшки, счастливымъ — оставьте меня тамъ, гдѣ я теперь. Дайте успокоиться этимъ волненіямъ; пусть мечты улягутся, пусть умъ оцѣпенѣетъ совсѣмъ, сердце окаменѣетъ, глаза отвыкнутъ отъ слезъ, губы отъ улыбки—и тогда, черезъ годъ, черезъ два, я приду къ вамъ совсѣмъ готовый на всякое испытаніе; тогда не пробудите, какъ ни старайтесь, а теперь...

Онъ сдѣлалъ отчаянный жестъ.

— Смотрите, Александръ, живо перебила тетка: — вы въ одну минуту измѣнились: у васъ слезы на глазахъ; вы еще все тѣ же; не притворяйтесь же, не удерживайте чувства, дайте ему волю...

— Зачѣмъ? я не буду лучше отъ этого? я буду только сильнѣе мучиться. Нынѣшній вечеръ уничтожилъ меня въ собственныхъ глазахъ. Я ясно понялъ, что не имѣю права никого винить въ своей тоскѣ. Я самъ погубилъ свою жизнь. Я мечталъ о славѣ, Богъ знаетъ съ чего, и пренебрегъ своимъ дѣломъ; я испортилъ свое скромное назначеніе и теперь не поправлю прошлаго: поздно! Я бѣжалъ толпы, презиралъ ее, — а этотъ нѣмецъ, съ своей глубокой, сильной душой, съ поэтической натурой, не отрекается отъ міра и не бѣжитъ отъ толпы: онъ гордится ея рукоплесканіями. Онъ понимаетъ, что онъ едва замѣтное кольцо въ безконечной цѣпи человѣчества; онъ тоже все знаетъ, что я: ему знакомы страданія. Слышали, какъ онъ разска-

залъ въ звукахъ всю жизнь: и радости, и горечь ея, и счастье, и скорбь души? она понятна ему. Какъ сталъ я сегодня вдругъ мелокъ, ничтоженъ въ собственныхъ глазахъ, съ своей тоской, страданіями!.. Онъ пробудилъ во мнѣ горькое сознаніе, что я гордъ—и безсиленъ... Ахъ, зачѣмъ вы вызвали меня? Прощайте, пустите меня.

— Чѣмъ же я виновата, Александръ? неужели я могла пробудить въ васъ горькое чувство—я?..

— Вотъ то-то и бѣда! ваше ангельское, доброе лицо, ma tante, кроткія рѣчи, дружеское пожатіе руки—все это смущаетъ и трогаетъ меня: мнѣ хочется плакать, хочется опять жить, томиться... а зачѣмъ?

— Какъ зачѣмъ? Останьтесь всегда съ нами; и если вы считаете меня хоть немного достойною вашей дружбы, стало быть, вы найдете утѣшеніе и въ другой; не одна я такая... васъ оцѣнятъ.

— Да! вы думаете, это всегда будетъ утѣшать меня? вы думаете, я повѣрю этому минутному умиленію? Вы, точно, женщина въ благороднѣйшемъ смыслѣ слова; вы созданы на радость, на счастье мужчины; да можно ли надѣяться на это счастье? можно ли поручиться, что оно прочно, что сегодня, завтра, судьба не обернетъ вверхъ дномъ этой счастливой жизни—вотъ вопросъ! Можно ли вѣрить чему нибудь и кому-нибудь, даже себѣ? Не лучше ли жить безъ всякихъ надеждъ и волненій, не ожидать ничего, не искать радостей и, стало быть, не оплакивать потерь?..

— Отъ судьбы вы нигдѣ не уйдете, Александръ: и тамъ, гдѣ вы теперь, она все будетъ преслѣдовать васъ...

— Да правда; только тамъ судьбѣ не надъ чѣмъ забавляться, больше забавляюсь я надъ нею: смотришь, то рыба сорвется съ удочки, когда ужь протянулъ къ ней руку, то дождь пойдетъ, когда собрался за городъ, или погода хороша, да самому не хочется... ну, и смѣшно...

У Лизаветы Александровны не доставало болѣе возраженій.

— Вы женитесь... будете любить... сказала она нерѣшительно.

— Женюсь! вотъ еще! Неужели вы думаете, что я ввѣрю свое счастье женщинѣ, еслибъ даже и полюбилъ ее, чего тоже быть не можетъ? или неужели вы думаете, что я взялся бы сдѣлать женщину счастливой? Нѣтъ, я знаю, что мы обманемъ другъ друга и оба обманемся. Дядюшка Петръ Иванычъ и опытъ научили меня...

— Петръ Иванычъ! да, онъ много виноватъ! сказала Лизавета Александровна со вздохомъ:—но вы имѣли право не слушать его... и были бы счастливы въ супружествѣ...

— Да, въ деревнѣ, конечно; а теперь... Нѣтъ, ma tante, супружество не для меня. Я теперь не могу притвориться, когда разлюблю, и перестану быть счастливъ; не могу также не увидѣть, когда жена притворится; будемъ оба хитрить, какъ хитрите... напримѣръ, вы и дядюшка...

— Мы? съ изумленіемъ и съ испугомъ спросила Лизавета Александровна.

— Да, вы! Скажите-ка, такъ ли вы счастливы, какъ мечтали нѣкогда?

— Не такъ, какъ мечтала... но счастлива иначе, нежели мечтала, разумнѣе, можетъ быть, больше — не все ли это равно?.. съ замѣшательствомъ отвѣчала Лизавета Александровна:—и вы тоже...

— Разумнѣе! Ахъ, ma tante, не вы бы говорили: такъ дядюшкой и отзывается! Знаю я это счастье по его методѣ: разумнѣе—такъ, но больше ли? вѣдь у него все счастье, несчастья нѣтъ. Богъ съ нимъ! Нѣтъ! моя жизнь исчерпана; я усталъ, утомился жить...

Оба замолчали. Александръ поглядывалъ на шляпу; тетка придумывала, чѣмъ бы еще остановить его.

— А талантъ! вдругъ сказала она съ живостью.

— Э! ma tante! охота вамъ смѣяться надо мной! Вы забыли русскую пословицу: *лежачаго не бьютъ*. У меня таланта нѣтъ, рѣшительно нѣтъ. У меня есть чувство, была горячая голова; мечты я принялъ за творчество и творилъ. Недавно еще я нашелъ кое-что изъ старыхъ грѣховъ, прочелъ—и самому смѣшно стало. Дядюшка правъ, что принудилъ меня сжечь все, что было. Ахъ, если бъ я могъ воротить прошедшее! Не такъ я распорядился имъ.

— Не разочаровывайтесь до конца! сказала она,—всякому изъ насъ посланъ тяжкій крестъ...

— Кому это крестъ? спросилъ Петръ Иванычъ, входя въ комнату.—Здравствуй, Александръ! тебѣ, что ли?

Петръ Иванычъ сгорбился и шелъ, едва передвигая ноги.

— Только не такой, какъ ты думаешь, сказала Лизавета Александровна:—я говорю о тяжкомъ крестѣ, который несетъ Александръ...

— Что онъ тамъ еще несетъ? спросилъ Петръ Иванычъ, опускаясь съ величайшею осторожностью въ кресла. — Охъ! какая боль! что это за наказаніе!

Лизавета Александровна помогла ему сѣсть, подложила подъ спину подушку, подъ ноги подвинула скамеечку.

— Что съ вами, дядюшка? спросилъ Александръ.

— Видишь тяжкій крестъ несу! Охъ, поясница! Вотъ крестъ, такъ крестъ: дослужился таки до него! Охъ, Боже мой!

— Вольно же тебѣ такъ много сидѣть: ты знаешь здѣшній климатъ, сказала Лизавета Александровна:—докторъ велѣлъ больше ходить, такъ нѣтъ; утро пишетъ, а вечеромъ въ карты играетъ.

— Что жь я стану, розиня ротъ, по улицамъ ходить, да время терять?

— Вотъ и наказанъ.

— Этого здѣсь не минуешь, если хочешь заниматься дѣломъ. У кого не болитъ поясница? Это почти въ родѣ знака отличія у всякаго дѣловаго человѣка... охъ не разогнешь спины. Ну, что ты, Александръ, дѣлаешь?

— Все то же, что прежде.

— А! ну такъ у тебя поясница не заболитъ. Это удивительно, право!

— Что жь ты удивляешься: не ты ли самъ отчасти виноватъ, что онъ сталъ такой... сказала Лизавета Александровна.

— Я? вотъ это мнѣ нравится! я пріучилъ его ничего не дѣлать!

— Точно, дядюшка вамъ нечему удивляться, сказалъ Александръ:—вы много помогли обстоятельствамъ сдѣлать изъ меня то, что я теперь; но я васъ не виню. Я самъ виноватъ, что не умѣлъ или, лучше сказать, не могъ воспользоваться вашими уроками, какъ слѣдуетъ, потому что не былъ приготовленъ къ нимъ. Вы, можетъ быть, отчасти виноваты тѣмъ, что поняли мою натуру съ перваго раза и, несмотря на то, хотѣли переработать ее; вы, какъ человѣкъ опытный, должны были видѣть, что это невозможно... вы возбудили во мнѣ борьбу двухъ различныхъ взглядовъ на жизнь и не могли примирить ихъ: что жь вышло? Все превратилось во мнѣ въ сомнѣніе, въ какой-то хаосъ.

— Охъ, поясница! стоналъ Петръ Иванычъ.—Хаосъ!— ну, вотъ изъ хаоса я и хотѣлъ сдѣлать что-нибудь.

— Да! а что сдѣлали? представили мнѣ жизнь въ самой безобразной наготѣ, и въ какія лѣта: когда я долженъ былъ понимать ее только съ свѣтлой стороны.

— То есть, я старался представить тебѣ жизнь, какъ она есть, чтобъ ты не забиралъ себѣ въ голову чего нѣтъ. Я помню какимъ ты молодцомъ пріѣхалъ изъ деревни: надо жъ было предостеречь тебя, что здѣсь такимъ быть нельзя. Я предостерегъ тебя, можетъ быть, отъ многихъ ошибокъ и глупостей! если не я, ты бы ихъ еще не столько надѣлалъ!

— Можетъ быть. Но вы только выпустили одно изъ виду, дядюшка: счастье. Вы забыли, что человѣкъ счастливъ заблужденіями, мечтами и надеждами; дѣйствительность не счастливитъ...

— Какую ты дичь несешь! Это мнѣніе привезъ ты прямо съ азіятской границы: въ Европѣ давно перестали вѣрить этому. Мечты, игрушки, обманъ—все это годится для женщинъ и дѣтей, а мужчинѣ надо знать дѣло, какъ оно есть. По-твоему это хуже, нежели обманываться?

— Да, дядюшка, что ни говорите, а счастье соткано изъ иллюзій, надеждъ, довѣрчивости къ людямъ, увѣренности въ самомъ себѣ, потомъ изъ любви, дружбы... А вы твердили мнѣ, что любовь—вздоръ, пустое чувство, что легко, и даже лучше, прожить безъ него; что любить страстно—не великое достоинство, что этимъ не перещеголяешь животное...

— Да ты вспомни, какъ ты хотѣлъ любить: сочинялъ плохіе стихи, говорилъ дикимъ языкомъ, такъ что до смерти надоѣлъ этой, твоей... Грунѣ, что ли! Этимъ ли привязываютъ женщину?

— Чѣмъ же? сухо спросила Лизавета Александровна мужа.

— Охъ, какъ колетъ поясницу! простоналъ Петръ Иванычъ.

— Потомъ вы твердили, продолжалъ Александръ:—что привязанности глубокой, симпатической нѣтъ, а есть одна привычка...

Лизавета Александровна, молча и глубоко посмотрѣла на мужа.

— То есть я, вотъ видишь ли, я говорилъ тебѣ для того... чтобъ... ты... того... ой, ой, поясница!

— И вы говорили это, продолжалъ Александръ:—двадцати-лѣтнему мальчику, для котораго любовь—все, котораго дѣятельность, цѣль—все вертится около этого чувства: имъ онъ можетъ спастись, или погибнуть.

— Точно двѣсти лѣтъ назадъ родился! бормоталъ Петръ Иванычъ:—жить бы тебѣ при царѣ Горохѣ.

— Вы растолковали мнѣ, говорилъ Александръ:—теорію любви, обмановъ, измѣнъ, охлажденій... зачѣмъ? я зналъ все это прежде, нежели началъ любить, а любя, я ужь анализировалъ любовь, какъ ученикъ анатомируетъ тѣло подъ руководствомъ профессора, и, вмѣсто красоты формъ, видитъ только мускулы, нервы...

— Однако, я помню, это не помѣшало тебѣ сходить съ ума по этой... какъ ее?.. Дашенькѣ, что ли?

— Да; но вы не дали мнѣ обмануться: я бы видѣлъ въ измѣнѣ Наденьки несчастную случайность и ожидалъ бы до тѣхъ поръ когда ужь не нужно было бы любви, а вы сейчасъ подоспѣли съ теоріей и показали мнѣ, что это общій порядокъ — и я, въ двадцать-пять лѣтъ, потерялъ довѣренность къ счастью и къ жизни и состарѣлся душой. Дружбу вы отвергали, называли и ее привычкой; называли себя, и то вѣроятно шутя, лучшимъ моимъ другомъ, потому развѣ, что успѣли доказать, что дружбы нѣтъ.

Петръ Иванычъ слушалъ и поглаживалъ одной рукой спину. Онъ возражалъ небрежно, какъ человѣкъ, который, казалось, однимъ словомъ могъ уничтожить всѣ взводимыя на него обвиненія.

— И дружбу хорошо ты понималъ, сказалъ онъ:—тебѣ хотѣлось отъ друга такой же комедіи, какую разыграли,

говорятъ, въ древности вонъ эти два дурака... какъ ихъ? что одинъ еще остался въ залогѣ, пока другъ его съѣздилъ повидаться... Что еслибъ всѣ-то такъ дѣлали, вѣдь просто весь міръ былъ бы домъ сумасшедшихъ!

— Я любилъ людей, продолжалъ Александръ:—вѣрилъ въ ихъ достоинства, видѣлъ въ нихъ братьевъ, простеръ было къ нимъ горячія объятія...

— Да, очень нужно! Помню твои объятія, перебилъ Петръ Иванычъ:—ты мнѣ ими тогда порядочно надоѣлъ.

— А вы показали мнѣ, чего они стоятъ. Вмѣсто того, чтобъ руководствовать мое сердце въ привязанностяхъ, вы научили меня не чувствовать, а разбирать, разсматривать и остерегаться людей: я разсмотрѣлъ ихъ—и разлюбилъ!

— Ктожь тебя зналъ! Видишь вѣдь ты какой прыткій: я думалъ, что ты отъ этого будешь только снисходительнѣе къ нимъ. Я вотъ знаю ихъ, да не возненавидѣлъ...

— Что жь, ты любишь людей? спросила Лизавета Александровна.

— Привыкъ... къ нимъ.

— Привыкъ! повторила она монотонно.

— И онъ бы привыкъ, сказалъ Петръ Иванычъ: — да онъ ужь прежде былъ сильно испорченъ въ деревнѣ теткой да желтыми цвѣтами, оттого такъ туго и развивается.

— Потомъ я вѣрилъ въ самаго себя, началъ опять Александръ:—вы показали мнѣ, что я хуже другихъ—я возненавидѣлъ и себя.

— Еслибъ ты разсматривалъ дѣло похладнокровнѣе, такъ увидѣлъ бы, что ты не хуже другихъ и не лучше, чего я и хотѣлъ отъ тебя: тогда не возненавидѣлъ бы ни другихъ, ни себя, а только равнодушнѣе сносилъ бы людскія глупости и былъ бы повнимательнѣе къ своимъ. Я вотъ знаю цѣну себѣ, вижу, что нехорошъ, а признаюсь, очень люблю себя.

— А: тутъ *любишь*, а не *привыкъ*! холодно замѣтила Лизавета Александровна.

— Охъ, поясница! заохалъ Петръ Иванычъ.

— Наконецъ, вы однимъ ударомъ, безъ предостереженія, безъ жалости, разрушили лучшую мечту мою: я думалъ, что во мнѣ есть искра поэтическаго дарованія; вы жестоко доказали мнѣ, что я не созданъ жрецомъ изящнаго; вы съ болью вырвали у меня эту занозу изъ сердца и предложили мнѣ трудъ, который былъ мнѣ противенъ. Безъ васъ я писалъ бы...

— И былъ бы извѣстенъ публикѣ, какъ бездарный писатель, перебилъ Петръ Иванычъ.

— Что мнѣ до публики? Я хлопоталъ о себѣ, я приписывалъ бы свои неудачи злости, зависти, недоброжелательству, и мало-по-малу свыкся бы смыслью, что писать ненужно, и самъ бы принялся за другое. Чему же вы удивляетесь, что я, узнавши все, упалъ духомъ?..

— Ну, что скажешь? спросила Лизавета Александровна.

— Не хочется и говорить-то: какъ отвѣчать на такой вздоръ? Я виноватъ, что ты, ѣдучи сюда, воображалъ, что здѣсь все цвѣты желтые, любовь да дружба; что люди только и дѣлаютъ, что одни пишутъ стихи, другіе слушаютъ, да изрѣдка, такъ, для разнообразія, примутся за прозу?.. Я доказывалъ тебѣ, что человѣку, вообще вездѣ, а здѣсь въ особенности, надо работать, и много работать, даже до боли въ поясницѣ... цвѣтовъ жолтыхъ нѣтъ, есть чины, деньги: это гораздо лучше! Вотъ что я хотѣлъ доказать тебѣ! я не отчаявался, что ты поймешь наконецъ, что такое жизнь, особенно, какъ ее теперь понимаютъ. Ты и понялъ, да какъ увидѣлъ, что въ ней мало цвѣтовъ и стиховъ, и вообразилъ, что жизнь—большая ошибка, что ты видишь это и оттого имѣешь право скучать; другіе не за-

мѣчаютъ и оттого живутъ припѣваючи. Ну, чѣмъ ты недоволенъ? чего тебѣ не достаетъ? Другой, на твоемъ мѣстѣ, благословилъ бы судьбу. Ни нужда, ни болѣзнь, никакое реальное горе не дотрогивалось до тебя. Чего у тебя нѣтъ? Любви; что ли? Мало еще тебѣ: любилъ ты два раза и былъ любимъ. Тебѣ измѣнили, ты поквитался. Мы рѣшили, что друзья у тебя есть, какіе у другого рѣдко бываютъ: не фальшивые; въ воду за тебя, правда, не бросятся и на костеръ не полѣзутъ, обниматься тоже не охотники; да вѣдь это до крайности глупо; пойми наконецъ! но за то совѣтъ, помощь, даже деньги—всегда найдешь... Это ли еще не друзья? Со временемъ ты женишься; карьера передъ тобой: займись только; а вмѣстѣ съ ней и фортуна. Дѣлай все, какъ другіе — и судьба не обойдетъ тебя: найдешь свое. Смѣшно воображать себя особеннымъ, великимъ человѣкомъ, когда ты не созданъ такимъ! Ну, о чемъ же ты горюешь?

— Я васъ не виню, дядюшка, напротивъ, я умѣю цѣнить ваши намѣренія и отъ души благодарю за нихъ. Что дѣлать, что они не удались? Не вините же и меня. Мы не поняли другъ друга — вотъ въ чемъ наша бѣда! Что можетъ нравиться и годиться вамъ, другому, третьему— не нравится мнѣ...

— Нравится мнѣ, другому, третьему!.. не то говоришь, милый! развѣ я одинъ такъ думаю и дѣйствую, какъ училъ думать и дѣйствовать тебя?.. Посмотри кругомъ: разсмотри массу—*толпу*, какъ ты называешь ее— не ту, что въ деревнѣ живетъ: туда это долго не дойдетъ, а современную, образованную, мыслящую и дѣйствующую: чего она хочетъ и къ чему стремится? какъ мыслитъ? и увидишь, что именно такъ, какъ я училъ тебя. Чего я требовалъ отъ тебя— не я все это выдумалъ.

— Кто же? спросила Лизавета Александровна.

— Вѣкъ.

— Такъ непремѣнно и надо слѣдовать всему, что выдумаетъ твой вѣкъ? спросила она:—такъ все и свято, все и правда?

— Все и свято! сказалъ Петръ Иванычъ.

— Какъ! правда, что надо больше разсуждать, нежели чувствовать? Не давать воли сердцу, удерживаться отъ порывовъ чувства? не предаваться и не вѣрить искреннему изліянію?

— Да, сказалъ Петръ Иванычъ.

— Дѣйствовать вездѣ по методѣ, меньше довѣрять людямъ, считать все ненадежнымъ и жить одному про себя?

— Да.

— И это свято, что любовь не главное въ жизни, что надо больше любить свое дѣло, нежели любимаго человѣка, не надѣяться ни на чью преданность, вѣрить, что любовь должна кончаться охлажденіемъ, измѣной или привычкой? что дружба привычка? Это все правда?

— Это была всегда правда, отвѣчалъ Петръ Иванычъ:— только прежде не хотѣли вѣрить ей, а нынче это сдѣлалось обще-извѣстной истиной.

— Свято и это, что все надо разсматривать, все расчитывать и обдумывать, не позволять себѣ забыться, помечтать, увлечься хоть и обманомъ, лишь бы быть отъ того счастливымъ?..

— Свято, потому-что разумно, сказалъ Петръ Иванычъ.

— Правда и это, что умомъ надобно дѣйствовать и съ близкими сердцу... напримѣръ, съ женой?..

— У меня еще никогда такъ не болѣла поясница... охъ! сказалъ Петръ Иванычъ, корчась на стулѣ.

— А! поясница! Хорошъ вѣкъ! нечего сказать.

— Очень хорошъ, милая; такъ, изъ капризовъ, ничего не дѣлается; вездѣ разумъ, причина, опытъ, постепенность и, слѣдовательно, успѣхъ; все стремится къ совершенствованію и добру.

— Въ вашихъ словахъ, дядюшка, можетъ быть, есть и правда, сказалъ Александръ:—но она не утѣшаетъ меня. Я по вашей теоріи знаю все, смотрю на вещи вашими глазами; я воспитанникъ вашей школы, а между тѣмъ, мнѣ скучно жить, тяжело, невыносимо... Отчего же это?

— А отъ не привычки къ новому порядку. Не одинъ ты такой: еще есть отсталые; это все *страдальцы*. Они точно жалки; но что жь дѣлать? Нельзя же для горсти людей оставаться назади цѣлой массѣ. На все, въ чемъ ты меня сейчасъ обвинилъ, сказалъ Петръ Иванычъ, подумавъ,—у меня есть одно и главное оправданіе: помнишь ли когда ты явился сюда, я, послѣ пятиминутнаго разговора съ тобой, совѣтовалъ тебѣ ѣхать назадъ? Ты не послушалъ. За что жь теперь нападаешь на меня? Я предсказалъ тебѣ, что ты не привыкнешь къ настоящему порядку вещей, а ты понадѣялся на мое руководство, просилъ совѣтовъ... говорилъ высокимъ слогомъ о современныхъ успѣхахъ ума, о стремленіяхъ человѣчества... о практическомъ направленіи вѣка—ну, вотъ тебѣ! Нельзя же мнѣ было нянчиться съ тобой съ утра до вечера: что мнѣ за надобность? Я не могъ, ни закрывать тебѣ рта платкомъ на ночь отъ мухъ, ни крестить тебя. Я говорилъ тебѣ дѣло, потому-что ты просилъ меня объ этомъ; а что изъ этого вышло, то ужь до меня не касается. Ты не ребенокъ и не глупъ: можешь разсудить и самъ... Туть чѣмъ бы свое дѣло дѣлать, ты—то стонешь отъ измѣны дѣвчонки, то плачешь въ разлукѣ съ другомъ, то страдаешь отъ душевной пустоты, то отъ полноты ощущеній; ну, что это за жизнь? Вѣдь это пытка! Посмотри-ка на нынѣшнюю молодежь: что за молодцы!

Какъ все кипитъ умственною дѣятельностью, энергіей, какъ ловко и легко управляются они со всѣмъ этимъ вздоромъ, что на вашемъ старомъ языкѣ называется *треволненіями*, *страданіями*... и чортъ знаетъ что еще!

— Какъ ты легко разсуждаешь! сказала Лизавета Александровна:—и тебѣ не жаль Александра?

— Нѣтъ. Вотъ, еслибъ у него болѣла поясница, такъ я бы пожалѣлъ: это не вымыселъ, не мечта, не поэзія, а реальное горе... Охъ!

— Научите же меня, дядюшка, по крайней мѣрѣ, что мнѣ дѣлать теперь? Какъ вы вашимъ умомъ разрѣшите эту задачу?

— Что дѣлать? Да... ѣхать въ деревню.

— Въ деревню! повторила Лизавета Александровна:— въ умѣ ли ты, Петръ Иванычъ? Что онъ тамъ станетъ дѣлать?

— Въ деревню! повторилъ Александръ и оба глядѣли на Петра Иваныча.

— Да, въ деревню: тамъ ты увидишься съ матерью, утѣшишь ее. Ты же ищешь покойной жизни: здѣсь вонъ тебя все волнуетъ; а гдѣ покойнѣе, какъ не тамъ, на озерѣ, съ теткой... Право, поѣзжай! А кто знаетъ? можетъ быть, ты и того... Охъ!

Онъ схватился за спину.

Недѣли черезъ двѣ Александръ вышелъ въ отставку и пришелъ проститься съ дядей и теткой. Тетка и Александръ были грустны и молчаливы. У Лизаветы Александровны висѣли слезы на глазахъ. Петръ Иванычъ говорилъ одинъ.

— Ни карьеры, ни фортуны! говорилъ онъ, качая головою:—стоило пріѣзжать! осрамилъ родъ Адуевыхъ!

— Да полно, Петръ Иванычъ, сказала Лизавета Александровна:—ты надоѣлъ съ своей карьерой.

*

— Какъ же, милая, въ восемь лѣтъ ничего не сдѣлать!

— Прощайте, дядюшка, сказалъ Александръ. —Благодарю васъ за все, за все...

— Не за что! Прощай, Александръ! Не надо ли денегъ на дорогу?

— Нѣтъ, благодарю: мнѣ станетъ.

— Что это, никогда не возьметъ! это, наконецъ, бѣситъ меня. Ну, съ Богомъ, съ Богомъ.

— И тебѣ не жаль разстаться съ нимъ? промолвила Лизавета Александровна.

— М-м! промычалъ Петръ Иванычъ:—я... привыкъ къ нему. Помни же, Александръ, что у тебя есть дядя и другъ—слышишь? и если понадобятся служба, занятія и презрѣнный металлъ, смѣло обратись ко мнѣ: всегда найдешь и то, и другое, и третье.

— А если понадобится участіе, сказала Лизавета Александровна: — утѣшеніе въ горѣ, теплая, надежная дружба...

— И искреннія изліянія, прибавилъ Петръ Иванычъ.

— ... такъ вспомните, продолжала Лизавета Александровна:—что у васъ есть тетка и другъ.

— Ну, этого, милая, и въ деревнѣ не занимать стать: все есть: и цвѣты, и любовь, и изліянія, и даже тетка.

Александръ былъ растроганъ; онъ не могъ сказать ни слова. Прощаясь съ дядей, онъ простеръ было къ нему объятія, хоть и не такъ живо, какъ восемь лѣтъ назадъ. Петръ Иванычъ не обнялъ его, а взялъ только его за обѣ руки и пожалъ ихъ крѣпче, нежели восемь лѣтъ назадъ. Лизавета Александровна залилась слезами.

— Ухъ! гора съ плечъ, слава Богу! сказалъ Петръ Иванычъ, когда Александръ уѣхалъ:—какъ будто и поясницѣ легче стало!

— Что онъ тебѣ сдѣлалъ? промолвила сквозь слезы жена.

— Что? просто мученье: хуже, чѣмъ съ фабричными: тѣхъ, если задурятъ, такъ посѣчешь; а съ нимъ что станешь дѣлать?

Тетка проплакала цѣлый день, и когда Петръ Иванычъ спросилъ обѣдать, ему сказали, что стола не готовили, что барыня заперлась у себя въ кабинетѣ и не приняла повара.

— А все Александръ! сказалъ Петръ Иванычъ. — Что это за мука съ нимъ!

Онъ поворчалъ, поворчалъ и поѣхалъ обѣдать въ англійскій клубъ.

Дилижансъ рано утромъ медленно тащился изъ города и увозилъ Александра Ѳедорыча и Евсея.

Александръ, высунувъ голову изъ окна кареты, всячески старался настроить себя на грустный тонъ, и, наконецъ, мысленно разрѣшился монологомъ.

Проѣзжали мимо куафферовъ, дантистовъ, модистокъ, барскихъ палатъ. „Прощай", говорилъ онъ, покачивая головой и хватаясь за свои жиденькіе волосы: „прощай, городъ поддѣльныхъ волосъ, вставныхъ зубовъ, ваточныхъ подражаній природѣ, круглыхъ шляпъ, городъ учтивой спѣси, искусственныхъ чувствъ, безжизненной суматохи! Прощай, великолѣпная гробница глубокихъ, сильныхъ, нѣжныхъ и теплыхъ движеній души. Я здѣсь восемь лѣтъ стоялъ лицомъ къ лицу съ современною жизнью, но спиною къ природѣ, и она отвернулась отъ меня: я утратилъ жизненныя силы и состарѣлся въ двадцать девять лѣтъ; а было время...

„Прощай, прощай, городъ,

Гдѣ я страдалъ, гдѣ я любилъ,
Гдѣ сердце я похоронилъ.

„Къ вамъ простираю объятія, широкія поля, къ вамъ, благодатныя веси и пажити моей родины: примите меня въ свое лоно, да оживу и воскресну душой!“

Тутъ онъ прочелъ стихотвореніе Пушкина: *Художникъ варваръ кистью сонной* и т. д., отеръ влажные глаза и спрятался въ глубину кареты.

VI.

Утро было прекрасное. Знакомое читателю озеро въ селѣ Грачахъ чуть-чуть рябѣло отъ легкой зыби. Глаза невольно зажимались отъ ослѣпительнаго блеска солнечныхъ лучей, сверкавшихъ, то алмазными, то изумрудными искрами въ водѣ. Плакучія березы купали въ озерѣ свои вѣтви и кое-гдѣ берега поросли осокой, въ которой прятались большіе, жолтые цвѣты, покоившіеся на широкихъ плавучихъ листьяхъ. На солнце набѣгали иногда легкія облака; вдругъ оно какъ-будто отвернется отъ Грачей; тогда и озеро, и роща, и село—все мгновенно потемнѣетъ; одна даль ярко сіяетъ. Облако пройдетъ—озеро опять заблеститъ, нивы обольются точно золотомъ.

Анна Павловна съ пяти часовъ сидитъ на балконѣ. Что ее вызвало: восходъ солнца, свѣжій воздухъ, или пѣніе жаворонка? Нѣтъ! она не сводитъ глазъ съ дороги, что идетъ черезъ рощу. Пришла Аграфена просить ключей. Анна Павловна не поглядѣла на нее и, не спуская глазъ съ дороги, отдала ключи и не спросила даже, зачѣмъ? Явился поваръ: она, тоже не глядя на него, отдала ему множество приказаній. Другой день столъ заказывался на десять человѣкъ.

Анна Павловна осталась опять одна. Вдругъ глаза ея заблистали; всѣ силы ея души и тѣла перешли въ зрѣніе: на дорогѣ что-то зачернѣло. Кто-то ѣдетъ, но тихо, мед-

ленно. Ахъ! это возъ спускается съ горы. Анна Павловна нахмурилась.

— Вотъ кого-то понесла нелёгкая! проворчала она: — нѣтъ, чтобъ объѣхать кругомъ; всѣ лѣзутъ сюда.

Она съ неудовольствіемъ опустилась опять въ кресло и опять съ трепетнымъ ожиданіемъ устремила взглядъ на рощу, не замѣчая ничего вокругъ. А вокругъ было что замѣтить: декорація начала значительно измѣняться. Полуденный воздухъ, накаленный знойными лучами солнца, становился душенъ и тяжелъ. Вотъ и солнце спряталось. Стало темно. И лѣсъ, и дальнія деревни, и трава—все облеклось въ безразличный какой-то зловѣщій цвѣтъ.

Анна Павловна очнулась и взглянула вверхъ. Боже мой! Съ запада тянулось, точно живое чудовище, черное, безобразное пятно съ мѣднымъ отливомъ по краямъ, и быстро надвигалось на село и на рощу, простирая будто огромныя крылья по сторонамъ. Все затосковало въ природѣ. Коровы понурили головы; лошади обмахивались хвостами, раздували ноздри и фыркали, встряхивая гривой. Пыль подъ ихъ копытами не поднималась вверхъ, но тяжело, какъ песокъ, разсыпалась подъ колесами. Туча надвигалась грозно. Вскорѣ медленно прокатился отдаленный гулъ.

Все притихло, какъ-будто ожидало чего-то небывалаго. Куда дѣвались эти птицы, которыя такъ рѣзво порхали и пѣли при солнышкѣ? Гдѣ насѣкомыя, что такъ разнообразно жужжали въ травѣ? Все спряталось и безмолвствовало, и бездушные предметы, казалось, раздѣляли зловѣщее предчувствіе. Деревья перестали покачиваться и задѣвать другъ друга сучьями; они выпрямились; только изрѣдка наклонялись верхушками между собою, какъ-будто взаимно предупреждая себя шопотомъ о близкой опасности. Туча уже обложила горизонтъ и образовала какой-

то свинцовый, непроницаемый сводъ. Въ деревнѣ всѣ старались убраться во-время по домамъ. Наступила минута всеобщаго торжественнаго молчанія. Вотъ отъ лѣсу, какъ передовой вѣстникъ, пронесся свѣжій вѣтерокъ, повѣялъ прохладой въ лицо путнику, прошумѣлъ по листьямъ, захлопнулъ мимоходомъ ворота въ избѣ и, вскрутя пыль на улицѣ, затихъ въ кустахъ. Слѣдомъ за нимъ мчится бурный вихрь, медленно двигая по дорогѣ столпъ пыли; вотъ ворвался въ деревню, сбросилъ нѣсколько гнилыхъ досокъ съ забора, снесъ соломенную кровлю, взвилъ юбку у несущей воду крестьянки и погналъ вдоль улицы пѣтуховъ и куръ, раздувая имъ хвосты.

Пронесся. Опять безмолвіе. Все суетится и прячется; только глупый баранъ не предчувствуетъ ничего: онъ равнодушно жуетъ свою жвачку, стоя посреди улицы, и глядитъ въ одну сторону, не понимая общей тревоги; да перышко съ соломенкой, кружась по дорогѣ, силятся поспѣть за вихремъ.

Упали двѣ, три крупныя капли дождя — и вдругъ блеснула молнія. Старикъ всталъ съ заваленки и поспѣшно повелъ маленькихъ внучатъ въ избу; старуха, крестясь, торопливо закрыла окно.

Грянулъ громъ и, заглушая людской шумъ, торжественно, царственно прокатился въ воздухѣ. Испуганный конь оторвался отъ коновязи и мчится съ веревкой въ поле; тщетно преслѣдуетъ его крестьянинъ. А дождь такъ и сыплетъ, такъ и сѣчетъ, все чаще и чаще, и дробитъ въ кровли и окна сильнѣе и сильнѣе. Бѣленькая ручка боязливо высовываетъ на балконъ предметъ нѣжныхъ заботъ— цвѣты.

При первомъ ударѣ грома, Анна Павловна перекрестилась и ушла съ балкона.

— Нѣтъ, ужь сегодня нечего видно ждать, сказала она

со вздохомъ:—отъ грозы гдѣ нибудь остановился, развѣ къ ночи.

Вдругъ послышался стукъ колесъ, только не отъ рощи, а съ другой стороны. Кто-то въѣхалъ на дворъ. У Адуевой замерло сердце.

„Какъ же оттуда? думала она:—развѣ не хотѣлъ ли онъ тайкомъ пріѣхать? Да нѣтъ, тутъ не дорога.“

Она не знала что подумать; но вскорѣ все объяснилось. Черезъ минуту вошелъ Антонъ Иванычъ. Волосы его серебрились просѣдью; самъ онъ растолстѣлъ; щеки отекли отъ бездѣйствія и объяденія. На немъ былъ тотъ же сюртукъ, тѣ же широкія панталоны.

— Ужь я васъ ждала, ждала, Антонъ Иванычъ, начала Анна Павловна:—думала, что не будете—отчаялась было.

— Грѣхъ это думать! къ кому другому, матушка — такъ! меня не ко всякому залучишь... только не къ вамъ. Замѣшкался не по своей винѣ: вѣдь я ныньче на одной лошадкѣ разъѣзжаю.

— Что такъ? спросила разсѣянно Анна Павловна, подвигаясь къ окну.

— Чего, матушка, съ крестинъ у Павла Савича пѣгашка захромала: угораздила нелёгкая кучера положить черезъ канавку старую дверь отъ амбара... бѣдные люди, видите! Не стало новой дощечки! А на двери-то былъ гвоздь или крючокъ, что ли—лукавый ихъ знаетъ! Лошадь какъ ступила, такъ въ сторону и шарахнулась, и мнѣ чуть было шеи не сломала... пострѣлы этакіе! Вотъ съ тѣхъ поръ и хромаетъ... Вѣдь есть же скареды такіе! Вы не повѣрите, матушка, что это у нихъ въ домѣ: въ иной богадѣльнѣ лучше содержатъ народъ. А въ Москвѣ, на Кузнечномъ мосту, что годъ, то тысячъ десять и посадятъ!

Анна Павловна слушала его разсѣянно и слегка покачала головой, когда онъ кончилъ.

— А вѣдь я отъ Сашеньки письмо получила, Антонъ Иванычъ! перебила она:—пишетъ, что около 20-го будетъ: такъ я и не вспомнилась отъ радости.

— Слышалъ, матушка: Прошка сказывалъ, да я сначала-то не разобралъ, что онъ говоритъ; подумалъ, что ужь и пріѣхалъ; съ радости меня индо въ потъ бросило.

— Дай Богъ вамъ здоровья, Антонъ Иванычъ, что любите насъ.

— Еще бы не любить! Да вѣдь я Александра Ѳедорыча на рукахъ носилъ: все равно, что родной.

— Спасибо вамъ, Антонъ Иванычъ: Богъ васъ наградитъ! А я другую ночь ночти не сплю и людямъ не даю спать: неравно пріѣдетъ, а мы всѣ дрыхнемъ — хорошо будетъ! Вчера и третьягодня до рощи пѣшкомъ ходила, и ныньче бы пошла, да старость проклятая одолѣваетъ. Ночью безсонница истомила. Садитесь-ка, Антонъ Иванычъ. Да вы всѣ перемокли: не хотите-ли выпить и позавтракать? Обѣдать-то, можетъ быть, поздно придется: станемъ поджидать дорогого гостя.

— Такъ развѣ, закусить. А то я ужь, признаться, завтракать-то завтракалъ.

— Гдѣ это вы успѣли?

— А на перепутьи у Марьи Карповны остановился. Вѣдь мимо ихъ приходилось: больше для лошади, нежели для себя: ей далъ вздохнуть. Шутка ли по нынѣшней жарѣ двѣнадцать верстъ махнуть! Тамъ кстати и закусилъ. Хорошо, что не послушался: не остался, какъ ни удерживали, а то бы гроза захватила тамъ на цѣлый день.

— Что, каково поживаетъ Марья Карповна?

— Слава Богу! кланяется вамъ.

— Покорно благодарю; а дочка-то, Софья Михайловна, съ муженькомъ-то, что?

— Ничего, матушка; ужь шестой ребеночекъ въ походѣ. Недѣли черезъ двѣ ожидаютъ. Просили меня побывать около того времени. А у самихъ въ домѣ бѣдность такая, что и не глядѣлъ бы. Кажись, до дѣтей ли бы? такъ нѣтъ: туда же!

— Что вы!

— Ей-Богу! въ покояхъ косяки всѣ покривились; полъ такъ и ходитъ подъ ногами; черезъ крышу течетъ. И поправить-то не на что, а на столъ подадутъ супу, ватрушекъ да баранины—вотъ вамъ и все! А вѣдь какъ усердно зовутъ!

— Туда же, за моего Сашеньку норовила, ворона этакая!

— Куда ей, матушка, за этакого сокола! Жду не дождусь, какъ бы взглянуть: чай, красавецъ какой! Я что-то смекаю, Анна Павловна: не высваталъ ли онъ тамъ себѣ какую-нибудь княжну или графиню, да не ѣдетъ ли просить вашего благословенія, да звать на свадьбу?

— Что вы, Антонъ Иванычъ! сказала Анна Павловна, млѣя отъ радости.

— Право!

— Ахъ! вы голубчикъ мой, дай Богъ вамъ здоровья!.. Да! вотъ-было изъ ума вонъ: хотѣла вамъ разсказать, да и забыла: думаю, думаю, что такое, такъ на языкѣ и вертится; вотъ вѣдь, чего добраго, такъ бы и прошло. Да не позавтракать ли вамъ прежде, или теперь разсказать?

— Все равно, матушка, хоть во время завтрака: я не пророню ни кусочка... ни словечка, бишь.

— Ну, вотъ, начала Анна Павловна, когда принесли завтракъ и Антонъ Иванычъ усѣлся за столъ: — и вижу я...

— А чтожь вы сами-то развѣ не станете кушать? спросилъ Антонъ Иванычъ.

— И! до ѣды ли мнѣ теперь? Мнѣ и кусокъ въ горло не пойдетъ; давича и чашки чаю не допила. — Вотъ я вижу во снѣ, что я будто сижу этакъ-то, а такъ, напротивъ меня, Аграфена стоитъ съ подносомъ. Я и говорю будто ей. „что же, молъ, говорю, у тебя, Аграфена, подносъ-то пустой?“ а она молчитъ, а сама смотритъ все на дверь. „Ахъ, матушки мои!“ думаю во снѣ-то сама про себя, „что же это она уставила туда глаза? „Вотъ и я стала смотрѣть... смотрю: вдругъ Сашенька и входитъ, такой печальный, подошелъ ко мнѣ и говоритъ, да такъ словно на яву говоритъ: „прощайте, говоритъ, маменька, я ѣду далеко, вонъ туда“, — и указалъ на озеро, — „и больше, говоритъ, не пріѣду“. „Куда же это, мой дружочекъ?“ спрашиваю я, а сердце такъ и ноетъ у меня. Онъ будто молчитъ, а самъ смотритъ на меня такъ странно да жалостно. „Да откуда ты взялся, голубчикъ?“ будто спрашиваю я опять. А онъ, сердечный, вздохнулъ и опять указалъ на озеро. „Изъ омута, молвилъ чуть слышно: — отъ водяныхъ“. Я такъ вся и затряслась, и проснулась. Подушка у меня вся въ слезахъ; и наяву-то не могу опомниться; сижу на постели, а сама плачу, такъ и заливаюсь, плачу. Какъ встала, сейчасъ затеплила лампадку передъ Казанской Божіей Матерью: авось Она, милосердная заступница наша, сохранитъ его отъ всякихъ бѣдъ и напастей. Такое сомнѣніе навело, ей-Богу! не могу понять, что бы это значило? Не случилось бы съ нимъ чего нибудь? Гроза же этакая...

— Это хорошо, матушка, плакать во снѣ: къ добру! сказалъ Антонъ Иванычъ, разбивая яйцо о тарелку: — завтра непремѣнно будетъ.

— А я было думала, не пойти ли намъ послѣ завтрака

до рощи, на встрѣчу ему; какъ нибудь бы дотащились; да вонъ вѣдь грязь какая вдругъ сдѣлалась.

— Нѣтъ, сегодня не будетъ: у меня есть примѣта!

— Въ эту минуту по вѣтру донеслись отдаленные звуки колокольчика и вдругъ смолкли. Анна Павловна притаила дыханіе.

— Ахъ! сказала она, облегчая грудь вздохомъ: — а я было думала...

Вдругъ опять.

— Господи, Боже мой! никакъ колокольчикъ? сказала она и бросилась къ балкону.

— Нѣтъ, отвѣчалъ Антонъ Иванычъ:—это жеребенокъ тутъ близко пасется съ колокольчикомъ на шеѣ: я видѣлъ дорогой. Еще я пугнулъ его, а то въ рожь бы забрелъ. Что вы не велите стреножить?

Вдругъ колокольчикъ зазвенѣлъ какъ-будто подъ самымъ балкономъ и заливался все громче и громче.

— Ахъ батюшки! такъ и есть: сюда, сюда ѣдетъ! Это онъ, онъ! кричала Анна Павловна: — Ахъ, ахъ! Бѣгите, Антонъ Иванычъ! Гдѣ люди? Гдѣ Аграфена? Никого нѣтъ!.. точно въ чужой домъ ѣдетъ, Боже мой!

Она совсѣмъ растерялась. А колокольчикъ звенѣлъ ужь какъ-будто въ комнатѣ.

Антонъ Иванычъ выскочилъ изъ-за стола.

— Онъ! онъ! кричалъ Антонъ Иванычъ:—вонъ и Евсей на козлахъ! Гдѣ же у васъ образъ, хлѣбъ-соль? Дайте скорѣе! Что же я вынесу къ нему на крыльцо? Какъ можно безъ хлѣба и соли? примѣта есть... Что это у васъ за безпорядокъ! никто не подумалъ! Да что жь вы сами-то, Анна Павловна, стоите, нейдете на встрѣчу? Бѣгите скорѣе!..

— Не могу! проговорила она съ трудомъ:—ноги отнялись.

И съ этими словами опустилась въ кресла. Антонъ Иванычъ схватилъ со стола ломоть хлѣба, положилъ на тарелку, поставилъ солонку и бросился было въ дверь.

— Ничего не приготовлено! ворчалъ онъ.

Но въ тѣ же двери, на встрѣчу ему, ворвались три лакея и двѣ дѣвки.

— Ѣдетъ! ѣдетъ! пріѣхалъ! кричали они, блѣдные, испуганные, какъ-будто пріѣхали разбойники.

Вслѣдъ за ними явился и Александръ.

— Сашенька! другъ ты мой!.. воскликнула Анна Павловна и вдругъ остановилась и глядѣла въ недоумѣніи на Александра.

— Гдѣ же Сашенька? спросила она.

— Да это я, маменька! отвѣчалъ онъ цѣлуя у ней руку.

— Ты?

Она поглядѣла на него пристально.

— Ты, точно ты, мой другъ? сказала она и крѣпко обняла его. Потомъ вдругъ опять посмотрѣла на него.

— Да что съ тобой? Ты нездоровъ? спросила она съ безпокойствомъ, не выпуская его изъ объятій.

— Здоровъ, маменька.

— Здоровъ! Что жь съ тобой сталось, голубчикъ ты мой? Такимъ ли я отпустила тебя?

Она прижала его къ сердцу и горько заплакала. Она цѣловала его въ голову, въ щеки, въ глаза.

— Гдѣ же твои волоски? какъ шолкъ были! приговаривала она сквозь слезы:—глаза свѣтились, словно двѣ звѣздочки; щоки—кровь съ молокомъ; весь ты былъ, какъ наливное яблочко! Знать, извели лихіе люди, позавидовали твоей красотѣ да моему счастью! А дядя-то чего смотрѣлъ? А еще отдала съ рукъ на руки, какъ путному человѣку! Не умѣлъ сберечь сокровища! Голубчикъ ты мой!..

Старушка плакала и осыпала ласками Александра.

„Видно слезы-то во снѣ не къ добру!“ подумалъ Антонъ Иванычъ.

— Что это вы, матушка, надъ нимъ, словно надъ мертвымъ, вопите? шепнулъ онъ:—нехорошо, примѣта есть.

— Здравствуйте, Александръ Ѳедорычъ? сказалъ онъ:—привелъ Богъ еще и на этомъ свѣтѣ увидѣться.

Александръ молча подалъ ему руку. Антонъ Иванычъ пошелъ посмотрѣть, все ли вытащили изъ кибитки, потомъ сталъ сзывать дворню здороваться съ бариномъ. Но всѣ уже толпились въ передней и въ сѣняхъ. Онъ всѣхъ разставилъ въ порядкѣ и училъ, кому какъ здороваться: кому поцѣловать у барина руку, кому плечо, кому только полу платья, и что говорить при этомъ. Одного парня совсѣмъ прогналъ, сказавъ ему:—Ты поди прежде рожу вымой, да носъ утри.

Евсей, подпоясанный ремнемъ, весь въ пыли, здоровался съ дворней; она кругомъ обступила его. Онъ дарилъ петербургскіе гостинцы: кому серебряное кольцо, кому березовую табакерку. Увидя Аграфену, онъ остановился, какъ окаменѣлый, и смотрѣлъ на нее молча, съ глупымъ восторгомъ. Она поглядѣла на него съ боку, изъподлобья, но тотчасъ же невольно измѣнила себѣ: засмѣялась отъ радости, потомъ заплакала-было, но вдругъ отвернулась въ сторону и нахмурилась.

— Что молчишь? сказала она:—экой болванъ: и не здоровается!

Но онъ не могъ ничего говорить. Онъ съ той же глупой улыбкой подошелъ къ ней. Она едва дала ему обнять себя.

— Принесла нелегкая, говорила она сердито, глядя на него по временамъ украдкой; но въ глазахъ и въ улыбкѣ ея выражалась величайшая радость.—Чай, петербургскія-то.. свертѣли тамъ васъ съ бариномъ? Вишь, усищи какіе отростилъ!

Онъ вынулъ изъ кармана маленькую бумажную коробочку и подалъ ей. Тамъ были бронзовыя серьги. Потомъ онъ досталъ изъ мѣшка пакетъ, въ которомъ завернутъ былъ большой платокъ.

Она схватила и проворно сунула, не поглядѣвъ, и то, и другое въ шкапъ.

— Покажите гостинцы, Аграфена Ивановна, сказали нѣкоторые изъ дворни.

— Ну, что тутъ смотрѣть? Чего не видали? Подите отсюда! Что вы тутъ набились? кричала она на нихъ.

— А вотъ еще! выговорилъ Евсей, подавая ей другой пакетъ.

— Покажите, покажите! пристали нѣкоторые.

Аграфена рванула бумажку и оттуда посыпалось нѣсколько колодъ игранныхъ, но еще почти новыхъ картъ.

— Вотъ нашелъ что привезти! сказала Аграфена:— ты думаешь, мнѣ только и дѣла, что играть? какъ же! Выдумалъ что: стану я съ тобой играть!

Она спрятала и карты. Черезъ часъ Евсей опять сидѣлъ уже на старомъ мѣстѣ, между столомъ и печкой.

— Господи! какой покой! говорилъ онъ, то поджимая, то протягивая ноги:—то ли дѣло здѣсь! А у насъ, въ Петербургѣ, просто каторжное житье! Нѣтъ ли чего перекусить, Аграфена Ивановна? Съ послѣдней станціи ничего не ѣли.

— Ты еще не отсталъ отъ своей привычки? На! Видишь, какъ принялся; видно васъ тамъ не кормили совсѣмъ.

Александръ прошелъ по всѣмъ комнатамъ, потомъ по саду, останавливаясь у каждаго куста, у каждой скамьи. Ему сопутствовала мать. Она, вглядываясь въ его блѣдное лицо, вздыхала, но плакать боялась; ее напугалъ Антонъ Иванычъ. Она разспрашивала сына о житьѣ-бытьѣ, но никакъ не могла добиться причины, отчего онъ сталъ худъ,

блѣденъ и куда дѣвались волосы. Она предлагала ему и покушать, и выпить, но онъ, отказавшись отъ всего, сказалъ, что усталъ съ дороги и хочетъ уснуть.

Анна Павловна посмотрѣла, хорошо ли постлана постель, побранила дѣвку, что жестко, заставила перестлать при себѣ и до тѣхъ поръ не ушла, пока Александръ улегся. Она вышла на цыпочкахъ, погрозила людямъ, чтобъ не смѣли говорить и дышать вслухъ, и ходили бы безъ сапогъ. Потомъ велѣла послать къ себѣ Евсея. Съ нимъ пришла и Аграфена. Евсей поклонился барынѣ въ ноги и поцѣловалъ у ней руку.

— Что это съ Сашенькою сдѣлалось? спросила она грозно:—На кого онъ сталъ похожъ—а?

Евсей молчалъ.

— Что жь ты молчишь? сказала Аграфена:—слышишь, барыня тебя спрашиваетъ?

— Отчего онъ такъ похудѣлъ? сказала Анна Павловна: —куда волоски-то у него дѣвались?

— Не могу знать, сударыня! сказалъ Евсей:— барское дѣло!

— Не можешь знать! А чего жь ты смотрѣлъ?

Евсей не зналъ что сказать и все молчалъ.

— Нашли кому повѣрить, сударыня! промолвила Аграфена, глядя съ любовью на Евсея: — добро бы человѣку! Что ты тамъ дѣлалъ? Говори-ка барынѣ! Вотъ ужо будетъ тебѣ!

— Я ли, сударыня, не усердствовалъ! боязливо сказалъ Евсей, глядя то на барыню, то на Аграфену: — служилъ вѣрой и правдой, хоть извольте у Архипыча спросить...

— У какого Архипыча?

— У тамошняго дворника.

— Вишь вѣдь что городитъ! замѣтила Аграфена.— Что

вы его, сударыня, слушаете! Запереть бы его въ хлѣвъ — вотъ и сталъ бы знать!

— Готовъ, не токмя что своимъ господамъ исполнять ихъ барскую волю, продолжалъ Евсей:—хоть умереть сейчасъ! Я образъ сниму со стѣны...

— Всѣ вы хороши на словахъ! сказала Анна Павловна:—а какъ дѣло дѣлать, такъ васъ тутъ нѣтъ! Видно хорошо смотрѣлъ за бариномъ: допустилъ до того, что онъ, голубчикъ мой, здоровье потерялъ! Смотрѣлъ ты! Вотъ ты увидишь у меня...

Она погрозила ему.

— Я ли не смотрѣлъ, сударыня? Въ восемь-то лѣтъ изъ барскаго бѣлья только одна рубашка пропала, а то у меня и изношенныя-то цѣлы.

— А куда она пропала? гнѣвно спросила Анна Павловна.

— У прачки пропала. Я тогда докладывалъ Александру Ѳедорычу, чтобъ вычесть у ней, да они ничего не сказали.

— Видишь, мерзавка, замѣтила Анна Павловна: — польстилась на хорошее-то бѣлье!

— Какъ не смотрѣть! продолжалъ Евсей: — Дай Богъ всякому такъ свою должность справить. Они, бывало, еще почивать изволятъ, а я и въ булочную сбѣгаю...

— Какія онъ булки кушалъ?

— Бѣлыя-съ, хорошія.

— Знаю, что бѣлыя; да сдобныя?

— Этакой вѣдь столбъ! сказала Аграфена:— и слова-то путемъ не умѣетъ молвить, а еще петербургскій!

— Никакъ нѣтъ-съ! отвѣчалъ Евсей:—постныя.

— Постныя! Ахъ, ты злодѣй этакой! душегубецъ! разбойникъ! сказала Анна Павловна, покраснѣвъ отъ гнѣва. — Ты это не догадался сдобныхъ-то булокъ покупать ему? а смотрѣлъ!

— Да они, сударыня, не приказывали...

— Не приказывали! Ему, голубчику моему, все равно, что ни подложи—все скушаетъ. А тебѣ и этого въ голову не пришло? Ты развѣ забылъ, что онъ здѣсь кушалъ все сдобныя булки? Покупать постныя булки! Вѣрно ты деньги-то въ другое мѣсто относилъ? Вотъ я тебя! Ну, что еще? говори...

— Послѣ, какъ откушаютъ чай, продолжалъ Евсей, оробѣвъ: — въ должность пойдутъ, а я за сапоги: цѣлое утро чищу, все перечищу, иные раза по три; вечеромъ снимутъ — опять вычищу. Какъ, сударыня, не смотрѣлъ: да я ни у одного изъ господъ такихъ сапогъ не видывалъ. У Петра Иваныча хуже вычищены, даромъ что трое лакеевъ.

— Отчего же онъ такой? сказала, нѣсколько смягчившись, Анна Павловна.

— Должно быть отъ писанья, сударыня.

— Много писалъ?

— Много-съ; каждый день.

— Что жь онъ писалъ? бумаги что ли какія?

— Должно быть, бумаги-съ.

— А ты что не унималъ?

— Я унималъ, сударыня: „не сидите, молъ говорю, Александръ Ѳедорычъ, извольте идти гулять: погода хорошая, много господъ гуляетъ. Что за писанье? грудку надсадите: маменька, молъ, гнѣваться станутъ...“

— А онъ что?

— „Пошелъ, говорятъ, вонъ: ты дуракъ!“

— И подлинно, дуракъ! промолвила Аграфена.

Евсей взглянулъ при этомъ на нее, потомъ опять продолжалъ глядѣть на барыню.

— Ну, а дядя-то развѣ не унималъ? спросила Анна Павловна.

— Куда, сударыня! придутъ, да коли застанутъ безъ дѣла, такъ и накинутся. „Что, говорятъ, ничего не дѣлаешь? Здѣсь, говорятъ, не деревня, надо работать, говорятъ, а не на боку лежать! Все, говорятъ, мечтаешь!“ А то еще и выбранятъ...

— Какъ выбранятъ?

— „Провинція...“ говорятъ... и пойдутъ, и пойдутъ... такъ бранятся, что иной разъ не слушалъ бы.

— Чтобъ ему пусто было! сказала, плюнувъ, Анна Павловна. — Своихъ бы пострѣлятъ народилъ, да и ругалъ бы! Чѣмъ бы унять, а онъ... Господи, Боже мой, Царь милосердый! воскликнула она:—на кого ныньче надѣяться, коли и родные свои хуже дикаго звѣря? Собака, и та бережетъ своихъ щенятъ, а тутъ дядя извелъ роднаго племянника! А ты, дурачина этакой, не могъ дядюшкѣ-то сказать, чтобъ онъ не изволилъ такъ лаяться на барина, а отваливалъ бы прочь. Кричалъ бы на жену свою, мерзавку этакую! Видишь нашелъ кого ругать: „работай, работай!“ Самъ бы околѣвалъ надъ работой! Собака, право собака, прости Господи! Холопа нашелъ работать!

За этимъ послѣдовало молчаніе.

— Давно ли Сашенька сталъ такъ худъ? спросила она потомъ.

— Вотъ ужь года три, отвѣчалъ Евсей: — Александръ Ѳедорычъ стали больно скучать и пищи мало принимали; вдругъ стали худѣть, худѣть, таяли словно свѣчка.

— Отчего же скучалъ-то?

— Богъ ихъ вѣдаетъ, сударыня. Петръ Иванычъ изволили говорить имъ что-то объ этомъ; я было послушалъ, да мудрено: не разобралъ.

— А что онъ говорилъ?

Евсей подумалъ съ минуту, стараясь, повидимому, что-то припомнить, и шевелилъ губами.

— Называли какъ-то они ихъ, да забылъ...

Анна Павловна и Аграфена смотрѣли на него и дожидались съ нетерпѣніемъ отвѣта.

— Ну?.. сказала Анна Павловна.

Евсей молчалъ.

— Ну же, розиня, молви что-нибудь, прибавила Аграфена:—барыня дожидается.

— Ра... кажись, разочаро... ванный... выговорилъ наконецъ Евсей.

Анна Павловна посмотрѣла съ недоумѣніемъ на Аграфену, Аграфена на Евсея, Евсей на нихъ обѣихъ, и всѣ молчали.

— Какъ? спросила Анна Павловна.

— Разо... разочарованный, точно такъ-съ, вспомнилъ! рѣшительнымъ голосомъ отвѣчалъ Евсей.

— Что это еще за напасть такая? Господи! болѣзнь, что ли? спросила Анна Павловна съ тоской.

— Ахъ, да не испорченъ ли, значитъ, сударыня? торопливо промолвила Аграфена.

Анна Павловна поблѣднѣла и плюнула.

— Чтобъ тебѣ типунъ на языкъ! сказала она.—Ходилъ ли онъ въ церковь?

Евсей нѣсколько замялся.

— Нельзя сказать, сударыня, чтобъ больно ходили... нерѣшительно отвѣчалъ онъ:—почти можно сказать, что и не ходили... тамъ господа, почесть, мало ходятъ въ церковь...

— Вотъ оно отчего! сказала Анна Павловна со вздохомъ и перекрестилась.—Видно Богу не угодны были однѣ мои молитвы. Сонъ-то и не лживъ: точно изъ омута вырвался, голубчикъ мой!

Тутъ пришелъ Антонъ Иванычъ.

— Обѣдъ простынетъ, Анна Павловна, сказалъ онъ:— не пора ли будить Александра Ѳедорыча?

— Нѣтъ, нѣтъ, Боже сохрани! отвѣчала она:—онъ не велѣлъ себя будить. „Кушайте, говоритъ, одни: у меня аппетиту нѣтъ; я лучше усну, говоритъ: сонъ подкрѣпитъ меня; развѣ вечеромъ захочу". Такъ вы вотъ что сдѣлайте, Антонъ Иванычъ: ужь не прогнѣвайтесь на меня, старуху: я пойду затеплю лампадку, да помолюсь, пока Сашенька почиваетъ; мнѣ не до ѣды; а вы откушайте одни.

— Хорошо, матушка, хорошо, исполню: положитесь на меня.

— Да ужь окажите благодѣяніе, продолжала она:—вы нашъ другъ, такъ любите насъ, позовите Евсея и разспросите путемъ, отчего это Сашенька сталъ задумчивый и худой, и куда дѣлись его волоски? Вы мужчина: вамъ оно ловчѣе... не огорчили ли его тамъ? вѣдь есть этакіе злодѣи на свѣтѣ... все узнайте.

— Хорошо, матушка, хорошо: я допытаюсь, всю подноготную вывѣдаю. Пошлите-ка ко мнѣ Евсея, пока я буду обѣдать—все исполню!

— Здорово, Евсей! сказалъ онъ, садясь за столъ и затыкая салфетку за галстухъ:—какъ поживаешь?

— Здравствуйте, сударь. Что наше за житье? плохоесъ. Вотъ вы такъ подобрѣли здѣсь.

Антонъ Иванычъ плюнулъ.

— Не сглазь, братъ: долго-ли до грѣха? прибавилъ онъ и началъ ѣсть щи.

— Ну, что вы тамъ, какъ? спросилъ онъ.

— Да такъ-съ: не больно хорошо.

— Чай, провизія-то хорошая? Ты что ѣлъ?

— Что-съ? возьмешь въ лавочкѣ студени да холоднаго пирога—вотъ и обѣдъ!

— Какъ въ лавочкѣ? а своя-то печь?

— Дома не готовили. Тамъ холостые господа стола не держутъ.

— Что ты! сказалъ Антонъ Иванычъ, положивъ ложку.

— Право-съ: и барину-то изъ трактира носили.

— Экое цыганское житье! а! не похудѣть! На-ка, выпей!

— Покорнѣйше васъ благодарю, сударь! за ваше здоровье!

Затѣмъ послѣдовало молчаніе. Антонъ Иванычъ ѣлъ.

— Почемъ тамъ огурцы? спросилъ онъ, положивъ себѣ на тарелку огурецъ.

— Сорокъ копѣекъ десятокъ.

— Полно?

— Ей-Богу-съ; да чего, сударь, срамъ сказать: иной разъ изъ Москвы соленые-то огурцы возятъ.

— Ахъ, ты Господи! ну! не похудѣть!

— Гдѣ тамъ этакаго огурца увидишь! продолжалъ Евсей, указывая на одинъ огурецъ:—и во снѣ не увидишь! мелочь, дрянь; здѣсь и глядѣть бы не стали, а тамъ господа кушаютъ! Въ рѣдкомъ домѣ, сударь хлѣбъ пекутъ. А этого тамъ, чтобы капусту запасать, солонину солить, грибы мочить—ничего въ заводѣ нѣтъ.

Антонъ Иванычъ покачалъ головой, но ничего не сказалъ, потому-что ротъ у него былъ биткомъ набитъ.

— Какъ же? спросилъ онъ, прожевавъ.

— Все въ лавочкѣ есть; а чего нѣтъ въ лавочкѣ, такъ тутъ же гдѣ нибудь въ колбасной есть; а тамъ нѣтъ, такъ въ кандитерской; а ужь чего въ кандитерской нѣтъ, такъ иди въ аглицкій магазинъ: у французовъ все есть!

Молчаніе.

— Ну, а почемъ поросята? спросилъ Антонъ Иванычъ, взявши на тарелку почти полпоросенка.

— Не знаю-съ; не покупывали: что-то дорого, рубля два, кажись...

— Ай, ай, ай! не похудѣть! этакая дороговизна!

— Ихъ хорошіе-то господа мало и кушаютъ: все больше чиновники.

Опять молчаніе.

— Ну, такъ какъ же вы тамъ: плохо? спросилъ Антонъ Иванычъ.

— И не дай Богъ, какъ плохо! Вотъ здѣсь квасъ-то какой, тамъ и пиво-то жиже; а отъ квасу такъ цѣлый день въ животѣ словно что кипитъ! Только хороша одна вакса: ужъ вакса, такъ и не наглядишься! и запахъ какой: такъ бы и съѣлъ!

— Что ты!

— Ей-Богу-съ.

Молчаніе.

— Ну, такъ какъ же? спросилъ Антонъ Иванычъ, прожевавъ.

— Да такъ-съ.

— Плохо ѣли?

— Плохо. Александръ Ѳедорычъ кушали такъ, самую малость: совсѣмъ отвыкли отъ ѣды; за обѣдомъ и фунта хлѣба не скушаютъ.

— Не похудѣть! сказалъ Антонъ Иванычъ. — Все отъ того, что дорого, что ли?

— И дорого-съ, да и обычая нѣтъ наѣдаться каждый день до-сыта. Господа кушаютъ словно украдкой, по одному разу въ день, и то коли успѣютъ, часу въ пятомъ, иной разъ въ шестомъ; а то такъ чего-нибудь перехватятъ, да тѣмъ и кончатъ. Это у нихъ послѣднее дѣло: сначала всѣ дѣла передѣлаютъ, а потомъ и кушать.

— Вотъ житье-то! говорилъ Антонъ Иванычъ.—Не похудѣть! диво, какъ вы тамъ не умерли! И весь вѣкъ такъ?

— Нѣтъ-съ: по праздникамъ господа, какъ соберутся иногда, такъ, не дай Богъ какъ ѣдятъ! Поѣдутъ въ какой-

нибудь нѣмецкій трактиръ, да рублей сто, слышь, и проѣдятъ. А пьютъ что — Боже упаси! хуже нашего брата! Вотъ, бывало, у Петра Иваныча соберутся гости: сядутъ за столъ часу въ шестомъ, а встанутъ утромъ въ четвертомъ часу.

Антонъ Иванычъ вытаращилъ глаза.

— Что ты! сказалъ онъ:—и все ѣдятъ?

— Все ѣдятъ!

— Хоть бы посмотрѣть: не по нашему! Что же они ѣдятъ?

— Да что, сударь, не на что смотрѣть! Не узнаешь, что и ѣшь: нѣмцы накладутъ въ кушанье, Богъ знаетъ, чего: и въ ротъ-то взять не захочется. И перецъ-то у нихъ не такой; подливаютъ въ соусъ чего-то изъ заморскихъ склянокъ... Разъ угостилъ меня поваръ Петра Иваныча барскимъ кушаньемъ, такъ три дня тошнило. Смотрю, оливка въ кушаньѣ: думалъ, какъ и здѣсь оливка; раскусилъ — глядь: а тамъ рыбка маленькая; противно стало, выплюнулъ; взялъ другую — и тамъ тоже; да во всѣхъ... ахъ, вы, чтобъ васъ, проклятые!..

— Какъ же это они, нарочно кладутъ туда?

— Богъ ихъ вѣдаетъ! Я спрашивалъ: ребята смѣются, говорятъ: такъ, слышь, родятся. И что за кушанья? Сначала горячее подадутъ, какъ слѣдуетъ, съ пирогами, да только ужь пироги: съ наперстокъ; возьмешь въ ротъ вдругъ штукъ шесть, хочешь пожевать, смотришь — ужь тамъ ихъ и нѣтъ, и растаяли... Послѣ горячаго вдругъ чего-то сладкаго дадутъ, тамъ говядины, а тамъ мороженаго, а тамъ травы какой-то, а тамъ жаркое... и не ѣлъ бы!

— Такъ печь-то у васъ и не топилась? Ну, какъ не похудѣть! промолвилъ Антонъ Иванычъ, вставая изъ-за стала.

„Благодарю тебя, Боже мой, началъ онъ вслухъ, съ глубокимъ вздохомъ: — яко насытилъ мя еси небесныхъ

благъ... что я! замололся языкъ-то: земныхъ благъ, — и не лиши меня небеснаго твоего царствія.“

— Убирайте со стола: господа не будутъ кушать. Къ вечеру приготовьте другаго поросенка... или нѣтъ ли индѣйки? Александръ Ѳедорычъ любитъ индѣйку; онъ, чай, проголодается. А теперь принесите-ка мнѣ посвѣжѣе сѣнца въ свѣтелку: я вздохну часокъ другой; тамъ къ чаю разбудите. Коли-чуть тамъ Александръ Ѳедоровичъ зашевелится, такъ того... растолкайте меня.

Возставъ отъ сна, онъ пришелъ къ Аннѣ Павловнѣ.

— Ну, что, Антонъ Иванычъ? спросила она.

— Ничего, матушка, покорно благодарю за хлѣбъ за соль... и уснулъ такъ сладко; сѣно такое свѣжее, душистое...

— На здоровье, Антонъ Иванычъ. Ну, а что говоритъ Евсей? Вы спрашивали?

— Какъ не спрашивать! Все вывѣдалъ: пустое! все поправится. Дѣло-то все выходитъ отъ того, что пища тамъ была, слышь, плоха?

— Пища?

— Да; судите сами: огурцы сорокъ копѣекъ десятокъ, поросенокъ два рубля, а кушанье все кандитерское—и не наешься до-сыта. Какъ не похудѣть! Не безпокойтесь, матушка, мы его поставимъ здѣсь на ноги, вылечимъ. Вы велите-ка заготовить побольше настойки березовой; я дамъ рецептъ; мнѣ отъ Прокофья Астафьича достался; да утромъ и вечеромъ и давайте по рюмкѣ или по двѣ, и передъ обѣдомъ хорошо; можно со святой водой... у васъ есть?

— Есть, есть: вы же привезли.

— Да, вѣдь въ самомъ дѣлѣ я. Кушанья выбирайте пожирнѣе. Я ужь къ ужину велѣлъ поросенка или индѣйку зажарить.

— Благодарствуйте Антонъ Иванычъ.

— Не на чемъ, матушка! Не велѣть ли еще цыплятъ съ бѣлымъ соусомъ?

— Я велю...

— Зачѣмъ вамъ самимъ? а я-то на что? похлопочу... дайте мнѣ.

— Похлопочите, помогите, отецъ родной.

Онъ ушелъ, а она задумалась.

Женскій инстинктъ и сердце матери говорили ей, что не пища главная причина задумчивости Александра. Она стала искусно вывѣдывать намеками, стороной, но Александръ не понималъ этихъ намековъ и молчалъ. Такъ прошли недѣли двѣ — три. Поросятъ, цыплятъ и индѣекъ пошло на Антона Иваныча множество, а Александръ все былъ задумчивъ, худъ, и волосы не росли.

Тогда Анна Павловна рѣшилась поговорить съ нимъ напрямки.

— Послушай, другъ мой, Сашенька, сказала она однажды:—вотъ ужь съ мѣсяцъ, какъ ты живешь здѣсь, а я еще не видала, чтобъ ты улыбнулся хоть разъ: ходишь, словно туча, смотришь въ землю. Или тебѣ ничто не мило на родной сторонѣ? Видно на чужой милѣе; тоскуешь по ней, что ли? Сердце мое надрывается, глядя на тебя. Что съ тобой сталось? Разскажи ты мнѣ: чего тебѣ не достаетъ? я ничего не пожалѣю. Обидѣлъ ли кто тебя: я доберусь и до того.

— Не безпокойтесь, маменька, сказалъ Александръ:— это такъ, ничего! я вошелъ въ лѣта, сталъ разсудительнѣе, оттого и задумчивъ...

— А худъ-то отчего? а волосы-то гдѣ?

— Я не могу разсказать, отчего... всего не перескажешь, что было въ восемь лѣтъ... можетъ быть, и здоровье немного разстроилось...

— Что жь у тебя болитъ?

— Болитъ и тутъ, и здѣсь. — Онъ указалъ на голову и сердце.

Анна Павловна дотронулась рукой до его лба.

— Жару нѣтъ, сказала она. — Что жь бы это такое было? стрѣляетъ, что ли, въ голову?

— Нѣтъ... такъ...

— Сашенька! пошлемъ за Иваномъ Андреичемъ.

— Кто это Иванъ Андреичъ?

— Новый лекарь; года два какъ пріѣхалъ. Дока такой, что чудо! Лекарствъ почти никакихъ не прописываетъ; самъ дѣлаетъ какія-то крохотныя зернышки — и помогаютъ. Вонъ у насъ Ѳома животомъ страдалъ; трои сутки рёвма-ревѣлъ: онъ далъ ему три зернышка, какъ рукой сняло! Полечись, голубчикъ!

— Нѣтъ, маменька, онъ не поможетъ мнѣ: это такъ пройдетъ.

— Да отчего же ты скучаешь? Что это за напасть такая?

— Такъ...

— Чего тебѣ хочется?

— И самъ не знаю; такъ скучаю.

— Экое диво, Господи! сказала Анна Павловна. — Пища, ты говоришь, тебѣ нравится, удобства всѣ есть, и чинъ хорошій... чего бы, кажется? а скучаешь! Сашенька, сказала она, помолчавъ, тихо: — не пора ли тебѣ... жениться?

— Что вы! нѣтъ, я не женюсь.

— А у меня есть на примѣтѣ дѣвушка—точно куколка: розовенькая, нѣжненькая; такъ, кажется, изъ косточки въ косточку мозжечекъ и переливается. Талія такая тоненькая, стройная; училась въ городѣ, въ пансіонѣ. За ней семьдесятъ-пять душъ да двадцать пять-тысячъ деньгами, и приданое славное: въ Москвѣ дѣлали; и родня хорошая... А? Сашенька? Я ужь съ матерью разъ за кофе-

емъ разговорилась, да шутя и забросила словечко: у ней, кажется, и ушки на макушкѣ отъ радости...

— Я не женюсь, повторилъ Александръ.

— Какъ, никогда?

— Никогда.

— Господи помилуй! что жь изъ этого будетъ? Всѣ люди, какъ люди, только ты одинъ, Богъ знаетъ, на кого похожъ! А мнѣ-то бы радость какая! привелъ бы Богъ поняньчить внучатъ. Право, женись, на ней; ты ее полюбишь...

— Я не полюблю, маменька: я ужь отлюбилъ.

— Какъ отлюбилъ, не женясь? Кого жь ты любилъ тамъ?

— Дѣвушку.

— Что жь не женился?

— Она измѣнила мнѣ.

— Какъ измѣнила? Вѣдь ты еще не былъ женатъ на ней?

Александръ молчалъ.

— Хороши же тамъ у васъ дѣвушки: до свадьбы любятъ! Измѣнила! мерзавка этакая! Счастье-то само просилось къ ней въ руки, да не умѣла цѣнить, негодница! Увидала бы я ее, я бы ей въ рожу наплевала. Чего дядя-то смотрѣлъ? Кого это она нашла лучше, посмотрѣла бы я?.. Что жь, развѣ одна она? полюбишь въ другой разъ.

— Я и въ другой разъ любилъ.

— Кого же?

— Вдову.

— Ну, что жь не женился?

— Той я самъ измѣнилъ.

Анна Павловна глядѣла на Александра и не знала что сказать.

— Измѣнилъ!.. повторила она. — Видно безпутная какая-нибудь! прибавила потомъ.—Подлинно омутъ, прости

Господи: любятъ до свадьбы, безъ обряда церковнаго; измѣняютъ... Что это дѣлается на бѣломъ свѣтѣ, какъ поглядишь! Знать скоро свѣта преставленіе!.. Ну, скажи, не хочется ли тебѣ чего-нибудь? Можетъ быть, пища тебѣ не по вкусу? Я изъ города повара выпишу...

— Нѣтъ, благодарю: все хорошо.

— Можетъ быть, тебѣ скучно одному: я за сосѣдями пошлю.

— Нѣтъ, нѣтъ. Не тревожьтесь, маменька! мнѣ здѣсь покойно, хорошо; все пройдетъ... я еще не осмотрѣлся.

Вотъ и все, чего могла добиться Анна Павловна.

„Нѣтъ, думала она: — безъ Бога видно ни на шагъ". Она предложила Александру поѣхать съ ней къ обѣднѣ въ ближайшее село, но онъ проспалъ два раза, а будить она его не рѣшалась. Наконецъ она позвала его вечеромъ ко всенощной. — „Пожалуй, сказалъ Александръ, и они поѣхали. Мать вошла въ церковь и стала у самаго клироса, Александръ остался у дверей.

Солнце ужь садилось и бросало косвенные лучи, которые то играли по золотымъ окладамъ иконъ, то освѣщали темные и суровые лики святыхъ, и уничтожали своимъ блескомъ слабое и робкое мерцаніе свѣчъ. Церковь была почти пуста: крестьяне были на работѣ въ полѣ; только въ углу у выхода тѣснилось нѣсколько старухъ, повязанныхъ бѣлыми платками. Иныя, пригорюнившись и опершись щекой на руку, сидѣли на каменной ступенькѣ придѣла и по временамъ испускали громкіе и тяжкіе вздохи, Богъ знаетъ, о грѣхахъ ли своихъ, или о домашнихъ дѣлахъ. Другія, припавъ къ землѣ, долго лежали ницъ, молясь.

Свѣжій вѣтерокъ врывался сквозь чугунную рѣшотку въ окно и, то приподнималъ ткань на престолѣ, то игралъ сѣдинами священника, или перевертывалъ листъ книги и тушилъ свѣчу. Шаги священника и дьячка громко разда-

вались по каменному полу въ пустой церкви; голоса ихъ уныло разносились по сводамъ. Вверху, въ куполѣ, звучно кричали галки и чирикали воробьи, перелетавшіе отъ одного окна къ другому, и шумъ крыльевъ ихъ и звонъ колоколовъ заглушали иногда службу...

„Пока въ человѣкѣ кипятъ жизненныя силы, думалъ Александръ: — пока играютъ желанія и страсти, онъ занятъ чувственно, онъ бѣжитъ того успокоительнаго, важнаго и торжественнаго созерцанія, къ которому ведетъ религія... онъ приходитъ искать утѣшенія въ ней съ угасшими, растраченными силами, съ сокрушенными надеждами, съ бременемъ лѣтъ...“

Мало-по-малу, при видѣ знакомыхъ предметовъ, въ душѣ Александра пробуждались воспоминанія. Онъ мысленно пробѣжалъ свое дѣтство и юношество до поѣздки въ Петербургъ; вспомнилъ, какъ будучи ребенкомъ, онъ повторялъ за матерью молитвы, какъ она твердила ему объ ангелѣ-хранителѣ, который стоитъ на стражѣ души человѣческой и вѣчно враждуетъ съ нечистымъ; какъ она, указывая ему на звѣзды, говорила, что это очи Божіихъ ангеловъ, которые смотрятъ на міръ и считаютъ добрыя и злыя дѣла людей; какъ небожители плачутъ, когда въ итогѣ окажется больше злыхъ, нежели добрыхъ дѣлъ, и какъ радуются, когда добрыя дѣла превышаютъ злыя. Показывая на синеву дальняго горизонта, она говорила, что это Сіонъ... Александръ вздохнулъ, очнувшись отъ этихъ воспоминаній.

„Ахъ! еслибъ я могъ еще вѣрить въ это! думалъ онъ. — Младенческія вѣрованія утрачены, а что я узналъ новаго, вѣрнаго?.. ничего: я нашелъ сомнѣнія, толки, теоріи... и отъ истины еще дальше прежняго... Къ чему этотъ расколъ, это умничанье?.. Боже!.. когда теплота вѣры не грѣетъ сердца, развѣ можно быть счастливымъ! Счастливѣе ли я?“

Всенощная кончилась. Александръ пріѣхалъ домой еще скучнѣе, нежели поѣхалъ. Анна Павловна не знала, что и дѣлать. Однажды онъ проснулся ранѣе обыкновеннаго и услыхалъ шорохъ за своимъ изголовьемъ. Онъ оглянулся: какая-то старуха стоитъ надъ нимъ и шепчетъ. Она тотчасъ исчезла, какъ скоро увидѣла, что ее замѣтили. Подъ подушкой у себя Александръ нашелъ какую-то траву; на шеѣ у него висѣла ладонка.

— Что это значитъ? спросилъ Александръ у матери: — что за старуха была у меня въ комнатѣ.

Анна Павловна смутилась.

— Это... Никитишна, сказала она.

— Какая Никитишна?

— Она, вотъ видишь, мой другъ... ты не разсердишься?

— Да что такое? скажите.

— Она... говорятъ, многимъ помогаетъ... Она только пошепчетъ на воду, да подышетъ на спящаго человѣка — все и пройдетъ.

— Въ третьемъ году, ко вдовѣ Сидорихѣ, примолвила Аграфена, — леталъ по ночамъ огненный змѣй въ трубу...

Тутъ Анна Павловна плюнула.

— Никитишна, продолжала Аграфена, — заговорила змѣя: пересталъ летать...

— Ну, а Сидориха что? спросилъ Александръ.

— Родила: ребенокъ былъ такой худой да чорный! на третій день умеръ.

Александръ засмѣялся, можетъ быть, въ первый разъ послѣ пріѣзда въ деревню.

— Откуда вы ее взяли? спросилъ онъ.

— Антонъ Иванычъ привезъ, отвѣчала Анна Павловна.

— Охота вамъ слушать этого дурака!

— Дурака! Ахъ, Сашенька, что ты это? не грѣхъ ли? Антонъ Иванычъ дуракъ! Какъ это у тебя языкъ-то поворотился? Антонъ Иванычъ—благодѣтель, другъ нашъ!

— Вотъ возьмите, маменька, ладонку и отдайте ее нашему другу и благодѣтелю: пусть онъ повѣситъ ее себѣ на шею.

Съ тѣхъ поръ онъ сталъ запираться на ночь.

Прошло два—три мѣсяца. Мало-по-малу уединеніе, тишина, домашняя жизнь и всѣ сопряженныя съ нею матеріальныя блага помогли Александру войти въ тѣло. А лѣнь, беззаботность и отсутствіе всякаго нравственнаго потрясенія водворили въ душѣ его миръ, котораго Александръ напрасно искалъ въ Петербургѣ. Тамъ, бѣжавши отъ міра идей, искусствъ, заключенный въ каменныхъ стѣнахъ, онъ хотѣлъ заснуть сномъ крота, но его безпрестанно пробуждали волненія зависти и безсильныя желанія. Всякое явленіе въ мірѣ науки и искусства, всякая новая знаменитость будили въ немъ вопросъ: „почему это не я, зачѣмъ не я?“ Тамъ на каждомъ шагу онъ встрѣчалъ въ людяхъ невыгодныя для себя сравненія... тамъ онъ такъ часто падалъ, тамъ увидалъ, какъ въ зеркалѣ, свои слабости... тамъ былъ неумолимый дядя, преслѣдовавшій его образъ мыслей, лѣнь и ни на чемъ неоснованное славолюбіе; тамъ изящный міръ и куча дарованій, между которыми онъ не игралъ никакой роли. Наконецъ, тамъ жизнь стараются подвести подъ извѣстныя условія, прояснить ея темныя и загадочныя мѣста, не давая разгула чувствамъ, страстямъ и мечтамъ, и тѣмъ лишая ее поэтической заманчивости, хотятъ издать для нея какую-то скучную, сухую, однообразную и тяжелую форму...

А здѣсь какое приволье! Онъ лучше, умнѣе всѣхъ! Здѣсь онъ всеобщій идолъ на нѣсколько верстъ кругомъ. При-

томъ, здѣсь на каждомъ шагу, передъ лицомъ природы, душа его отверзалась мирнымъ, успокоительнымъ впечатлѣніямъ. Говоръ струй, шопотъ листьевъ, прохлада, и подъ-часъ самое молчаніе природы — все рождало думу, будило чувство. Въ саду, въ полѣ, дома, его посѣщали воспоминанія дѣтства и юности. Анна Павловна, сидя иногда подлѣ него, какъ-будто угадывала его мысли. Она помогала ему возобновлять въ памяти дорогія сердцу мелочи изъ жизни, или разсказывала то, чего онъ вовсе не помнилъ.

— Вотъ эти липы, говорила она, указывая на садъ: — сажалъ твой отецъ. Я была беременна тобой. Сижу, бывало, здѣсь на балконѣ, да смотрю на него. Онъ поработаетъ, поработаетъ да взглянетъ на меня, а потъ такъ градомъ и льётъ съ него. „А! ты тутъ? молвитъ:—то-то мнѣ такъ весело работать!“ и опять примется. А вонъ лужокъ, гдѣ ты игралъ, бывало, съ ребятишками; такой сердитый былъ: чуть что не по тебѣ—и закричишь благимъ матомъ. Однажды Агашка—вотъ что теперь за Кузьмой; его третья изба отъ околицы — толкнула какъ-то тебя, да носъ до крови и расшиби: отецъ поролъ, поролъ ее, я насилу умолила.

Александръ мысленно дополнялъ эти воспоминанія другими: „Вонъ па этой скамьѣ, подъ деревомъ, думалъ онъ:—я сиживалъ съ Софьей и былъ счастливъ тогда. А вонъ тамъ, между двухъ кустовъ сирени, получилъ отъ нея первый поцѣлуй...“ И все это было передъ глазами. Онъ улыбался этимъ воспоминаніямъ и просиживалъ по цѣлымъ часамъ на балконѣ, встрѣчая или провожая солнце, прислушиваясь къ пѣнію птицъ, къ плеску озера и къ жужжанью невидимыхъ насѣкомыхъ.

„Боже мой! какъ здѣсь хорошо! говорилъ онъ подъ вліяніемъ этихъ кроткихъ впечатлѣній:—вдали отъ суеты,

отъ этой мелочной жизни, отъ того муравейника, гдѣ люди...

... въ кучахъ, за оградой,
Не дышатъ утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ.

„Какъ устаешь тамъ жить и какъ отдыхаешь душой здѣсь, въ этой простой, не сложной, не мудреной жизни! Сердце обновляется, грудь дышетъ свободнѣе, а умъ не терзается мучительными думами и нескончаемымъ разборомъ тяжебныхъ дѣлъ съ сердцемъ: и то, и другое въ ладу. Не надъ чѣмъ задумываться. Беззаботно, безъ тягостной мысли, съ дремлющимъ сердцемъ и умомъ и съ легкимъ трепетомъ скользишь взглядомъ отъ рощи къ пашнѣ, отъ пашни къ холму, и потомъ погружаешь его въ бездонную синеву неба“.

Иногда онъ переходилъ къ окну, выходившему на дворъ и на улицу въ село. Тамъ другая картина, картина теньеровская, полная хлопотливой, семейной жизни. Барбосъ отъ зноя растянется у конуры, положивъ морду на лапы. Десятки куръ встрѣчаютъ утро, кудахтая въ запуски; пѣтухи дерутся. По улицѣ гонятъ стадо въ поле. Иногда одна отставшая отъ стада корова тоскливо мычитъ, стоя среди улицы и оглядываясь во всѣ стороны. Мужики и бабы, съ граблями и косами на плечахъ, идутъ на работу. Вѣтеръ по временамъ выхватитъ изъ ихъ говора два—три слова и донесетъ до окна. Тамъ крестьянская телѣга съ громомъ проѣдетъ по мостику, за ней лѣниво проползетъ возъ съ сѣномъ. Бѣлокурые и жестковолосые ребятишки, поднявъ рубашонки, бродятъ по лужамъ. Глядя на эту картину, Александръ началъ постигать поэзію *сѣренькаго неба*, *сломаннаго забора*, *калитки*, *грязнаго пруда* и *трепака*. Узкій щегольской фракъ онъ замѣнилъ широкимъ халатомъ домашней работы. И въ каждомъ явленіи

этой мирной жизни, въ каждомъ впечатлѣніи и утра, и вечера, и трапезы, и отдыха, присутствовало недремлющее око материнской любви.

Она не могла нарадоваться, глядя, какъ Александръ полнѣлъ, какъ на щеки его возвращался румянецъ, какъ глаза оживлялись мирнымъ блескомъ. „Только волоски не растутъ, говорила она:—а были какъ шолкъ“.

Александръ часто гулялъ по окрестностямъ. Однажды онъ встрѣтилъ толпу бабъ и дѣвокъ, шедшихъ въ лѣсъ за грибами, присоединился къ нимъ и проходилъ цѣлый день. Воротясь домой, онъ похвалилъ дѣвушку Машу за проворство и ловкость, и Маша взята была во дворъ *ходить за барономъ*. Ѣздилъ онъ иногда смотрѣть полевыя работы и на опытѣ узнавалъ то, о чемъ часто писалъ и переводилъ для журнала. „Какъ мы часто врали тамъ...“ думалъ онъ, качая головой, и сталъ вникать въ дѣло глубже и пристальнѣе.

Однажды, въ ненастную погоду, попробовалъ онъ заняться дѣломъ, сѣлъ писать и остался доволенъ началомъ труда. Понадобилась для справокъ какая-то книга: онъ написалъ въ Петербургъ, книгу выслали. Онъ занялся не шутя. Выписалъ еще книгъ. Напрасно Анна Павловна пустилась уговаривать его не писать, чтобы не *надсадилъ грудку*: онъ и слушать не хотѣлъ. Она подослала Антона Иваныча. Александръ не послушалъ и его и все писалъ. Когда прошло мѣсяца три—четыре, а онъ отъ писанья не только не похудѣлъ, а растолстѣлъ больше, Анна Павловна успокоилась.

Такъ прошло года полтора. Все бы хорошо, но Александръ, къ концу этого срока, сталъ опять задумываться. Желаній у него не было никакихъ, а какія и были, такъ ихъ немудрено было удовлетворить: они не выходили изъ предѣловъ семейной жизни. Ничто его не тревожило: ни

забота, ни сомнѣніе, а онъ скучалъ! Ему мало-по-малу надоѣлъ тѣсный домашній кругъ; угожденія матери стали докучны, а Антонъ Иванычъ опротивѣлъ; надоѣлъ и трудъ, и природа не плѣняла его.

Онъ сиживалъ молчаливо у окна и уже равнодушно глядѣлъ на отцовскія липы, съ досадой слушалъ плескъ озера. Онъ началъ размышлять о причинѣ этой новой тоски, и открылъ, что ему было скучно—по Петербургу!? Удалясь отъ минувшаго, онъ началъ жалѣть о немъ. Кровь еще кипѣла въ немъ, сердце билось, душа и тѣло просили дѣятельности... Опять задача. Боже мой! онъ чуть не заплакалъ отъ этого открытія. Онъ думалъ, что эта скука пройдетъ, что онъ приживется въ деревнѣ, привыкнетъ—нѣтъ: чѣмъ дольше онъ жилъ тамъ, тѣмъ сердце пуще ныло и опять просилось въ омутъ, теперь уже знакомый ему.

Онъ помирился съ прошедшимъ: оно стало ему мило. Ненависть, мрачный взглядъ, угрюмость, нелюдимость смягчились уединеніемъ, размышленіемъ. Минувшее предстало ему въ очищенномъ свѣтѣ, и сама измѣнница Надинька—чуть не въ лучахъ. „И что я здѣсь дѣлаю? съ досадой говорилъ онъ: — за что вяну? Зачѣмъ гаснутъ мои дарованія? Почему мнѣ не блистать тамъ своимъ трудомъ?.. Теперь я сталъ разсудительнѣе. Чѣмъ дядюшка лучше меня? Развѣ я не могу отъискать себѣ дороги? Ну, не удалось до сихъ поръ, не за свое брался—что жь? опомнился теперь: пора, пора! Но какъ огорчитъ мой отъѣздъ матушку! А между тѣмъ необходимо ѣхать; нельзя же погибнуть здѣсь! Тамъ тотъ и другой—всѣ вышли въ люди... А моя карьера, а фортуна?.. я только одинъ отсталъ... да за что же? да почему же?“ Онъ метался отъ тоски и не зналъ, какъ сказать матери о намѣреніи ѣхать.

Но мать вскорѣ избавила его отъ этого труда: она умерла.

Вотъ, наконецъ, что писалъ онъ къ дядѣ и теткѣ въ Петербургъ. Къ теткѣ:

„Передъ моимъ отъѣздомъ изъ Петербурга, вы, ma tante, со слезами на глазахъ напутствовали меня драгоцѣнными словами, которыя врѣзались въ моей памяти. Вы сказали: „если когда-нибудь мнѣ нужна будетъ теплая дружба, искреннее участіе, то въ вашемъ сердцѣ всегда останется уголокъ для меня". Настала минута, когда я понялъ всю цѣну этихъ словъ. Въ правахъ, которыя вы мнѣ такъ великодушно дали надъ вашимъ сердцемъ, заключается для меня залогъ мира, тишины, утѣшенія, спокойствія, можетъ быть, счастья всей моей жизни. Мѣсяца три назадъ, скончалась матушка: больше не прибавлю ни слова. Вы по письмамъ ея знаете, что она была для меня, и поймете, чего я лишился въ ней... Я теперь бѣгу отсюда навсегда. Но куда, одинокій странникъ, направилъ бы я путь свой, какъ не въ тѣ мѣста, гдѣ вы?.. Скажите одно слово: найду ли я въ васъ то, что оставилъ года полтора назадъ? Не изгнали ли вы меня изъ памяти? Согласитесь ли вы на скучную обязанность исцѣлить вашею дружбою, которая уже не разъ спасала меня отъ горя, новую и глубокую рану? Всю надежду возлагаю на васъ и другую, могучую союзницу—дѣятельность.

„Вы удивляетесь—не правда ли? Вамъ странно слышать отъ меня это? читать эти строки, писанныя въ покойномъ, несвойственномъ мнѣ тонѣ? Не удивляйтесь и не бойтесь моего возвращенія: къ вамъ пріѣдетъ не сумасбродъ, не мечтатель, не разочарованный, не провинціалъ, а просто человѣкъ, какихъ въ Петербургѣ много и какимъ бы давно мнѣ пора быть. Предупредите особенно дядюшку на этотъ счетъ. Когда посмотрю на прошлую жизнь, мнѣ становит-

ся неловко, стыдно и другихъ, и самого себя. Но иначе и быть не могло. Вотъ когда только очнулся — въ тридцать лѣтъ! Тяжкая школа, пройденная въ Петербургѣ, и размышленіе въ деревнѣ прояснили мнѣ вполнѣ судьбу мою. Удалясь на почтительное разстояніе отъ уроковъ дядюшки и собственнаго опыта, я уразумѣлъ ихъ здѣсь, въ тишинѣ, яснѣе, и вижу, къ чему бы они давно должны были повести меня, вижу какъ жалко и неразумно уклонялся я отъ прямой цѣли. Я теперь покоенъ: не терзаюсь, не мучусь, но не хвастаюсь этимъ; можетъ быть, это спокойствіе проистекаетъ пока изъ эгоизма; чувствую, впрочемъ, что скоро взглядъ мой на жизнь уяснится до того, что я открою другой источникъ спокойствія—чище. Теперь я еще не могу не жалѣть, что я уже дошелъ до того рубежа, гдѣ — увы! кончается молодость и начинается пора размышленій, повѣрка и разборка всякаго волненія, пора сознанія.

„Хотя, можетъ быть, мнѣніе мое о людяхъ и жизни измѣнилось и немного, но много надеждъ улетѣло, много миновалось желаній, словомъ, иллюзіи утрачены; слѣдовательно, не во многомъ и не во многихъ ужь придется ошибиться и обмануться, а это очень утѣшительно съ одной стороны! И вотъ я смотрю яснѣе впередъ: самое тяжелое позади; волненія нестрашны, потому что ихъ осталось немного; главнѣйшія пройдены, и я благословляю ихъ. Стыжусь вспомнить, какъ я, воображая себя страдальцемъ, проклиналъ свой жребій, жизнь. Проклиналъ! какое жалкое ребячество и неблагодарность! Какъ я поздно увидѣлъ, что страданія очищаютъ душу, что они одни дѣлаютъ человѣка сноснымъ и себѣ, и другимъ, возвышаютъ его... Признаю теперь, что не быть причастнымъ страданіямъ, значитъ не быть причастнымъ всей полнотѣ жизни: въ нихъ много важныхъ условій, кото-

рыхъ разрѣшенія мы здѣсь, можетъ быть, и не дождемся. Я вижу въ этихъ волненіяхъ руку Промысла, который, кажется, задаетъ человѣку нескончаемую задачу—стремиться впередъ, достигать свыше предназначенной цѣли, при ежеминутной борьбѣ съ обманчивыми надеждами, съ мучительными преградами. Да, вижу, какъ необходима эта борьба и волненія для жизни, какъ жизнь безъ нихъ была бы не жизнь, а застой, сонъ... Кончается борьба, смотришь — кончается и жизнь; человѣкъ былъ занятъ, любилъ, наслаждался, страдалъ, волновался, сдѣлалъ свое дѣло и, слѣдовательно, жилъ!

„Видите ли, какъ я разсуждаю: я вышелъ изъ тьмы — и вижу, что все прожитое мною до сихъ поръ было какимъ-то труднымъ приготовленіемъ къ настоящему пути, мудреною наукою для жизни. Что-то говоритъ мнѣ, что остальной путь будетъ легче, тише, понятнѣе... Темныя мѣста освѣтились, мудреные узлы развязались сами собою; жизнь начинаетъ казаться благомъ, а не зломъ. Скоро скажу опять: какъ хороша жизнь! но скажу, не какъ юноша, упоенный минутнымъ наслажденіемъ, а съ полнымъ сознаніемъ ея истинныхъ наслажденій и горечи. За тѣмъ и не страшна и смерть: она не представляется пугаломъ, а прекраснымъ опытомъ. И теперь уже въ душу вѣетъ невѣдомое спокойствіе: ребяческихъ досадъ, вспышекъ уколотаго самолюбія, дѣтской раздражительности и комическаго гнѣва на міръ и людей, похожаго на гнѣвъ моськи на слона—какъ не бывало.

„Я сдружился опять, съ чѣмъ давно раздружился — съ людьми, которые, мимоходомъ замѣчу, и здѣсь тѣ же, какъ въ Петербургѣ, только пожестче, погрубѣе, посмѣшнѣе. Но я не сержусь на нихъ и здѣсь, а тамъ и подавно не стану сердиться. Вотъ вамъ обращикъ моей кротости: къ намъ ѣздитъ чудакъ Антонъ Иванычъ гостить, дѣлить,

будто бы, мое горе; завтра онъ поѣдетъ на свадьбу къ сосѣду—дѣлить радость, а тамъ къ кому нибудь — исправлять должность повивальной бабки. Но ни горе, ни радость не мѣшаютъ ему у всѣхъ ѣсть раза по четыре въ день. Я вижу, что ему все равно: умеръ ли, или родился, или женился человѣкъ, и мнѣ не противно смотрѣть на него, не досадно... я терплю его, не выгоняю... Добрый признакъ—не правда ли, ma tante? Что вы скажете, прочтя это похвальное слово самому себѣ?"

Къ дядѣ:

„Любезнѣйшій, добрѣйшій дядюшка и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ваше превосходительство!

„Съ какою радостью узналъ я, что и карьера ваша совершена достохвально; съ фортуною вы ужь поладили давно! Вы дѣйствительный статскій совѣтникъ, вы—директоръ канцеляріи! Осмѣлюсь ли напомнить вашему превосходительству обѣщаніе, данное мнѣ при отъѣздѣ: „когда понадобятся служба, занятія, или деньги, обратись ко мнѣ!" говорили вы. И вотъ мнѣ понадобились, и служба, и занятія; понадобятся, конечно, и деньги. Бѣдный провинціалъ осмѣливается просить мѣста и работы. Какая участь ожидаетъ мою просьбу? Не такая ли, какая постигла нѣкогда письмо Заѣзжалова, который просилъ похлопотать о своемъ дѣлѣ?.. Что касается *творчества*, о которомъ вы имѣли жестокость упомянуть въ одномъ изъ вашихъ писемъ, то... не грѣхъ ли вамъ тревожить давно забытыя глупости, когда я самъ краснѣю за нихъ?.. Эхъ, дядюшка, эхъ, ваше превосходительство! Кто жь не былъ молодъ и отчасти глупъ? У кого не было какой-нибудь странной, такъ называемой *завѣтной* мечты, которой никогда не суждено сбываться? Вотъ мой сосѣдъ, справа, воображалъ себя героемъ, исполиномъ—ловцомъ предъ Господомъ... онъ хотѣлъ изумить міръ своими подвига-

ми... и кончилось тѣмъ, что онъ вышелъ прапорщикомъ въ отставку, не бывши на войнѣ, и мирно разводитъ картофель и сѣетъ рѣпу. Другой, слѣва, мечталъ по-своему передѣлать весь свѣтъ и Россію, а самъ, пописавъ нѣкоторое время бумаги въ палатѣ, удалился сюда и до сихъ поръ не можетъ передѣлать стараго забора. Я думалъ, что въ меня вложенъ свыше творческій даръ, и хотѣлъ повѣдать міру новыя, невѣдомыя тайны, не подозрѣвая, что это уже не тайны и что я не пророкъ. Всѣ мы смѣшны; но скажите, кто, не краснѣя за себя, рѣшится заклеймить позорною бранью эти юношескія, благородныя, пылкія, хоть и не совсѣмъ умѣренныя мечты? Кто не питалъ, въ свою очередь, безплоднаго желанія, не ставилъ себя героемъ доблестнаго подвига, торжественной пѣсни, громкаго повѣствованія? Чье воображеніе не уносилось къ баснословнымъ, героическимъ временамъ? Кто не плакалъ, сочувствуя высокому и прекрасному? Если найдется такой человѣкъ, пусть онъ броситъ камень въ меня — я ему не завидую. Я краснѣю за свои юношескія мечты, но чту ихъ: онѣ залогъ чистоты сердца, признакъ души благородной, расположенной къ добру.

„Васъ, я знаю, не убѣдятъ эти доводы: вамъ нуженъ доводъ положительный, практическій; извольте, вотъ онъ: скажите, какъ узнавались и обработывались бы дарованія, еслибъ молодые люди подавляли въ себѣ эти раннія склонности, еслибъ не давали воли и простора мечтамъ своимъ, а слѣдовали рабски указанному направленію, не пробуя силъ? Наконецъ, не есть ли это общій законъ природы, что молодость должна быть тревожна, кипуча, иногда сумасбродна, глупа и что у всякаго мечты современемъ улягутся, какъ улеглись теперь у меня? А ваша собственная молодость развѣ чужда этихъ грѣховъ? Вспомните, поройтесь въ памяти. Вижу отсюда, какъ вы, съ вашимъ покой-

нымъ, никогда несмущающимся взоромъ, качаете головой и говорите: нѣтъ ничего! Позвольте же уличить васъ, напримѣръ, хоть въ любви... отрекаетесь? не отречетесь: улика у меня въ рукахъ... Вспомните, что я могъ изслѣдовать дѣло на мѣстѣ дѣйствія. Театръ вашихъ любовныхъ похожденій передъ моими глазами — это озеро. На немъ еще ростутъ жолтые цвѣты; одинъ, высушивъ надлежащимъ образомъ, честь имѣю препроводить при семъ къ вашему превосходительству, для сладкаго воспоминанія. Но есть страшнѣе оружіе противъ вашихъ гоненій на любовь вообще, и на мою въ особенности — это документъ... Вы хмуритесь? и какой документъ!!! поблѣднѣли? Я похитилъ эту драгоцѣнную ветхость у тетушки, съ неменѣе ветхой груди, и везу съ собой, какъ вѣчную улику противъ васъ и какъ защиту себѣ. Трепещите, дядюшка! Мало того, я въ подробности знаю всю исторію вашей любви: тетушка разсказываетъ мнѣ каждый день, за утреннимъ чаемъ, и за ужиномъ, на сонъ грядущій, по интересному факту, а я вношу всѣ эти драгоцѣнные матеріалы въ особый мемуаръ. Я не премину вручить его вамъ лично, вмѣстѣ съ моими трудами по части сельскаго хозяйства, которыми занимаюсь здѣсь уже съ годъ. Я, съ своей стороны, долгомъ считаю увѣрять тетушку въ неизмѣнности вашихъ къ ней *чувствованій*, какъ она говоритъ. Когда удостоюсь получить отъ вашего превосходительства благопріятный, по моей просьбѣ, отвѣтъ, то буду имѣть честь явиться къ вамъ, съ приношеніемъ сушеной малины и меду, и съ представленіемъ нѣсколькихъ писемъ, которыми обѣщаютъ меня снабдить сосѣди, по своимъ надобностямъ, кромѣ Заѣзжалова, умершаго до окончанія своего процеса.“

ЭПИЛОГЪ.

Вотъ что, спустя года четыре, послѣ вторичнаго пріѣзда Александра въ Петербургъ, происходило съ главными дѣйствующими лицами этого романа.

Въ одно утро Петръ Иванычъ ходилъ взадъ и впередъ по своему кабинету. Это уже былъ не прежній бодрый, полный и стройный Петръ Иванычъ, всегда съ одинаково покойнымъ взоромъ, съ гордо поднятою головою и прямымъ станомъ. Отъ лѣтъ ли, отъ обстоятельствъ ли, но онъ какъ-будто опустился. Движенія его были не такъ бодры, взглядъ не такъ твердъ и самоувѣренъ. Въ бакенбардахъ и вискахъ свѣтилось много сѣдыхъ волосъ. Видно было, что онъ отпраздновалъ пятидесятилѣтній юбилей своей жизни. Онъ ходилъ немного сгорбившись. Особенно странно было видѣть на лицѣ этого безстрастнаго и покойнаго человѣка—какимъ мы его до сихъ поръ знали — болѣе нежели заботливое, почти тоскливое выраженіе, хотя оно и имѣло свойственный Петру Иванычу характеръ.

Онъ какъ-будто былъ въ недоумѣніи. Онъ дѣлалъ шага два и вдругъ останавливался посреди комнаты, или скорыми шагами отмѣривалъ два-три конца отъ одного конца до другаго. Казалось, его посѣтила непривычная дума.

На креслѣ близь стола сидѣлъ невысокаго роста, полный человѣкъ, съ крестомъ на шеѣ, въ застегнутомъ на глухо фракѣ, положивъ одну ногу на другую. Не доставало только въ рукахъ трости съ большимъ золотымъ набал-

дашникомъ, той классической трости, по которой читатель, бывало, сейчасъ узнавалъ доктора въ романахъ и повѣстяхъ. Можетъ быть, доктору и пристала эта булава, съ которою онъ, отъ нечего дѣлать, прогуливается пѣшкомъ и по цѣлымъ часамъ просиживаетъ у больныхъ, утѣшаетъ ихъ и часто въ лицѣ своемъ соединяетъ двѣ-три роли: медика, практическаго философа, друга дома и т. п. Но все это хорошо тамъ, гдѣ живутъ на раздольи, на просторѣ, болѣютъ рѣдко и гдѣ докторъ — больше роскошь, чѣмъ необходимость. А докторъ Петра Иваныча былъ петербургскій докторъ. Онъ не зналъ, что значитъ ходить пѣшкомъ, хотя и предписывалъ больнымъ моціонъ. Онъ членъ какого-то совѣта, секретарь какого-то общества, и профессоръ, и врачъ нѣсколькихъ казенныхъ заведеній, и врачъ для бѣдныхъ, и непремѣнный посѣтитель всѣхъ консультацій; у него и огромная практика. Онъ не снимаетъ даже перчатки съ лѣвой руки, не снималъ бы и съ правой, еслибъ не надо было щупать пульса; не разстегиваетъ никогда фрака и почти не садится. Докторъ ужь не разъ перекладывалъ, отъ нетерпѣнія, то лѣвую ногу на правую, то правую на лѣвую. Ему давно пора ѣхать, а Петръ Иванычъ все ничего не говоритъ. Наконецъ.

— Что дѣлать, докторъ? — спросилъ Петръ Иванычъ, вдругъ остановясь передъ нимъ.

— Ѣхать въ Киссингенъ, отвѣчалъ докторъ: — одно средство. У васъ припадки стали повторяться слишкомъ часто...

— Э! вы все обо мнѣ! перебилъ Петръ Иванычъ: — я вамъ говорю о женѣ. Мнѣ за пятьдесятъ лѣтъ, а она въ цвѣтущей порѣ, ей надо жить; и если здоровье ее начинаетъ угасать съ этихъ поръ...

— Вотъ ужь и угасать! замѣтилъ докторъ. — Я сообщилъ вамъ только свои опасенія на будущее время, а те-

перь еще нѣтъ ничего... Я только хотѣлъ сказать, что здоровье ея... или не здоровье, а такъ она... какъ-будто не въ нормальномъ положеніи...

— Не все ли равно? Вы вскользь сдѣлали ваше замѣчаніе, да и забыли, а я съ тѣхъ поръ слѣжу за ней пристально и съ каждымъ днемъ открываю въ ней новыя, неутѣшительныя перемѣны—и вотъ три мѣсяца не знаю покоя. Какъ я прежде не видалъ—не понимаю! Должность и дѣла отнимаютъ у меня и время, и здоровье... а вотъ теперь, пожалуй и жену.

Онъ опять пустился шагать по комнатѣ.

— Вы сегодня разспрашивали ее? спросилъ онъ, помолчавъ.

— Да; но она ничего въ себѣ не замѣчаетъ. Я сначала предполагалъ физіологическую причину: у нея не было дѣтей... но, кажется, нѣтъ! Можетъ быть причина чисто-психологическая...

— Еще легче! замѣтилъ Петръ Иванычъ.

— А можетъ быть и ничего нѣтъ. Подозрительныхъ симптомовъ рѣшительно никакихъ! Это такъ... вы засидѣлись слишкомъ долго здѣсь, въ этомъ болотистомъ климатѣ. Ступайте на югъ: освѣжитесь, наберитесь новыхъ впечатлѣній и посмотрите, что будетъ. Лѣто проживите въ Киссингенѣ, возьмите курсъ водъ, а осень въ Италіи, зиму въ Парижѣ: увѣряю васъ, что накопленія слизей, раздражительности... какъ не бывало!

Петръ Иванычъ почти не слушалъ его.

— Психологическая причина! сказалъ онъ вполголоса и покачалъ головой.

— То есть, вотъ видите ли, почему я говорю психологическая, сказалъ докторъ:—иной, не зная васъ, могъ бы подозрѣвать тутъ какія-нибудь заботы... или не заботы...

а подавленныя желанія... иногда бываетъ нужда, недостатокъ... я хотѣлъ навести васъ на мысль...

— Нужда, желанія! перебилъ Петръ Иванычъ: — всѣ ея желанія предупреждаются; я знаю ея вкусъ, привычки. А нужда... гм! Вы видите нашъ домъ, знаете, какъ мы живемъ?..

— Хорошъ домъ, славный домъ, сказалъ докторъ:—чудесный... поваръ и какія сигары! А что этотъ пріятель вашъ, что въ Лондонѣ живетъ... пересталъ присылать вамъ хересъ? Что-то нынѣшній годъ не видать у васъ...

— Какъ коварна судьба, докторъ! ужь я ли не былъ остороженъ съ ней? началъ Петръ Иванычъ съ несвойственнымъ ему жаромъ:— взвѣшивалъ, кажется, каждый свой шагъ... нѣтъ, гдѣ-нибудь да подкоситъ и когда же? при всѣхъ удачахъ, на такой карьерѣ... А!

Онъ махнулъ рукой и продолжалъ ходить.

— Что вы тревожитесь такъ? сказалъ докторъ:— опаснаго рѣшительно ничего нѣтъ. Я повторяю вамъ, что сказалъ въ первый разъ, то есть, что организмъ ея не тронутъ: разрушительныхъ симптомовъ нѣтъ. Малокровіе, нѣкоторый упадокъ силъ...—вотъ и все!

— Бездѣлица! сказалъ Петръ Иванычъ.

— Нездоровье ея отрицательное, а не положительное, продолжалъ докторъ. — Будто одна она? Посмотрите на всѣхъ нездѣшнихъ уроженцевъ: на что они похожи? Ступайте, ступайте отсюда. А если нельзя ѣхать, развлекайте ее, не давайте сидѣть, угождайте, вывозите; больше движенія и тѣлу, и духу: и то, и другое у ней въ неестественномъ усыпленіи. Конечно, современемъ оно можетъ пасть на лёгкія или...

— Прощайте, докторъ! я пойду къ ней, сказалъ Петръ Иванычъ и скорыми шагами пошелъ въ кабинетъ жены.

Онъ остановился у дверей, тихо раздвинулъ портьеры и устремилъ на жену безпокойный взглядъ.

Она... что же особеннаго замѣтилъ въ ней докторъ? Всякій, увидѣвъ ее въ первый разъ, нашелъ бы въ ней женщину, какихъ много въ Петербургѣ. Блѣдна, это правда: взглядъ у ней матовый, блуза свободно и ровно стелется по плоскимъ плечамъ и гладкой груди; движенія медленны, почти вялы... Но развѣ румянецъ, блескъ глазъ и огонь движеній—отличительные признаки нашихъ красавицъ? А прелесть формъ... Ни Фидій, ни Пракситель не нашли бы здѣсь Венеръ для своего рѣзца.

Нѣтъ, не пластической красоты надо искать въ сѣверныхъ красавицахъ: онѣ—не статуи; имъ не дались античныя позы, въ которыхъ увѣковѣчилась красота греческихъ женщинъ, да не изъ чего и строить этихъ позъ: нѣтъ тѣхъ безукоризненно-правильныхъ контуровъ тѣла... Чувственность не льется изъ глазъ ихъ жаркимъ потокомъ лучей; на полуоткрытыхъ губахъ не млѣетъ та наивно-сладострастная улыбка, какою горятъ уста южной женщины. Нашимъ женщинамъ дана въ удѣлъ другая, высшая красота. Для рѣзца неуловимъ этотъ блескъ мысли въ чертахъ лицъ ихъ, эта борьба воли съ страстью, игра невысказываемыхъ языкомъ движеній души съ безчисленными, тонкими оттѣнками лукавства, мнимаго простодушія, гнѣва и доброты, затаенныхъ радостей и страданій... всѣхъ этихъ мимолетныхъ молній, вырывающихся изъ концентрической души...

Какъ бы то ни было, но видѣвшій въ первый разъ Лизавету Александровну не замѣтилъ бы въ ней никакого разстройства. Тотъ только, кто зналъ ее прежде, кто помнилъ свѣжесть лица ея, блескъ взоровъ, подъ которымъ, бывало, трудно разсмотрѣть цвѣтъ глазъ ея—такъ тонули они въ роскошныхъ, трепещущихъ волнахъ свѣта, кто

помнилъ ея пышныя плечи и стройный бюстъ, тотъ съ болѣзненнымъ изумленіемъ взглянулъ бы на нее теперь, сердце его сжалось бы отъ сожалѣнія, если онъ не чужой ей, какъ теперь оно сжалось, можетъ быть, у Петра Иваныча, въ чемъ онъ боялся признаться самому себѣ.

Онъ тихо вошелъ въ кабинетъ и сѣлъ подлѣ нея.

— Что ты дѣлаешь? спросилъ онъ.

— Вотъ просматриваю расходную книжку, отвѣчала она.—Вообрази, Петръ Иванычъ: въ прошедшемъ мѣсяцѣ на одинъ столъ вышло около полуторы тысячи рублей: это ни на что не похоже!

Онъ, не говоря ни слова, взялъ у ней книжку и положилъ на столъ.

— Послушай, началъ онъ: — докторъ говоритъ, что здѣсь моя болѣзнь можетъ усилиться: онъ совѣтуетъ ѣхать на воды за границу. Что ты скажешь?

— Что же мнѣ сказать? Тутъ, я думаю, голосъ доктора важнѣе моего. Надо ѣхать, если онъ совѣтуетъ.

— А ты? Желала ли бы ты сдѣлать этотъ вояжъ?

— Пожалуй.

— Но, можетъ быть, ты лучше хотѣла бы остаться здѣсь?

— Хорошо, я останусь.

— Что же изъ двухъ? спросилъ Петръ Иванычъ съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ.

— Распоряжайся и собой, и мной, какъ хочешь, отвѣчала она съ унылымъ равнодушіемъ:—велишь—я поѣду, нѣтъ—останусь здѣсь...

—Оставаться здѣсь нельзя, замѣтилъ Петръ Иванычъ:—докторъ говоритъ, что и твое здоровье нѣсколько пострадало... отъ климата.

— Съ чего онъ взялъ? сказала Лизавета Александровна:—я здорова, я ничего не чувствую.

— Продолжительное путешествіе, говорилъ Петръ Иванычъ:—тоже можетъ быть для тебя утомительно; не хочешь ли ты пожить въ Москвѣ у тетки, пока я буду за границею?

— Хорошо; я, пожалуй, поѣду въ Москву.

— Или не съѣздить ли намъ обоимъ на лѣто въ Крымъ?

— Хорошо и въ Крымъ.

Петръ Иванычъ не выдержалъ: онъ всталъ съ дивана и началъ, какъ у себя въ кабинетѣ, ходить по комнатѣ, потомъ остановился передъ ней.

— Тебѣ все равно, гдѣ ни быть? спросилъ онъ.

— Все равно, отвѣчала она.

— Отчего же?

Она, ничего не отвѣчая на это, взяла опять расходную тетрадь со стола.

— Воля твоя, Петръ Иванычъ, заговорила она:—намъ надо сократить расходы: какъ, тысяча пятьсотъ рублей на одинъ столъ...

Онъ взялъ у ней тетрадь и бросилъ подъ столъ.

— Что это такъ занимаетъ тебя? спросилъ онъ: — или денегъ тебѣ жаль?

— Какъ же не занимать? Вѣдь я твоя жена! Ты же самъ училъ меня... а теперь упрекаешь, что я занимаюсь... *Я дѣлаю свое дѣло!*

— Послушай, Лиза! сказалъ Петръ Иванычъ, послѣ краткаго молчанія:—ты хочешь передѣлать свою натуру, осилить волю... это нехорошо. Я никогда не принуждалъ тебя: ты не увѣришь меня, чтобъ эти дрязги (онъ указалъ на тетрадь) могли занимать тебя. Зачѣмъ ты хочешь стѣснять себя? Я предоставляю тебѣ полную свободу...

— Боже мой! зачѣмъ мнѣ свобода? сказала Лизавета Александровна:—что я стану съ ней дѣлать? Ты до сихъ поръ такъ хорошо, такъ умно распоряжался и мной, и со-

бой, что я отвыкла отъ своей воли; продолжай и впередъ; а мнѣ свобода не нужна.

Оба замолчали.

— Давно, началъ опять Петръ Иванычъ:—я не слыхалъ отъ тебя, Лиза, никакой просьбы, никакого желанія, каприза.

— Мнѣ ничего не нужно, замѣтила она.

— У тебя нѣтъ никакихъ особенныхъ... скрытыхъ желаній? спросилъ онъ съ участіемъ, пристально глядя на нее.

Она колебалась, говорить или нѣтъ.

Петръ Иванычъ замѣтилъ это.

— Скажи, ради Бога, скажи! продолжалъ онъ: — твои желанія будутъ моими желаніями, я исполню ихъ, какъ законъ.

— Ну, хорошо, отвѣчала она:—если ты можешь это сдѣлать для меня... то... уничтожь наши пятницы... эти обѣды утомляютъ меня...

Петръ Иванычъ задумался.

— Ты и такъ живешь въ-заперти, сказалъ онъ, помолчавъ:— а когда къ намъ перестанутъ собираться пріятели по пятницамъ, ты будешь совершенно въ пустынѣ. Впрочемъ, изволь; ты желаешь этого—будетъ исполнено. Что жь ты станешь дѣлать?

— Ты передай мнѣ свои счеты, книги, дѣла... я займусь... сказала она и потянулась подъ столъ поднять расходную тетрадь.

Петру Иванычу это показалось худо скрытымъ притворствомъ.

— Лиза!.. съ упрекомъ сказалъ онъ.

Книжка осталась подъ столомъ.

— А я думалъ, не возобновишь ли ты нѣкоторыхъ знакомствъ, которыя мы совсѣмъ оставили? Для этого

я хотѣлъ дать балъ, чтобъ ты разсѣялась, выѣзжала бы сама...

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! съ испугомъ заговорила Лизавета Александровна:—ради Бога, ненужно! Какъ можно... балъ!

— Что жь это такъ пугаетъ тебя? Въ твои лѣта балъ не теряетъ своей занимательности; ты еще можешь танцовать...

— Нѣтъ, Петръ Иванычъ, прошу тебя, не затѣвай! заговорила она съ живостью:—заботиться о туалетѣ, одѣваться, принимать толпу, выѣзжать—Боже сохрани!

— Ты, кажется, весь вѣкъ хочешь проходить въ блузѣ?

— Да, если ты позволишь, я бы не сняла ее. Зачѣмъ наряжаться? и трата денегъ, и лишнія хлопоты безъ всякой пользы.

— Знаешь что? вдругъ сказалъ Петръ Иванычъ:—говорятъ, на нынѣшнюю зиму ангажированъ сюда Рубини; у насъ будетъ постоянная итальянская опера; я просилъ оставить для насъ ложу—какъ ты думаешь?

Она молчала.

— Лиза!

— Напрасно... сказала она робко: — я думаю, и это будетъ мнѣ утомительно... я устаю...

Петръ Иванычъ склонилъ голову, подошелъ къ камину и, облокотясь на него, смотрѣлъ... какъ бы это сказать? съ тоской, не съ тоской, а съ тревогой, съ безпокойствомъ и съ боязнью, на нее.

— Отчего, Лиза, это... началъ-было онъ и не договорилъ: слово „равнодушіе“ не сошло у него съ языка.

Онъ долго, молча, глядѣлъ на нее. Въ ея безжизненно-матовыхъ глазахъ, въ лицѣ, лишенномъ игры живой мысли и чувствъ, въ ея лѣнивой позѣ и медленныхъ движеніяхъ, онъ прочиталъ причину того равнодушія, о которомъ бо-

ялся спросить; онъ угадалъ отвѣтъ тогда еще, когда докторъ только-что намекнулъ ему о своихъ опасеніяхъ. Онъ тогда опомнился и сталъ догадываться, что, ограждая жену методически отъ всѣхъ уклоненій, которыя могли бы повредить ихъ супружескимъ интересамъ, онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, не представилъ ей въ себѣ вознаградительныхъ условій за тѣ, можетъ быть, непривиллегированныя закономъ радости, которыя бы она встрѣтила внѣ супружества, что домашній ея міръ былъ ничто иное, какъ крѣпость, благодаря методѣ его, неприступная для соблазна, но за то въ ней встрѣчались на каждомъ шагу рогатки и патрули и противъ всякаго законнаго проявленія чувства...

Методичность и сухость его отношеній къ ней простерлись, безъ его вѣдома и воли, до холодной и тонкой тираніи, и надъ чѣмъ? надъ сердцемъ женщины! За эту тиранію онъ платилъ ей богатствомъ, роскошью, всѣми наружными и, сообразными съ его образомъ мыслей, условіями счастья — ошибка ужасная, тѣмъ болѣе ужасная, что она сдѣлана была не отъ незнанія, не отъ грубаго понятія его о сердцѣ—онъ зналъ его — а отъ небрежности, отъ эгоизма! Онъ забывалъ, что она не служила, не играла въ карты, что у ней не было завода, что отличный столъ и лучшее вино почти не имѣютъ цѣны въ глазахъ женщины, а между тѣмъ онъ заставлялъ ее жить этою жизнью.

Петръ Иванычъ былъ добръ; и если не по любви къ женѣ, то по чувству справедливости, онъ далъ бы Богъ знаетъ что, чтобъ поправить зло; но какъ поправить? Не одну ночь провелъ онъ безъ сна съ тѣхъ поръ, какъ докторъ сообщилъ ему свои опасенія насчетъ здоровья жены, стараясь отъискать средства, примирить ея сердце съ настоящимъ ея положеніемъ и возстановить угасающія силы. И теперь, стоя у камина, онъ размышлялъ о томъ же.

Ему пришло въ голову, что, можетъ быть, въ ней уже таится зародышъ опасной болѣзни, что она убита безцвѣтной и пустой жизнью...

Холодный потъ выступалъ у него на лбу. Онъ терялся въ средствахъ, чувствуя, что для изобрѣтенія ихъ нужно больше сердца, чѣмъ головы. А гдѣ ему взять его? Ему что-то говорило, что еслибъ онъ могъ пасть къ ея ногамъ, съ любовью заключить ее въ объятія и голосомъ страсти сказать ей, что жилъ только для нея, что цѣль всѣхъ трудовъ, суеты, карьеры, стяжанія — была она, что его методическій образъ поведенія съ ней внушенъ былъ ему только пламеннымъ, настойчивымъ ревнивымъ, желаніемъ укрѣпить за собой ея сердце... Онъ понималъ, что такія слова были бы дѣйствіемъ гальванизма на трупъ, что она вдругъ процвѣла бы здоровьемъ, счастьемъ, и на воды не понадобилось бы ѣхать.

Но сказать и доказать—двѣ вещи разныя. Чтобъ доказать это, надо точно имѣть страсть. А порывшись въ душѣ своей, Петръ Иванычъ не нашелъ тамъ и слѣда страсти. Онъ чувствовалъ только, что жена была необходима ему—это правда, но наравнѣ съ прочими необходимостями жизни, необходима по привычкѣ. Онъ, пожалуй, не прочь бы притвориться, сыграть роль любовника, какъ ни смѣшно въ пятьдесятъ лѣтъ вдругъ заговорить языкомъ страсти; но обманешь ли женщину страстью, когда ея нѣтъ? Достанетъ ли потомъ столько героизма и умѣнья, чтобъ дотянуть на плечахъ эту роль до той черты, за которой умолкаютъ требованія сердца? И не убьетъ ли ее окончательно оскорбленная гордость, когда она замѣтитъ, что то, что нѣсколько лѣтъ назадъ было бы волшебнымъ напиткомъ для нея, подносится ей теперь, какъ лекарство? Нѣтъ, онъ, по-своему, отчетливо взвѣсилъ и обсудилъ этотъ поздній шагъ и не рѣшился на него. Онъ думалъ сдѣлать,

можетъ быть, то же, но иначе, такъ, какъ это теперь было нужно и возможно. У него уже три мѣсяца шевелилась мысль, которая прежде показалась бы ему нелѣпостью, а теперь—другое дѣло! Онъ берегъ ее на случай крайности: крайность настала, и онъ рѣшился исполнить свой планъ.

„Если это не поможетъ, думалъ онъ:—тогда нѣтъ спасенья! будь, что будетъ!“

Петръ Иванычъ рѣшительными шагами подошелъ къ женѣ и взялъ ее за руку.

— Ты знаешь, Лиза, сказалъ онъ: — какую роль я играю въ службѣ: я считаюсь самымъ дѣльнымъ чиновникомъ въ министерствѣ. Нынѣшній годъ буду представленъ въ тайные совѣтники и, конечно, получу. Не думай, чтобъ карьера моя кончилась этимъ: я могу еще идти впередъ... и пошелъ бы...

Она смотрѣла на него съ удивленіемъ, ожидая, къ чему это поведетъ.

— Я никогда не сомнѣвалась въ твоихъ способностяхъ, сказала она.—Я вполнѣ увѣрена, что ты не остановишься на половинѣ дороги, а пойдешь до конца...

— Нѣтъ, не пойду: я на дняхъ подамъ въ отставку.

— Въ отставку? спросила она съ изумленіемъ, выпрямившись.

— Да.

— Зачѣмъ?

— Слушай еще. Тебѣ извѣстно, что я расчелся съ своими компаньйонами и заводъ принадлежитъ мнѣ одному. Онъ приноситъ мнѣ до сорока тысячъ чистаго барыша, безъ всякихъ хлопотъ. Онъ идетъ какъ заведенная машина.

— Знаю; такъ что жь? спросила Лизавета Александровна.

— Я его продамъ.

— Что ты, Петръ Иванычъ! Что съ тобой? съ возрастающимъ изумленіемъ говорила Лизавета Александровна, глядя на него съ испугомъ: — для чего все это? Я не опомнюсь, понять не могу...

— Не-уже-ли не можешь понять?

— Нѣтъ!.. въ недоумѣніи сказала Лизавета Александровна.

— Ты не можешь понять, что, глядя, какъ ты скучаешь, какъ твое здоровье терпитъ... отъ климата, я подорожу своей карьерой, заводомъ, не увезу тебя вонъ отсюда? не посвящу остатка жизни тебѣ?.. Лиза! неужели ты считала меня неспособнымъ къ жертвѣ?.. прибавилъ онъ съ упрекомъ.

— Такъ это для меня! сказала Лизавета Александровна, едва приходя въ себя:—нѣтъ, Петръ Иванычъ! живо заговорила она, сильно встревоженная:—ради Бога, никакой жертвы для меня! Я не приму ее—слышишь ли? рѣшительно не приму! Чтобъ ты пересталъ трудиться, отличаться, богатѣть—и для меня! Боже сохрани! Я не стою этой жертвы! Прости меня: я была мелка для тебя, ничтожна, слаба, чтобы понять и оцѣнить твои высокія цѣли, благородные труды... Тебѣ не такую женщину надо было...

— Еще великодушіе! сказалъ Петръ Иванычъ, пожимая плечами.—Мои намѣренія неизмѣнны, Лиза!

— Боже, Боже, что я надѣлала! Я была брошена, какъ камень на твоемъ пути; я мѣшаю тебѣ... Что за странная моя судьба! прибавила она, почти съ отчаяніемъ. — Если человѣку не хочется, не нужно жить... неужели Богъ не сжалится, не возьметъ меня? Мѣшать тебѣ...

— Напрасно ты думаешь, что эта жертва тяжела для меня. Полно жить этой деревянной жизнью! Я хочу от-

дохнуть, успокоиться: а гдѣ я успокоюсь, какъ не наединѣ съ тобой?.. Мы поѣдемъ въ Италію.

— Петръ Иванычъ! сказала она, почти плача: — ты добръ, благороденъ... я знаю, ты въ состояніи на великодушное притворство... но, можетъ быть, жертва безполезна, можетъ быть, ужь... поздно, а ты бросишь свои дѣла...

— Пощади меня, Лиза, и не добирайся до этой мысли, возразилъ Петръ Иванычъ: — иначе, ты увидишь, что я не изъ желѣза созданъ... Я повторяю тебѣ, что я хочу жить не одной головой: во мнѣ еще не все застыло.

Она глядѣла на него пристально, съ недовѣрчивостью.

— И это... искренно? спросила она, помолчавъ:—ты точно хочешь покоя, уѣзжаешь не для меня одной?

— Нѣтъ: и для себя.

— А если для меня, я ни за что, ни за что...

— Нѣтъ, нѣтъ! я нездоровъ, усталъ... хочу отдохнуть...

Она подала ему руку. Онъ съ жаромъ поцѣловалъ ее.

— Такъ ѣдемъ въ Италію? спросилъ онъ.

— Хорошо, поѣдемъ, отвѣчала она монотонно.

У Петра Иваныча — какъ гора съ плечъ. „Что-то будетъ!“ подумалъ онъ.

Долго сидѣли они, не зная, что сказать другъ другу. Неизвѣстно, кто первый прервалъ бы молчаніе, еслибъ они оставались еще вдвоемъ. Но вотъ въ сосѣдней комнатѣ послышались торопливые шаги. Явился Александръ.

Какъ онъ перемѣнился! Какъ пополнѣлъ, оплѣшивѣлъ, какъ сталъ румянъ! Съ какимъ достоинствомъ онъ носитъ свое выпуклое брюшко и орденъ на шеѣ! Глаза его сіяли радостью. Онъ съ особеннымъ чувствомъ поцѣловалъ руку у тетки и пожалъ дядину руку...

— Откуда? спросилъ Петръ Иванычъ.

— Угадайте, отвѣчалъ Александръ значительно.

— У тебя сегодня какая-то особенная прыть, сказалъ Петръ Иванычъ, глядя на него вопросительно.

— Бьюсь объ закладъ, что не угадаете! говорилъ Александръ.

— Лѣтъ десять или двѣнадцать назадъ, однажды ты, я помню, вотъ этакъ же вбѣжалъ ко мнѣ, замѣтилъ Петръ Иванычъ:—еще разбилъ у меня что-то... тогда я съ разу догадался, что ты влюбленъ, а теперь... ужели опять? Нѣтъ, не можетъ быть: ты слишкомъ уменъ, чтобъ...

Онъ взглянулъ на жену и вдругъ замолчалъ.

— Не угадываете? спросилъ Александръ.

Дядя глядѣлъ на него и все думалъ.

— Ужь не... женишься ли ты? сказалъ онъ нерѣшительно.

— Угадали! торжественно воскликнулъ Александръ.— Поздравьте меня.

— Въ самомъ дѣлѣ? На комъ? спросили и дядя, и тетка.

— На дочери Александра Степаныча.

— Неужели? Да вѣдь она богатая невѣста, сказалъ Петръ Иванычъ. — И отецъ... ничего?

— Я сейчасъ отъ нихъ. Отчего отцу не согласиться? Напротивъ, онъ со слезами на глазахъ выслушалъ мое предложеніе; обнялъ меня и сказалъ, что теперь онъ можетъ умереть спокойно: что онъ знаетъ, кому ввѣряетъ счастье дочери... „Идите, говоритъ, только по слѣдамъ вашего дядюшки!“

— Онъ сказалъ это? Видишь и тутъ не безъ дядюшки!

— А что сказала дочь? спросила Лизавета Александровна.

— Да... она... такъ какъ, знаете, всѣ дѣвицы, отвѣчалъ Александръ:—ничего не сказала, только покраснѣла; а когда я взялъ ее за руку, такъ пальцы ея точно играли на фортепьяно въ моей рукѣ... будто дрожали.

— Ничего не сказала! замѣтила Лизавета Александровна: — Неужели вы не взяли на себя труда вывѣдать объ этомъ у ней до предложенія? Вамъ все равно? Зачѣмъ же вы женитесь?

— Какъ зачѣмъ? Не все же такъ шататься! Одиночество наскучило; пришла пора, ma tante, усѣсться на мѣстѣ, основаться, обзавестись своимъ домкомъ, исполнить долгъ... Невѣста же хорошенькая, богатая... Да вотъ дядюшка скажетъ вамъ, зачѣмъ жениться: онъ такъ обстоятельно разсказываетъ...

Петръ Иванычъ, тихонько отъ жены, махнулъ ему рукой, чтобъ онъ не ссылался на него и молчалъ, но Александръ не замѣтилъ.

— А можетъ быть, вы не нравитесь ей? говорила Лизавета Александровна:—можетъ быть, она любить васъ не можетъ—что вы на это скажете?

— Дядюшка, что бы сказать? Вы лучше меня говорите... Да вотъ, я приведу ваши же слова, продолжалъ онъ, не замѣчая, что дядя вертѣлся на своемъ мѣстѣ и значительно кашлялъ, чтобъ замять эту рѣчь:—женишься по любви, говорилъ Александръ:—любовь пройдетъ и будешь жить привычкой; женишься не по любви — и придешь къ тому же результату: привыкнешь къ женѣ. Любовь любовью, а женитьба женитьбой; эти двѣ вещи не всегда сходятся, а лучше когда не сходятся... Не правда ли, дядюшка? вѣдь вы такъ учили...

Онъ взглянулъ на Петра Иваныча и вдругъ остановился, видя, что дядя глядитъ на него свирѣпо. Онъ, съ разинутымъ ртомъ, въ недоумѣніи, поглядѣлъ на тетку, потомъ опять на дядю и замолчалъ. Лизавета Александровна задумчиво покачала головой.

— Ну, такъ ты женишься? сказалъ Петръ Иванычъ:—

Вотъ теперь пора, съ Богомъ! А то хотѣлъ-было въ двадцать три года.

— Молодость, дядюшка, молодость!

— То-то молодость.

Александръ задумался и потомъ улыбнулся.

— Что ты? спросилъ Петръ Иванычъ.

— Такъ: мнѣ пришла въ голову одна несообразность...

— Какая?

— Когда я любилъ... отвѣчалъ Александръ въ раздумьи:—тогда женитьба не давалась...

— А теперь женишься, да любовь не дается, прибавилъ дядя, и оба они засмѣялись.

— Изъ этого слѣдуетъ, дядюшка, что вы правы, полагая привычку главнымъ...

Петръ Иванычъ опять сдѣлалъ ему звѣрское лицо. Александръ замолчалъ, не зная, что подумать.

— Женишься на тридцать-пятомъ году, говорилъ Петръ Иванычъ:—это въ порядкѣ. А помнишь, какъ ты тутъ бѣсновался въ конвульсіяхъ, кричалъ, что тебя возмущаютъ неравные браки, что невѣсту влекутъ, какъ жертву, убранную цвѣтами и алмазами, и толкаютъ въ объятія пожилаго человѣка, большею частью некрасиваго, съ лысиной. Покажи-ка голову.

— Молодость, молодость, дядюшка! Не понималъ сущности дѣла, говорилъ Александръ, заглаживая рукой волосы.

— Сущность дѣла, продолжалъ Петръ Иванычъ. — А бывало, помнишь, какъ ты былъ влюбленъ въ эту, какъ ее... Наташу, что ли? „Бѣшеная ревность, порывы, небесное блаженство“... куда все это дѣвалось?..

— Ну, ну, дядюшка, полноте! говорилъ Александръ, краснѣя.

— Гдѣ „колоссальная страсть, слезы?“..

— Дядюшка!

— Что? Полно предаваться „искреннимъ изліяніямъ“, полно рвать желтые цвѣты! „Одиночество наскучило“...

— О, если такъ, дядюшка, я докажу, что не я одинъ любилъ, бѣсновался, ревновалъ, плакалъ... позвольте, позвольте, у меня имѣется письменный документъ...

Онъ вынулъ изъ кармана бумажникъ и, порывшись довольно долго въ бумагахъ, вытащилъ какой-то ветхій, почти развалившійся и пожелтѣвшій листокъ бумаги.

— Вотъ, ma tante, сказалъ онъ:—доказательство, что дядюшка не всегда былъ такой разсудительный, насмѣшливый и положительный человѣкъ. И онъ вѣдалъ искреннія изліянія и передавалъ ихъ не на гербовой бумагѣ, и притомъ особыми чернилами. Четыре года таскалъ я этотъ лоскутокъ съ собой и все ждалъ случая уличить дядюшку. Я было и забылъ о немъ, да вы же сами напомнили.

— Что за вздоръ? Я ничего не понимаю, сказалъ Петръ Иванычъ, глядя на лоскутокъ.

— А вотъ, вглядитесь.

Александръ поднесъ бумажку къ глазамъ дяди. Вдругъ лицо Петра Иваныча потемнѣло.

— Отдай! отдай, Александръ! закричалъ онъ торопливо и хотѣлъ схватить лоскутокъ. Но Александръ проворно отдернулъ руку. Лизавета Александровна съ любопытствомъ смотрѣла на нихъ.

— Нѣтъ, дядюшка, не отдамъ, говорилъ Александръ:— пока не сознаетесь здѣсь, при тетушкѣ, что и вы когда-то любили, какъ я, какъ всѣ... Или иначе, этотъ документъ передается въ ея руки, въ вѣчный упрекъ вамъ.

— Варваръ! закричалъ Петръ Иванычъ, что ты дѣлаешь со мной?

— Вы не хотите?

— Ну, ну: любилъ. Подай.

— Нѣтъ, позвольте, что вы бѣсновались, ревновали?

— Ну, ревновалъ, бѣсновался... говорилъ, морщась, Петръ Иванычъ.

— Плакали?

— Нѣтъ, не плакалъ.

— Неправда! я слышалъ отъ тетушки: признавайтесь.

— Языкъ не ворочается, Александръ: вотъ развѣ теперь заплачу.

— Ma tante! извольте документъ.

— Покажите, что это такое? спросила она, протягивая руку.

— Плакалъ, плакалъ! Подай! отчаянно возопилъ Петръ Иванычъ.

— Надъ озеромъ?

— Надъ озеромъ.

— И рвали желтые цвѣты?

— Рвалъ. Ну тебя совсѣмъ! Подай!

— Нѣтъ не все: дайте честное слово, что вы предадите вѣчному забвенію мои глупости и перестанете колоть мнѣ ими глаза.

— Честное слово.

Александръ отдалъ лоскутокъ. Петръ Иванычъ схватилъ его, зажегъ спичку и тутъ же сжегъ бумажку.

—Скажите мнѣ, по-крайней-мѣрѣ, что это такое? спросила Лизавета Александровна.

— Нѣтъ, милая, этого и на страшномъ судѣ не скажу, отвѣчалъ Петръ Иванычъ. —Да неужели я писалъ это? Быть не можетъ...

— Вы, дядюшка! перебилъ Александръ:—Я, пожалуй, скажу, что тутъ написано: я наизусть знаю: „ангелъ, обожаемая мною...“

— Александръ! На вѣкъ поссоримся! закричалъ Петръ Иванычъ сердито.

— Краснѣютъ, какъ преступленія — и чего! сказала Лизавета Александровна:—первой, нѣжной любви.

Она пожала плечами и отвернулась отъ нихъ.

— Въ этой любви такъ много... глупаго, сказалъ Петръ Иванычъ мягко, вкрадчиво.—Вотъ у насъ съ тобой и помину не было объ искреннихъ изліяніяхъ, о цвѣтахъ, о прогулкахъ при лунѣ... а вѣдь ты любишь же меня...

— Да, я очень... привыкла къ тебѣ, разсѣянно отвѣчала Лизавета Александровна.

Петръ Иванычъ началъ въ задумчивости гладить бакенбарды.

— Что, дядюшка, спросилъ Александръ шопотомъ: — это такъ и надо?

Петръ Иванычъ мигнулъ ему, какъ-будто говоря: „молчи“.

— Петру Иванычу простительно такъ думать и поступать, сказала Лизавета Александровна: — онъ давно такой, и никто, я думаю, не зналъ его другимъ: а отъ васъ, Александръ, я не ожидала этой перемѣны...

Она вздохнула.

— О чемъ же вы вздохнули, ma tante? спросилъ онъ.

— О прежнемъ Александрѣ, отвѣчала она.

— Неужели вы желали бы, ma tante, чтобъ я остался такимъ, какимъ былъ лѣтъ десять назадъ? возразилъ Александръ. — Дядюшка правду говоритъ, что эта глупая мечтательность...

Лицо Петра Иваныча начало свирѣпѣть. Александръ замолчалъ.

— Нѣтъ, не такимъ, отвѣчала Лизавета Александровна: — какъ десять лѣтъ, а какъ четыре года назадъ: по-

мните, какие письма вы написали ко мнѣ изъ деревни? Какъ вы хорошо были тамъ!

— Я, кажется, тоже мечталъ тамъ, сказалъ Александръ.

— Нѣтъ, не мечтали. Тамъ вы поняли, растолковали себѣ жизнь: тамъ вы были прекрасны, благородны, умны... Зачѣмъ не остались такими? Зачѣмъ это было только на словахъ, на бумагѣ, а не на дѣлѣ? Это прекрасное мелькнуло, какъ сияніе изъ-за тучъ—на одну минуту...

— Вы хотите сказать, ma tante, что теперь я... не уменъ и... не благороденъ...

— Боже сохрани! нѣтъ! Но теперь вы умны и благородны... по-другому, не по-моему...

— Что дѣлать, ma tante? сказалъ съ громкимъ вздохомъ Александръ:—вѣкъ такой. Я иду наравнѣ съ вѣкомъ: нельзя же отставать! Вотъ я сошлюсь на дядюшку, приведу его слова...

— Александръ! свирѣпо сказалъ Петръ Иванычъ: — пойдемъ на минуту ко мнѣ въ кабинетъ: мнѣ нужно сказать тебѣ одно слово.

Они пришли въ кабинетъ.

— Что это за страсть пришла тебѣ сегодня ссылаться на меня? сказалъ Петръ Иванычъ:—Ты видишь, въ какомъ положеніи жена?

— Что такое? съ испугомъ спросилъ Александръ.

— Ты ничего не замѣчаешь? А то, что я бросаю службу, дѣла—все, и ѣду съ ней въ Италію.

— Что вы, дядюшка! въ изумленіи воскликнулъ Александръ:—вѣдь вамъ нынѣшній годъ слѣдуетъ въ тайные совѣтники...

— Да видишь: тайная совѣтница-то плоха...

Онъ раза три задумчиво прошелся взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Нѣтъ, сказалъ онъ: — моя карьера кончена! Дѣло сдѣлано: судьба не велитъ идти дальше... пусть! Онъ махнулъ рукой.

— Поговоримъ лучше о тебѣ, сказалъ онъ: — ты, кажется, идешь по моимъ слѣдамъ...

— Пріятно бы, дядюшка! прибавилъ Александръ.

— Да! продолжалъ Петръ Иванычъ: — въ тридцать съ небольшимъ лѣтъ—коллежскій совѣтникъ, хорошее казенное содержаніе, посторонними трудами заработываешь много денегъ, да еще во время женишься на богатой... Да, Адуевы дѣлаютъ свое дѣло! Ты весь въ меня, только не достаетъ боли въ поясницѣ...

— Да ужь иногда колетъ... сказалъ Александръ, дотронувшись до спины.

— Все это прекрасно, разумѣется, кромѣ боли въ поясницѣ, продолжалъ Петръ Иванычъ:—я, признаюсь, не думалъ, чтобъ изъ тебя вышло что-нибудь путное, когда ты пріѣхалъ сюда. Ты все забиралъ себѣ въ голову замогильные вопросы, улеталъ въ небеса... но все прошло — и слава Богу! Я сказалъ бы тебѣ: продолжай идти во всемъ по моимъ слѣдамъ, только...

— Только что, дядюшка?

— Такъ... я хотѣлъ бы тебѣ дать нѣсколько совѣтовъ... на счетъ будущей твоей жены...

— Что такое? это любопытно.

— Да нѣтъ! продолжалъ Петръ Иванычъ, помолчавъ:— боюсь, какъ бы хуже не надѣлать. Дѣлай, какъ знаешь самъ: авось догадаешься... Поговоримъ лучше о твоей женитьбѣ. Говорятъ, у твоей невѣсты двѣсти тысячъ приданаго—правда ли!

— Да, двѣсти отецъ даетъ, да сто отъ матери осталось.

— Такъ это триста! закричалъ Петръ Иванычъ почти съ испугомъ.

— Да еще онъ сегодня сказалъ, что всѣ свои пятьсотъ душъ отдаетъ намъ теперь же въ полное распоряженіе, съ тѣмъ, чтобъ выплачивать ему восемь тысячъ ежегодно. Жить будемъ вмѣстѣ.

Петръ Иванычъ вскочилъ съ креселъ, съ несвойственною ему живостью.

— Постой, постой! сказалъ онъ: — ты оглушилъ меня: такъ ли я слышалъ? повтори, сколько?

— Пятьсотъ душъ и триста тысячъ денегъ... повторилъ Александръ.

— Ты... не шутишь?

— Какія шутки, дядюшка!

— И имѣніе... незаложено? спросилъ Петръ Иванычъ тихо, не двигаясь съ мѣста.

— Нѣтъ.

Дядя, скрестивъ руки на груди, смотрѣлъ нѣсколько минутъ съ уваженіемъ на племянника.

— И карьера, и фортуна! говорилъ онъ почти про-себя, любуясь имъ:—И какая фортуна! и вдругъ! все, все!... Александръ! гордо, торжественно прибавилъ онъ: — ты моя кровь, ты—Адуевъ! Такъ и быть, обними меня!

И они обнялись.

— Это въ первый разъ, дядюшка! сказалъ Александръ.

— И въ послѣдній! отвѣчалъ Петръ Иванычъ:—это необыкновенный случай. Ну, неужели тебѣ и теперь не нужно презрѣннаго металла? Обратись же ко мнѣ хоть однажды.

— Ахъ! нужно, дядюшка: издержекъ множество. Если вы можете дать десять, пятнадцать тысячъ...

*

— На-силу, въ первый разъ! провозгласилъ Петръ Иванычъ.

— И въ послѣдній, дядюшка: это необыкновенный случай! сказалъ Александръ.